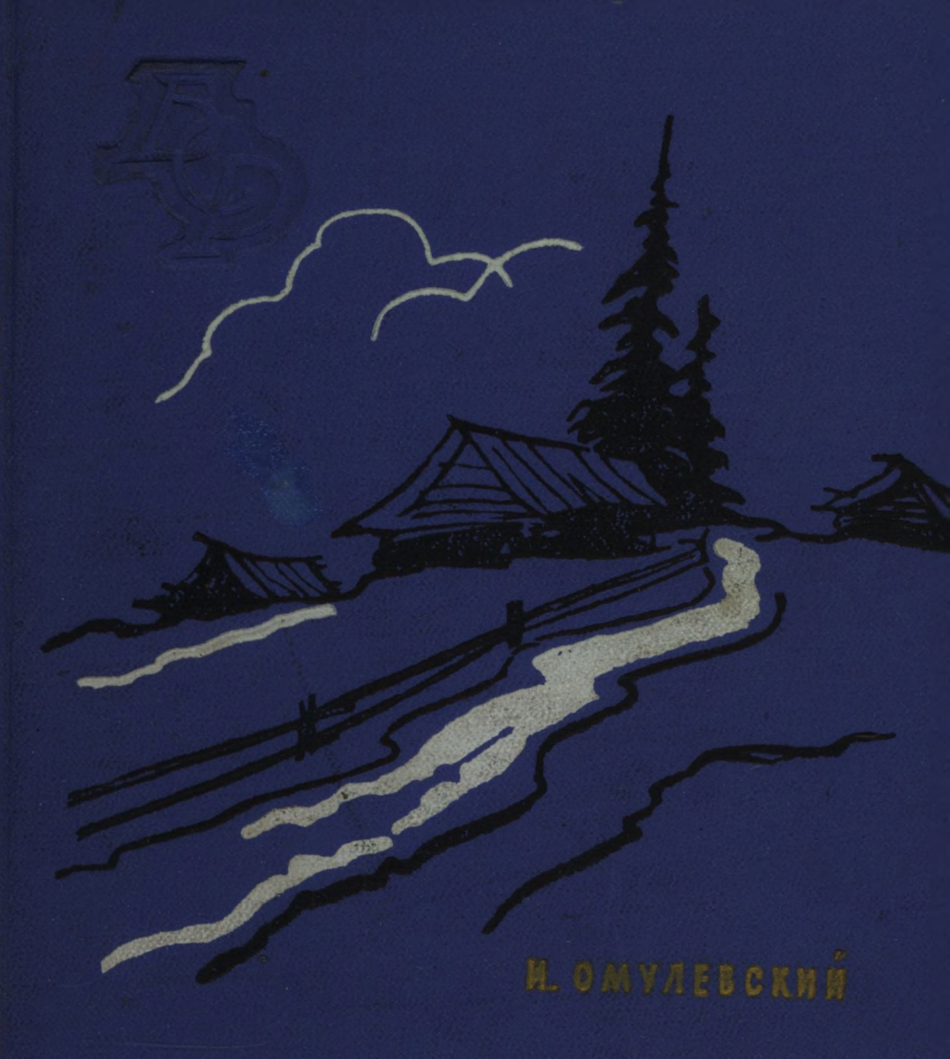


И. ОМУЛЕВСКИЙ

ШАГ ЗА ШАГОМ

Новосибирское
КНИЖНОЕ
Издательство

БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО РОМАНА

ТОМ

7

И. ОМУЛЕВСКИЙ

ШАГ ЗА ШАГОМ

1960



БОРЕЦ ЗА ТОРЖЕСТВО РАЗУМА И СВОБОДЫ

(И. В. Федоров-Омулевский и его роман «Шаг за шагом»)

Творчество известного сибирского поэта и беллетриста Иннокентия Васильевича Омулевского — одна из примечательных страниц истории русской литературы, ее революционно-демократического направления.

Омулевский прошел суровую школу жизни и борьбы. Передовые взгляды и революционная убежденность сложились у него под благотворным влиянием идей революционеров-демократов. Омулевский явился горячим пропагандистом материалистических взглядов Чернышевского и Добролюбова на роль народных масс в борьбе за будущее России Как и они, писатель возлагал большие надежды на пропаганду революционных взглядов, подтачивающих устои порочного полицейско-самодержавного строя, на новых людей — людей революционного дела и высокой морали. Омулевский в меру своих сил и таланта стремился осуществить революционный тезис материалистической эстетики Чернышевского — литература это «учебник жизни». Для него знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» был образцом такого именно понимания общественного назначения литературы Чернышевский ставил в центр романа образы людей, достойных подражания, его герои открыли широкие горизонты для роста революционного движения в России.

Омулевский строго следовал за Чернышевским. Положительный герой его романа «Шаг за шагом» Александр Светлов пополнил плеяду таких героев, как Кирсанов Лопухов, Вера Павловна и даже Рахметов. Светлов, как и они, несет в народ светлые идеи свободомыслящих людей, раскрывает социальные противоречия общества, указывает пути избавления от кабалы эксплуататоров. Герои Омулевского, как и герои Чернышевского, понимая всю трудность и опасность борьбы, верят, что правда восторжествует. Между Светловым и Варгуниным, представителем старшего поколения революционеров, в конце романа происходит памятный разговор, проливающий свет на идею романа и объясняющий его название:

«— Ну, что, батенька? — спросил вдруг Варгунин весело рассмеявшись,— небось, теперь уж не скажете, как тогда — «шаг за шагом»?

— Это отчего, Матвей Николаич? — удивился Светлов.— Непременно скажу и теперь то же самое, да и всегда буду говорить Последняя история с нами — тут ни при чем она, напротив, еще подтвердила мой взгляд на это. Вы только посудите: ведь и локомотив

идет сперва тихо, будто шаг за шагом, а как разойдется — тогда уж никакая сила его не удержит».

В своих свободолюбивых стихах Омулевский обращался к современникам, особенно к молодежи с призывом: «не уступать ни на шаг», бороться за свободу родины «плотию и кровью, делиться с ней трудом и разумом своим». Перекликаясь с Добролюбовым, утверждавшим, что придет «настоящий день». Омулевский призывал верить в «пришествие дня», в то, что «...Светловых еще много будет впереди».

Основное произведение Омулевского — роман «Шаг за шагом» Появление этого романа было истинным торжеством революционно-демократического крыла русской общественности. Роман пользовался громадной популярностью, в первую очередь среди молодежи России, в том числе в Сибири

В романе «Шаг за шагом» не только подвергался уничтожающей критике порочный самодержавно-полицейский строй,— автор учил молодежь самоотверженно бороться за лучшее будущее, идти в народ, нести в массы свет правды.

Обаятельный образ главного героя Светлова, безраздельно увлекая, звал вперед. Светлов нес с собой в народ свет разума, свет непреклонной воли и веры в победу, требовал смелее ломать преграды, бороться за торжество свободы и счастья человека. Эту революционную идею автор воплощал через показ сложной судьбы героя, его глубоких раздумий и сердечных волнений.

Царское правительство объявило роман «Шаг за шагом» крамольным, внесло в список запрещенных книг, за чтение романа жестоко преследовали



Омулевский — псевдоним Иннокентия Васильевича Федорова. Родился писатель 7 декабря (26 ноября по старому стилю) 1836 года в Петропавловске-на-Камчатке Детство будущего писателя прошло в Иркутске.

В гимназии Иннокентий Васильевич пишет свои первые лирические и сатирические стихотворения.

Сатиры навлекли на молодого поэта гнев гимназического начальства. Этим, видимо, и объясняется то, что Омулевский вынужден был оставить гимназию, окончив лишь шесть классов После службы в «казенных учреждениях» Иркутска в 1857 году он уезжает в Петербург с намерением учиться. В этом же году начинается его литературная деятельность. Из печати выходит книжка «Мицкевич в переводе Омулевского. Сонеты» (СПб, 1857 г.) Переводы не отличались оригинальностью и художественностью, но юный автор возлагал большие надежды на книжку.

Критика отнеслась к переводам Омулевского резко отрицательно. В журнале «Современник» выступил Добролюбов и указал, что автор «хотя и пишет прозой, но непременно хочет, чтобы его прозу принимали за стихи». Позднее и сам Омулевский строго осудил свой первый опыт и в собрание стихов «Песни жизни» не включил ни одного из переведенных им сонетов.

Поступив вольнослушателем на юридический факультет Петербургского университета, Омулевский сблизился с прогрессивно

настроенными студентами. Его бесконечно увлекали те новые идеи которыми жили передовые, демократически мыслящие люди России Официальные университетские науки, от которых несло затхлостью и реакционной гнилью, разочаровали Омулевского, и он оставил университет. Молодой, полный сил, юношеского задора, творческих планов и проектов, он писал массу сатирических и юмористических стихов, эпиграмм, имел намерение создать газету наподобие журнала «Искра», игравшего огромную общественно-политическую роль в России того времени

С 1861 года стихи Омулевского стали появляться в столичных журналах («Современник», «Искра», «Век», «Дело»). Направление его поэзии приняло резкий обличительный характер, сатирические стихи поднимали злободневные вопросы жизни, обнажали порочные стороны социальной действительности, пропагандировали передовые идеи. К этому периоду относятся лучшие стихи поэта, отражающие гражданское мужество и революционный пафос времени: «Дело святое за правду стоять». «Свобода» и др.

В 1862 году Омулевский уехал в Иркутск и прожил там до 1865 года. Он сотрудничал в местной газете «Амур». Сибирь рисовалась ему «мрачной страной изгнания», «страной кандалов и скорби». В стихотворении «Если ты странствуешь, путник», напечатанном в 1865 году, он писал:

«Там сквозь снега и морозы
Носятся мощные звуки;
Встретишь людей там, что терпят
Муки за муки...
Нет там пустых истуканов,
Вздохов изнеженной груди...
Там только люди, да цепи,
Цепи, да люди».

Вернувшись в Петербург, Омулевский занялся исключительно литературной работой. Печатался в журналах «Современник», «Русское слово», «Луч», «Будильник», «Искра», «Дело», «Женский вестник». Он становится известным поэтом гражданско-обличительного направления, закаляется как боец на поле общественно-политической борьбы. Особое влияние на него оказывают журналы «Современник», «Колокол», «Искра». В 1866—1867 годах Омулевский опубликовывает цикл политически острых и ярких стихотворений под псевдонимом Камчаткин. Особенно популярными были его стихотворения «Земной рай» и «Тайны карьеры», они передавались из уст в уста переписывались и пользовались заслуженной любовью. В это время вышел сборник стихов Омулевского «Деревенские песни». Сборник был тепло встречен передовым русским читателем. Многие стихи из него оценивались очень высоко; их ставили в один ряд с лучшими произведениями Кольцова и Никитина.

В 1869—1870 годах Омулевский написал роман «Шаг за шагом», и среди передовой части русского общества стал известен как талантливый писатель революционно-демократического направления.

В 1873 году в журнале «Дело» были опубликованы первые три главы нового романа Омулевского «Попытка — не шутка». Писатель обещал ввести в роман «женщину-прогрессистку, до которой и вооб-

ражение не достигнет». Но продолжения не последовало: цензура запретила печатание романа. Автор был арестован якобы «за произношение дерзких слов» «оскорбление величества» и заключен в Петропавловскую крепость, затем, по приговору суда,— в Литовский замок. Эту жестокую расправу Омулевский переживал крайне тяжело. В 1874 году от нервных потрясений он временно ослеп.

В начале 1880 года Омулевский возвращается из Иркутска, где он прожил около года, в Петербург и активно сотрудничает в ряде журналов, а с 1882 года—в сибирской газете «Восточное обозрение» Он создает цикл стихотворений «Сибирские мотивы» («Ангарские грезы», «Барабинская степь», «На берегу Енисея», «Бирюсинский лес», «Сибирский тост на новый год» и др.).

Несмотря на тяжкие испытания и гонения, Омулевский в своем творчестве остался верен революционно-демократическим идеалам. Стихотворения его проникнуты свободолюбивыми, гуманистическими мотивами Но, порицая порочную российскую действительность, он нередко впадает в ошибку, идеализируя патриархальный быт сибиряков, восторженно любуется нетронутой и дикой красотой природы, оплакивая ее — страну «изгнания и мук». Искренне и трогательно звучит его посмертное стихотворение «Из гроба»:

«Сибирь родимая! Повсюду и всегда
С любовию к тебе я обращаю взоры,
Несется мысль моя туда,
Где степи ты раскинула и горы...
...Желал бы я, чтоб в недра дорогие
Мой прах ты приняла, родимая земля!
Лежать в чужой стране, где люди все чужие,
Где чуждые кругом раскинулись поля,— я не могу!..»

Свою любовь к матери-Сибири, к печальной родине-мученице поэт завещает сыну («Сибирская колыбельная песня»), дочери-сибирячке («Люби свою страну — не той пустой любовью...») и всем «подрастающим землячкам» («Там у себя, в родной глуши...»).

В стихах этого периода Омулевский скорбит о том, что Сибирь оторвана и обособлена, и в то же время говорит об ее избранной роли в судьбе России в борьбе за лучезарное счастье человека. Эти нотки «областничества» в свое время особенно по душе пришлись некоторым писателям «областникам» из сибирской литературной группы. Они горячо подхватывали эти мотивы творчества Омулевского С таким «прославлением» Омулевского и попытками ограничить его творчество, не только поэтическое, но и прозаическое, рамками Сибири никак нельзя согласиться. Глубоко вскрывая противоречия суровой жизни царской России, он своими произведениями, особенно романом «Шаг за шагом», поднимал самые жгучие вопросы социальной жизни и революционной борьбы в России 60—70-х годов. Наряду с острым обличением эксплуататоров угнетателей народа, критикой темных сторон действительности, писатель стремился показать то новое нарождающееся, революционное, что уже складывалось в недрах капиталистического мира. Он учил русскую молодежь жить и бороться за светлое будущее родины, указывал пути этой борьбы

Под влиянием движения народников Омулевский горячо призы-

вал молодежь идти в массы, нести в народ свет правды, быть бесстрашными, готовить революцию. Он создал яркий образ молодого революционера, для которого борьба за благо трудящихся выше личного счастья и благополучия. Революционная убежденность, неиссякаемая вера в силу русского народа, вера в торжество правды людей труда и неизбежную гибель эксплуататоров и тиранов пронизывает все творчество писателя, глубокого патриота и свободолюбца.

В бессмертную книгу развития русской передовой мысли и революционного дела Иннокентий Васильевич Федоров-Омулевский вписал пламенные, волнующие страницы. Это был поистине писатель гражданского мужества и непримиримой революционной борьбы.

Скромная и напряженная жизнь труженика и борца Омулевского оборвалась неожиданно: в Петербурге 26 декабря 1883 года он внезапно умер от паралича сердца.

В газете «Восточное обозрение» так описаны похороны Омулевского: «На гробе лежали два венка от знакомых покойного и впереди несли лавровый венок из иммортелей от нашей редакции с надписью «Земляку-товарищу»; гроб был бедный, деревянный, бедный покров и пара лошадей в колеснице. В числе провожавшей публики было несколько дам и учащаяся сибирская молодежь, знавшая, любившая своего поэта».



В 1870 году в петербургском журнале «Дело» был опубликован роман Омулевского «Шаг за шагом». Действие романа развертывается в Восточной Сибири, в городе Ушаковске, бунт рабочих происходит на Ельцинской фабрике. Река Ушаковка пересекает Иркутск и впадает в Ангару. Недалеко от Ушаковки стоял домик, где жил Омулевский. Отсюда достоверно Ушаковск — Иркутск, Ельцинская фабрика — Тельминская фабрика, одна из старейших в Иркутской области (1784 г.). Гнетущая обстановка Восточной Сибири, края каторги и ссылки, вопиющие нарушения элементарной законности и своеволие царских сатрапов — безраздельных хозяев сибирской вотчины — давали неисчерпаемый материал для обличительного романа, каким явился «Шаг за шагом»

Цензура изъяла отдельные главы и подвергла роман такому решительному «исправлению», что идейный смысл и общественно-политическое значение романа показались цензурно-полицейским властям вполне обезвреженными и поставленными в «надлежащие общественные рамки».

Это издание романа прошло почти незамеченным критикой, но вызвало интерес у читателей, которые теперь с нетерпением ждали выхода романа отдельной книгой

Можно предположить, что автор не случайно согласился на первое опубликование своего романа в таком политически обескровленном виде По существовавшим в то время цензурным правилам, повторное издание могло выйти без предварительной цензуры Действительно, в 1871 году роман появился отдельной книгой, точно воспроизводящей авторскую рукопись Роман назывался «Светлов, его взгляды, характер и деятельность» («Шаг за шагом») Роман набирался по цензурному тексту журнала «Дело», но автор внес добавле-

ния, вернее, восстановил все, что цензура и редакция журнала изменили и вытравили из рукописи при первом опубликовании. Читатели быстро обнаружили несоответствие текстов романа отдельного издания и журнального Цензура забила тревогу и ополчилась на автора. Цензор А. Смирнов специальным рапортом доносил Петербургскому цензурному комитету: «Изданный ныне без цензуры роман под заглавием: Светлов был частями. под цензурою, напечатан в журнале «Дело». Все места, исключенные цензурою при напечатании этого романа в журнале, восстановлены в новом издании»[1] Цензор был особенно возмущен тем, что автор восстановил крамольную главу романа: «Вся фабрика на ногах», в которой правдиво и смело описывался бунт на Ельцинской фабрике. Кстати, описание этого «бунта» является первой попыткой в русской художественной литературе изобразить борьбу рабочего класса за свои политические права, за коренное изменение условий труда и экономического положения. Решительно возражал цензор и против главы «Подводится общий итог», где автор, заключая роман, выражал веру в революционное будущее России: «Да, друг-читатель! Замена найдется, борьба не иссякнет... И не нам, разумеется, приходится извиняться перед тобой, что мы не осмелились изобразить тебе того, что лежит еще в близком будущем и не существует пока в действительности. Поживем, увидим,— тогда и опишем. Светловых еще много будет впереди...»

Несмотря на рапорт цензора, судебное дело против Омулевского Петербургский цензурный комитет возбудить не нашел возможным.

Роман «Шаг за шагом» вызвал самый живой интерес и стал одним из популярных произведений среди передовой демократической молодежи того времени. Он привлекал читателей смелостью мысли, критическим отношением к действительности, революционно-демократическими идеалами. Автор горячо призывал к борьбе за великие идеи прогресса и свободы, рисовал «новых людей» и новые человеческие взаимоотношения. Он писал: «Идти шаг за шагом — не значит плестись, напротив, это значит решительно и неуклонно идти к своей цели». Политическую окраску, неугодную властям и цензуре, придают роману образы старых революционеров, людей «первого открытого политического брожения» — декабристов В главе «Семейство Светловых» рассказывается, как в ссылку отправляют «...трех политических преступников — декабристов. Один из них был граф, с громкой фамилией; другой — блестящий придворный, носивший не менее громкое имя,— яркая звезда тогдашнего литературного мира; а третий, более скромный, принадлежал к числу самых горячих поборников своей партии»

К старому поколению революционеров относится в романе и Матвей Николаевич Варгунин, которого автор наделил чертами М. В. Буташевича-Петрашевского. Известно, что в 60-х годах этот

---

[1] Здесь и ниже цитирование материалов, касающихся цензурных преследований романа «Шаг за шагом», ведется по данным Ленинградского Центрархива (Фонд Петербургского цензурного комитета и главного управления по делам печати). Эти материалы, в связи с переизданием романа «Шаг за шагом», были представлены Иркутскому областному издательству в 1937 г.

революционный деятель жил в ссылке в Иркутске Омулевский имел возможность лично общаться с ним.

Главный герой романа — Александр Светлов тесно связан со старыми революционерами, но это уже представитель «нового времени» и «нового поколения», активный поборник атеизма и материализма

Светлов самоотверженно борется за торжество новых идей, стремится по-революционному разрешить жгучие вопросы современности о роли интеллигенции в общественной борьбе, о воспитании и образовании, о массовой просветительной работе среди народа, об эмансипации женщин и др. Правда, в решение этих проблем Омулевский не вносит ничего существенно нового; заслуга его состоит в том, что он горячо и убедительно популяризирует принципы свободного сообщества людей, блестяще разработанные Чернышевским в его романе «Что делать?».

Омулевский действует как смелый и убежденный революционер, его не пугает то, что принципы Чернышевского с их материалистической основой решительно преследуются царской властью, и каждому, кто осмеливается их пропагандировать, грозит суровая расправа

В 1874 году Петербургский цензурный комитет доносил в Главное управление по делам печати «Как известно, роман Омулевского пропагандистами революционно-социальных идей, наравне с романом Чернышевского «Что делать?», рекомендуется молодежи в качестве наиболее назидательного чтения для подготовления к революционной пропаганде. И действительно, его следует причислить к таковым, ввиду крайне вредных тенденций, с великим воодушевлением приводимых в этом произведении.

По всему изложенному Комитет не считает возможным дозволить, в каком бы то ни было виде, этот вредный роман, разжигающий в молодежи социалистический фанатизм и жажду революционной пропаганды, рекомендующий молодежи идти по стопам агитатора и пропагандиста Светлова»

Полицейско-цензурные власти относили роман к запрещенной, «крамольной» литературе, за чтение его преследовали. Однако молодежь переписывала его и тайно распространяла так же, как знаменитый роман «Что делать?» Чернышевского и запрещенные произведения Герцена и Белинского. Даже в наше время у букинистов Иркутска можно встретить старые рукописные экземпляры романа «Шаг за шагом»

Романом зачитывались, о нем много говорили и спорили. В развитии передовой общественной мысли в России он сыграл существенную роль. Несмотря на широкую популярность романа, попытки переиздать его пресекались цензурой. В 1874 году издатель Н. Трапезников попытался переиздать роман под его первоначальным названием: «Шаг за шагом Светлов, его взгляды, характер и деятельность». Цензор Лебедев послал в Петербургский цензурный комитет обширный доклад, в котором дал такую характеристику романа: «Роман Омулевского «Шаг за шагом» заключает в себе крайне тенденциозное направление. Он весь пропитан неприязненным чувством к современному общественному порядку и строю». Цензор резко критикует фабулу романа, называет ее незамысловатой, он особенно старательно подчеркивает «недопустимые» места. «... в романе пропове-

дуется учение о независимости женщин, и женщины, живущие не своим трудом, а на средства мужей, без церемонии называются содержанками. Родительская власть признается стеснительною, и требуется полный простор и независимость в действиях детям, вышедшим из ребяческого возраста. Всюду между строк проглядывает затаенная ненависть к высшим и достаточным классам, а низший, работящий, простой народ представляется в мрачном и приниженном виде», «...где случается автору упоминать о декабристах, он отзывается о них с особенным сочувствием», «...помогает ему (Светлову — Г. К.) один из друзей его, такой же нигилист, по имени Варгунин, с которым основывают они бесплатную школу для мальчиков и девочек, и при ней воскресные уроки для чернорабочих...» «...Варгунину вздумалось познакомить Светлова с плодами своей учительской деятельности на одной большой соседней фабрике... Рабочие вздумали задать приезжим друзьям пир и, разгулявшись, зашумели на пире, что вызвало вмешательство фабричного начальства. После безуспешных увещеваний ближайшего начальства фабричных к ним явился сам директор фабрики полковник Оржеховский, которого они встретили самым неприязненным образом и довели свое неистовство до того, что в присутствии всего народа высекли директора.

Возмущение фабричных описано автором весьма подробно, и не только без порицания действий бунтовщиков, но сочувственно к ним...»

В заключение цензор настаивает подвергнуть роман аресту, мотивируя это так: «В сочинении Омулевского «Шаг за шагом» в романтической форме проводятся учения, несогласные с видами правительства и с общественным порядком, направленные преимущественно к возбуждению молодого поколения против основных начал всякого благоустроенного общества, и что роман этот не может не действовать растлевающим образом на молодого читателя, на которого он только и рассчитан».

Издание было арестовано и целиком изъято. Та же участь постигла и вторую попытку переиздать роман. В 1896 году, спустя тринадцать лет после смерти автора, издательница О. Н. Попова добивалась сама и через жену Омулевского разрешения на переиздание романа, но безуспешно. Роман был набран, готов к выходу в свет, но изъят цензурой. Лишь после тридцати пяти лет борьбы за роман его удалось переиздать. Под давлением революции 1905 года царское правительство вынуждено было пойти на ряд политических уступок, в частности и в вопросах цензуры. В 1906 году издательство А. Ф. Маркса выпустило сочинения И. В. Федорова (Омулевского) в двух томах, под редакцией П. В. Быкова.

При Советской власти роман Омулевского «Шаг за шагом» был впервые издан в 1923 году государственным издательством РСФСР, затем Иркутским книжным издательством в 1950, 1953 гг., Курским — в 1955 г. и др.

* * *

Роман «Шаг за шагом» затрагивал самые животрепещущие общественно-политические проблемы, рисовал смелых, благородных людей, разрушителей всего старого, борцов за новое и светлое. Ро-

ман вызвал острую политическую борьбу общественных мнений. Короленко в «Истории моего современника», подчеркивая исключительный успех романа «Шаг за шагом», писал: «...Герои прогрессивной беллетристики несли разрушение старому миру Художники-консерваторы звали своих героев на его защиту... Будущее кидало впереди себя свою тень, и мглистые образы сражались в воздухе задолго еще до того времени, когда борьба назревала в самой жизни. Среди этой литературы выделялись «Знамение времени» Мордовцева и «Шаг за шагом» Омулевского» Короленко указывает, что первостепенные писатели не брались изображать подлинных «новых людей», передовых героев времени. Первый план литературы занимали еще Рудины и Лаврецкие «с их меланхолически отрицательным отношением к действительности и туманными предчувствиями».

За изображение нового героя времени взялись писатели революционно-демократического направления.

В борьбе с установившимися традициями в литературе, с ее героями, уже сыгравшими свою историческую роль, получившими меткое определение «лишних людей», революционно-демократические писатели выдвинули новый тип романа — социально-публицистический Для революционно-демократических писателей смысл истинной художественности, существо подлинной эстетики рисовалось в иных формах. Главное было не в красоте стиля (и красоту стиля эти писатели понимали по-новому) не в психологических «копаниях» в раздвоенной душе героя, а в здоровой тенденции, в подчеркнутом противопоставлении «идеальным типам», в либерально-дворянском понимании, положительных героев нового времени. Эти герои были активными разрушителями порочного уходящего мира, борцами за свободу, прогресс и человеческое достоинство Как правило, эти герои были выходцами из трудовых слоев общества, из разночинной среды. Новый герой властно демократизировал литературу. В основе его деятельности была самоотверженная борьба за общественные идеалы в революционно-демократическом понимании, он боролся со злом старого мира, внедряя новые философские и нравственные, моральные и эстетические понятия, он разговаривал своим языком, языком страстного публициста, убежденного революционера. Все это диктовало особые литературно-художественные формы.

Попытки объявить романы Чернышевского «Что делать?» и «Пролог» внелитературными явлениями, считать их произведениями нехудожественными — один из испытанных приемов врагов революционно-демократического направления русской литературы. Достаточно вспомнить нападки реакционеров и либералов, обвиняющих в нехудожественности и в неэстетичности роман Герцена «Кто виноват?», гражданско-обличительную поэзию Некрасова, едкую сатиру Салтыкова-Щедрина, очерки Г. Успенского и т. д. Подобного рода отрицательные «отзывы» либеральная и реакционная критика обрушила и на роман Омулевского «Шаг за шагом» Отрицалась не только художественная значимость романа,— автора зачислили в раздел бездарных писак. Наиболее откровенно и развязно высказал такое мнение реакционный писатель К. Головин в статье «Русский роман и русское общество» Он пытался доказать, что популярность «Шаг за шагом», этого «ничтожного» романа, горячий интерес к нему — лишь обидное недоразумение.

Анонимный критик журнала «Вестник Европы», этого открытого

рупора «прекраснодушного русского либерализма», утверждал: «Шаг за шагом» — лишь беллетристика добрых намерений. Называя роман одним из «наиболее умных и даровитых произведений добрых намерений» он подчеркнул «Это не роман, а программа для тех, кто желает быть полезным, программа, разумеется, во вкусе автора и подлежащая спору и анализу, но внушенная искренним и горячим чувством...» «Для начинающего писателя,— пишет незадачливый критик — этого, может быть, и довольно, но произведения более сильного от него ожидать едва ли возможно уж потому, что ни в идее романа, ни в его исполнении ничего не находим особенно свежего, оригинального, оторвавшегося от обыкновенной рутины беллетристики добрых намерений...»

Совершенно по-другому, принципиально правильно оценивала идейно-политическое и художественное значение романа «Шаг за шагом» передовая демократическая критика. Особенно интересна и убедительна рецензия Салтыкова-Щедрина («Отечественные записки», 1871 г.). Великий писатель и критик подошел к оценке романа с историко-общественных позиций, в свете ожесточенной политической борьбы своего времени. Несмотря на цензурные ограничения, он сумел высказать мнение демократической части общества.

Салтыков-Щедрин выделяет четыре вопроса, которые затронуты в романе «Шаг за шагом» и являются живым отражением революционно-демократического отношения к жгучим проблемам современной жизни Это вопрос о свободе мышления, рабочий, женский и народного просвещения. Он писал «Нам скажут, быть может, что в романе г Омулевского бросается в глаза очень большая доля книжности, что герои его романа, более чем нужно, походят друг на друга, что действие идет несколько вяло и т д.— и мы, конечно, вынуждены будем принять эти замечания к сведению. Но мы считаем при этом долгом обратить внимание читателей на одно обстоятельство, имеющее, по нашему мнению, при оценке произведения г. Омулевского существенное значение Дело в том, что новые идеи, которых касается автор, входят в общий обиход очень туго, а еще туже проникают в самую жизнь, то есть достигают признания для себя. Это затруднение имеет тот непосредственный результат, что художественное воспроизведение практических проявлений этих идей невольным образом суживает свои границы и видит себя в невозможности воспользоваться всем разнообразием существующих форм Женщину, ищущую для себя самостоятельного места на жизненном пире, изобразить, конечно, труднее, нежели женщину, обманывающую своего мужа и за всем тем живущую на его содержании. Относительно обманывающих женщин существует целая литература и, наконец, великое множество устных преданий, из которых можно вывести очень обстоятельную теорию и на основании ее выкроить множество моделей не лишенных жизненной правды Напротив того, о женщине, ищущей самостоятельного положения, слухи пошли лишь недавно, и притом самая эта задача, вследствие своей неразработанности, представляется уличному вниманию в такой обстановке, которая с трудом удерживается в пределах опрятности»

И дальше Салтыков-Щедрин, отмечая благородные усилия Омулевского разрешить эти сложные и очень острые проблемы, подчеркивает, что автору удается встать на путь образного воспроизведе-

ния жизни. С необычайной четкостью и ясностью Салтыков-Щедрин дает оценку роману «Шаг за шагом», как произведению значительной художественной силы: «...Мы, по совести, можем сказать, что г. Омулевский в художественном отношении стоит далеко впереди тех более опытных беллетристов, которые идут с ним об руку в одном и том же честном литературном направлении, но в то же время не подают никаких надежд на освобождение от голословности».

Политическая борьба вокруг романа «Шаг за шагом» не прекращалась вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Роман имел значительное влияние на развитие русской революционной мысли, на демократизацию нашей литературы и литературные вкусы читателей, особенно молодежи. Неправильно было бы объяснить это влияние и успех романа только смелостью его революционных идей. Бесспорно, в борьбе с установившимися традициями дворянской литературы такие произведения, как «Что делать?» Чернышевского и в определенной мере «Шаг за шагом» Омулевского, прокладывали новые пути в создании и становлении революционно-демократического течения в русской литературе, в создании и соответствующих литературно-художественных форм беллетристики — русского социально-публицистического романа революционной мысли и революционного дела.

Художественная форма романа помогает донести до сердца читателя и его разума идейную направленность произведения. Автор умело и убедительно показывает революционную целеустремленность главного героя, его стойкий характер. На протяжении всего романа писатель гордится и любуется главным героем, показывает его читателю с самой лучшей стороны, стремится авторскими отступлениями, а чаще диалогами, подчеркнуть и во внешнем и во внутреннем облике его мягкость, обходительность, некоторую аристократичность. Герой — демократ, материалист самоотверженный борец, отрицатель всего пошлого, но, как бы в противоположность Базарову, он не угловат, не резок, не груб ни в спорах, ни в действии. Это подчеркивается, в частности, в отношении к родителям, особенно к матери. Он всегда предупредителен, ласков и нежен.

Ряд эпизодов в романе рисуется с большим знанием жизни, с правдивостью и мастерством. Сюда относятся картины бунта на заводе, изгнание рабочими директора за нарушение «рабочей этики» — оскорбление выборных людей и своеволие. Такое художественно яркое изображение бунта рабочих было создано впервые в русской литературе.

Бесспорно, в романе можно обнаружить авторские промахи и недостатки, но в целом «Шаг за шагом» — произведение, которое восхищало современников, которое и сейчас не потеряло своей притягательной силы.

Ценность романа для нас не столько в его эстетических достоинствах, не столько в художественном мастерстве, сколько в историко-познавательной стороне произведения, в правдивой передаче политической атмосферы, которая была характерна для общественной борьбы той эпохи.

Говоря о ценности и жизненности романа «Шаг за шагом», уместно вспомнить одно высказывание Поля Лафарга в труде «Происхождение романтизма»: «Литературное произведение, если оно

даже лишено художественной ценности, приобретает высокую историческую ценность, раз оно имеет успех у читателей. Критик-материалист может изучать его с уверенностью, что уловит на его страницах действительные впечатления и переживания современников».



Прошло девяносто лет со дня появления в печати романа «Шаг за шагом», но интерес к нему не погас, да и не может погаснуть. Роман проникнут горячей надеждой свергнуть старый мир, верой в светлое будущее России и ее народа.

Роман имеет не только историко-познавательное значение; от него веет здоровым революционным оптимизмом; обаятельный образ главного героя — Светлова — близок и дорог нам Идеалы Светлова, его благородные порывы и дела мы, люди советской эпохи, не можем забыть.

Современный читатель, бесспорно, с большим интересом и пользой для себя прочтет эту книгу в «Библиотеке сибирского романа».

Г. Кунгуров.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

ПОСЛЕ МНОГИХ ЛЕТ РАЗЛУКИ

Веселое да чистое такое всходило сегодня майское солнышко, точно оно умылось перед этим. Золотисто-розовые лучи его, казалось, собрали на этот раз всю свою раннюю теплоту, чтоб хорошенько пригреть землю, успевшую отвыкнуть за зиму от этой роскоши. Во влажном воздухе, насквозь пропитанном испарениями первой нежной растительности, вполне чувствовалась весна. Она наступала необыкновенно рано в нынешний год. Ушаковск,— один из лучших губернских городов Восточной Сибири,— весь был погружен еще в крепкий утренний сон. Только по главной улице его, широкой и прямой, резко раздавались, среди невозмутимой тишины, бодрые звуки пастушеского рожка, вызывавшего в поле городское стадо. По мере того как эти обычные звуки забирали все больше и больше силу, здесь и там со скрипом отворялись приворотные калитки, и запоздавшая прислуга, босиком и спросонок, лениво выгоняла на улицу хозяйских коров. Вытянув шеи и радостно мыча, они спешили присоединиться к ушедшим вперед товарищам.

Лизавета Михайловна Прозорова провела незаметно всю ночь напролет за чтением какой-то очень заинтересовавшей ее книжки и, вероятно, продолжала бы читать и еще, если б солнечный луч, ласковый как котенок, не

успел изменнически проникнуть в ее спальню сквозь опущенную штору. При виде его она утомленно потянулась, взглянула мельком на часы, лежавшие возле, на ночном столике, заложила ленточкой недочитанную страницу и прошла через залу на балкон. Лизавета Михайловна так и не раздевалась с вечера.

«Как хорошо!» — подумала она вслух, вся обхваченная утренней свежестью,— и посмотрела, прищурившись, на солнце. Балкон был во втором этаже и выходил прямо на главную улицу, в конце которой стлалась теперь золотистая пыль, поднятая уходившим стадом. Вдали, над рекой, поднимался легонький, чуть заметный пар, а еще дальше — мягко выступали на горизонте волнообразные очертания гор в синевато-розовой дымке. Со всех концов города то и дело перекликались петухи, приветствуя доброе утро. Полюбовавшись вдоволь видом с балкона, Лизавета Михайловна села тут же на стул, прилегла головой на холодные перила и долго оставалась в таком положении, устремив бесцельно глаза на одну какую-то точку вдали.

О чем она думала в эти минуты? Да многое проходило теперь в ее душе. С какой-то болезненной раздражительностью старалась она уяснить себе, например, отчего это содержание только что читанной ею и, очевидно, хорошей книги являлось как бы уликой всего того, что она пережила и передумала, и в то же время стояло вразрез с этим пережитым и передуманным? Да еще, бог весть, вправе ли она — молодая, богатая, пользующаяся хорошим положением в обществе,— допытываться от жизни чего-то до такой степени темного, что она и сама не понимает еще хорошенько, чего именно, да, верно, и не поймет никогда? И будто жизнь должна непременно сложиться у нее иначе, чем сложилась у других, как, например, у ее матери, посвящавшей все свое время на заботы о хозяйстве, о детях? Нет, это все пустые капризы,— и ей, серьезной Лизавете Михайловне, матери семейства, просто не следовало бы читать подобных книжек; они только бесполезно раздражают ее мысли, не давая им никакого исхода, да отрывают ее от прямых обязанностей... Но неужели же, в самом деле, так-таки и должна прожить она, не изведав, не разрешив многого, что хотелось бы ей изведать и разрешить? Вот, например, не знала она никогда горячей, обхватывающей всю душу привязанности, кроме той,

какою с избытком пользуются ее дорогие, славные детки, Но, может быть, оно и к лучшему? Может быть, эта иная, горячая любовь вытеснила бы их из ее сердца? Как! Вытеснить этих милых крошек из ее сердца? Да кому же она позволит это? Нет, нет, боже сохрани! — Ни за какую любовь в мире не принесет она никогда такой невозможной жертвы! И все-таки ей недостает чего-то. Со стыдом и болью в сердце должна она нередко признаваться самой себе, что этого «чего-то» недостает ей и тогда (даже и тогда!), когда вся она отдается горячим детским ласкам... И почему это всякий раз, как прочтет она какую-нибудь хорошую книжку, приходят к ней эти мучительные мысли? Что, если подобная книжка только ей, Лизавете Михайловне, кажется хорошей, а в сущности, она, быть может, и дурная, вредная книжка? Зачем же, в таком случае, отец ее,— этот честный, прямой и такой добрый старик,— берег подобные книги, как зеницу ока, в своем незатейливом шкафике? Если он так дорожил этими книгами, что даже ей, избалованной его ласками, не всегда позволял играть ими, то разве могли они быть дурными? Лизавета Михайловна очень хорошо помнит, как он однажды строго пригрозил ей за то, что она вздумала потрепать которую-то из них без спроса. Через несколько минут он, правда, стал опять по-прежнему ласков, но и тут кротко заметил ей, что нехорошо так бесцеремонно обращаться с его «лучшими друзьями». Да, он употребил тогда именно это выражение. Как жаль только, что ей не вспомнится ни одного из тех оживленных разговоров, какие вел он, бывало, по поводу этих самых книжек, когда изредка навещал его какой-нибудь старый товарищ. «Ведь вот, кажется, и неглупа я,— тоскливо подумала Лизавета Михайловна, отстраняя ряд иных, набегавших в ее голову мыслей, — а одной мне ни за что не справиться с этими вопросами...»

— Ты о чем это, мамочка, тут мечтаешь? — раздалось вдруг над самым ухом Лизаветы Михайловны, так что она даже вздрогнула от неожиданности. Младшая дочь ее, Сашенька, без памяти любившая мать, на цыпочках прокралась на балкон и теперь, звонко смеясь, целуя и обнимая ее, стояла перед ней босая и закутанная в голубое шелковое одеяльце.

— Ах, как ты испугала меня, Шура! — сказала Лизавета Михайловна, отвечая ласками на ласки.— Да ты и

босиком! — спохватилась она через минуту.— Ах, какая же ты, ей-богу! Поди обуйся скорее, а то я сейчас уйду отсюда. Помнишь, как ты охала в прошлый раз, когда простудилась? Ну, поди же, поди,— ты ведь у меня умница! — говорила ласково мать, любуясь свежим личиком ребенка.

Девочка убежала, резво засмеявшись, и через минуту вернулась снова, уже обутой, но все в той же голубой тоге и с тем же наивным вопросом.

— Да, о глупостях, Шура, мечтаю,— ответила ей уклончиво Лизавета Михайловна.

— Разве о глупостях, мамочка, мечтают? — приставала бойкая девочка.— Ах, как тут славно! Вон кто-то на тройке едет! — радостно закричала она погодя, перевесившись через перила балкона.

— Ты упадешь, Саша! — притянула ее к себе Лизавета Михайловна и посмотрела в даль улицы.

В самом деле, из-за угла ближайшего переулка выезжала шагом почтовая повозка, запряженная тройкой. Ямщику, по-видимому, нарочно было приказано не торопиться, так как в сильных и здоровых лошадях не замечалось ни малейшего признака усталости. В повозке сидел молодой человек с окладистой русой бородой. Одет он был хотя и в дорожное запыленное платье, но оно, вместе с манерами проезжего, сразу обличало в нем для привычного глаза непровинциальное происхождение. Через плечо у него перекинута была дорожная замшевая сумка, а лакированный ремень от фуражки изящно окаймлял умное серьезное лицо с большими темно-голубыми глазами. Проезжий с каким-то особенным, напряженным вниманием осматривал каждый попадавшийся ему на пути предмет, точно хотел изучить до мельчайших подробностей проезжаемую им теперь местность. Заметно было по оживленному лицу молодого человека, что им овладели самые разнообразные мысли и чувства. Их у него, действительно, нашлось много в эту минуту, никак не меньше, чем незадолго перед тем у Лизаветы Михайловны, хотя они и были несколько иного свойства.

Ровно десять лет миновало с тех пор, думалось ему, как покинул он, еще юношей, этот родной город, где окончилось его детство, не то светлое, не то темное. С тех пор ничто, по-видимому, не изменилось здесь. Вот он узнает каждую улицу, каждый дом, даже чуть ли не каждый

столбик на деревянном, плохо содержимом тротуаре. Так живо сохранились у него в памяти все эти мелочи. Правда, вон там недостает как будто длинной скамейки у ворот, а этот покосившийся домик в три окна изменил дикий цвет своей окраски на желтый; вывеска библиотеки Шустова и К° несколько отцвела и покривилась; здесь подновилось старое питейное заведение, а вот тут, очевидно, открыто новое; этот большой каменный дом в три этажа, только что начинавший строиться при нем, смотрит теперь совершенно жилым домом,— но и только. Все остальное, за весьма немногими исключениями, сохранилось на своем месте, в прежнем виде, совершенно так, как оставлено им десять лет тому назад. Зато как страшно изменился он сам в эти десять лет! Чувствуется ему, что между тем миросозерцанием, с каким он покидал некогда этот город, и тем, с каким он въезжал в него теперь, легла целая пропасть... То и дело попадающиеся на глаза родные предметы кажутся ему не то чужими, не то незнакомыми. Тайна их былой прелести для него как будто разрешилась или не выдерживает критики развившейся мысли. Он может смело и спокойно заглянуть теперь в самую глубь того, что прежде не давалось даже и поверхностно его незрелому наблюдению. Кажется ему, что если б он мог приподнять в настоящую минуту крыши всех этих домов и проникнуть в самые задушевные помыслы их обитателей,— немного бы нового он узнал и увидел. Тем не менее как-то отрадно действует на него эта проверка прошлого с настоящим; тем не менее и теперь милы ему беспрестанно попадающиеся на глаза, отчасти позабытые, но знакомые предметы. Интересно знать, как-то он уживется еще с этим обществом, от которого совершенно успел отвыкнуть и мелкие интересы которого должны непременно, рано или поздно, встать вразрез с его личными, далеко не будничными интересами? Впрочем, ему попадались здесь люди, некогда пугавшие его непонятным ему тогда образом своих мыслей,— люди, у которых он с удовольствием поучится теперь коечему. Да, жить будет можно, можно будет с такими людьми делать и свое дело... Как-то найдут его родные? Как-то встретят его отец, мать, особенно мать? На первых порах ласково, конечно, а потом порядочно достанется ему за все... Интересно, насколько выросли сестра, брат; насколько развились они за эти десять лет? С

ними-то он уживется с первого дня, с первого дня примет их сторону, как и они примут его, иначе и быть не может. Старуха-то мать как обрадуется ему! Выбежит навстречу, а отец станет только покашливать, солидно улыбаться, будто и не случилось ничего необыкновенного, а сам тоже будет рад-радехонек увидеться с сыном...

Вот какие, действительно разнообразные, мысли волновали проезжего. Подъезжая к дому, где Лизавета Михайловна с Сашенькой все еще оставались на балконе, он вспомнил данное самому себе на последней станции обещание — поклониться первому, кого встретит при въезде в город. На заставе его прозевали, с пастухами он сам разъехался, а между тем до дома было уже недалеко. Молодой человек улыбнулся этому ребячеству своей мысли — и осмотрелся. Лизавета Михайловна с дочерью невольно бросились ему в глаза в ту же минуту, но он пришел сперва в некоторое затруднение. Не покажется ли этой даме, которую он всего в первый раз в жизни видит, оскорбительным его ребяческий поклон? Не святым же духом узнает она, в самом деле, что этот наивный привет предназначается, в ее лице, целому спящему городу? А между тем именно ей бы и следовало передать такой привет, если уж его непременно следует передать кому-нибудь: у нее такое умное, приветливое лицо.

«Была не была — поклонюсь!» — мысленно решил проезжий через минуту и отстегнул ремень у фуражки. «Приветствую в лице вашем, сударыня, мой родной город после десяти лет разлуки с ним!» — выговорил он про себя и почтительно поклонился Лизавете Михайловне, когда тройка поравнялась с балконом.

Изумленная до крайности такой неожиданной выходкой, Прозорова ответила на нее не сразу, но все-таки поклонилась и, надо отдать ей справедливость, сделала это очень мило и просто.

— Кто бы это мог быть такой? — невольно заинтересовалась она вслух.

— А вот видишь, мамочка, ты все сидела да мечтала тут, будто ждала кого-то... вот он и приехал! — наивно сказала неугомонная Сашенька, услыхав вопрос матери.

— Кто приехал? — переспросила Лизавета Михай-

ловна, вся вспыхнув почему-то.— Какой ты, Саша, вздор говоришь! — прибавила она недовольно.

— Да вон тот вежливый человечек...— ответила не без лукавства Сашенька, указывая пальчиком на удалявшуюся тройку.— Не сердись, мамочка... Ну, не сердись же, мамочка! — стала ласкаться она к матери, заметив у нее серьезное лицо.

Лизавета Михайловна промолчала.

— Ты сердишься, мамочка? Мама! — тормошила ее девочка, приняв и сама то серьезное выражение, какое умные дети так ловко перенимают у больших.

— Ведь ты знаешь, что мамочка не любит, когда говорят глупости, зачем же ты делаешь это? — мягко заметила ей мать.

Девочка бросилась к ней на шею и стала горячо целовать ее.

— Ведь мне, мамочка, тебя жалко: ты отчего-то невеселая такая всегда, все сидишь дома? Не хитри, не хитри, мама!..— заговорила порывисто Сашенька, когда Лизавета Михайловна принудила себя улыбнуться.— А это что? А это что? — спрашивала она, пытливо заглядывая в лицо матери и дотрагиваясь пальчиком до ее глаз, где действительно блестели теперь две крупные слезинки.

— Пустяки, Шура...— успокоила Прозорова дочь,— это от солнца. Золотая ты у меня девочка! — горячо обняла она ее потом.— Пойдем, холодно здесь,— и Лизавета Михайловна взяла за плечи Сашеньку, которая, уходя, как-то недоверчиво поглядывала все на глаза матери...

Совершенно довольный своей ребяческой выходкой, проезжий подъехал между тем к серенькому домику в пять окон на улицу, над воротами которого прибита была обычная, совсем полинявшая жестяная бланка, гласившая, что дом этот принадлежит надворной советнице Светловой. Молодой человек быстро выскочил из повозки и стал нетерпеливо звонить у ворот. Но ему пришлось постоять здесь добрую четверть часа, прежде чем отворилась калитка. Высунувшийся наконец оттуда бурят-работник, лениво почесывая спину, так же лениво осведомился:

— Хово надо?

— Наши все здоровы? — мельком спросил у него молодой человек и, не дожидаясь ответа, торопливо пошел к маленькому флигелю во дворе.

— Хах же псе здорова,— ответил бурят, изумленно вытаращив глаза на приезжего.

Но бесцеремонное обращение последнего заставило, наконец, работника догадаться, что это приехал их «болодой барич из Бетербуха», как объяснил он через минуту на кухне засуетившейся «стряпке».

На усиленный стук приезжего маленькая дверь флигеля быстро приотворилась, на секунду мелькнула в ней чья-то русая непричесанная головка, затем послышалось в комнате: «Мама!.. Саша! Саша приехал!» — и навстречу входившему уже в переднюю молодому человеку бросилась с радостными поцелуями хорошенькая молодая девушка, вся покрасневшая от удовольствия.

— Здравствуй, Оля! Фу, как ты выросла! — говорил взволнованно приезжий, целуя ее в свою очередь.

Не успели еще брат и сестра поздороваться хорошенько, как из соседней комнаты опрометью выбежала босая, низенькая и худенькая, совсем седая старушка, в одной ночной рубашке, и с радостными слезами кинулась на шею приехавшему сыну.

— Голубчик ты мой! И узнать-то тебя нельзя!..— растерянно-радостно говорила она сквозь подступавшие к ее горлу отрадные слезы и несколько раз принималась обнимать сына.

— А где же отец? — спросил молодой Светлов, когда мать освободила его на секунду.

— И мы, брат, здесь налицо,— послышался позади его бодрый стариковский голос.— Здорово, парень!

Старик Светлов хотя и спокойно обнял сына, но сквозь суровые черты его лица просвечивала глубокая, как бы затаенная радость, а в глазах замечалось то особенное выражение, какое всегда принимают они перед набегающими слезами.

— Каким, брат, ты, однако, иностранцем смотришь! — говорил он, весело и самодовольно оглядывая сына,— не узнал бы я тебя, кабы на улице встретился... Бородища-то какая!

— А у самого-то у тебя что? Как эмигрант какой весь оброс бородой...— радостно шутил молодой Светлов.— А вот ты, мама, так похудела сильно. Да я на

тебя еще и не посмотрел хорошенько,— спохватился он вдруг и взял старушку за плечи.— Постарела-то как! сколько волос-то седых... батюшки!

— Молчи, Санька, теперь поправлюсь. Вишь, радостей-то у нас немного было, да и по тебе-то сильно уж я скучала. Как он там, думаю, мой батюшка, живет на чужой-то стороне, бедствует, поди, все?

— Да ведь я же тебе писал несколько раз, что живу отлично...

— Да, как же! так я тебе и поверила. Ты ведь гордец, я знаю: хоть и тошно придется, да не напишешь.

— Эх, мать! было о чем беспокоиться,— сказал старик Светлов, совершенно развеселившись,— ты посмотри-ка на него хорошенько: этакие ли пропадают?

— Ну, уж ты, отец, шутник! Этакие-то, батюшка мой, еще скорее пропадают...

— Правда, правда твоя, мама...— отшучивался сын.— Что же это я! а где же Владимир-то? — спохватился он снова и побежал прямо в спальню.

— Да видишь, он еще не разгулялся хорошенько,— спал. Ну, да и неодетый... Стыдится петербургскому-то гостю показаться в неприличном виде. Мы уж теперь гимназисты ведь! — шутила старушка, следуя за убежавшим сыном.— Владимирко! — подошла она к кровати, стоя возле которой приезжий Светлов тормошил уже и целовал стыдливо кутавшегося от него в одеяло полнощекого мальчика,— ведь это брат приехал, Саша... Вставай, батюшка!

Мальчик мало-помалу разгулялся, но все еще конфузливо и недоумеваючи поглядывал на брата, полуразинув рот. Он точно никак не мог справиться с мыслью, что этот высокий, такой красивый и так славно одетый мужчина с бородой — тот самый брат его, Саша, которого он припоминал себе всегда довольно смутно, но о котором так много наслышался и от родных и от посторонних. Ему было и жутко как-то, и удовольствие большое он чувствовал.

— Ну, узнал ты меня? — тормошил его брат.

— Постойте!..— стыдливо барахтался Владимирко,— всю мне шею бородой искололи...

— Погоди, погоди! — смеялся отец,— он тебя еще не так... Он ведь бедовая голова, парень.

— На радостях-то я и позабыла совсем,— спохвати-

лась мать, с усилием отрываясь глазами от возившихся братьев,— чем же мы будем угощать-то дорогого гостя? Ты чего, Саня, хочешь? Чай станешь пить или закусить чего хочешь?

— Чего тут спрашивать еще! Вели-ка, брат, лучше, мать, всего понемножку изладить. Он ведь с дороги-то небось порядочно проголодался,— заметил радушно отец.

Оленька тотчас же опрометью бросилась на кухню распорядиться.

— Ты, Оля, очень-то не хлопочи обо мне,— закричал ей вслед молодой Светлов,— я ведь на этот счет неприхотлив.

— Ты, парень, водки не хочешь ли выпить с устатку? — спросил его старик.

— Да, пожалуй, рюмку с удовольствием выпью.

— Давно бы ты сказал. Ты, братец, не церемонься и извини; мы ведь, покуда еще не обнюхаем тебя со всех сторон, все будем ходить как ошалелые. Это уж, брат, такое положение у нас,— и старик, горячо обняв сына, повел его в свой старомодный кабинет, куда вслед за ними поспешила и мать.

Старики сели рядом на диван, а сын поместился напротив, в кресле. Через минуту к ним присоединилась и Оленька, взобравшаяся на отцовский письменный стол.

— Ну, как же вы тут поживали-то без меня? — заговорил молодой Светлов.

— Да как, батюшка, жили? Жили, как всегда. Отца-то вон со службы вытурили...— пожаловалась мать.

— То-то ты и бороду-то отпустил,— заметил Светлов отцу.— Как же это случилось, что ты в отставку вышел? Неприятности были какие, что ли?

— Какие, братец, тут неприятности! Просто призвали, да и сказали: извольте-ка, мол, подавать в отставку. Ты, дескать, уж стар, пора отдохнуть, надо и честь знать; солдату, мол, так и тому двадцать пять лет службы полагается, а ты ведь уж тридцать пять лет служишь! Не мешает, дескать, и молодым дорогу дать. Что, брат, станешь делать! Плетью обуха не перешибешь...— говорил грустно старик.

— Но... гнать человека насильно из службы только потому, что он тридцать пять лет прослужил честно! — возмутился сын.

— Хе, парень... мало ли у кого что как называется, а по-ихнему это — *чивилизачия.* Так вот ты и толкуй с ними!

— А тебе бы наплевать на них, да и поискать частной службы? Ведь тебя здесь все знают.

— И искал, братец, ходил, кланялся,— смеются. Полноте, говорят, Василий Андреич, шутить вам: мы сами-то еще сбираемся попросить у вас местечка, как завод где-нибудь откроете. Чиновник, думают,— воровать станет... ну, и отшучиваются.

— Да ведь тебя же считали всегда честным человеком? — заметил сын удивленно.

— Та́к что ж такое, что считали? И теперь, может быть, считают, а места все-таки не дают...

Старик тяжело вздохнул, закурил свою коротенькую, лет двадцать неизменно служившую ему, насквозь пропитанную табаком трубку и как-то сосредоточенно-грустно стал потягивать из нее дым.

Молодому Светлову стало жаль отца.

— Эх, папа, папа! погоди: авось и на нашей улице праздник будет...— сказал он, стараясь развеселиться.

— Нет уж, брат, парень, на нашей-то его не будет, хоть бы на твою-то достало, так и то ладно,— еще тяжелее вздохнул старик.

— Ну, будет тебе, отец, ворчать. Кто в этакий день печалится! — заметила старушка мужу и стала с любовью вглядываться в сына.

— Да я и не печалюсь, мать, а надо же мне чем-нибудь похвастаться петербургскому-то гусю...— лукаво подмигнул ей старик на сына и снова повеселел.

— Я вот теперь смотрю на тебя, Саня, да и думаю: Санька мой как Санька, а только чего-то шибко переменилось у тебя, и разговор-то совсем какой-то другой будто стал, и есть вот чего-то такое... ну, не могу я тебе никак рассказать этого... То ли ты похудел, то ли ты поздоровел — не разберешь...— говорила старушка, все пристальнее и пристальнее вглядываясь в сына.

— Совсем иностранец, мать,— со смехом поддержал ее старик.— Да уж ты, парень, не оборотень ли какой? — обратился он с тем же смехом к сыну.

— Еще что выдумал, отец, прости господи! — встревожилась старушка и перекрестилась.

— Не провалился от креста? — ну, значит, не обо-

ротень,— продолжал добродушно подсмеиваться над ней муж.

— В самом деле, Александр, ты сильно переменился,— заметила Оленька брату.

— Охотно верю,— ответил он улыбаясь.— Ты вот тоже переменилась: уж невестой смотришь.

Оленька хотела еще что-то сказать, но в эту минуту в кабинет вошла ее горничная, Маша, с подносом в руках. На подносе стояли две тарелки — одна с дымившимся бифштексом, а на другой лежали нарезанный тонкими ломтиками черный хлеб, вилка и ножик. Маша посмотрела на приезжего искоса, но с большим любопытством. Она, видимо, успела уже принарядиться для гостя. Старик Светлов засуетился, полез в маленький шкафик, стоявший тут же в кабинете, в углу, и достал оттуда графин с водкой и рюмку. Потом он сообразил что-то, опять полез в шкафик и, наконец, с некоторым торжеством вынул оттуда бутылку мадеры, с незапамятных времен хранившуюся в этом шкафике.

— Уж такой, брат, мадерцой угощу тебя, что пальчики оближешь! — похвастался он сыну.— Это мне еще покойный преосвященный Ириней подарил. Так вот тут с тех пор и стояла все, как будто знал — не трогал. Вот теперь и пригодилась...

— Постой, папа,— засуетился, в свою очередь, сын,— я ведь тебе ящик отличных гаванских сигар привез в подарок и забыл совсем.

— Ба, Санька! Ведь и вещи-то твои еще не внесены, да и ямщик-то, поди, дожидается напрасно. Я и забыла совсем, батюшка,— встрепенулась мать.

— Я уж распорядилась,— сказала Оленька.— У тебя два чемодана и ящик, Саша?

— Да. А что?

— Они там, на кухне. И ямщика велела накормить.

— Словом, мне остается только расцеловать тебя,— засмеялся молодой Светлов, притянул к себе со стола за руку сестру и действительно расцеловал ее.

— Да ты, Санька, лучше сперва выпей да съешь, пока не простыло, а потом уж и дури,— хлопотала мать около стола.

— И то правда, мама,— засмеялся молодой Светлов. Он выпил и принялся с аппетитом уписывать бифштекс, шутливо приговаривая: — Желал бы я видеть сего смерт-

ного, умеющего так хорошо жарить мясо во всякое время дня и ночи!

— А уж извини, батюшка: это и не смертный совсем готовил, да и не смертная, а смертельная пьяница — стряпка наша Акулина,— отшучивалась мать, довольная, что сын ест с таким очевидным удовольствием.

Старик Светлов налил между тем рюмку водки и понес ее ямщику на кухню.

— Иван! Чемоданы-то надо к баричу в кабинет снести,— слышался оттуда его голос,— валяй-ка, брат!

Владимирко, одетый уже в свой утренний халатик и прятавшийся до этого времени в соседней комнате, услыхав распоряжение отца о чемоданах, решился, наконец, победить свою застенчивость и, к изумлению всех, очутился вдруг в кабинете отца, на столе возле сестры. Он сразу смекнул, что уж если внесут чемоданы, то, стало быть, их и развяжут, и рыться в них будут; а смотреть, как раскупоривают чемоданы, да еще и с незнакомыми, столичными вещами,— это такая прелесть, что не присутствовать при этом ему, Владимирке, решительно нет никакой физической возможности, хоть бы пришлось сквозь землю провалиться от стыда.

— Где это вы изволили укрываться, Владимир Васильевич? — весело приветствовала его появление Оленька.

— Уж ты молчи, Чичка! — стыдливо жался он к сестре.

— Что, брат, не утерпел? — со смехом обратился к нему вошедший отец.— Брат-то ведь не кусается у тебя.

— Я и сам знаю, что не кусается,— расхрабрился вдруг Владимирко, очевидно, задетый за живое.

— А вот и врешь: кусаюсь,— расхохотался молодой Светлов и начал теребить брата зубами за плечо.

— Ладно! Я, брат, и сам умею кусаться...— заметил ему совершенно ободрившийся на этот раз Владимирко и так ловко стиснул зубами локоть брату, что тот даже поморщился от боли.

— Ничего, геройски отстаивает себя,— рассмеялся через минуту старший Светлов, потрепав брата по плечу.

Между тем вещи его были перенесены в особо отведенное ему помещение, или кабинет, как называл его старик Светлов. Это была уютная, чистенькая комнатка в два окна, с веселыми светло-зелеными обоями. С первого же взгляда заметно было, что здесь по всему прошлась

заботливая, любящая рука. На окнах стояли лучшие в доме цветы и висели простые, но чистые, как только что выпавший снег, белые полотняные шторы домашней работы. Перед окнами, в простенке, приютился письменный стол, а на нем вместо пепельницы поставлена была жемчужная раковина, сразу напомнившая молодому Светлову его далекую родину — Камчатку. Направо от стола помещался незатейливый, но только что перед тем перекрытый новой материей диван, а над диваном висело большое правильное зеркало, какие обыкновенно висят в гостиной в домах средней руки. На полу лежал мягкий ковер, тоже сразу узнанный приезжим. Прежде этот ковер только в два годичные праздника, рождество и пасху, появлялся на свет божий. Остальное время он тщательно берегся в сундуке, обложенный, в видах предохранения от моли, камфарой и листьями черкасского табаку. Впрочем, его можно было видеть и еще один раз в году, а именно летом, в самый жаркий солнечный день, когда вместе с меховыми вещами он вывешивался во дворе для просушки и выколачивался от пыли. Платяной шкаф красного дерева, выкрашенная под орех этажерка для книг, несколько плетеных стульев да покойное кресло перед письменным столом — заканчивали собой, правда, незатейливую, но зато совершенно удобную обстановку этой комнаты.

— Вот тебе кабинет, братец. Устраивайся тут как сам знаешь,— сказал старик Светлов, вводя в него несколько торжественно сына.— Не знаю, как тебе поглянется, тут мать все больше устраивала на свой вкус, а я ведь в этих делах не ходок. Кроме пепельницы, я тебе ничего не поставил на стол, потому что у тебя, верно, свои вещи тут поставятся, а если понадобится чернильница или что другое для письменности, так это у меня найдется,— дам.

— Спасибо, папа, и за это. На стол-то у меня и у самого хватит разной дребедени. Да тут мне просто прелесть как будет жить! Решительно все по моим привычкам,— говорил сын, весело оглядывая свое новое помещение.— Сейчас видно, что мама здесь порядочно повозилась,— обратился он к вошедшей в эту минуту матери и нежно поцеловал ее несколько раз в лоб.

— Уж не взыщи, батюшка, как умела, так и сделала. Лишь бы на первый-то раз приютился ты как-нибудь по-

лучше, думала, а там, понемножку, все устроишь себе сам, как знаешь,— заметила мать, как нельзя больше довольная и ласками и невзыскательностью сына, от которого она, быть может, в душе с беспокойством ожидала услышать какое-нибудь высокомерное петербургское замечание насчет своих неусыпных хлопот. В течение двух последних недель старушка почти не выходила из этой комнаты, прибирая ее и сотню раз переставанливая в ней мебель.

— Так все великолепно, мама, как и не ожидал! — успокоил еще раз молодой Светлов мать, принимаясь развязывать веревки у ящика к великому соблазну Владимирки.

Смиренник этот уже давно нетерпеливо торчал в комнате брата, сидя на полу возле чемоданов. Теперь он стал даже помогать ему распутывать узлы веревок, выказывая при этом ловкость и силу, свойственные двенадцатилетнему мальчику только в провинции, когда он растет на свободе. Награда за усердие последовала Владимирке немедленно, как только вскрыли ящик. Она предстала ему в виде щегольской пары платья, сшитого на его рост, и таких же щегольских полусапожек. Но, по правде сказать, его гораздо больше интересовал ящичек конфет, полученный «Чичкою», как называл он сестру, в придачу к великолепному драповому бурнусу. Старику Светлову вручена была обещанная сотня сигар, оказавшихся, действительно, превосходными. Сигары составляли единственную роскошь, на которую он смотрел снисходительно, частенько позволяя себе лакомиться ими в прежние годы, когда средства у него были пошире. Получив подарок из рук сына, старик степенно поцеловал его в щеку, но не утерпел: тут же раскупорил ящик, достал сигару и закурил.

— Лет пятнадцать, братец, не курил я таких сигар! — сказал он сыну, с наслаждением примахивая к себе рукой и вдыхая носом первоначальный, синеватый дымок. Старик был знаток в этих вещах.

— Всем, кажется, угодил, не знаю только, угожу ли тебе, мама,— говорил молодой Светлов, с усилием вытягивая из ящика какой-то массивный сверток.

В свертке, когда он был развязан, кроме отличной шелковой материи на платье темного цвета, оказалось множество разных вещиц такого рода, что в провинцию

их или не привозят, или стоят они там, сравнительно, очень дорого. Особенно понравился старушке простенький, но чрезвычайно изящный тюлевый чепчик. Она была в восторге от подарков, а еще больше от предупредительности сына. Кроме того, все эти вещи, очевидно, пришлись ей по вкусу. Некоторые из них даже как бы предупреждали ее желание: она все собиралась написать о них сыну в Петербург, да так и не собралась.

— Ай да Санька! — говорила старушка, любуясь попеременно то той, то другой вещью и после каждого осмотра принимаясь целовать сына.— Весь у него вкус в меня, точно я сама выбирала! Только, однако, батюшка, ты много денег измотал на это. С меня бы, старухи, и платья одного довольно. Одно оно, поди-ка, чего стоит!

Молодой Светлов весело смеялся, радуясь и сам удовольствию, доставленному им матери, и успокаивал ее, говоря, что здесь, в провинции, это, может быть, и дорого стоит, но что у них, в Петербурге, то же самое можно купить за полцены.

— Да, как же, так я тебе, парень, и поверила! — твердила несколько раз старушка, принимаясь снова осматривать каждую вещицу.

Долго еще любовалась семья привезенными подарками, много еще говорилось по их поводу; не утерпели, разумеется, по обыкновению, чтобы не похвастаться ими перед горничной, явившейся с известием, что самовар подан. Маша с любопытством дотрагивалась до каждой вещицы и поминутно ахала, приговаривая, к полному удовольствию старушки: «Ах, как... ах, бароня, как это чудесно!» Но девушка пришла в неописанный восторг, когда молодой Светлов, торопливо порывшись в ящике, вынул оттуда премиленький шелковый платок и подарил ей. Растерявшись от неожиданности, она опрометью бросилась к молодому человеку с очевидным намерением поцеловать у него руку, но сконфуженный Светлов мягко отстранил это внезапное движение, ласково проговорив:

— Носите-ка, носите на здоровье.

Пошли пить чай. За весело кипевшим самоваром, разговорам, само собою разумеется, не было конца; да и было о чем поговорить, не видевшись десять лет. Впрочем, как всегда бывает с дороги, беседа вертелась больше на мелочах; серьезные вопросы береглись до бо-

лее спокойных минут. После чаю опять пошли все в комнату приезжего, опять говорили. Сам он между тем при помощи несказанно усердствовавшего Владимирки развязывал чемоданы, разбирал вещи, показывая, объясняя и от времени до времени подшучивая над излишней расторопностью брата, грозившей опасностью некоторым кабинетным безделкам. В этих незаметных хлопотах письменный стол принял очень скоро жилой, веселый и даже, пожалуй, столичный вид, несколько отличный от остальной провинциальной обстановки комнаты. Когда наговорились досыта, когда не осталось в ней ни одной вещицы, которую не осмотрели бы несколько раз, с различными пояснениями насчет ее удобств — словом, когда, наконец, каждый из членов семьи почувствовал необходимость остаться на время наедине с самим собою, чтобы проверить свои впечатления,— старики Светловы уговорили сына лечь — отдохнуть немного с дороги, хотя тот и выражал желание совсем не спать в этот день.

— Это походило бы на то, как мы прежде проводили, бывало, вместе первый день пасхи,— заметил он в подкрепление своей мысли.

Тем не менее старушка собственноручно постлала сыну постель на диване, и его, хоть и с грехом пополам, уложили, наконец, и оставили в покое. Долго, однако ж, не мог он заснуть, перебирая в памяти неуловимые впечатления отрадного утра; много раз тревожно ворочался с боку на бок, прислушиваясь к тихо говорившим за две комнаты от него родным голосам; раза два вставал, чтоб закурить новую папироску. Но дорога и нравственная усталость взяли, наконец, свое, и он крепко уснул.

Старушка Светлова, хлопотавшая на кухне, чтоб угостить столичного гостя обедом на славу, не один раз оставляла свои занятия, на цыпочках подкрадывалась к комнате сына и, остановившись в дверях, с сложенными на груди руками, подолгу и пристально, с каким-то особенным добродушным любопытством всматривалась в спокойные черты дорогого ей лица.

— Батюшка ты мой! — с любовью шептала она, уходя, вся обхваченная невыразимым, только материнскому сердцу понятным чувством, снова останавливалась на пороге и, дорогой еще раз оглянувшись на сына, неохотно возвращалась в кухню...

II

СЕМЕЙСТВО СВЕТЛОВЫХ

Светлов-отец принадлежал к числу тех редких у нас личностей, которые всем бывают обязаны самим себе и, притом, при всевозможных обстоятельствах, остаются людьми честными. Попав на службу в самое неблагоприятное для таких людей время, когда взяточничество в России чуть ли не было возведено в принцип, являясь краеугольным камнем всякой чиновной карьеры, Василий Андреевич как-то счастливо сумел обойти необходимость выть с волками по-волчьи. Во все продолжение своей служебной деятельности он ни разу не позволил себе покривить душой ради какой бы то ни было подачки. Взятку Светлов называл очень метко «кривой милостыней». И делал он это не по добродушию, не по природному, так сказать, отвращению к неправде, а по строгому принципу, хотя о принципе у нас имели в то время очень смутное понятие даже люди, считавшие себя почему-то образованными. Когда, по тогдашнему обычаю, купцы присылали Василью Андреичу, как заметному чиновнику в городе, так называемое «праздничное»: ящики чаю, головы сахару и тому подобное,— он не отказывался от этих добровольных приношений, смотрел на них просто, как на заявление почтения к нему, благодарил и принимал. Но каждый из присылавших очень хорошо знал, что не подкупит этим Светлова на всякий случай. Сам Василий Андреич на подобные подарки никогда не напрашивался, даже и намеком, не говоря уж о вымогательстве. Поэтому везде, где он ни служил, его любили и уважали, хотя втихомолку и подсмеивались над ним, как над чудаком, который, сидя возле золотого руна, с утра до вечера мозолит себе руки, чтоб заработать несколько медных грошей. Ирина Васильевна — жена Светлова,— слышавшая иногда колкие замечания на этот счет в отношении мужа, нередко и сама, под влиянием их, относилась недоброжелательно к бескорыстию Василья Андреича. «Чего ты возьмешь своей честностью-то, отец? — говаривала она ему обыкновенно в таком случае,— не возьмешь ты, так за тебя, батюшка, другие возьмут, да еще и спасиба тебе не скажут! Вон я уже второй год свое

платьишко таскаю, а подчиненные-то мои каждый праздник себе по обновке шьют». Но Светлов, по обыкновению, или молчал при таком направлении разговора, усиленно потягивая дым из своей заветной трубочки, или, выведенный из терпения женой, сердито уходил от нее в другую комнату, плюнув и проговорив: «Ну и поди, служи сама, коли я не умею!» Впрочем, как ни часто повторялись такие сцены, мир водворялся между супругами очень скоро, и Ирина Васильевна не прочь была на другой же день, при удобном случае, высказаться, что «пускай уж, мол, другие этим живут, а мы с отцом и на жалованье как-нибудь пробьемся: жизнь-то наша и вся не долга».

Василий Андреич был сын какого-то заштатного писца в захолустье и потому службу свою начал скромно, с должности копииста,— в то время еще водились такие должности. Само собою разумеется, что, открывая так незавидно свою карьеру, он не получил перед тем даже и подобия какого-нибудь образования. Грамоте выучился Светлов самоучкой, по отцовскому псалтырю, не умея до тринадцатилетнего возраста написать ни одной буквы иначе, как по печатному, хотя на пятнадцатом году поступил уже на службу. Но юноша он был не глупый, а главное — наблюдательный и сметливый. Получая семь с полтиной на ассигнации жалованья в треть (да не усомнится читатель в нашей правдивости, ибо чего же у нас не бывало когда-то на Руси), Василий Андреич сумел не только не быть в тягость бедствовавшей семье, но еще и ухитрился каким-то чудом помогать ей из этого микроскопического заработка. Правда, в то блаженное время и в том захолустье цены на жизненные припасы стояли баснословно дешевые, но все же и тогда два с полтиной ассигнациями в месяц вряд ли могли обеспечить кого бы то ни было.

Однако ж Василий Андреич не жаловался на эту скудость, переносил ее терпеливо, а сам между тем внимательно присматривался к делу, к сослуживцам и начальникам, чувствуя себя на службе как на школьной скамье, всему учась и, по возможности, все перенимая. Эта переимчивость, при твердом и несколько застенчивом характере,— черты которого преемственно передались отчасти Владимирке, отчасти его брату,— подвинула Светлова, года через три-четыре, сперва к должности

помощника столоначальника в областном правлении, а потом, не имея еще чина, он был назначен квартальным надзирателем. Тут ему представилось множество случаев выказать свою расторопность и сметливость, и вскоре областной начальник заметил его. Это было как раз в то памятное время, когда первое открытое политическое брожение умов в центре России, хотя и глухо, но отдавалось и в провинции; отдалось оно, наконец, и в том захолустье, где подвизался Светлов в качестве квартального. Именно в это самое время, замеченный областным начальником, он был командирован сопровождать до окончательного пункта ссылки, за сорок верст от места его службы, трех политических преступников — декабристов. Один из них был граф с громкой фамилией; другой — блестящий придворный, носивший не менее громкое имя,— яркая звезда тогдашнего литературного мира; а третий, более скромный, принадлежал к числу самых горячих поборников своей партии. На обязанности Василья Андреича лежало, между прочим, озаботиться их первоначальным устройством на новом месте, пока они осмотрятся и обживутся. Весьма естественно, что положение Светлова было, на первый раз, самое неловкое. Действительно, что значил он, захолустный квартальный надзиратель, в сравнении с этими образованными, светскими молодыми людьми — блестящими представителями тогдашней интеллигенции? Василий Андреич инстинктивно чувствовал, что имеет в их глазах не больше веса, чем тот конвойный казак-якут, что сидит у них на козлах. На первом же роздыхе, где им пришлось пить чай, к которому вежливо пригласили и Светлова, он почувствовал такую страшную робость, такую неловкость, каких никогда не испытывал даже в присутствии высшего начальства. Была минута, когда ему до того стало жутко в их обществе, что он готов был провалиться сквозь землю от стыда за свое невежество, за свою нравственную ничтожность. Как-то забавно съежившись и поминутно конфузясь, как уличаемый школьник, Василий Андреич забрался с своей чашкой в самый угол комнаты и с лихорадочным любопытством следил оттуда за оживленным разговором своих спутников. Но как ни старался он не проронить ни слова из этой беседы, ему все казалось, что она ведется будто на каком-то совсем непонятном ему языке; он мог только различать отдель-

ные слова, не понимая смысла самой фразы, да и слов-то некоторых не понимал вовсе. Впрочем, будь сказано к чести этих людей, они, как только заметили его смущение и догадались, с какой наивной душой имеют дело, сейчас же изменили свой первоначальный, несколько надменный тон обращения с ним на простые, ласковые отношения. Светлов очень скоро почувствовал эту перемену и с той минуты старался всячески услужить им чем только мог. Обычная природная сметливость и здесь подсказала ему многое такое, о чем, пожалуй, иной бы и во всю жизнь не догадался; и здесь, как везде и всегда, он стал прежде всего присматриваться, применяться, учиться. А поучиться тут действительно было чему, да и стоило. Не успели и двух дней прожить изгнанники после приезда на место ссылки, как Василий Андреич сделался их общим любимцем, особенно после того, как раза два или три удачно над кем-то из них сострил. Они дружно расхохотались и тут же, устами одного из товарищей, весьма основательно порешили, что в голове Светлова «хранится неограненный алмаз в порядочную величину». А так как, на первое время, в этой глуши ровно не за что было приняться, то молодежи оставалось только шутить да дурачиться. Она так и делала.

— Мы, Василий Андреич, сегодня ночью намерены дать тягу отсюда,—говорил, например, за вечерним чаем изгнанник-литератор, притворяясь совершенно серьезным.

— Чего изволите? — спрашивал Василий Андреич, не поддаваясь на подставленную удочку.— Бегите, бегите, господа... А бежалка-то у вас есть?

— А что значит «бежалка», Василий Андреич? — любопытствовал граф, с трудом удерживаясь от смеха.

— Бежалка-то-с? Это такой инструмент бывает... о двух полозьях...

— А! вон оно что. Нет, мы думаем на своих ногах попробовать,— шутил граф.

— Не вынесут: у вас сапожки тоненькие-с,— отшучивался Светлов. Но через минуту он задумывался и серьезно упрашивал: — Вы, господа, и взаправду не убегите от меня! Этак-то ведь и меня с вами ушлют куда-нибудь в тартарары...

А то бывали и другие минуты, и их-то преимущест-

венно и любил Светлов. Увлеченный воспоминаниями прошлого, кто-нибудь из товарищей внезапно заговаривал о прежних друзьях, разбросанных по разным уголкам своей необъятной родины, яркими чертами обрисовывал былые сцены; припоминалась бурная, полная тревог и опасений, прошлая жизнь,— и миновавшие, но еще свежие события, нить за нитью, рельефно и прозрачно выступали из того мрака таинственности, в каком представлялись обыкновенно непосвященным. Иногда заговаривали все разом, спорили; сказывалось задушевное слово, прорывалась задушевная мысль; обнаруживалось многое такое, чего нигде не прочтешь, чему ни из какой книжки не научишься и что поймешь, только наслушавшись об этом от живых людей. Крепко полюбились Василью Андреичу такие минуты. «И у кого только достает сердца ссылать этаких умных, этаких благородных людей?!» — наивно думалось ему тогда. Оглядывался при этом и на себя Василий Андреич, припоминал до мелочей и свое прошлое,— и какая-то невыносимо жгучая тоска закрадывалась ему в душу. Еще ничтожнее казался он после этого самому себе, еще больше съеживался, снова забирался в угол с своей чашкой, и тогда уже никакие дурачества этого веселого, никогда не унывавшего кружка не могли рассмешить Светлова; даже будто сердила его подобная веселость. «Ну! теперь ненастье зарядило на всю ночь до утра»,— говорил в таком случае, махнув рукой, изгнанник-литератор, искоса и не без удивления поглядывая на притихнувшего Василья Андреича,— и вдруг все разом умолкали, будто по уговору, точно в доме появился покойник. Часто случалось, что Светлов и сам расспрашивал о многом, но чаще всего о таких вещах, которые в наше время любой школьник знает вдоль и поперек.

Таким образом прошло недели три, а Василий Андреич и не думал еще собираться в обратный путь, как вдруг, через нарочного, его немедленно потребовали в город. Светлов струсил и, хоть тяжело было расстаться с веселой компанией, уехал в тот же день; он, по правде сказать, не знал, как и глаза показать начальству, чувствуя, что во всех отношениях переступил пределы данной ему инструкции. Но квартальный надзиратель приятно ошибся. Областной начальник, внимательно прочитав привезенные Светловым письма от сосланных, при-

нял его очень ласково, благодарил за исполнительность, расспросил подробно, как они там устроились, и, отпуская его, еще раз, к изумлению Василья Андреича, выразил ему свою благодарность. Но Светлов еще более изумился, когда, на третий или четвертый день приезда, получил через вестового приглашение на вечер к областному начальнику: до того времени это была неслыханная вещь по отношению к квартальному надзирателю. Василий Андреич, разумеется, не посмел не явиться; сперва робел и конфузился, был как-то официален, точно на службе, придерживаясь больше дверей, но, обласканный хозяином, приободрился и к концу вечера вел себя совершенно прилично, хотя и чересчур скромно. Благоволение к нему областного начальника объяснялось очень просто. Во-первых, начальник, как и многие власти того времени, втайне принадлежал и сам к декабристам, разделяя их убеждения, а во-вторых, в привезенных Васильем Андреичем письмах на похвалы ему не поскупились. С той поры сослуживцы как бы не узнавали прежнего Светлова: он точно поумнел, точно стал больше уважать себя и других, оставаясь, однако, по-прежнему добрым товарищем и остряком. Года через три после этого Василий Андреич женился и, по протекции того же областного начальника, был переведен на службу в Ушаковск, а еще годика через два, воспользовавшись вызовом начальства, попросил перевода в Камчатку, так как с тамошней службой соединялось несколько выгодных привилегий. Его назначили туда исправником. Живя в Петропавловском порте и вращаясь постоянно в тесном кругу образованных моряков, Светлов развернулся еще более, сумел даже усвоить некоторую дозу светскости и, по своей веселости и сообщительности, вскоре прослыл между ними душой общества. По крайней мере лучшие празднества и попойки всегда устраивались у него, и нередко сам начальник порта, к концу вечера, заглядывал в известное тогда чуть ли не всему порту подполье, где раскутившийся гость мог выбирать любую бутылку по вкусу и тут же осушать ее: благо годовой запас вин у Василья Андреича был велик, а американец не скупился привозить их в Петропавловский порт; в особенности доставалось шампанскому. Но в грубую ошибку впал бы тот, кто, судя по этой роскоши, подумал бы, что Светлов стал не чист на руку. Правда, Камчатка счита-

лась тогда золотым дном для чиновников. Не нажиться в ней — значило не уметь отличать денег от щепок либо быть таким чудаком, как Василий Андреич, который проживал до копейки все свое небольшое жалованье. В особенности, как было не нажиться исправнику, когда, в то блаженное время, он мог, не рискуя даже своей репутацией, выменивать каждую бутылку водки, каждую понюшку табаку на пару превосходных соболей, а то и на чернобурую лисицу. Но Светлов остался верен себе, сумел обойти и эти искушения, несмотря на всю их заманчивость. Прослужив одиннадцать лет в Камчатке, он вернулся на родину почти с тем же, с чем и выехал оттуда. Только в последние четыре года, когда Василий Андреич постарел и угомонился, ему удалось скопить кой-какие крохи на дорогу. По возвращении в Ушаковск, он несколько лет продолжал службу и, будучи еще в чине надворного советника, частью на жалованье, частью на полученный за Камчатку особый пенсион, купил на имя жены тот самый серенький домик в пять окон на улицу, где застала его предыдущая глава нашего рассказа. Только месяца за полтора до приезда сына Светлова заставили, наконец, выйти в отставку, наградив его чином статского советника и пресловутой «пряжкой за тридцать пять лет беспорочной службы». Едва ли не один Василий Андреич и мог носить ее не краснея...

Но странное дело: эта суровая, до конца выдержанная, несмотря на все соблазны, честность сделала теперь старика Светлова каким-то угрюмым, несообщительным даже в отношении семьи, к которой, впрочем, он и прежде относился иногда несколько свысока и деспотично. Всякая лень, малейшая неисправность в доме, малейшее отступление от раз навсегда установленных привычек уже раздражали его. Василий Андреевич переносил эту раздражительность и на родню, на старых и новых знакомых, на всякого постороннего человека, кто бы то ни был. Ему как будто досадно было, что, чувствуя над многими из них свое нравственное превосходство, он, вместе с тем, не имел достаточно образования, чтоб превосходство это было бесспорно признано за ним и резко выделяло его из среды посредственностей. Но в то же время, несмотря на крупный чин, Светлов далеко не был тем, что называется обыкновенно зазнавшим-

ся выскочкой. Он сохранил и теперь все свои простые привычки, свой несколько простонародный язык, и теперь, как и прежде, когда состоял еще в должности квартального, сам ходил на рынок за съестными припасами. Обыватели Ушаковска нередко встречали его возвращающимся оттуда то с пучком зелени под мышкой, то с какой-нибудь купленной дичью в руках. Родственники Светлова с жениной стороны даже скандализировались этим неоднократно, особенно в бытность его губернским прокурором, частенько-таки замечая ему будто в шутку:

— Что это, Василий Андреич, точно у вас послать некого, все сами носите с базару, и то уж в городе говорят: какой, мол, уж это прокурор,— и не видно его совсем!

— А пускай их, матушка, говорят,— замечал на это обыкновенно Светлов,— на всякий чих не наздравствуешься.

Вместе с несообщительностью и угрюмостью стала в последнее время обнаруживаться у Василья Андреича еще и другая черта: он как-то недолюбливал нынешнюю молодежь и не пропускал случая уязвить ее, особенно за глаза. «Вертопрах народ! — говорил он всякий раз после того, как ему случалось (очень редко, впрочем) быть свидетелем горячего спора между молодыми людьми,— все бы они по-своему перестраивали, все им не ладно! Мы, кажется, слава богу, не дураками были, да жили же себе — не жаловались, а при нас-то ведь еще не такие порядки водились, как теперь. Все-то они знают, везде-то суются!.. Им старшие что? Послушай-ка их, так они и родили-то сами себя... Не люблю я этого молодятника!»

И действительно, когда при Светлове заговаривала молодежь, он хмурился и, махнув рукой, как-то обидчиво замечал: «Ну! пойдут теперь нас, стариков, хоронить да у бога за пазухой рыться!» Но замечательно было, что старик не уходил при этом в другую комнату, а, сделав вид, что не обращает никакого внимания на спор, сам между тем украдкой чутко прислушивался ко всему, что говорилось, очевидно заинтересованный. В более горячих местах спора у него даже появлялось на лице какое-то азартное выражение, точно довод одного из противников задевал его за живое. «Эх, только вставать-то

не хочется, а то я бы тебя отделал, молокососа!»— говорили в такую минуту его глаза и поза. Не то, при мастерском обороте доводов с обеих сторон, мелькала на губах старика не менее азартная улыбка, ясно выражавшая: «А ловко, собаки, грызутся!» И странно, что каждый раз при этом в памяти Василья Андреича живо почему-то воскресали еще не совсем позабытые им вечера его былой командировки за сорок верст от родного захолустья...

Семью Светлов любил очень, но только в редких случаях позволял себе выказать это. К жене он хоть и относился как будто покровительственно, однако ни одно сколько-нибудь серьезное домашнее дело не начиналось без ее ведома и совета. Вообще грубоватый на язык, Василий Андреич не делал и для нее исключения в этом отношении, нередко доводя ее до слез каким-нибудь неделикатным словом. Зато, если заболевала Ирина Васильевна,— что случалось с старушкой весьма часто,— Светлов ухаживал за ней с таким терпеливым постоянством, с такой глубокой внимательностью к самой последней мелочи, касавшейся больной, что трудно было бы найти в целом мире лучшую сиделку. И тут-то, сквозь суровые черты старика, ярко просвечивала вся его глубокая привязанность к жене, вся несокрушимость привычки к ней. Старшего сына он тоже любил очень сильно, но упорно старался выказать почему-то, что ему нет никакого дела до этой «отпетой головы». «Твори что хочешь»,— коротко говаривал о нем старик. На деле же он постоянно интересовался всем, что касалось той же самой «отпетой головы», едва ли даже не больше, чем всем остальным. Впрочем, в старшем сыне ему преимущественно одно не нравилось: упорное отвращение последнего к коронной службе. К дочери Светлов относился ласково, постоянно ровно, но особенной теплоты в его отношениях к ней заметно не было. Зато, в последнее время, Владимирко царствовал всецело в стариковском сердце. Василий Андреич частенько-таки исполнял его малейшие прихоти, хоть и не любил вообще баловать детей. «Это ведь, мать, заскребыш у нас»,— извинял он обыкновенно перед женой свое предпочтение младшему сыну.

В основе характера Ирины Васильевны Светловой, урожденной Белокопытовой, лежало широкое русское добродушие. Впоследствии к нему привились другие черты,

перепутались между собой и до того затемнили эту основу, что часто сбивали с толку свежего человека. Одни принимали Светлову просто за ханжу, с значительной дозой завистливости к чужому благосостоянию; другие видели в ней коварную старуху с уменьем ловко и вовремя прикинуться доброй. Но кто знал ее коротко, кто умел отличить случайное в ее характере от его постоянных качеств, тот не мог не уважать старушки, не мог не отдать полной справедливости ее действительной доброте. Ирина Васильевна была в сущности глубокая, богато одаренная природой натура. Только такая убийственно гнетущая среда, как та, где пришлось развиваться ей, могла исковеркать, чуть ли не в самом зародыше, эти превосходные естественные задатки — и действительно исковеркала. Выросла Светлова в старинном обедневшем купеческом доме. На ее несчастие, он хранил несокрушимое предание о своем былом богатстве, нужды нет, что об этом богатстве свидетельствовали только пять-шесть оборванных фамильных портретов; нужды нет, что совсем полинявшие лица этих портретов были неузнаваемы. Предание являлось какой-то умственной мозолью стариков Белокопытовых, не давая им покоя всю жизнь. Чтоб сколько-нибудь поддержать его, они рисковали нередко последней копейкой и свою крайнюю нужду старались замаскировать от посторонних глаз, в том числе и от детей, наружной чопорностью и нестерпимо пуританским взглядом на все и на всех. Семейный деспотизм развился здесь до тех поражающих размеров, при которых немыслимо никакое развитие, невозможна свободная мысль, недействителен свободный поступок. Старый дом Белокопытовых, просторный, но мрачный с виду и внутри, походил скорее на какой-то староверческий скит, где с каждым годом все строже и строже становились уставы. С раннего утра и до позднего вечера в доме царствовала могильная тишина, ведшая за собой одуряющую скуку, злившую подчас даже самих виновников ее. Несмотря на то, что семейство Белокопытовых состояло из пяти дочерей, погодков и невест, резвый девичий смех был таким редким явлением в стенах этого заживо похоронившегося дома, что смеявшийся часто пугался собственного голоса; смех боязливо умолкал здесь, едва начинаясь. Иринька,— как звали Ирину Васильевну сестры,— считалась самой младшей и любимой дочерью в семье, самой

живой душой в доме, но и ее звонкий смех ставился ей нередко в тяжкий грех и, по меньшей мере, чопорно именовался «непростительной ветренностью». Старик Белокопытов был самодур с несколько философскими воззрениями и привычками. Чтоб приучить, например, детей к разным случайностям в жизни, он будил их иногда ночью, во время самого крепкого детского сна, объявляя, что у них в доме пожар. Перепуганные девочки тревожно соскакивали с постелей, наскоро накидывали на себя что попало и босиком выбегали на двор, где отец обыкновенно встречал их раз навсегда заученной фразой: «Ну, ну, взбеленились! Я пошутил: никакого пожара нету; а ко всему надо приучаться сызмалетства». Можно представить себе, как действовал подобный образ воспитания на детей, на самое их здоровье. Белокопытова-мать была существо бесхарактерное, слепо и во всем повиновавшееся мужниной воле. Она и приласкать-то детей не смела без приказания мужа, разве украдкой случится, да в его отсутствие, которое, впрочем, день ото дня становилось реже. Всякое, даже самое будничное дело совершалось в этом семействе с видом торжественности, точно какой-нибудь священный обряд. В праздник и в будни, по всем углам, где только были образа, теплились лампадки; по крайней мере раз в неделю в доме служился молебен с водосвятием. На все, на каждую мелочь, полагались здесь свои приметы, предзнаменования: переносье чесалось непременно к покойнику, хотя в течение многих лет в доме никто, слава богу, не умер; если за обедом нечаянно просыпалась кем-нибудь соль из солонки, виновного безотлагательно щелкали до трех раз пальцем по лбу, чтоб в семье не случалось ссоры, хотя она и происходила там всякий божий день; во время грозы, при каждом блеске молнии, для всех обязательно было креститься и трижды произносить: «Свят, свят, свят господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея»,— иначе убивало громом, хотя испуганные дети, никогда не успевавшие произнести вовремя эту молитву, и оставались каждый раз невредимыми. Подобные обряды исполнялись в точности, всеми, с подобающей серьезностью. Взгляд на нравственность имел здесь тоже свой особый оттенок. При появлении незнакомого мужчины девицы непременно должны были убегать из комнаты: противное считалось за бесстыдство,— и надо отдать справедливость Ирине Василь-

евне: при первом свидании с Васильем Андреичем она так старательно выполняла этот маневр, что едва не сшибла с ног выходившего к нему навстречу отца и все время их беседы просидела в сенях, за кадушками, стыдливо прикрывая лицо передником. При слове «жених» или «невеста» девушкам ставилось опять-таки в непременную обязанность опускать глаза к полу, краснеть и конфузливо теребить либо кончик шейного платка, либо рукав у платья. Разговаривать свободно с мужчиной, хотя бы о погоде, считалось уже тяжким преступлением; только многими днями строгого покаяния можно было искупить подобный позор. Правило это хотя и не относилось к прислуге и черному народу вообще, но и к ним нельзя было выходить, например, с голой шеей или открытыми до локтя руками. Думать позволялось только о религиозном, предметах назидательных, и то не свободно, а как прикажут старшие. Иринька опрометчиво спросила было раз отца, как дети родятся, но старик так на нее посмотрел да прикрикнул, что она дня два потом не помнила себя, даже несколько ночей сряду молилась какому-то угоднику, чтоб он отогнал от нее этот окаянный вопрос, то и дело приходивший ей на мысль.

Таково-то было детство и последующее воспитание Ирины Васильевны. За Светлова она вышла, разумеется, по приказанию отца и матери. В первое время помолвки девушка до того стыдилась своего жениха, что разговаривала с ним не иначе, как закрывшись передником. В самый день свадьбы, в церкви, по окончании обряда, она ни за какие благодати не соглашалась поцеловать мужа; ночью же, как только их оставили вдвоем, новобрачная убежала от него сперва во двор, а оттуда в сенной сарай, где и встретила первый день своей новой жизни. Но когда явившиеся утром родители, по обычаю, «поднять молодых», найдя Василья Андреича в самом растерянном положении, а «бесстыдницу» зарывшейся в сено, категорически объявили ей, что теперь стыдиться нечего, что это даже тяжкий грех,— она безропотно покорилась всему, чего от нее потребовали; только слезы несколько раз принимались душить ее, подступая к горлу, либо неудержимо катились из глаз, едва она оставалась одна хоть на минуту. Тогда Ирина Васильевна принималась думать о себе как о великой грешнице и опять усердно молилась какому-то угоднику, чтоб он укротил ее непослушное

сердце. Но никакие молитвы не могли укротить его в течение первой недели после свадьбы, пока молодая не освоилась с своим настоящим положением, не обдумала его достаточно: оно, это сердце, нет-нет да и начинало бить тревогу. Тем не менее время и предыдущий систематический гнет взяли свое. Присмотрясь к мужу и новой обстановке, Светлова почувствовала, что ей гораздо легче здесь, чем было дома. Здесь не мерещились ей в каждом углу, как там, оловянно суровые глаза, пронзительно следившие из-под седых нависших бровей за каждым ее движением: здесь — худо ли, хорошо ли — отвечали на каждый ее вопрос, не кричали, каков бы он ни был, смеяться можно было вволю, тем более что за слишком большую серьезность ей ласково выговаривали. Ирина Васильевна даже смекнула под конец, что в доме ее мужа нет еще никаких уставов, что ей самой предоставляется право ввести их здесь, какие заблагорассудится. И вот, под мягким влиянием этой сравнительной свободы, в душу Светловой стало закрадываться мало-помалу теплое чувство привязанности к виновнику ее новой жизни: «Стерпится — слюбится»,— думалось ей. Она прежде всего начала жадно присматриваться ко всему — не воровски, как у себя в семье, а смело, открыто; усвоила понемногу привычки мужа, привычки окружавшего ее нового общества и выказала при этом столько же уменья применяться к обстоятельствам, как и ее муж, если еще не больше. По крайней мере Ирина Васильевна ни разу не уронила его положения в глазах общества, постоянно вела себя с удивительным природным тактом и могла, не краснея, показаться в любой гостиной. Но не вполне удовлетворенное сердце ее так и осталось на всю жизнь неудовлетворенным. В самом начале это чувство проявилось у Светловой в форме довольно странной: однажды ей попались под руку стихотворения Пушкина; она жадно прочла их, и ей самой припала неотразимая охота писать стихи. Пока Василий Андреич, в качестве квартального, возился иногда до ночи в полиции, Ирина Васильевна сочиняла самые страстные послания к нему, нередко исчеркивая ими целые листы почтовой бумаги. Она и не догадывалась, конечно, что эти нежные послания только внешним образом адресовались к мужу, а в сущности летели навстречу тому незримому, милому призраку, которого, против воли, искало ее неудовлетворенное сердце. Может

быть, при других условиях из подобной страсти выработался бы с летами недюжинный поэтический талант; но даже и при самых счастливых природных задатках, что могла сделать эта женщина, едва умевшая читать по складам печатное и писавшая свои вирши какими-то невообразимыми, самородными каракульками? А между тем странное дело: страсть к стихотворству не была у нее только временной прихотью, но лежала как бы в ее натуре, хотя и выражалась одним пристрастием к рифмам. Даже и теперь, несмотря на свои пожелтевшие волосы, Ирина Васильевна частенько поддавалась этому искушению. Отсылая, например, по местному обычаю, в день своих именин, пирог к какому-нибудь особенно любимому ею лицу, она непременно присоединяла к такой посылке несколько рифмованных строчек, вроде следующих:

Вот тебе, милый дружок,
Собственной моей стряпни пирожок —
Сама и муку месила;
Не знаю только, угодила ль:
Будто горьковато попалось масло коровье...
А впрочем, кушай на здоровье!
Затем остаюсь здорова
Любящая тебя
Ирина Светлова.

Последние две строчки повторялись обыкновенно в каждом подобном послании Ирины Васильевны, варьируясь на всевозможные лады.

Впоследствии, когда Светловы переселились в Петропавловский порт, а Ирина Васильевна стала частенько и с увлечением танцевать на балах начальника с молодыми моряками,— ее сердце уже не удовлетворялось таким невинным проявлением себя, как писание посланий к призраку. Оно забило серьезную тревогу. Светлова опять прибегла к молитве, вспомнила множество примеров искушений плоти из жития святых, изученных ею подробно еще в детстве, под руководством отца. Все это, однако, плохо помогало, и ее сердечная тревога разрешилась бы, вероятно, одною из печальных семейных драм, если б в то время, на счастье (а может и на несчастье), у Ирины Васильевны не родился сын. Она несказанно обрадовалась своему первенцу и в ту же ночь дала обет над его колыбелью — никогда в жизни не танцевать больше. На первом же балу после болезни Светлова, к удивлению

всего общества и несмотря ни на какие его просьбы, наотрез отказалась от танцев. Впоследствии, и до конца жизни, она свято и с стойкостью мученицы сдерживала свое слово. С тех пор произошел заметный перелом в ее характере: религиозность ее усилилась и приняла мистический, несколько мрачный оттенок. В настоящее время Ирина Васильевна часто нападала на мужа за его невинные шутки и юмористические выходки относительно предметов, казавшихся ей столь священными, что о них, как выражалась она, «и подумать-то, батюшка, так даже страшно»; а между тем Василий Андреич, по-своему, и сам был религиозен. Каждый день, на сон грядущий, Светлова имела обыкновение прочитывать в постели вслух несколько глав из евангелия, и спавшему с ней Владимирке вменялось в обязанность прослушивать чтение, пока он не засыпал. Евангелие было как бы настольной книгой Ирины Васильевны, а ее любимые места в нем относились к описаниям страданий Христа. «Вишь, как он, батюшка, страдал-то за людей, не так, как мы, грешные!» — трогательно говаривала она обыкновенно после такого чтения сыну, жадно внимавшему иногда тому, что читала мать. И действительно, старушка, по-видимому, почерпала в этой книге всю свою нравственную силу, давно уже отказавшись от светских книг, которые прежде, особенно в первой молодости, любила страстно. Евангелие имело для нее теперь еще и ту двойную цену, что ей прислал его из Петербурга в подарок старший сын; а она крепко сомневалась в его религиозности и часто со слезами молилась, чтоб бог «озарил своим светом его заблудшую душу». При всяком случае, где требовалось оказать помощь ближнему, достаточно было только намекнуть Ирине Васильевне на подходящее к этому случаю место в евангелии,— и она смело шла куда угодно, в какое угодно время, готовая сделать все, что было в ее силах и распоряжении. Василью Андреичу нередко приходилось сдерживать эти страстные порывы жены, иначе ему самому пришлось бы со временем прибегать к чужой помощи. Особенно любила она навещать больных, ходить за ними и просиживать у их изголовья по две и по три ночи кряду без сна, несмотря на свое слабое здоровье и нервную раздражительность. Стоило только заболеть комунибудь из родственников Светловых, а Ирине Васильевне получить об этом первое сведение, как она уже наскоро

надевала на себя что попало и, не стесняясь временем и привычками, отправлялась к больному. При этом старушка непременно захватывала с собой хранившийся у нее, как подобающая святыня, золотой крест с мощами Варвары-великомученицы, а вместе с ним, на всякий случай, и такие вещи, которых, по ее предположению, могло и не случиться у больного, например: нашатырный спирт, уксус, горчицу и тому подобное. Ни в каких несчастных случаях жизни нельзя было застать ее врасплох; она никогда не терялась сразу, не падала в обмороки и только тогда, когда убеждалась, что сделано уже все, что нужно для отстранения несчастия, впадала в совершенное изнеможение и забытье, страдая дня два после этого невыносимыми головными болями. Старший сын особенно любил мать за эту редкую в женщинах черту, за ее всегдашнюю готовность на помощь ближнему,— и странное дело: хотя его воззрения во многом остальном совершенно расходились со взглядами матери, он был у нее всегда первым любимцем в семье, самым дорогим ей детищем. Дочь хотя она любила и сильно, но постоянно смотрела на нее с какой-то подавленной, тайной печалью и, наученная собственным опытом, предоставляла ей очень много свободы в сравнении с той, какою пользовалась в своем девичестве. Владимирка едва ли не больше сестры пользовался симпатией матери...

Оленька была существо ровное, незаметное. Есть такие девушки, что при встрече с ними становишься в тупик: что они такое? И хорошего сказать о них нельзя, да и придраться особенно не к чему. Точно такое же чувство испытывается иногда при взгляде на какую-нибудь хорошенькую безделку: «Ничего, недурно»,— скажешь, а спроси: да чем же она хороша? — решительно не знаешь, что ответить. Оленька производила именно это впечатление. Она тоже росла и развивалась довольно свободно, но как-то безалаберно, подчиняясь добровольно всему и всем. Впрочем, в ней все пока было еще непрочно, неосмысленно; приходилось ждать крупного жизненного толчка, чтобы выказалась эта натура в настоящем свете. Одно только можно было предсказать, что ничем особенным она никогда не выдастся. Оленька получила образование в пансионе француженки. Оттуда она вынесла прежде всего предпочтение французского языка родному. Не зная даже понаслышке многих капитальных произведе-

ний русской литературы, Оленька успела уже перечитать, без всякого разбора, сотни французских романов средней руки. Французские романы, конечно, не спасли ее от русских предрассудков; а эти предрассудки опутывали ее с детства, ими заражена была вся окружающая ее среда. В том раннем возрасте, когда они легче прививаются, влияние на Оленьку матери, насквозь пропитанной ими, было особенно сильно. Девушка не находила, например, ничего странного и нелепого в том, что ячмень садился у нее на глазу от влияния чужого «дурного глаза». Когда ее уверяли, что нашептыванием можно «испортить» человека, она удивлялась только людской злобе, но самый факт не подвергался в ее уме ни малейшему сомнению. Правда, изредка приходили и ей в голову какие-то непонятные, не то хорошие, не то дурные мысли, вызывая ее на анализ, но, по большей части, пропадали бесследно, так как разрешить их или подстрекнуть к такому ее ум разрешению было некому. Между мелкими заботами дня эти мимолетные мысли не вызывали его на серьезное размышление. Точно так же не возбуждали протеста в Оленьке и многие другие характерные особенности ее семейной обстановки. Ирина Васильевна за обедом, унимая шалившего Владимирку, наставляла его иногда в таком смысле: «Ты ведь, батюшка, не за столбом сидишь, а за столом. Посмей-ка бы ты сделать это при нашем покойном тятеньке, так сейчас бы тебе ложка в лоб прилетела... Стыд какой! Ты ведь, слава богу, не маленький,— знаешь, что за столом-то сам Христос сидел на тайной вечери?!» Оленька, слушая подобное наставление, до такой степени была проникнута сама его естественностью, что нисколько не возмутилась бы, если б вслед за ним и действительно «прилетела ложка в лоб» ее шалившему брату. В течение многих лет девушке ни разу не пришло в голову спросить себя: что же это за священный обряд такой есть, что при нем даже и пошалить нельзя? Значит, и все естественные отправления также священны? А приди ей в голову хоть раз такое соображение, она, может быть, и додумалось бы до чего-нибудь. Очень естественно после этого, что относительно старшего брата Оленька в значительной степени разделяла взгляд своих стариков. Правда, еще до отъезда его в Петербург, а потом читая его письма оттуда, она не раз задумывалась о брате, находя и в нем и в них что-то такое странное, такое непохожее на весь их семейный склад, что нередко теряла голову в своих до-

гадках на этот счет. Но и их некому было разрешить ей. А между тем,— странно,— старший брат, которого она ждала с нетерпением и любопытством, нравился ей очень, хотя сестра и не особенно долюбливала его. Характера Оленька была сообщительного, веселого, даже несколько ветреного, вообще казалась девушкой доброй и простой, обещая со временем сделаться и заботливой матерью и неприхотливой верной женой, если, разумеется, попадется ей хороший муж; в противном случае трудно было вперед за что-нибудь ручаться...

Другое дело — Владимирко. Это был мальчик очень интересный для своего возраста. Скромный и крайне застенчивый при посторонних, при всяком новом лице в доме, он являлся самим собой только в присутствии домашних, и то не вполне; совершенно же развертывался Владимирко тогда, когда был уверен, что его никто не видит, да еще при своем «наилюбезном камердинере» Ваньке. Так называла в шутку Ирина Васильевна жившего у них приемыша-сироту, взятого еще ребенком чуть ли не с улицы. С ним Владимирко не церемонился, все шалости они чинили вместе, и «барич» поверял ему обыкновенно все, снабжая его при этом и разными вещественными знаками своей привязанности: конфетами, пряниками, булками и тому подобным. Любознательным был Владимирко до последней степени. Весной и летом в целом дворе не было ни единого воробьиного гнезда, которое он не исследовал бы самым основательным образом; ему досконально было известно: и сколько в каком помещается маленьких воробьев, и какими перьями оно выстлано, и когда появилось в нем первое снесенное яичко. Во всех подробностях знал он также и весь этот двор, каждую бегавшую там курицу либо утку, знал их мельчайшие привычки; что же касается большого индейского петуха, так с ним, кажется, они даже объяснялись, совершенно понимая друг друга. Малейшее происшествие в доме, сколько-нибудь выходившее из ряда обыкновенных, неотразимо тянуло к себе Владимирку. Он при этом тотчас же, но всегда как-то украдкой, появлялся где следовало и с забавно полуразинутым ртом следил за тем, что происходило. С таким же выражением присутствовал он и при всякой сколько-нибудь интересной беседе, до которых был страшный охотник. Одною из его любимых привычек было сидеть в длинные зимние вечера на кухне и слу-

шать, что говорит прислуга. Отец или мать частенько уводили его оттуда с выговором, всякий раз порядочно стыдили, но это нисколько не мешало ему, выслушав чинно их наставления, воспользоваться первой удобной минутой, чтоб улизнуть туда снова. Всего же более любил Владимирко ходить в лес с своим «наилюбезным камердинером», удить рыбу, лазить по деревьям, ловить в поле каких-нибудь зверьков — словом, странствовать. Переимчив он был не по летам. Стоило ему только раз сходить с отцом на гулянье да посмотреть фейерверк, как на другой же день, с утра, рукава его домашнего халатика и даже лицо носили на себе очевидные признаки толченого угля с примесью селитряной пыли; а к вечеру, в маленьком садике при доме, он уже устраивал свой собственный фейерверк. На этом представлении непременно должны были присутствовать все домашние, со включением прислуги, а «Чичке» ставилось в обязанность отбирать при входе даровые билеты, только что перед тем розданные. При спуске своих ракет, которые, впрочем, за отсутствием пороха, никогда не поднимались, а только шипели,— Владимирко, когда их приходилось раздувать губами, обнаруживал такую храбрость, что Василью Андреичу не раз случалось придерживать за халатик горячего пиротехника. Увидев где-то гипсовую фигуру, мальчик тотчас же купил себе на рынке кусок белой глины, устроил в углу завозни[1] скульптурную мастерскую и только к вечернему чаю явился в комнаты весь замаранный этой глиной, не исключая волос и не говоря уже о платье. Хоть и слепил он нечто похожее больше на поросенка, чем на спящую Венеру, однако остался очень доволен своей работой и даже подарил ее «Чичке» на память. Этою стороной характера Владимирко сильно напоминал старшего брата: последний отличался в детстве точно такой же предприимчивостью, хоть несколько и в другом роде.

Но о детстве и первоначальном развитии характера Александра Васильевича Светлова, как и вообще о нем самом, мы намерены поговорить, при случае, подробно, в особой главе, как о главном действующем лице нашей истории.

---

[1] Завозня — плоскодонная лодка.

III

ВЛАДИМИРКО СОБЕСЕДНИЧАЕТ

Около двух часов пополудни приезжий Светлов открыл, наконец, глаза и с приятностью потянулся. Александр Васильич отлично выспался и был в самом веселом расположении духа. В доме царствовала теперь невозмутимая тишина. Старики Светловы, утомленные отчасти радостью, отчасти хлопотами этого утра, тоже легли вздремнуть перед обедом; они рассчитали, что отдых даст им возможность вполне воспользоваться вечером, чтоб поговорить с сыном. Под влиянием тишины Александр Васильич только что стал впадать в раздумье, как вблизи от него кто-то робко сморкнулся. Он повернулся на другой бок и с удивлением увидел Владимирку. Мальчуган преважно восседал на кресле у письменного стола и смотрел во все глаза на брата, полуоткрыв, по обыкновению, рот. Он очень сконфузился, увидя, что брат проснулся, и стал было слезать с кресел.

— Постой, куда же ты? — засмеялся Александр Васильич.

Владимирко еще больше сконфузился, но остался на месте. Дело в том, что старики никак не могли уложить его спать в это утро. Как только сами они заснули, он на цыпочках пробрался в комнату брата,— заглянув предварительно в щелку, спит ли тот,— и все время, пока Александр Васильич спал, имел терпение просидеть, не шелохнувшись, на кресле, с любопытством разглядывая то спавшего брата, то вещицы его на письменном столе.

— Итак, Владимир Васильевич, здравствуйте! — сказал ему старший брат, еще раз засмеявшись и протягивая руку.

Владимирко робко слез с своих кресел и как-то нерешительно пожал протянутую ему руку.

— Мама еще спит и папа также,— сказал он, очевидно желая оправиться.

— А ты разве не ложился спать?

— Нет, не ложился; я ночью лягу... Да мне и спать-то не хочется...

— Что же, брат, так? — зевнул Александр Васильич.

— Не хочется...— коротко ответил Владимирко и сам

невольно зевнул, глядя на брата.— У нас сегодня макароны будут,— сказал он для храбрости.

— Значит, мое любимое кушанье,— отлично! А еще что будет?

— Суп с колобками да тетерька, да еще мама крем сделает.

— Батюшки! какая роскошь: все мои любимые блюда. Да я просто объемся сегодня.

— А вы любите красную икру? — спросил Владимирко, который был страшный охотник до всякой икры.

— Красную и черную, всякую люблю,— засмеялся Александр Васильич к полному удовольствию брата. Последний, по поводу такого очевидного сочувствия его вкусам, решился даже осторожно присесть на кончик постели.

— А вы красную с луком любите? — продолжал он выпытывать.

— Непременно с луком!

— И я тоже с луком люблю,— окончательно повеселел Владимирко.— А вот Ванька, так тот прямо у рыбы из брюха ест.

— Неужели?

— Ей-богу-ну, ест; он ее оттуда выдавливает. Мама ему не дает икры, так он, как с базару рыбу несет, и выдавит.

— Вот какой хитрец! — рассмеялся Александр Васильич.— Только зачем ты его называешь «Ванькой»? — спросил он серьезно через минуту,— разве тебя кто-нибудь зовет «Володькой»?

— Нет. Да его мама так зовет, и все так зовут...

— Значит, мама нехорошо делает. Зачем же его обижать, ведь он такой же, как и ты, человек, такой же мальчик.

Владимирко широко раскрыл глаза: он еще от первого человека слышал, что его мама может что-нибудь «делать нехорошо», а его «наилюбезный камердинер» — такой же мальчик, как и он сам.

— У Ваньки ни отца, ни матери не было,— пояснил он в оправдание себя и мамы.

— Вот ты и опять так его назвал. Скажи: «У Вани».

— Ну, у Вани...

— Вот видишь ли ты, это неправда, что у него ни матери, ни отца не было. Нет такого человека на свете, у

которого бы их не было; иначе он бы и родиться не мог,— сказал Александр Васильич очень серьезно.

— Да ведь Ваньку-то на улице нашли,— возразил Владимирко.

— Опять «Ваньку»! А еще мне писали, что ты его очень любишь...

— Ну Ваню, Ваню...— конфузливо поправился Владимирко.

— Что ж такое, что на улице нашли? Все-таки у него и мать была и отец; только нехорошие, видно, люди они были, коли ребенка на улицу выбросили,— заметил Александр Васильич.

— Зачем же они его выбросили?

— А уж этого я не могу тебе сказать. Это надо у них спросить.

Владимирко задумался и несколько недоверчиво покосился на брата.

— У нашей Милашки тоже мать была, а отца не было,— сказал он, как бы желая уяснить себе новую мысль.

— У какой это Милашки? Ах, да! у собаки... И у ней непременно отец был, только ты, видно, не видал как он к Милашкиной матери бегал.

— А к Милашке отчего же он не прибегал?

— Да он, может быть, и к ней прибегал, а ты не заметил.

— У воробья тоже отец и мать есть,— сказал Владимирко, на этот раз уже не с вопросом, а совершенно утвердительно.

— И у воробья есть,— подтвердил, в свою очередь, Александр Васильич.

— Смешно воробей скачет. Он — вор.

— Это отчего?

— А как же? Они все овес из конюшни у лошадей воруют.

— Отчего же непременно «воруют»? Просто знают, что там овес есть, и прилетают клевать.

— А вот же в кухню не прилетают: я на окошко насыпал.

— Да в кухне всегда кто-нибудь есть, они и боятся.

— Нет, воробей — вор,— сказал Владимирко с убеждением.

— Значит, по-твоему, и голубь тоже вор?

— Нет, он не вор: он не так людей пугается.

— Стало быть, воробей только похитрее будет, а голубь к людям больше привык, все же, по-твоему, вор выходит.

— Голубя убивать нельзя...— схитрил Владимирко.

— Да и воробья не следует убивать.

— А клопа?

— И клопа не следует убивать.

— А мама убивает клопов...

— Это еще не значит, что их следует убивать; а надо так сделать, чтоб в комнате они не разводились,— держать комнаты чисто.

— Да они в диване сидят...

— Надо сделать, значит, чтоб их и там не было.

— Да голубь ведь чистая птица?

— Чистая, коли не запачкается.

— Да нет! не то...— замялся Владимирко.

— А! знаю. Ну, чистая, чистая.

— А клоп чистый?

— И клоп чистый.

— Он пахнет.

— Что ж такое, что клоп клопом пахнет? И голубь пахнет голубем; ты понюхай-ка когда-нибудь.

Владимирко на минуту задумался, и затем лицо его приняло самое лукавое выражение.

— А мышь... чистая? — спросил он с очевидным коварством.

— Разумеется, чистая.

— Вот и врешь: мышь поганая! — засмеялся Владимирко, торжествуя.

— Что же это значит «поганая»? — смиренно схитрил, в свою очередь, Александр Васильич, прикидываясь, что не понимает значения этого слова.

— Поганая-то что значит? — переспросил Владимирко, очевидно, затрудняясь ответом.

— Да.

— Ее есть нельзя...

— Как нельзя? Ты разве пробовал?

— Чего вы еще выдумали!

Владимирко даже обиделся.

— Так как же ты говоришь, что есть нельзя, коли не пробовал?

— Мама говорит...

— А мама пробовала?

Владимирко еще больше обиделся и сделал гримасу человека, которого начинает тошнить.

— Ну уж, чего вы говорите...— сказал он несколько сердито.

— Так почему же ты думаешь, что мышь нельзя есть, коли никто не попробовал, можно ли ее, в самом деле, есть?

— А вы ели? — оправился Владимирко.

— Я тоже не ел, только не потому, что ее нельзя есть, а потому, что у нее мясо невкусное, пахнет скверно жиром.

— А вкусное было бы — съели ?

— Съел бы.

Владимирко повторил свою гримасу.

— А как же вы знаете, что она невкусная, когда и сами ее не ели? — спросил он лукаво.

— А вот, видишь, есть такие люди, ученые, которые стараются все испробовать,— пробовали и мышиное мясо и нашли, что оно невкусно. Все-таки есть его можно: китайцы вон едят.

— Они сами вам это рассказывали?

— Кто? Китайцы-то?

— Нет, другие-то...

— Ах, ученые! Нет, не сами. То есть сами же, пожалуй, да только в книгах, а не лично мне.

Владимирко посматривал на брата крайне недоверчиво. Александр Васильич заметил это и сказал:

— Да вот, лучше всего, мы когда-нибудь сами поймаем мышь, сварим ее, да и попробуем, какой у ней вкус. Вкусной окажется — съедим, а коли невкусная — выбросим.

Владимирко опять скорчил было прежнюю гримасу, но сейчас же и прояснился.

— А вы где будете мышь ловить? В подполье лучше; там их много: во какие!..— показал он двумя пальцами.

— Можно и в подполье поймать.

— А вот уж таракана, так никто не съест: он с усищами...— захохотал Владимирко.

— Я, брат, однажды съел таракана.

— Съ-е-ли? — растянул удивленно Владимирко.— Зачем съели?

— Да так, дурачился; хотел показать одной барыне,

что можно и таракана съесть, не поморщившись, коли захочешь.

— Невку-у-сный? — снова растянул Владимирко, отчаянно сморщив нос.

— Нет, ничего; почти никакого вкуса нет.

— Вы мертвого или живого съели?

— Мертвого.

— А живой в брюхе будет ползать?

— Нет. Он сейчас же переварится в желудке, так что от него и следов не останется.

— Какой вы смешной! — сказал Владимирко.— А я умею по-вороньи каркать,— прибавил он вдруг.

— Ну-ка, каркни.

Владимирко каркнул очень похоже.

— А вы умеете? — спросил он у брата.

Александр Васильич тотчас же приподнялся на постели, уморительно покачал головой, подражая вороне, и так мастерски каркнул, что у Владимирки даже слюнки потекли. Он по крайней мере с минуту после этого смотрел брату в рот, признав себя решительно побежденным.

— А сороку...— попросил он.

Александр Васильич не менее мастерски изобразил ему и сороку, даже как-то особенно забавно подпрыгнул для этого несколько раз на постели. Тут уж Владимирко пришел в совершенный восторг и, как бы в знак начавшейся дружбы, вскарабкался на брюхо к брату.

— А ты умеешь, Саша, ракетки делать? — спросил он с замирающим сердцем.

— Еще какие, брат, умею делать-то! — засмеялся Александр Васильич.

— Врешь? — допытывался Владимирко.— А красный огонь... умеешь?

— И красный огонь сделаю.

Красный огонь был для Владимирки своего рода демоническим призраком, преследовавшим его воображение с того последнего фейерверка, на котором он в первый раз увидел этот огонь.

— А ты как ракетки научился делать? — спросил мальчуган с самым живым любопытством, причем его маленькое личико, обыкновенно довольно угрюмое, сияло полнейшим торжеством.

— Сперва прочел в книге, как делаются ракеты; после

попробовал сам сделать, раза три испортил, а потом ничего, хорошо вышло.

— А книга эта у тебя есть?

— Нет, не взял с собой.

— А красный огонь тоже по книге научился делать?

— Тоже по книге.

— А из чего он, Саша, делается?

— Ты не поймешь: в него разные вещи входят, все мудреные названия.

— Ска-а-жи, Саша!..— уморительно упрашивал Владимирко.

— Ну... азотнокислый стронциан входит, бертолетова соль входит, сернистая сурьма...

Лицо Владимирки мгновенно омрачилось: он смекнул сразу, хоть и смутно, что это уж не чета его селитре. «У-ух сколько!» — подумал он с полнейшей безнадежностью приготовить красный огонь.

— А вот постой,— сказал Александр Васильич, заметив на его лице эту безнадежность,— вон там у меня в чемодане книга есть, в красном переплете, толстая такая... дай-ка ее мне сюда.

Владимирко опрометью бросился к чемодану и мигом достал оттуда книгу.

— Химия! — не утерпел он не объявить громко, пробежав глазами заглавие.

— Да, химия,— подтвердил Александр Васильич и стал перелистывать книгу.

— Что это значит «химия», Саша? — полюбопытствовал Владимирко.

— Наука такая... Если выучишься ей, будешь знать, из чего, например, соль состоит,— вот что к обеду подают,— как железо получается, отчего оно ржавеет... одним словом, я расскажу тебе когда-нибудь об этом поподробнее, а теперь вот смотри, прочти вот здесь...

«Славная, должно быть, книжка!» — весело подумал Владимирко и с жадностью прочел указанное место, подтвердившее ему слова брата о составе красного огня.

— Ты дашь мне, Саша, почитать эту книжку... а? — попросил он умильно.

— Возьми, да только ты ничего не поймешь в ней.

— Ничего, я почитаю...

— Почитай, почитай.

— А эти... как они называются?.. для красного-то

огня... здесь нельзя достать? — опять с замирающим сердцем спросил Владимирко.

— Отчего нельзя достать? В любой аптеке можно купить.

Владимирко пришел было в неописанный восторг, но вдруг подумал о чем-то и омрачился.

— Без лекаря не дадут в аптеке...— сказал он печально.

— Дадут и так,— утешил его брат,— без рецепта только ядовитые вещества не отпускаются, а эти продадут.

— А дорого, поди?

— Не особенно.

— Поди, три рубля, Саша?

Три рубля всегда представлялись почему-то Владимирке роковой финансовой единицей, разбивавшей в прах все его планы и надежды.

— Эк куда хватил: три рубля! — засмеялся Александр Васильич,— разве несколько копеек.

У Владимирки совсем повеселело на душе. Он бесцеремонно принялся тормошить брата, но при этом как-то нерешительно все поглядывал ему в глаза.

— Саша! А, Саша!..— робко проговорил он, наконец.

— Что?

Владимирко вдруг покраснел весь как рак, застыдился чего-то и мгновенно исчез из комнаты, оставив брата в полнейшем недоумении. Минуты через две он вернулся с какой-то бумажкой в руках, по-прежнему красный как рак, и робко всунул ее Александру Васильичу. Но едва тот стал развертывать бумажку, Владимирко закрылся халатиком, закричал: «Не читай при мне, Саша!» — и убежал снова. Бумажка оказалась запиской, лаконически моливашей: «Зделай мне севодни красной огонь». Прочитав ее, Александр Васильич расхохотался до слез.

— Володя! — позвал он громко Владимирку, который, притаясь в соседней комнате, в углу, просто умирал от нетерпения.

— Володя! Поди же сюда! — повторил Александр Васильич еще громче.

Владимирко появился, наконец, в кабинете брата, но с таким сконфуженным и расстроенным лицом, что Александр Васильич и на этот раз не мог удержаться от смеха, глядя на его комично съежившуюся фигурку.

— Ах ты, проказник этакий! — сказал он, все еще сме-

ясь, и притянул к себе Владимирку за обе руки.— Делать, брат, нечего — надо исполнить.

Владимирко так и запрыгал на месте.

— Сегодня, Саша? а? Сегодня? а? — приставал он к брату, обвив руками его шею.

— Сегодня, сегодня; вот только встану — и распоряжусь.

Владимирко захлопал в ладоши, порывисто чмокнул брата в щеку и опрометью удрал из комнаты. Ему, по всей вероятности, захотелось сейчас же поделиться своей неописанной радостью... кто бы под руку ни подвернулся первый.

Прямым результатом этой нехитрой беседы было следующее: «наилюбезному камердинеру» стало в тот же день доподлинно известно, что у него были и мать и отец, только нехорошие, оттого что выбросили его на улицу; что они, может быть, потом и приходили посмотреть на своего сына, а он их не видал, или и видел, да не узнал. В этот же день «наилюбезный камердинер», к удивлению своему, узнал, что его следует называть «Ваней», а не «Ванькой», потому что он такой же мальчик, как и Владимирко. Вечером, около десяти часов, маленькая зала светловского флигелька осветилась на несколько минут ярко-красным огнем азотнокислого стронциана,— и запиравший ворота работник, пораженный таким необыкновенным освещением в окнах хозяев, заглянув в одно из них, увидел торжественно сидящего на полу, на корточках, Владимирку, смотревшего с широко разинутым ртом на какую-то горевшую перед ним диковинку. Ночью же, когда все в доме спало крепким сном, совершилась никем не подмеченная тайна: Владимирко выложил на ладонь свою маленькую душу и отдал ее старшему брату...

IV

СВЕТЛОВ У РОДСТВЕННИКОВ

На другой день Александр Васильич с утра собрался с визитами к родственникам, которых у него оказывалось порядочное количество. Старик Светлов с этой целью предоставил в полное распоряжение сына свою только что перед тем подновленную пролетку: ему хотелось, чтобы

его старший наследник показался в люди прилично. Когда, перед самым отъездом, Александр Васильич, совершенно уже одетый, вышел в залу, семья не могла наглядеться на своего новоприезжего члена: так наряден показался он ей, хотя и был, по-видимому, одет очень просто.

— Фу, каким ты аристократом, Санька! — первая воскликнула в восхищении Ирина Васильевна.

— Да ведь мы с отцом недаром же ведем свой род от какого-то якутского князька,— отшутился сын.

— Повернись-ка, парень, повернись,— говорил старик Светлов, осматривая сына сзади и спереди и проводя рукой по его изящной бархатной визитке.— Важно!

— А что такая визитка стоит в Петербурге, Саша? — полюбопытствовала Оленька.

— Помнится, что я шестьдесят рублей заплатил; впрочем, с жилетом и с брюками.

— Шутка ли, Санька, какие деньги! Ну, да уж и сто́ит: как игрушечка сидит на тебе,— сказала Ирина Васильевна.

У крыльца в это время раздался стук подъехавшего экипажа. Александр Васильич заторопился.

— Смотри же, батюшка, ко всем заезжай,— говорила Ирина Васильевна, провожая сына до самого крыльца,— а то после и не оберешься разных пересудов да капризов. Все ведь это на мою голову обрушится, а она у меня, признаться сказать, и так частенько побаливает. К дяде-то пуще, смотри, заезжай!

Александр Васильич поцеловал мать, сказал, что постарается побывать везде, и уехал.

— А знаешь, мать, что: на кого у нас Александр-то походит? — сказал Василий Андреич жене, когда та вернулась в комнату.

— На кого? — спросила Ирина Васильевна довольно равнодушно.

— А вот на тех политических преступников, которых я возил... помнишь?

— Тьфу ты! Типун бы тебе на язык, отец! Еще чего выдумал! Окрестись-ка ты, батюшка, окрестись!..— вспыхнула, как порох, Ирина Васильевна, плюнув в сторону.

Она несколько раз серьезно перекрестила мужа и, не слушая его больше, сердито ушла.

— А право, похож...— подтверждал старик как бы про себя и зашагал по комнате.

Тем временем Александр Васильич завертывал уже за угол улицы. По правде сказать, он не особенно был расположен к сегодняшним визитам; по крайней мере к некоторым из них даже и вовсе не расположен. Светлов знал вперед, что многие родные посмотрят на него как на выскочку, то есть как на человека, пробившего себе прямую дорогу собственными боками. Сами они приучились выглядывать всю жизнь из-за чужой спины, подчиняться всякой нелепости, какую бы общество ни поставило им в условие спокойного существования. Такие люди не прощают независимости в других. Но Александру Васильичу хотелось доставить удовольствие матери.

«С кого же бы мне начать? — подумал Светлов, когда пролетка его повернула за угол улицы.— Поеду прежде к дяде Соснину»,— сообразил он погодя и обратился к своему вознице:

— Знаешь, где Алексей Петрович Соснин живет?

— Эта хотора медалем тут? — лениво спросил, ткнув себя бичом в галстук, бурят-работник, исправлявший на этот раз должность кучера.

— Ну да, с медалью на шее: так вот ты к нему и поезжай сперва,— улыбнулся Светлов.

Соснин приходился Александру Васильевичу двоюродным дядей. С стариком Светловым они почти росли вместе, и если кто-нибудь мог считаться другом Василья Андреича, то, разумеется, ближе Соснина право это никому не принадлежало. До настоящего времени Александр Васильич видел дядю только раз в жизни, и то мельком, когда был еще лет двенадцати — не больше. Но уже и тогда эта личность, сколько он помнит, поразила своей оригинальностью его ребяческое внимание. Молодой человек, хоть и неясно, а все-таки вызвал из памяти черты лица дяди. В семействе Светловых Соснин считался большим чудаком, «горячкой», по выражению Ирины Васильевны, и добряком — вообще, широкой натурой; о нем немало рассказывалось там интересных анекдотов. Большую часть жизни он провел в разъездах по Амуру, состоя на службе российско-американской компании. Как превосходный знаток Амурского края, Алексей Петрович, хотя и косвенно, участвовал в его завоевании, оказав много серьезных услуг этому делу,— и тот, кого оно ближе всего касалось, никогда не забывал впоследствии крикнуть слабому глазами старику, встретив его на улице: «Здрав-

ствуй, Соснин!» Это ласковое приветствие всякий раз, однако, раздражало почему-то Алексея Петровича. Оно и понятно, впрочем: заслуги его, как водится, не были вознаграждены по достоинству. Скромное имя предприимчивого мещанина Соснина, не раз рисковавшего жизнью, не нашло себе места там, где успели кокетливо приютиться имена не столь темного происхождения, хотя носившие их чаще всего даже и насморка-то порядочного схватить не рисковали. В эпоху нашего рассказа старик Соснин был уже позабыт, и если его оставляли еще на службе, то больше по привычке, чем по надобности. Отец успел в это утро сообщить Александру Васильичу, напомнив ему о необходимости навестить дядю, что тот в последнее время стал не в меру раздражителен, что с ним надо говорить осторожнее. Предупреждение отца вызвало в памяти Светлова одно из недавних писем матери, в котором подробно рассказывалось, как Соснин, в свою последнюю поездку, отполосовал за что-то плетью ямщика, а тот, соскочив с козел и вырвав плеть, хлестнул ею по лошадям; они понеслись во весь дух под гору, Алексей Петрович был выброшен из повозки, едва не сломал ногу и так ушиб себе спину, что около двух месяцев не мог встать с постели.

Пока эти соображения занимали Светлова, пролетка его подъехала к воротам небольшого домика в три окна в одной из самых глухих улиц города. По ветхим ступеням крыльца или, вернее, лестницы Александр Васильич поднялся в плохо сколоченные холодные сени и отворил наугад первую попавшуюся ему на глаза дверь. До его слуха тотчас же резко долетели болезненные звуки скрипки: кто-то с большим чувством, хотя и не совсем верно, играл известный полонез Огинского.

— Дома Алексей Петрович? — спросил Светлов у вышедшей ему навстречу толстой женщины в белом чепце, не то барыни, не то кухарки.

— Как же, дома. Проходите-ко в горенку,— ответила она приветливо.

Светлов вступил действительно в «горенку». Комнатой, в нынешнем смысле этого слова, назвать ее никак не приходилось: от нее веяло стариной и патриархальностью; только два револьвера, висевшие на стене между картинками мод, намекали на то, что и о современной цивилизации здесь имеют понятие. В горенке никого не бы-

ло, но скрипка умолкла. Александр Васильич раза два кашлянул. Через минуту из смежной комнаты к нему вышел, с смычком в руке, довольно бодрый еще старик, в котором молодой человек сразу узнал дядю. Это было очень характерное лицо. Седые, с желтизной, несколько всклокоченные волосы, закрывая широкий, со складками, лоб, беспорядочно торчали над густыми, с проседью, нависшими черными бровями; из-под них сурово смотрели умные, еще не утратившие своего блеска, серые глаза. Нос напоминал несколько орлиный клюв, а две глубокие складки по обе стороны ноздрей, резко оканчивавшиеся у углов гладко выбритых губ, придавали всему лицу, и особенно этим губам, чрезвычайно оригинальное саркастическое выражение. Соснин был в черном длиннополом сюртуке, с большой золотой медалью на шее.

— С кем имею удовольствие приятного свидания? — спросил он далеко не гостеприимно у Светлова, широко раскрыв удивленные глаза и недоверчиво меряя ими неузнанного племянника. Старик не поклонился ему, а только чуть заметно шевельнул головой.

— Немудрено, что вы меня не узнаете, дядя: мы только раз и виделись: Светлов,— отрекомендовался Александр Васильич с легким поклоном.

Соснин еще шире и удивленнее раскрыл глаза.

— Светлов?.. Позвольте... Светловы, точно, наши... только какой же вы это Светлов? — спросил он, как будто соображая, и поправил орденскую ленту на шее.

— Сын Василья Андреича Светлова,— пояснил Александр Васильич с едва заметной улыбкой.

— Э! Да как же бы я тебя узнал, этакого молодца?..— несколько растерявшись проговорил Соснин. При этом выражение его лица немного смягчилось, но нельзя было сказать положительно, обрадовался он племяннику или нет.— Садись-ко, племяша: гостем будешь,— поспешил прибавить старик и подставил Светлову стул.

— Когда ж это ты успел примахать к нам? — спросил Соснин, когда они оба сели.

— Рано утром вчера приехал.

— Так. Ну что ж, обрадовались мать-то да отец?

— Еще бы! — улыбнулся Александр Васильич.

— Мать-то, надо полагать, всплакнула при сей верной оказии?

— Было и это,— снова улыбнулся Светлов.

— Они тебя месяца через три еще ждали; ты ведь сам так писал...— заметил Соснин, помолчав и, видимо, приискивая предмет для разговора. Он как будто конфузился племянника.

— Я и сам не предполагал раньше приехать; думал, что экзамены задержат,— сказал Александр Васильич.

— Так. Что ж, совсем выучился?

— Совсем и не совсем: не мешало бы и еще поучиться.

— Как же ты... с каким же ты... чином... или как это у вас там?..— замялся старик.

— Я кандидат математических наук,— скромно пояснил племянник.

— Гм! Так. А непочтению к старшим вас тоже небось там учили? Ты как? силен в этой науке? Чай, тоже кандидат? — сурово сострил Соснин.

— Старшие старшим рознь, дядя,— сказал Светлов уклончиво.

— Ты, может быть, стесняешься, что меня «дядей» кличешь? У вас ведь, в Питере, кажется, этого не полагается; так ты не стесняйся, пожалуйста: мы невзыскательны,— проговорил Соснин лукаво-саркастически.

— Если бы это меня стесняло, я бы не называл вас так,— сказал холодно Светлов.

— Что ж ты, служить думаешь? — спросил, минуту помолчав, Соснин. Голос его значительно смягчился, но в нем по-прежнему звучала ирония.

— Нет, не думаю,— коротко ответил Александр Васильич.

— Что ж так? Напрасно. Служить выгодно: дали бы тебе, глядишь, какую-нибудь вот этакую светленькую штучку — и кушай ее потом на здоровье, как со службы-то в шею прогонят, вон как твоего отца,— зло проговорил Соснин, ткнув несколько раз смычком в свою золотую медаль.— А, впрочем, можно и каменные дома нажить, коли спина без костей да лапа мясиста,— прибавил еще злее старик.

— А вот вы служите же, дядя...

— Я-то? Служу, племяша, служу... чертовой перечнице!

— Как так? — засмеялся Светлов.

— Да так, что как ее ни нюхай, все в нос бросается...— проворчал сквозь зубы Алексей Петрович.

— Ведь ваша служба, кажется, частная, дядя?

— А не все один бес, что частная, что казенная? — спросил сердито Соснин вместо ответа.

— Так что же, по-вашему, следует делать-то?

— Огороды разводить...

— Как «огороды разводить»? — удивился Светлов.

— А как бабы разводят? Так и разводить. Еще ученый, а спрашиваешь.

— Ну и что ж из этого выйдет?

— А своя репа вырастет...

— Не много же,— улыбнулся Светлов.

— Не много, а все *матушку репку петь* не будешь...— позволил себе улыбнуться и Соснин.

— Этак вы и меня соблазните с огородов начать,— сказал племянник.

— А ты что намерен производить?

— Да на первый раз хочу уроки давать, а там... увижу...

— С парников, значит, начнешь. Что ж, хорошо: арбузы-то здесь, пожалуй, подороже будут, чем репа,— снова позволил себе улыбнуться Соснин, и в голосе его послышалась нота доверчивости.— Пьешь ты какое-нибудь вино? Али только так, в рюмку смотришь, как другие пьют? — спросил он шутливо у племянника.

— Н... ну, нет, до последнего не охотник,— пошутил, в свою очередь, Светлов, не догадываясь, к чему ведет этот вопрос.

— У меня, племяша, по-военному! — весело сказал вдруг Соснин и мастерски изобразил племяннику, при помощи пальца и рта, как откупоривают шампанское. Потом он быстро встал, засуетился, начал что-то искать глазами на полу, наконец прошел в угол комнаты, нагнулся и что-то поднял.

Александр Васильич, не сразу смекнувший в чем дело, с некоторым удивлением посматривал на старика, который между тем поспешно прошел в переднюю и тотчас же вернулся.

— Что это вы искали, дядя?— спросил у него Светлов.

— Деньги.

— Как деньги? На полу-то? — удивился племянник.

— Я их всегда на полу держу.

— Нет, дядя, вы шутите?

— А то где же ты найдешь лучшее место для этой дряни? — сказал Соснин совершенно серьезно.

— Так-таки на полу и держите?

— Завсегда. Как принесешь их откуда-нибудь, так в угол и бросишь.

— Но ведь их вымести могут?

— Гм! Нет, мои порядки здесь твердо знают; а может, и выметают... да я, впрочем, никогда не считаю эту дрянь.

— Что вы?! — изумился Светлов.

— Да что их считать! Сколько есть, столько и ладно.

Светлов недоверчиво покосил глаза в один из углов комнаты и действительно увидел на полу несколько медных и серебряных монет; он покосился на другой угол: там тоже валялись две-три ассигнации.

— Да вы и в самом деле, дядя, не шутите,— сказал он, протянув руку по направлению валявшихся денег.

— А что мне шутить, маленький я, что ли? — нехотя ответил Соснин и стал расспрашивать племянника о Петербурге.

Не успели они перебросить несколько слов, как в комнату вошла та самая женщина, которая встретила Светлова при входе сюда. Она несла поднос с двумя стаканами и бутылкой шампанского.

— Что это, дядя, значит?

Александр Васильич с недоумением указал глазами на поставленную перед ним бутылку.

— Значит, пить будем,— коротко пояснил Соснин.

— Так вы для этого спрашивали меня, пью ли я какое-нибудь вино? Для этого и деньги искали?

— А то на кой же бы хрен я стал тебя спрашивать? Ты ведь не на исповедь в мою хату заглянул.

— Но я, дядя, не буду пить.

— Это отчего?

— Во-первых, я никогда в это время не пью, да, кроме того, мне еще надо побывать у других родственников,— сказал Светлов.

— Эка невидаль! Что ж тебя стакан-то съест, что ли?

— Да ведь неловко же приехать к ним навеселе в первый раз.

— А тебе уксусом надо к ним показаться?

Соснин положил смычок в сторону, на стул, и насмешливо принялся откупоривать бутылку.

— Погоди, племяша, шибко-то не скачи! Будет довольно впереди уксусу,— насмотрятся: у семейной-то ро-

зы, брат, шипов еще не оберешься...— сказал он, разрывая пальцем проволоку у пробки.

— Зачем непременно такое дорогое вино, дядя...— заметил Светлов, очевидно, не зная, что ему сказать.

— А ты себя дешево ценишь? Ты у меня считал капиталы? — спросил сердито Соснин.

— Все-таки...— затруднился Александр Васильич.

— Эх вы, сорокалетники безусые! — иронически-укоризненно проговорил Алексей Петрович и с шумом откупорил бутылку.— С приездом честь имею поздравить! — шутливо-торжественно прибавил старик, молодецки чокаясь своим стаканом с стаканом племянника.

Александр Васильич поблагодарил и отпил глоток вина.

— Я, племяша, терпеть не могу церемоний,— сказал Соснин, утирая двумя пальцами губы.

— Да разве я церемонился?

— Кто тебя знает: какой ты; вашего брата, нынешних, чтоб раскусить, надо два зуба выломать!

— Будто? Это отчего?

— Оттого, надо полагать, что вас не в одной квашне с нами месили,— захохотал Соснин.

Светлов тоже засмеялся.

— Чудак вы большой, дядя, как я посмотрю,— молвил он, прихлебнув из стакана.

— Что же, брат, делать: во фронте не состоял. А ты вот мне лучше скажи: охотник ты до баб?

— Я очень люблю женское общество,— сказал Светлов, опять не понимая, к чему клонится вопрос дяди.

— Не о женском обществе тут речь,— заметил старик с лукавой усмешкой,— я к тому говорю, что если тебе понадобится когда приютиться с подружкой, так ты меня только предуведомь: я целый день могу в отпуску находиться, да и стенам-то от этого большого убытку не будет...

Александр Васильич слегка вспыхнул.

— Вряд ли, дядя, мне придется воспользоваться вашей любезностью,— сказал он холодно.

— Было бы сказано молодцу, а там хошь век не пользуйся! — закашлялся недовольно Соснин.— А ты что же, толокно на розовой воде разводить здесь думаешь?

— Право, я пока ничего об этом не думаю,— неохотно ответил Светлов.

— Гм! Так. У меня так эти дела по-военному всегда обделывались,— рассмеялся старик.

Вино заметно воодушевило его.

— Как же это? — равнодушно спросил Александр Васильич, очевидно, не интересуясь ответом.

— А вот как. Понравилась мне раз, в Кяхте, градоначальница тамошняя,— я еще тогда совсем сизоперым ходил, лет двадцать пять мне было. Полюбилась бабенка, да и на-поди! Бывало, как только новые товары придут,— а я тогда в приказчиках сидел у одного купца,— я сейчас к ней... материи показывать. Маска у меня тогда была не эта.— Соснин лукаво посмотрелся в зеркало.— Смекнула, должно быть, баба, что парень того... давай глазами поворачивать, как я приду. А благоверный-то ее больше на службе развлекался. Бегал я, бегал к ней — тошно стало, хоть душу выложи. Взял раз, махнул на колени, да и объяснился.— Соснин молодецки прищелкнул пальцами.— Куда тебе! И ногами и руками... Такую пыль подняла, что я с переполоху-то чуть в окошко не выскочил! Только уж как домой прибежал — вспомнил, что «мерзавцем» окрестила. «Так ты, думаю, для чего же глазами-то ворочала? Постой!» А кровь во мне вот так, знаешь, и кипит-кипит. Раз, вечерком, подкараулил я, что царевна-то моя одна-одинешенька в тереме, захватил с собой пистолет, да и махнул к ней, через окошко, прямо в спальню. Как сейчас помню,— сидела, книжку читала. Небось побледнела вся, как меня, добра молодца, увидала,— и закричать не могла. А я, не будь робок, да пистолет-то ей в грудь, в упор, и приставил. «Если, говорю, вы сейчас же не того...— Понимаешь? — тут вам и дух вон!» Что ж ты думаешь? Чего только душа просила, все получил... А ведь пистолет-то, племяша, был не заряжен! — окончил Соснин, угрюмо захохотав.

— Неужели? Ну и что же потом? — спросил у него Светлов, на этот раз, очевидно, заинтересованный рассказом дяди.

— Потом-то? — медленно переспросил старик, как бы наслаждаясь воспоминанием.— Потом-то, племяша, лучше и не вспоминать на старости, что было: огонь-баба стала, веревками рук от шеи не оторвать...

Соснин залпом допил стакан, низко опустил свою седую всклокоченную голову и, сурово сдвинув брови, крепко о чем-то задумался.

Александр Васильич воспользовался этой минутой и стал прощаться, ссылаясь на множество визитов впереди.

— Эк тебя роденька-то подмывает! Да ты хоть вино-то сперва допей... егоза! — сказал Соснин, быстро очнувшись.

Светлов допил стакан.

— Ну, нет, племяша, этим ты от меня не отделаешься; да и я тебя не всегда буду шампанским потчевать...— торопливо проговорил Алексей Петрович, наливая племяннику новый стакан.

— Вы непременно хотите, чтоб я раскис, дядя? — спросил у него Светлов, улыбаясь.

— Хороша же ты опара, коли дрожжей боишься! Или полагаешь, что дядю на старости потешишь, так достоинство свое потеряешь? — начал сердиться старик.

— Если это действительно может доставить вам удовольствие, дядя, тогда, разумеется, и толковать об этом нечего,— сказал Светлов и сразу осушил стакан.

— Вот это так! Это по-нашему, племяша. Спасибо!

Соснин встал и обнял племянника.

— Постой! Ты ведь, кажется, сочинитель? — спохватился он вдруг.

— Да, я пишу.

— Ты этак и меня где-нибудь опишешь?

— При случае — может быть...— улыбнулся Светлов.

— Ах ты... материн сын! — дружелюбно засмеялся Соснин.— Я тоже одного сочинителя знал, только не русского, а из поляков,— прибавил он задумчиво,— огонь-душа был!

— Вы не помните фамилии, дядя?

— Как не помнить,— помню. Первый у них сочинитель был; я и стихи-то его читал. Мицкевич ему фамилия.

— Неужели, дядя, вы его знали?

— Что же ты на меня глаза-то вытаращил? — удивился Соснин.

— Да как же, это очень интересно. Где же вы его видали?

— А когда в Питере был: мы с ним в одной польской кухмистерской обедали. Забыл я теперь, как эту пани звали, которая стол держала. И пивали вместе.

— Вы, значит, и по-польски знаете?

— Jak Boga, kocham![1] — засмеялся Соснин.

— Я надеюсь, дядя, вы мне расскажете об этом поподробнее, как только у меня будет время? — сказал Светлов, очень заинтересованный тем, что сейчас услышал от Алексея Петровича.

— А вот забегай, снюхаемся как-нибудь...— несколько лукаво ответил старик.

Александр Васильич крепко пожал ему руку. Они расстались совершенно дружелюбно и, кажется, понравились друг другу. По крайней мере Соснин проводил племянника до самых ворот и на прощанье несколько раз повторил ему и даже крикнул вдогонку:

— Заглядывай же, смотри, племяша!

От Соснина Светлов поехал к «тетке Орлихе», как называла Ирина Васильевна свою старшую сестру — Агнию Васильевну Орлову. Орлова овдовела полгода тому назад. Муж не оставил ей ничего, кроме семерых детей да ничтожной пенсии, недостаточной для прокормления даже и одной головы. Из числа этих детей один мальчик принят был на казенный счет в какую-то военную школу, другой пристроился *на побегушки* в чью-то лавку, четверо были еще малы и обретались дома, на руках вдовы, а седьмая — дочь — за год перед тем вышла из института, с полнейшей непривычкой к встретившей ее жизни. Анюту,— так звали дочь Орловой,— Светлов помнил особенно потому, что она, будучи в этом заведении, отвечала обыкновенно на все вопросы родным застенчивым: «Не снаю». Такого же ответа удостоивался и сам Александр Васильич, когда с матерью навещал ее там по воскресеньям. В то время Анюта была в высшей степени робкое, несообщительное существо.

Едва Светлов подъехал к ветхому, покривившемуся домику, где обитала эта многочисленная семья, на него так и повеяло со всех сторон нуждой да бесприютностью. Забор покосился, готовый обрушиться на неосторожного пешехода; ставни у окон уродливо висели в разные стороны, точно искалеченные члены у обезображенного трупа; калитка отворилась с таким пронзительным скрипом, как будто ее отпирали раз в год; ступеньки крыльца, ког-

---

[1] Ей-богу! (*польск.*)

да вступил на него Александр Васильич, так затряслись под ним, что он в первую минуту даже отступил назад. Ему невольно вспомнились и широкий двор отцовского дома с большим, массивным крыльцом, и пролетка, на которой он только что подъехал,— и стало как-то жутко Светлову. «Не в бархатной визитке надо было ехать сюда!» — язвительно мелькнуло у него в голове. Он вошел, однако.

Переступив порог этого дома, Александр Васильич почувствовал, как кровь мгновенно прилила у него к лицу при одном взгляде на окружающую обстановку. Во второй комнате от той, где он теперь стоял, два оборванных мальчика возились на голом, с большими щелями, полу, с жадностью отнимая друг у друга корку пирога. Их напрасно старалась унять сидевшая в уголку, поодаль, сестра, штопавшая чьи-то старенькие, со множеством заплат, брючки. Светлов не сразу узнал бы в ней прежнюю Анюту. Девушка выросла и похорошела,— похорошела как бы назло своей семейной бедности. Стройная и миловидная, с маленькой русой головкой, с прекрасными задумчивыми темными глазами, она не только ничего не теряла от убогой обстановки, но, напротив, придавала ей какую-то своеобразную, горькую прелесть. Чрезвычайная худоба ее лица, рук и стана бросалась в глаза с первого взгляда.

Увидев в передней раздевающееся, незнакомое, нарядное лицо, девушка заметно смутилась, не зная, что делать, вся покраснела и торопливо сунула на окно свою работу.

— Здравствуйте, Анюта! Ничего так не люблю, как заставать девушек за работой... Не узнали? — скороговоркой молвил Александр Васильич, входя в комнату и приветствуя сестру самым искренним образом.

Она широко раскрыла глаза, потом потупилась и нерешительно встала.

— Так-таки и не узнаете? — сказал весело Светлов и назвал себя.

— Ах, боже мой! Неужели?..— воскликнула девушка, едва доверяя своим ушам, бойко сделала шаг навстречу и опять нерешительно остановилась.

— Нет, уж извините, этак братьев не встречают! — заметил еще веселее Светлов, обнял ее и поцеловал.— Вот так будет породственнее,— прибавил он, невольно залюбовавшись на сестру, как та заалелась вся от его поцелуя.

— Боже мой, как вы переменились-то! Я бы вас ни за что не узнала! — говорила радостно, впопыхах, девушка, пока молодой человек звонко целовал все еще возившихся на полу ее братишек.

— А вы-то разве не переменились, Анюта? И я бы вас не узнал,— сказал Александр Васильич, садясь с ней рядом.

Он взял ее за обе руки.

— Ну, как вы поживали без меня? Ведь я вас сто лет не видал! Помните, как я ваше зеленое институтское платье соусом облил, а когда вас спросили, откуда это пятно, вы отвечали: «Не снаю»?

Они оба весело засмеялись.

— Как не помнить,— проговорила Анюта.

— И досталось же мне потом за это платье: мама так мне больно надрала уши, что они у меня целый час после того горели. А где же... Агния Васильевна? — спохватился Светлов.

— Мамаша на рынок ушла; она сейчас придет. Вот она не ожидает-то встретить! Вы когда приехали?

Александр Васильич назвал день.

— Папа-то ведь у нас... умер! — сказала вдруг девушка, и голос ее оборвался.

— Да, я знаю, мне писали...

Светлов чувствовал, что промолчать в эту минуту будет удобнее.

— Нам теперь очень трудно жить,— заметила Анюта, помолчав.

Она поняла деликатность брата, не желавшего показать, что он замечает их крайнюю бедность.

— Что ж делать, Анюта! Не всем живется хорошо,— сказал Светлов с горечью.— Я еще удивляюсь, как вы переносите ваше семейное горе...

Александр Васильич невольно вспомнил при этом дядю Соснина, у которого деньги по углам валялись.

— Скажите мне, пожалуйста, Анюта, чем же вы теперь живете? Пенсия ведь у вашей мамы крошечная? — спросил он, помолчав.

— Мамаше некогда работать на сторону, надо братьев обшивать, так я работаю кое-что, беру заказы, белье шью...

— И много вы таким образом зарабатываете — в месяц, например?

— Когда рублей десять, а когда и меньше; работы мало, а я-то готова и день и ночь работать...

Светлов мельком взглянул на сестру и заметил у нее легкую красноту вокруг глаз.

— Неблагодарная работа, Анюта,— сказал он сосредоточенно.

— Паша еще немного помогает: он в лавке шесть рублей жалованья берет: когда рубль, когда два уделит мамаше,— заметила тихо Анюта.

— Да, но ведь это, по вашей семье, как капля в море.

— И еще у нас помощник есть,— сказала девушка, грустно улыбнувшись,— Алеша. Он пока дома живет, в школу у меня приготовляется, так вот по утрам и ходит синиц ловить западней. Он их продает, а деньги мамаше приносит. У него страсть ловить птичек.

— А сколько лет этому помощнику? — спросил Александр Васильич, тоже грустно улыбнувшись.

— Восьмой год недавно пошел.

Светлов задумался.

— А знаете, Анюта, — сказал он через минуту, смотря ей прямо в глаза,— я все-таки очень рад за вас, и именно за вас...

Девушка посмотрела на него в недоумении.

— Видите ли, в чем дело, Анюта: я нахожу вас теперь такой, какой желал бы вас видеть, хотя и не предполагал, что такой именно вас и встречу...

— Это как? — удивилась она.

— Я хочу сказать: живи бы вы лучше, вы были бы хуже. Оно кажется странно как будто, а между тем — верно, если вдуматься глубже в ваше положение.

— Значит, лучше жить — худо? — спросила она, недоумевая по-прежнему.

— Как вам сказать, Анюта? Для вас, по-моему, лучше... так пожить... на некоторое время, разумеется.

— Я вас не понимаю,— сказала она.

— Сейчас поймете. У нас, видите ли, школа не дает правильных понятий о жизни, не подготовляет к ней, и потому большей части из нас приходится брать уроки непосредственно у самой жизни. Чем раньше придут эти суровые уроки, тем лучше для человека, который из школы вынес одну только ненужную дребедень. Вот хоть вы, например, скажем. Я уверен, что вы ровно ничего не вынесли из вашего института, кроме нескольких красиво сши-

тых тетрадок, где на полях, я думаю, и теперь еще можно прочесть разные надписи вроде: «Ах, какой он душка!», «Божество!», если только они у вас сохранились. Ну, скажите, не правда ли?

Девушка кротко улыбнулась, но она была вся — внимание.

— Ведь знаний положительных вы никаких оттуда не вынесли,— продолжал Светлов, заметно увлекаясь.— Я даже смею думать, что вы до сих пор не умеете писать правильно по-русски; по крайней мере я так сужу отчасти по моей сестре,— а это еще не бог знает что; да, говоря строго, это совсем и не положительное знание. Если же вы и такого-то знания оттуда не вынесли, так что же вы вынесли после этого? Разумеется, ровно ничего или почти ничего. А между тем там уж успели натолкать в вашу голову всякую ненужную дребедень, разные понятия, от которых развитые люди открещиваются потом и руками и ногами всю свою жизнь. И вот представьте, что, выйдя из института, вы поступили бы в так называемую «приличную обстановку», с полным довольством. Так бы у вас и не составилось никогда понятия о требованиях настоящей, действительной жизни, а не той, потребности которой выражаются в институтах деланием глубоких книксенов да сшиванием тетрадок розовыми ленточками. Вышли бы вы потом не менее «прилично» замуж, в полной уверенности, что и всем так же хорошо живется на свете, как и вам. Может быть, со временем, вам и пришлось бы узнать настоящую жизнь, зайти в ее дебри; но тогда она, по всей вероятности, сломала бы вас, а не исправила. Теперь вам легче дастся это знание: вы еще молоды, еще поборетесь, сил у вас хватит, а там, глядишь, как-нибудь и ясные дни проглянут...

Девушка с глубоким вниманием слушала эту горячую, совсем еще новую для нее речь. Ее мыслящая головка хотя и не все поняла из того, что теперь говорилось, но ею инстинктивно сознавалась правда высказанного.

— Я никогда об этом не думала,— сказала Анюта задумчиво.

— И тогда, даже при самой лучшей обстановке,— продолжал с жаром Светлов,— вам не покажется, Анюта, ни странной, ни смешной какая-нибудь другая бедная девушка, штопающая брючки своим маленьким братьям...

— Да, это правда,— заметила она еще задумчивее, чувствуя в эту минуту большую симпатию и доверие к Светлову.

— Главное, Анюта, надо помнить, что в жизни все берется с боя; даром ничего хорошего она не даст. Правда, иногда, по-видимому, дуракам и валит счастье, только ведь какое же это счастье? От такого счастья истинно развитый человек за тридевять земель бежит!..

— Я иногда много думаю обо всем, но мне все кажется, что я ошибаюсь; посоветоваться не с кем, мамаше не до того, да она как-то и не соглашается со мной,— сказала Анюта, не смотря на Светлова и как бы говоря сама с собой.

— Ну, вот, теперь мы будем вместе советоваться,— молвил Александр Васильич, переходя в более веселый тон,— только, вперед, одно условие: полнейшая искренность с обеих сторон. Не так ли?

Он протянул ей обе руки.

— Да, да; мне бы так хотелось с кем-нибудь поговорить, кто больше меня знает,— сказала она, прямо и доверчиво смотря ему в глаза.

— Ну, я хоть и немного больше вашего, а все-таки кое-что знаю, Анюта,— заметил ей Светлов совершенно просто.

— А вы не будете надо мной смеяться? — спросила она наивно и как-то особенно весело.

— Непременно; без этого не обойдется. Как только скажете что-нибудь смешное, так и засмеюсь; впрочем, потом скажу, почему смеюсь.

Они снова оба засмеялись.

— Так, значит, мы будем жить друзьями? Не правда ли? — спросил через минуту Александр Васильич.

— Разумеется, друзьями...— застенчиво, но доверчиво ответила она.

— Так что я могу считать, что с сегодняшнего же дня начинаются и мои дружеские обязанности в отношении вас? — спросил снова Светлов.

— То есть что же?.. я, право, не знаю...— смутилась девушка.

— А вот что. Шитье-то ведь плохая работа, Анюта; времени уходит на него много, а труд не вознагражден. Да это бы еще вполгоря, но тут и вопрос о здоровье замешивается...

— Так ведь что же делать! — вздохнула Анюта.

— Постойте, не вздыхайте. Я вот что придумал: я вам уроки достану.

— Ой, где мне! Я и сама-то ничего не знаю...

— Ну, полноте, как ничего не знаете! Мы сперва начнем не с мудреных, а там и втянетесь помаленьку? — сказал Светлов вопросительно.

— Да я бы рада была... попробовать; только мне кажется, что я не справлюсь с этим.

Девушка грустно покачала головой.

— А вот увидим, справитесь ли. Вы мне теперь скажите только, уполномочиваете ли вы меня позаботиться об этом?

— Я, право, не знаю; я могу сконфузить вас: я ведь такая неловкая, дикая...

— Вот уж я не из конфузливых-то! — засмеялся Светлов.— Нет, вы уж обо мне, пожалуйста, не хлопочите, Анюта. Я считаю этот вопрос порешенным... Да?

Он протянул ей руку. Она колебалась. Ей, видимо, и понравилось его предложение, и что-то удерживало ее принять его.

— Я бы лучше подумала...— сказала она, не зная, что делать.

А Светлов не отнимал своей протянутой руки.

— Ну что же это? Что же я буду делать? — тревожно прошептала Анюта, как бы говоря сама с собой, и ее маленькая, худенькая рука, может быть против ее воли, незаметно очутилась в здоровой руке Светлова.

— Давно бы так! — сказал он весело.

Минут десять еще потолковали они об этом. Между тем Агния Васильевна вернулась с рынка вместе с двумя маленькими сыновьями. В руках у ней был кулек с рыбой. Светлов выбежал к тетке навстречу, в переднюю. Она его сперва не узнала, но потом вдруг бросилась к нему на шею и заплакала. Орлова была еще очень бодрая старушка, хотя по всему лицу ее и прошли те неизгладимые черты, какие способно врезывать одно только глубокое, безысходное горе. Всматриваясь в это выразительно-скорбное лицо, Александр Васильич невольно вспомнил, что в семействе у них, Светловых, существовало как бы предание, что никогда и никто не слышал ни одной жалобы из уст этой женщины.

— Вот, мои матушки, не ожидала-то, кого бог уви-

дать привел! — говорила она сквозь слезы, рассматривая пристально Светлова и даже позабыв, что кулек у ней все еще оставался в руке.— Я как будто знала, что селенгу сегодня купила: ты ведь до нее прежде охотник был...

Тут только вспомнила Агния Васильевна о своем кульке.

— Посмотри-ка, какая большущая... Это что! — сказала она, доставая из него крупную соленую рыбу и показывая ее Светлову.

— Уж как хотите, тетя, а меня попотчевайте; я ведь сколько лет не лакомился ею,— попросил Александр Васильич.

Это доставило несказанное удовольствие Агнии Васильевне. Но едва ли еще не большее удовольствие доставило ей то, что племянник назвал ее «тетей». Она засуетилась как угорелая: у ней все так и выпадало из рук. Хлопотня старушки чрезвычайно развеселила Светлова. Он забрался к ней на кухню, принялся сам чистить рыбу, стал крошить лук и прослезился при этом, рассказывал забавные вещи, смешил до упаду всех и сам хохотал — словом, школьничал. В каких-нибудь четверть часа семья Орловой так освоилась с гостем, как будто уж и невесть сколько лет он заглядывает таким образом к ним по утрам. Дети, так те просто одолели его. Они то взбирались к нему на колени, то залезали ручонками в его карман, чтоб вытащить оттуда ярко блестевшие золотые часы; младший сын Орловой даже пробовал на шею ему вскарабкаться, несмотря на все урезонивания сестры и матери.

— Вишь, как ребятки-то его полюбили, даром что нарядный да важный такой,— замечала Агния Васильевна дочери, сияя материнским восторгом.

— Уж и важный! — смеялся Светлов.

— Разумеется, батюшка, важный: платье-то одно чего у тебя стоит! Только зачем это ты бородищу-то не сбреешь? Так-то будто на мужика похож... Право! — наивно критиковала старушка племянника.

— Настоящему русскому человеку так и подобает... на мужика походить,— шутил Александр Васильич.

— Еще чего выдумаешь! — смеялась Агния Васильевна, с оттенком добродушной укоризны.

— Дяденька! А, дяденька! Вы-ы-думайте еще чего-

нибудь...— наивно обратился к Светлову старший из мальчиков.

— Изволь!

И Александр Васильич преуморительно натурально рассказал ему басню Крылова «Кот и повар». Дети с сосредоточенным вниманием следили за малейшими изменениями лица и движений рассказчика, передразнивая каждую его гримасу, и к концу басни разразились неистовым хохотом. Даже Анюта прыснула со смеху, хотя немного и сконфузилась при этом.

Светлов просидел у них довольно долго, неумолкаемо болтая и шутя. Когда он уходил, вся семья проводила его до ворот и даже постояла несколько минут за воротами, пока пролетка Александра Васильича не завернула на угол улицы.

— Поезжай домой,— сказал он кучеру, посмотрев дорогой на часы.

Светлову почему-то не захотелось ехать сегодня до обеда еще к кому-нибудь, хоть он и знал, что дома мать распечет его за это порядком.

V

ВСТРЕЧА С СТАРЫМИ ТОВАРИЩАМИ

«Впечатления бывают чище и глубже, когда они реже повторяются»,— думалось дорогой Александру Васильичу. Этим он как будто хотел мысленно оправдать себя перед стариками в том отношении, что посетил во все утро только два дома. Но Светлову, видно, не суждено было ограничиться в это утро одними теми впечатлениями, с какими он теперь возвращался домой. Едва миновав две-три улицы, Александр Васильич вдруг услыхал, почти рядом с собой, громкий голос:

— Сто-о-й! Светловушка!

Не успел он обернуться в сторону голоса, как к нему подбежал, быстро соскочив с дрожек, молодой человек в парадной форме лекаря горного ведомства.

— Батюшки! Ельников! Ты какими судьбами? — закричал радостно Светлов и, в свою очередь, радостно бросился к приятелю.

Они дружно обнялись и поцеловались.

— Вот не думал-то!..— сказал Александр Васильич, весь покраснев от удовольствия.

— Я, брат, и сам не думал, так скоро тебя увидеть... Еду — гляжу: что за чудо! неужели Светлов? Так и есть: он! — проговорил впопыхах Ельников, сияя тем же удовольствием.

— Едем ко мне,— пригласил Светлов.

— Нет, брат, ко мне. Я сегодня целое утро с официальными визитами таскаюсь, устал страшно, а у тебя ведь семья: не сразу растянешься, как дома. Отпускай свое судно, авось и на моем доберемся до пристани, хоть оно немножко и не того... не из паровых.

— Значит, надо заказать, что и обедать дома не буду? — улыбнулся Светлов.

— Полагается.

Александр Васильич отпустил своего кучера с заказом, что обедать дома не будет, и поехал с Ельниковым. Дорогой Светлов вкратце рассказал ему, как выдержал экзамен, сообщил самые свежие петербургские новости; рассказал, что отыскивал его в Москве, но там сказали, что он, Ельников, тоже выдержал экзамен и уехал на службу, лекарем, в Сибирь.

— Я и думал, что ты теперь где-нибудь в нерчинских краях пребываешь,— заключил Александр Васильич, слезая с дрожек у ворот квартиры Ельникова.

— Да оно так бы и случилось, пожалуй, если б я не похлопотал здесь у начальства. Не хотелось, брат, мне забираться в такую глушь...— сказал Ельников, и в голосе его послышалась тоскливая нота.

Анемподист Михайлыч Ельников принадлежит к числу тех личностей нашего рассказа, на которых мы остановимся подольше, и потому сказать о нем особо два-три слова будет не лишнее. Ельников представлял собой фигуру среднего роста, до крайности сухощавую. Чрезвычайно серьезное лицо его смотрело мрачно, как иная сентябрьская ночь; но когда это лицо освещала редкая улыбка, оно было в высшей степени добродушно и привлекательно. Особенно хороши были у Ельникова глаза: большие, черные, глубоко впавшие в свои орбиты, такие же мрачные, как и лицо, они обнаруживали сильный самобытный ум и постоянно как-то лихорадочно блестели. С первого взгляда манеры Анемподиста Михайлыча казались грубыми, угловатыми; но, привыкнув

к этим манерам, в них нетрудно было подметить ту своеобразную, суровую мягкость, которая как будто говорит встречному: «Ты смелее подходи ко мне — я человек хороший». Тем не менее наружность Ельникова производила на каждого, с первой же встречи, весьма тяжелое, тоскливое впечатление: неизлечимым недугом чахотки веяло от каждой ее черты. В особенности, когда Анемподист Михайлыч бывал чем-нибудь взволнован, лицо его принимало такой неестественный, зеленоватый цвет и восковую прозрачность, что становилось как-то жутко в его присутствии не одному свежему человеку, но и хорошо знавшим Ельникова товарищам.

В настоящую минуту, когда приятели уселись рядом на диване в маленькой, в одну комнату, квартирке Ельникова, Светлов, пристально смотря на него, чувствовал именно такое впечатление. «Не жилец он на свете»,— подумалось Александру Васильичу в эту минуту, и ему стало жутко до боли.

— А ты, брат, еще больше похудел,— сказал он Ельникову под влиянием этого неотразимого впечатления.

— Эх, брат! ведь дни и ночи пришлось сидеть перед экзаменами,— ответил угрюмо Анемподист Михайлыч.— А главное — люди меня изводят,— помолчав, прибавил он еще угрюмее.

Светлов не стал расспрашивать товарища о значении последней фразы. Он научился понимать его с первого слова еще с гимназической скамейки. Александр Васильич знал, что Ельников был натура в высшей степени честная, чистая и впечатлительная. Всякая, даже малейшая людская несправедливость, на которую иной и внимания не обратил бы, принималась им горячо к сердцу. Не легко было состязаться с Анемподистом Михайлычем в том случае, когда он отстаивал какую-нибудь любимую идею. Несообщительный и скупой на слова вообще, он делался тогда увлекательным, красноречивым. При этом особенно плохо приходилось тому из его товарищей, кто, выслушивая рассеянно его горячие доводы, отвечал ему невпопад или перевирал его мысль. Ельников бесцеремонно схватывал противника руками за что ни попало и сердито тряс его изо всей силы, приговаривая: «Ты мог сказать, что не хочешь со мной говорить; а уж если стал говорить, так слушай же! слушай! не спи! Это неуважение!.. Это черт знает что такое! Я вот что тебе доказываю,

вот что говорю... а ты что несешь?» — и прочее в этом роде. Светлова он считал своим лучшим другом, как и тот его, в свою очередь. «Светловушка, брат, богатая голова, хоть вы его и обзываете *франтиком»,—* нередко говаривал с жаром Анемподист Михайлыч кому-нибудь из товарищей, когда тот отзывался легко о Светлове, часто приезжавшем в Москву, чтоб повидаться с приятелями. «У вас в голове — хвощ, а у него — царь. Вы вот так точно, что *франтики:* меняете свои убеждения, как перчатки. Тут дело не в том, в чем человек ходит, а в том, что он в себе носит!» — уже едко заканчивал обыкновенно Ельников, стоявший тогда во главе лучшего университетского кружка. Правдивость и добросовестность Анемподиста Михайлыча вошли там в пословицу. Достаточно было сказать, что Ельников в таком-то случае вот на чьей стороне стоит,— и все лучшее единодушно примыкало к этой стороне. Правдив он был со всеми одинаково, не исключая и ближайшего начальства. По этому поводу еще на первом курсе между товарищами долго рассказывался один забавный анекдот, очень метко характеризовавший Анемподиста Михайлыча. Какой-то плохой профессор, обращавший больше внимания на дисциплину, чем на науку, однажды заметил Ельникову, что у него недостает на вицмундире двух пуговиц. «У вас в голове и четырех пуговиц не хватает, да я молчу»,— ответил ему угрюмо Ельников,— и высидел за эту остроту два дня в карцере. «Теперь вы, вероятно, стали умнее?» — спросил у него тот же профессор, когда Ельников появился снова на его лекции. «Разумеется,— едко согласился с ним Анемподист Михайлыч,— пока вы на меня не жаловались ректору, я думал, что у вас не достает только четырех пуговиц в голове, а теперь знаю, что у вас там целых шести не хватает». Но в карцер он на этот раз не попал почему-то. На третьем курсе все очень хорошо помнили его «дуэль на глазах». Дело было таким образом. Кто-то из студентов, считавшийся между товарищами аристократиком, отбил у другого студента модистку, с которою тот был года полтора в самых близких отношениях. Ельников узнал об этом и на одном приятельском вечере пристал к аристократику, требуя, чтоб он во всем сознался и извинился. Аристократик струсил, но упорно отрицал факт. Анемподист Михайлыч не унимался. «Очень уж, видно, жалко вам своей

благородной дворянской шкурки?» — спросил он, пожимая плечами. «Господин Ельников!» — вскричал обиженный, весь побледнев, и направился было к Анемподисту Михайлычу. «Что прикажете?» — ответил тот спокойно, сделал шаг навстречу и, сложив крестообразно руки на груди, уставил на противника неподвижный, пронзительный взгляд. Минуты три они простояли так, не спуская глаз друг с друга. Наконец аристократик не выдержал, покраснел весь, как рак, опустил глаза и отошел в сторону. «Если вы даже на меня не можете прямо смотреть после вашего поступка, то как же вы будете смотреть в глаза вашим товарищам? — сказал ему холодно Ельников. Он не проронил больше ни слова и сейчас же ушел, а выведенный им на свежую воду аристократик прослыл с этих пор «притчей во языцех» и вскоре вынужден был оставить университет, не находя прохода от двусмысленных улыбок даже тех студентов, которых считал своими. Многих, в свое время, забавляла также другая выходка Анемподиста Михайлыча, известная тогда под именем «лошадиной революции». Кто-то стал доказывать ему однажды законность рабства в известных пределах и сослался при этом на пример приручения с глубокой древности теперешних домашних животных. «Да, так! попали, батюшка, пальцем в небо! — разгорячился Ельников,— думаете, оседлали коня по праву сильного, так и езди на нем весь век? А что, кабы лошади вздумали восстать все поголовно в одно прекрасное утро? Ведь они бы все человечество одними задними ногами в прах повергли! Коли вы об этом не размышляли никогда, так вот поразмыслите-ка». Споривший с Ельниковым только пожал плечами, пренебрежительно сказав: «Вот проповедник-то лошадиной революции!» — «И буду проповедником! Нечего на пятиалтынный-то либеральничать!» — проговорил сквозь зубы Анемподист Михайлыч и отошел в сторону.

Таков был Ельников на школьной скамье, таким же он и теперь представлялся Светлову, пока Александр Васильич молча смотрел на его исхудалое, утомленное лицо.

— Да, брат,— сказал доктор, первый прерывая молчание,— скверно живется на свете...

— Разумеется, скверно, да ведь ничего не поделаешь с этим.

— Именно ничего не поделаешь; только обманываешь

и себя и других. Я вон всю эту премудрость, кажется, насквозь прогрыз,— Ельников сердито указал глазами на два больших чемодана, туго набитых книгами,— а что она, премудрость-то эта? Как и мы же, безнадежно разводит руками...

— Ты, видишь ли, слишком горячо все принимаешь,— сказал Светлов.

— Да я уж, брат, пробовал и не горячо принимать — все ни к черту не годится.

— Не хуже же теперь, чем прежде...

— И не лучше, чем прежде? Экое утешение сказал! — горько улыбнулся Ельников.

Товарищи помолчали.

— А ты знаешь, кто здесь еще из наших? — спросил вдруг Ельников, прилегая головой на ручку дивана.

— Нет. А кто?

— «Крыса» здесь.

Под именем «крысы» слыл у них один общий товарищ по гимназии, получивший там это прозвище за свою лукавую юркость и особенную манеру держать себя в классе.

— Неужели «крыса» здесь же? — обрадовался и удивился Светлов.

— А вот подожди; ты его увидишь, вероятно, через несколько минут: он каждый день в это время ко мне заезжает.

— Что же он здесь делает? Служит?

— Как же, лекарем при казачьем полку. У него, брат, огромная практика здесь частная; особенно у дам он в ходу,— улыбнулся Анемподист Михайлыч.

— Что ж он им, сиропы, да варенья, верно, прописывает? — захохотал Светлов.

— Ну нет, брат, я этого не скажу,— ответил Ельников серьезным голосом,— он знает свое дело отлично. Но, кроме того, у него действительно есть какое-то особенное уменье ладить с барынями.

— Как и у меня же? — рассмеялся Александр Васильич.

— Ты, пожалуй, почище будешь...

Ельников прежде часто нападал на Светлова за его особенную наклонность к женскому обществу.

— Я, брат, в этом отношении — каюсь — таким же остался, как и был,— проговорил Александр Васильич,

закуривая папиросу.— Начинай, распекай! — засмеялся он добродушно.

— Эх, Светловушка! Ты, пожалуй, брат, и прав,— тоскливо молвил Ельников.

— Как, Анемподист Михайлыч!.. Неужели... поздравить? — шутливо-торжественно произнес Александр Васильич.

— Поздравь, брат,— угрюмо ответил Анемподист Михайлыч.

— И где же... совершилось сие... чудо? В Москве? — тем же шутливым тоном спросил Светлов.

— В Москве, брат.

— Вон оно что! И крепко?

— Так, брат, крепко, как и нельзя крепче.

Анемподист Михайлыч быстро поднялся с дивана, порылся угрюмо в одном из чемоданов и, достав оттуда фотографическую карточку, подал ее приятелю.

— Ого, отче, каков у тебя вкус-то! — сказал Светлов, внимательно рассматривая портрет.

— Нравится тебе?

— Чрезвычайно. Как же вы порешили с ней? — сочувственно осведомился Александр Васильич.

— Она гувернантка — голь, как я же, так что ехать нам вместе и думать было нечего. Я, прочем, звал. «Нет, говорит, дай прежде хоть немного денег скопить, чтоб было с чего начать и на что выехать. Твоих, говорит, средств не хочу». Кремень, знаешь, натура, хоть и молода еще..— взволнованно проговорил Анемподист Михайлыч, и по его выразительному лицу чуть заметно пробежала какая-то светлая тень.

— Через сколько же времени ты ее ждешь? — спросил Светлов.

— Не раньше, думаю, как через полгода; только дождусь ли?..— грустно вымолвил Ельников.

В эти минуту в комнату робко и неуклюже вошел, низко кланяясь, господин весьма странного вида. Судя по наружности, это был очень молодой еще человек; но в лице у него выражалось какое-то преждевременное старчество, что-то неприятное и жалкое до крайности. Длинные, как у дьячка, волосы и длиннополый суконный не то сюртук, не то халат, как у семинариста, придавали всей фигуре вошедшего еще более жалкий аскетический вид; только меланхолическая улыбка, как-то неопреде-

ленно блуждавшая у него на губах, несколько смягчала эту нелепую, суровую фигуру.

— А! Созонов! — быстро проговорил Ельников, подходя к новому гостю и радушно протягивая ему руку.— Садитесь-ка, батюшка. Очень кстати пришли: вот и еще ваш товарищ — Светлов,— пояснил Анемподист Михайлыч, указывая глазами на приятеля.— Не узнаешь? — спросил он у того,— Созонов.

Александр Васильич буквально оторопел. «Как! Неужели этот странный, низко кланяющийся человечек, эта жалкая фигура — тот самый Созонов, мой товарищ по гимназии, подававший когда-то такие блестящие надежды?» — подумалось ему. Светлов глазам своим не верил.

— Он сильно переменился...— заметил Ельников, стараясь не смотреть на крайне озадаченного и совсем растерявшегося приятеля.

— Боже мой!.. Никак бы не узнал! — усиленно выговорил наконец Александр Васильич и протянул руку старому товарищу. Он только теперь узнал его, смутно вызвав из памяти прежний образ Созонова.

— Садитесь-ка, батюшка,— снова пригласил Ельников гостя.

Созонов стоял и как-то нерешительно переминался. Ельников подвинул ему стул.

— Вот в монастырь поступить собирается,— сказал он угрюмо Светлову.

— Что это вы, Созонов? Что вам хочется? — почти с испугом спросил Александр Васильич.

— Спасение души побуждает-с...— тихо и застенчиво-робко проговорил Созонов.

— Далось ему это «спасение души»! — сердито проворчал Ельников.

Они в гимназии были большими приятелями.

— Вы этого влечения, Анемподист Михайлыч, не можете понимать; это кому откроется свыше, тот может...— тем же застенчиво-робким голосом выговорил Созонов.

— Экую, брат, ты чушь несешь! Да разве в том, что ли, спасение души состоит, чтоб вот в этаком халате ходить да по неделям не мыться? — еще сердитее сказал Ельников.

— Подвиги многообразны... какой кому по силам, Анемподист Михайлыч...

— Так неужели, Созонов, вас уж ни на что больше не хватит? — вмешался Александр Васильич.

— Вы меня хотите искусить, господин Светлов, человеческой мудростью? Я и сам некогда в помрачении ума моего дерзал проникать в тайны божии; знаю, сколь пленительно наваждение сие... Но всевышний просветил ныне мой разум и закрыл его от мирских соблазнов...— медленно и с глубоким убеждением произнес Созонов, тяжело вздохнув.

— Мне кажется,— сказал Светлов,— угоднее богу должен быть тот, кто больше приносит пользы ближнему; а как же вы достигнете этого, если добровольно закроете глаза на жизнь, от условий которой именно и зависит на каждом шагу ваш ближний?

— Любовь к ближнему следует приносить в жертву любви к богу — сказано в писании.

— Положим. Но ведь это что́ значит? Это значит, по-моему, просто, что, увлекаясь любовью к ближнему, вы не должны противоречить евангельским заповедям. Если б, например, для спасения ближнего потребовалось клятвопреступление, тогда, разумеется, писание учит вас пожертвовать ближним,— заметил Александр Васильич.

— Нет, господин Светлов, не искушайте меня вотще: младенцам открыто — сказано — то, что от мудрых сокрыто... Я только, господа, согрешаю с вами...— вздохнул Созонов.

Светлова что-то больно кольнуло в сердце.

— Я только добра вам желаю, Созонов, как ваш бывший товарищ, а не искушаю вас,— молвил он с горечью.

— Ведь вот,— желчно сказал Ельников,— третью неделю я с ним так бьюсь; и книг-то ему предлагал, и спорить с ним пробовал, и доказывал,— право, кажется, в няньки бы к нему пошел,— а он все свое, все у него *наваждение* какое-то; даже медицину считает грехом... Ведь вот вы до чего доработались, Созонов! — чуть не сквозь слезы заключил Анемподист Михайлыч.

— Вы что же, собственно, теперь поделываете-то, Созонов? — спросил мягко Светлов.

— Молюсь о своем спасении-с...

— Целый день все только молитесь?

— И день и нощь...

— Откуда же вы берете средства? Ведь одной молитвой не напитаетесь же вы?

— Милостью божией от монастырской трапезы довольствуюсь...

— Там, при монастыре, и живете теперь?

— Да, там-с...

Приятели помолчали. Созонов присел было на кончик стула, но сейчас же опять и встал.

— Я к вам... собственно... Анемподист Михайлыч, вот зачем.. пришел-с... вы не рассердитесь на меня? — спросил он смиренно у Ельникова, запинаясь на каждом слове и вынимая что-то из-за пазухи.

— За чем бы вы ни пришли, Созонов — я вам очень рад: стало быть, и толковать об этом нечего,— сказал искренно Ельников.

— Я вот зачем-с... я вам просфору принес, за здравие ваше вчерась вынул,— проговорил, краснея, Созонов и подал Ельникову тщательно завернутую в бумагу просфору.

— Ну что ж... спасибо вам!

Анемподист Михайлыч взял из рук Созонова просфору, развернул ее и поставил на угольный стол.

— Вы, может, обиделись, Анемподист Михайлыч? — робко спросил Созонов.

— За что же? Всякий по-своему выражает внимание. У вас свои убеждения, у меня тоже свои, а жить мы можем дружно.

— Вы если хвораете чем-нибудь, так она много может облегчения вам принести, вы ее скушайте ужо...

— Ладно, съем.

Созонов несколько минут постоял молча, переминаясь на месте и нерешительно поглядывая на Александра Васильича.

— Я бы и за ваше здравие, господин Светлов, вынул просфору, коли вам не во гнев...— боязливо выговорил он наконец.

— Ах да, Созонов, пожалуйста, заходите ко мне. Я бы и сам попросил вас об этом, хоть бы вы и не напоминали мне. Смотрите, заходите же. У нас с вами много найдется о чем потолковать: слава богу, давнишние товарищи, так вы без церемонии,— сказал Светлов приветливо.

Какая-то странная полуулыбка осветила суровое лицо Созонова.

— Истинно у меня к вам душа лежит,— сказал он,

тяжело вздохнув и ни к кому в особенности не обращаясь,— пошли вам господь просветление!..

Анемподист Михайлыч порылся в чемодане и достал оттуда литографированный экземпляр лекций Фейербаха[1] о сущности христианской религии.

— Вот вам, Созонов, от меня на память,— сказал он, подавая старому товарищу книжку.— Пусть это будет моей просфорой. Я съем вашу, а вы зато прочтите вот это, дайте мне слово.

— Да это ведь, верно, светская книжка, Анемподист Михайлыч? — спросил Созонов, нерешительно принимая подарок из рук Ельникова.

— Все равно, какая бы ни была, вы ее прочтите. Я же ведь не отказался от вашей просфоры, а все-таки остаюсь при своем убеждении. Так и вы сделайте. Прочтете? даете слово?

— Греха-бы мне какого от этого не последовало?..

— Где же, в таком случае, стойкость-то ваших убеждений? В том-то и заслуга, чтоб всякие искушения вынести бодро,— сказал серьезно Ельников.

— Враг ведь рода человеческого силен-с...—потупился Созонов.

— Вот вы и закалите себя против него,— заметил ему Анемподист Михайлыч.— Впрочем, меня-то вы уж, верно, не считаете «врагом рода человеческого»?

— Сохрани господи! — встрепенулся Созонов и бережно спрятал книгу за пазуху.— Да будет над вами благодать божия!

Он стал торопливо прощаться. И Ельников и Светлов несколько раз крепко пожали ему руку, прося не забывать их и заглядывать к ним почаще. Созонов ушел, по-прежнему низко кланяясь.

— Вот она, жизнь-то наша, что производит! — весь взволнованный проговорил Ельников, едва затворилась дверь за Созоновым.— Счастье, брат, наше с тобой, что мы вовремя выкарабкались отсюда; ведь это душу рвет на части... Проклятая!..— затрясся он, весь побледнев.

— Ты успокойся,— сказал Светлов,— тебе это вредно.

---

[1] Фейербах Людвиг (1804—1872) — выдающийся немецкий философ-материалист. В своей книге «Сущность христианства» (1841) утверждал, что так называемые высшие существа, созданные религиозной фантазией,— это только фантастические отражения собственной сущности человека.

— Вредно!.. А не вредно мне каждый день задыхаться от злости, зная, что подобные явления встречаются у нас на каждом шагу? уж лучше, брат, пластом растянуться! — горячо заметил Анемподист Михайлыч и в изнеможении опустился на диван.

Светлов молчал. Он сам чувствовал то же самое.

— И ничего ведь не поделаешь против таких явлений; ходишь смиренно, как какая-нибудь собака с ошпаренным хвостом! — продолжал Ельников, судорожно сжимая кулаки.— Тьфу ты! — плюнул он озлобленно.

— Вот потому-то мыслящим людям, как ты, и надо беречь себя,— сказал успокоительно Светлов,

— Много мы с тобой намыслим! — саркастически улыбнулся Ельников.

— Скажи, пожалуйста,— спросил Александр Васильич,— ты расспрашивал Созонова? знаешь, как это все с ним случилось? Ведь не ни с того же ни с сего...

— Черт, брат, знает как. Нас просто, кажется, с самой утробы матерней уродуют. Он и прежде был немного меланхоликом, тосковал по родине, даже учиться одно время из-за этого перестал. Пороть, разумеется, стали... ну, и выпороли из человека весь здравый смысл. Эх, и говорить-то не хочется! — ответил сквозь зубы Анемподист Михайлыч.

— Он ведь классом ниже нас шел, так что я лично-то мало его знаю, а только слышал о нем многое, особенно от тебя; вы с ним ведь пансионеры были, так виделись каждый день,— сказал Светлов, помолчав.

— Ты не поверишь, когда он в первый раз пришел ко мне сюда, я просто голову потерял. Этакая светлая голова пропала! Тут, разумеется, причин много было, только я теперь не в состоянии рассказывать... Это меня просто бесит, рвет... понимаешь? — рвет! — проговорил Ельников, с кашлем приподнимаясь на диване.

— На меланхоликов, брат, всегда плоха надежда.

— Да ведь и меланхолию можно направить в хорошую сторону, а тут черт знает что такое вышло! — снова закашлялся Анемподист Михайлыч.

— Видишь ли, душа моя...— начал было Светлов, но стук подъехавшего экипажа остановил его.

Ельников встал и заглянул в окошко.

— «Крыса»,— сказал он лаконически.

Минуту спустя в переднюю весело и шумно вошел

доктор Евгений Петрович Любимов, именовавшийся некогда в гимназии попросту «крысой».

— Вот потеха-то! — чуть не упал на крыльце...— слышался еще оттуда его звонкий голос, говоривший, вероятно, с хозяйкой квартиры Ельникова.

В комнату Любимов почти вбежал; но, встретив там новое лицо, он на минуту остановился, пристально взглянул на Светлова, мгновенно просиял весь и кинулся к нему со всех ног.

— Чучело чучелейший!.. Ты как? Вот потеха-то! Здравствуй! Здравствуй! Вот не ожидал-то! Когда ты приехал? а? Вот чудо-то! — весело и запыхавшись, говорил он, принимаясь несколько раз обнимать Александра Васильича.

— Да ты хоть со мной-то поздоровайся,— смеясь сказал ему Ельников.

— Эка черт! Тут, брат, не до тебя покуда,— расхохотался Любимов.— Нет, чучелейший-то... а? Каков? — продолжал он, наскоро пожав руку Ельникова и снова обращаясь к Светлову.

— Как была «крыса», так «крысой» и осталась,— засмеялся Александр Васильич, обрадованный не меньше Любимова.

Здесь кстати будет сказать, что Светлов еще на школьной скамье получил от него прозвище «чучело» за свою странную привычку делать все по-своему, не как другие — «в свой нос», как выражалась на тот же счет Ирина Васильевна.

Любимов обыкновенно варьировал это прозвище на всевозможные лады, то называя Светлова просто «чучелом», то «чучелейшим», то «чучелизмусом». Он и теперь успел повторить их несколько раз.

Приятели все трое от души смеялись.

— Вот что, господа,— сказал Ельников, когда Евгений Петрович успел уж надавать Светлову сотню торопливых вопросов,— мы ведь, конечно, обедаем все вместе; а так как я сам хозяйства не держу и обедаю в гостинице, то приглашаю и вас туда же...

— Et cetera, et cetera...[1] — перебил со смехом Любимов.— Нет, постой, Ельников; право угощать принадлежит сегодня, по старшинству, мне: я раньше вас обоих

---

[1] И так далее, и так далее... (*лат.*).

ориентировался на этой почве,— заключил он, весело потирая руки.

— А по-моему, господа, по-студенчески: у кого сколько хватит, тот столько и заплатит,— вмешался Светлов.

— Экой чучелизмус-то хитрый какой! — навострился: у меня полтораста рублей теперь в кармане,— сказал Любимов, скорчив преуморительную гримасу, живо напомнившую приятелям прежнего «крысу».

Все дружно захохотали:

— Что тут толковать долго,— заметил Ельников,— грядем!

— Постойте, господа, на минутку; у меня к вам просьба есть...— сказал Светлов.

— Разумеется! Чучеле только покажи деньги, у него сейчас явится просьба,— шутил Любимов.

— Не угадал на этот раз, — заметил ему, улыбаясь, Александр Васильич.— Дело вот какого рода, братцы: встретил я сегодня одну бедствующую семью, так надо помочь ей, но так, чтоб она не знала, что ей помогают. Я вот что придумал — написать ей письмо от неизвестного лица: был, мол, столько-то должен вашему покойному мужу, да забывал отдать, а теперь присылаю. Мне самому писать нельзя: догадаются по почерку, от кого,— так не напишет ли кто-нибудь из вас?

— Еще бы! Давай, Ельников, перо и бумагу,— засуетился Любимов.— Постой, сколько же ты думаешь ей послать? — спросил он у Светлова.

— Десять рублей: у нее семья большая — ужасно бедствуют...— сказал Александр Васильич.

— Стало быть, с моими — двадцать будет? — спросил Любимов, запуская руку в правый карман брюк.

— Как с твоими?

— А вот как, изволишь видеть,— рассмеялся Евгений Петрович, вынув из кармана толстую пачку денег, и подал Светлову красненькую ассигнацию.

— Пять-то рублей и у меня найдется для круглого счету,— заметил сурово-добродушно Ельников. Он порылся у себя в бумажнике и достал оттуда пятирублевый билет.

Светлов крепко пожал руку товарищам.

— Это за них и от меня за участие. Спасибо вам! — сказал он, чрезвычайно растроганный.

— Ладно, на здоровье,— проворчал взволнованно Ельников.— Садись, Евгений, и пиши,— обратился он к Любимову, ставя перед ним чернильницу.

После общего краткого совещания Любимов написал следующее:

«Милостивая государыня,
Агния Васильевна!

Премного извиняюсь, что, будучи совершенно незнаком вам лично, беспокою вас настоящим письмом. Я имел кое-какие расчеты с вашим покойным мужем и остался по ним должен ему *двадцать пять* рублей. Долг этот, извините, совсем вышел у меня из головы, и только на днях, по возвращении в город, я вспомнил о нем, узнав случайно о кончине вашего супруга. Позвольте мне теперь с благодарностью возвратить вам эти деньги и примите уверение, что я вполне оцениваю вашу потерю, зная вашего покойного мужа с самой лучшей стороны.

Всегда готовый к вашим услугам...»

— Постой,— сказал Светлов, прерывая на этом месте Евгения Петровича,— подпишись так, чтоб ничего нельзя было разобрать.

— Знаю,— ответил Любимов и так расчеркнулся, что и сам не прочел бы, что написал.

Письмо с деньгами вложили в конверт, запечатали и надписали адрес.

— Теперь, чучелейший, изволишь видеть, мы отправим с этим письмом моего кучера. Где они живут? Я сейчас распоряжусь,— сказал Любимов.

Светлов стал объяснять, как умел.

— Чувствую,— перебил его Любимов и вышел.

— Да смотри, чтоб кучер не проболтался как-нибудь! — закричал ему вдогонку Светлов.

— Ах, чучело, каналья! еще и учит! — весело послышалось в ответ из передней.

— Вот кстати вспомнил,— сказал вдруг Ельников Светлову, отыскивая фуражку,— ты ведь уроки хочешь давать?

— Да, а что?

— Сто́ит только сказать Любимову: у него чертова пропасть знакомых.

— В самом деле,— сказал Светлов.

— У него, брат, это духом обделается.

— Так «крысу» за хво-о-ст! — рассмеялся Александр Васильич.

— Кого это за хвост? Меня? — послышался у двери громкий, смеющийся голос Любимова, а вслед за тем явился и сам он.

Приятели объяснили ему, в чем дело.

— Разумеется, обработаю; хоть завтра же,— сказал, выслушав их, Любимов.— Вот чучел-то он поразведет тут! — расхохотался Евгений Петрович.

Товарищи взяли извозчика и поехали обедать.

Любимов, не обращая ни малейшего внимания на свой форменный, военный костюм, уселся рядом с кучером на козлах. Дорогой, между разговором, он то и дело оборачивался назад и как-то радостно посматривал на Александра Васильича, всякий раз приговаривая со смехом:

— Чучело-то... а? Вот потеха-то!

Поздно вернулся домой Александр Васильич. Он был в таком веселом расположении мыслей, что у стариков недостало духу сделать ему какое-нибудь замечание по поводу его неисправности в отношении родственников, хотя у Ирины Васильевны нечто и вертелось на языке; впрочем, ее больше обидело то, что сын на второй день приезда обедал не дома.

Владимирко, совсем было приготовившийся спать, с радостью узнав о возвращении брата, забрался тотчас же к нему в кабинет и с уморительной важностью объявил:

— Я, Саша, знаю, из чего водка делается: из спирта с водой.

— А я, брат, сегодня еще лучше тебя знаю, какое спирт на человека действие оказывает, и потому сейчас же лягу спать,— засмеялся Александр Васильич, целуя брата.

Владимирко пристально посмотрел на него, тоже засмеялся, чмокнул его ни с того ни с сего в щеку и побежал было к маме, но в дверях остановился.

— Ты сегодня, Саша, совсем смешной! — хихикнул он, повернувшись на одной ноге на пороге, и опрометью умчался.

Минут через пять Светлов богатырски заснул.

VI

СВЕТЛОВ НА ПЕРВОМ УРОКЕ

Прошло несколько недель.

Над Ушаковском опять стояло светлое утро, такое же прекрасное, как и в тот день, когда Светлов в первый раз после десяти лет отсутствия увидел этот родной город. Рано проснулась в это утро Лизавета Михайловна Прозорова и так же, как и в тот раз, долго любовалась с балкона на далекие синеватые горы. Сегодня ей особенно много приходилось о чем подумать. Накануне вечером завернул к ней годовой доктор ее семейства — Любимов,— и объявил, что нашел учителя ее детям; он обещал заехать с ним сегодня. Кажется, Светловым назвал его доктор. Что это за человек? Любимов говорит, что вполне за него ручается, что это один из лучших его приятелей. Такого человека, стало быть, нельзя принять, как принимают обыкновенно в первый раз учителя — незнакомое деловое лицо, с которым, прежде всего, предстоит скучная необходимость уговориться в цене. Евгений Петрович — их хороший, короткий знакомый, личность, уважаемая ею, и потому приятель его вправе рассчитывать на радушный прием у них. Все-таки как это будет тяжело для нее; она так отвыкла от общества, так редко видит новые лица, а доктор еще сказал, кажется, что приятель его — литератор. Это, верно, что-нибудь очень скучное, ученое, тьма премудрости, так что надо говорить и за каждым словом оглядываться. Впрочем, сам же доктор выразился о нем: «Славный парень»; да опять нельзя и Любимову верить: мало ли он кого так называет. Но все бы это ничего еще; главное — дети. Когда привыкнут они к новому наставнику, и как отнесется он к ним? Ведь учитель, по необходимости, встанет между ними и матерью. Она, Лизавета Михайловна, должна, так сказать, уступить ему часть своих прав над ними; да и детям тоже придется со временем поделиться с ним хоть небольшой частицей той привязанности, которая теперь всецело отдается ей, как матери. Учитель — это не такое пустое слово, как относятся к нему многие; по крайней мере она понимает его иначе. Ведь характер наставника может отразиться на детских характерах, может изменить их в ту либо другую сторону — в хорошую или худую. Очень

может быть опять и то, что только ей это так представляется, что смешно так думать, что такие мысли — ребячество, неразвитость с ее стороны... Но что же делать, если ей именно так думается, если она не в состоянии иначе думать. Как бы то ни было, приятель Любимова не должен пожаловаться на холодный прием у нее,— и он не пожалуется; она даже оставит его обедать у себя...

Так раздумывала Прозорова, полной грудью вдыхая в себя утреннюю свежесть. Высокая, стройная, с тем неуловимым, сдержанным воодушевлением в лице, какое присуще только недюжинным женским натурам, она была очень хороша в эти минуты. Небрежно свернутая в один пук густая темно-русая коса ее мягко лежала на матовой белизны шее, придавая всей фигуре Лизаветы Михайловны какую-то особенную женственную прелесть,— и странно, что в то же время в этой фигуре было так много чего-то девического, свежего, еще не распустившегося... Раннею весной попадаются иногда такие цветы: они как будто и раскрылись, да не совсем, точно пережидают, чтоб их не прихватило весенней изморозью...

В самом деле, отчего бы и не быть в Лизавете Михайловне сходства с этими ранними цветами? Разве не шестнадцати лет вышла она замуж, без малейшей подготовки к самостоятельной семейной жизни? Разве не отдали ее, как бо́льшую часть наших женщин, первому встречному, чтоб сбыть поскорее с рук лишний рот, требовавший хлеба? Она именно так вышла замуж; она и теперь, через четырнадцать лет, не может вспомнить без дрожи того рокового вечера, когда ей пришлось в первый раз в жизни остаться в спальне глаз на глаз с человеком, которого она не уважала и не любила, потому что едва его знала. Сколько раз впоследствии было смертельно оскорблено ее человеческое достоинство этим пошлым человеком, не шедшим дальше грубых животных инстинктов! Разве он не действовал на ее нежную организацию убийственнее всякого мороза?

Лизавета Михайловна выросла в странной, оригинальной обстановке. Отец ее был сослан в Сибирь за политическое преступление, но за какое именно — об этом в семействе никто не знал и не решался спрашивать у молчаливого старика Сомова. Когда однажды, будучи еще маленькой девочкой, Лизавета Михайловна обратилась за таким сведением к отцу, он посмотрел на нее большими

грустными глазами, ласково потрепал ее по щеке и только вымолвил: «Не за худое дело, Лилечка». Больше она никогда не слыхала от него ни слова на этот счет. Женился Сомов уже в Сибири, на простой казачке — высокой и красивой женщине, совершенно не понимавшей его. Она любила мужа страстно, безгранично-доверчиво — и только. Сомов был умен, отлично образован, говорил на пяти языках. Но, при всем своем уме и образованности, он не обращал ни малейшего внимания на воспитание дочери, которую любил между тем без памяти. «Расти, Лилечка, как хочешь,— говаривал он ей иногда в светлую минуту,—учись, чему хочешь; я тебе не мешаю и навязывать тебе ни моего опыта, ни моих знаний не буду». Лизавета Михайловна так и поступала. Резкий контраст между широкой развитостью отца и деревенским неведением матери рано пробудил в ней брожение мысли. Наталкиваясь поминутно то на одно, то на другое, она всячески старалась примирить в уме эти две противоположные крайности — и не могла; они сбивали с толку ее детскую головку. Отец сам выучил ее грамоте и этим ограничил, с своей стороны, все ее образование, предоставив остальное ей самой. Лизавета Михайловна росла одна и на свободе. У ней, правда, были два старших брата, но она редко виделась с ними, так как они воспитывались на казенный счет и домой являлись только по большим праздникам и то на минуту. Маленькая Лилечка читала без разбору всякую попавшуюся ей на глаза книжку, останавливаясь преимущественно на тех, у которых был покрасивее переплет; ей казалось почему-то, что подобная книжка должна быть гораздо занимательнее. К счастью девочки, у них в доме не нашлось бы ни одного такого сочинения, чтоб его следовало запретить ей брать в руки, а между тем недостатка в книгах не было. Хотя Сомов и берег свой шкаф с книгами, как самую драгоценную сокровищницу, но ключ от этого таинственного шкафа не всегда лежал у него в кармане; он чаще, по забывчивости старика, торчал тут же в дверцах. Впрочем, Сомов прямо и не запрещал никогда дочери пользоваться своей сокровищницей; но за малейшей неаккуратностью в обращении с книгой следовал, в отношении дочери, неумолимый остракизм на несколько дней, и в эти дни ключ уже не торчал в дверцах. Мать Лизаветы Михайловны, не меньше отца любившая дочь, и

подавно не обращала внимания на то, как та растет и чем занимается, лишь бы девочка была здорова и весела. Когда к Сомову собирались гости,— а к нему приходили все какие-то серьезные, суровые люди,— мать постоянно уходила в свою комнату и к ним никогда не показывалась, разве подаст чай и опять уйдет. Лизавете Михайловне, когда та изъявляла желание посидеть с папиными гостями, она обыкновенно говорила: «Чего тебе, дурочка, делать с большими, сиди здесь»,— и оставляла ее при себе. Но выпадали случаи, когда Лилечка незаметно прокрадывалась туда, помещалась где-нибудь смирнехонько в уголку и все сидела — слушала. Речи папиных гостей очень занимали ее детский ум, хоть и были совершенно непонятны ей. Сомов как будто платил жене тою же монетой: он никогда не показывался у ней в комнате, когда там сидели ее гости. Старик в это время брал обыкновенно шапку и трость и уходил из дому. У Лизаветы Михайловны сердце лежало всегда больше к отцу, и она сама не любила материных гостей. «У тебя, папа, гости все так тихо говорят, а у мамы все тараторят»,— говорила она ему, если он заставал ее, по приходе, где-нибудь в уголку залы. «А сидят еще у мамы гости?» — спрашивал при этом Сомов и, когда ответ был положительный, уходил снова из дому, молча погладив по головке дочь.

Девочке никогда не случалось видеть, чтоб мать ее приласкалась к отцу, хотя она и была уверена почему-то, что мама очень любит ее папу. Сомов также не обнаруживал в отношении жены ни одной ласки. Но, в то же время, в доме никогда не слышалось ни брани, ни укоров; даже простые замечания были редки, как годовой праздник. «Пелагея! — говорил, например, Сомов жене за обедом,— суп у нас сегодня совсем сырой».— «А уж я его кипятила-кипятила»,— замечала та тихо. «Ну, может, мне так показалось»,— еще тише произносил старик, и тем дело кончалось. Вообще между ними были какие-то странные, почти суровые отношения. Раз только подметила маленькая Лилечка, как они ночью в спальне долго стояли обнявшись и неслышно плакали: это было как раз в тот день, когда Сомову вышло прощение. Дней через пять после того его не стало: то ли неожиданная радость убила его силы, то ли он простудился, бегая два дня по дождю как угорелый по всем своим приятелям. Умер он быстро: сегодня вечером захворал, а завтра

утром его уже положили на стол. В памяти Лизаветы Михайловны навсегда врезалось это утро. Ее разбудила мать очень рано и привела к отцу. Он лежал на диване с закрытыми глазами. Клочья длинных седых волос в беспорядке падали вокруг его шеи, резко отделяясь от темной кожаной подушки и придавая лицу умирающего несколько страдальческий, но львиный вид. Когда Лизавета Михайловна подошла к нему, он вдруг широко открыл глаза, слабо положил ей на голову руку, явственно выговорил: «Честность», потом еще что-то пробормотал, но уже неслышно,— и вытянулся во весь рост. Что хотел сказать дочери старик за минуту до своей кончины — осталось для нее навсегда тайной — тайной заветной, глубокой, неразрешимой...

Притихла после этого еще пуще и без того тихая Лилечка, хотя ей и было тогда только тринадцать лет. И вот стали они жить вдвоем с матерью. Отцовский шкаф вскоре опустел: один из приятелей покойного купил для себя всю его библиотеку. Много хороших детских слез унесли с собой на переплетах бедные книги к их новому владельцу! С того времени нравственный мир девочки опустел, и маленькая душа ее замкнулась даже от матери: эта маленькая душа не могла простить ей продажи любимых отцовских книг. Три года прожили они так с матерью, уединившись друг от друга каждая в свою нравственную скорлупку. Деньги, какие еще водились у вдовы Сомовой, с каждым днем проживались, а новых ниоткуда не прибывало. Как на грех, в это же время оба ее сына были за какие-то шалости исключены из заведения и снова повисли на материнской шее. А тут подвернулся выгодный жених к Лилечке; то есть какой выгодный: жалованья получал тридцать пять рублей в месяц. «Лиза, выходи замуж, а то ведь мы этак пропадем совсем»,— твердила по нескольку раз в день Сомова дочери,— и Лизавета Михайловна вышла замуж за Прозорова. Она сделала это так просто, машинально, как если б ей сказали: «Лиза, принеси воды». Много горьких слез было пролито потом за эту воду... но кто же считает у нас женские слезы? И разве можно счесть их?..

Теперь Лизавета Михайловна почти богата — по крайней мере совершенно обеспечена всем. Муж ее занимает выгодное, почетное положение в обществе: он служит мировым посредником в одной из соседних с Ушаковской

губерний и все зовет Лизавету Михайловну с детьми к себе, пишет к ней целые тетради писем, наполненных будто бы искренним раскаянием, горячими извинениями за прошлое. Но Лизавете Михайловне плохо верится в эти письма; зорко стережет она, чтоб любопытный детский глазок не заглянул как-нибудь в эти безнравственные раскаяния. Да! Прозорова лучше первому встречному поверила бы теперь своих детей, чем их отцу... Вот Лизавета Михайловна три года не видалась с ним, — и ей все равно, если она и никогда больше не увидит его; последнее даже лучше было бы. И все-таки что-то глубоко оскорбительное сказывается ей порой в той мысли, что она не смеет ни на минуту доверить мужу своих детей. Довольство тоже не радует Прозорову. Лизавета Михайловна инстинктивно чувствует, что довольство это куплено ценою многих, неведомых ей нужд, хоть она и не причастна им прямо. Наделяемое рукой нелюбимого и неуважаемого ею человека, оно, хотя и смутно, представляется ей подчас каким-то обидным подаянием; ей постоянно мерещится в нем что-то темное, что-то идущее вразрез с последним словом, которое слышала она от умирающего отца. Такое нравственное иго невыносимо, под бременем его ломятся лучшие человеческие натуры, если не поддержит их вовремя твердая, честная, любящая рука. А многим ли посылает судьба такую руку? Может быть, пятая часть наших кладбищ удобрена жертвами подобного нравственного ига — этого вечного спутника русской женщины! Но могильные кресты неохотно делятся с нами своими тайнами...

Трудно сказать, к какому исходу привели бы Лизавету Михайловну и ее ненормальное состояние и эта постоянная привычка оставаться с глазу на глаз с собственными мыслями, не поверяя их никому, кроме подушки, если б не пришли к ней на выручку дети. На них сосредоточилась теперь вся ее нравственная сила; в них — и только в них — думала осуществить она те неясные, хотя и глубоко прочувствованные идеалы, которые не дались ей самой.

Дети имеют удивительную чуткость. Там, где взрослый человек без труда дает подкупить себя, не замечая подставленной ему ловушки, эти маленькие существа остаются тверды и неподкупны, точно инстинктом угадывая опасность. То же случилось и с детьми Прозоровых. Несмотря на горячие, по-видимому, ласки, расточавшиеся

заочно в письмах к ним отца, последние никогда не достигали своей цели. Любовь и заботливость, искусственно наполнявшие их, выражались слишком кудревато для детского сердца и детского понимания. Одно теплое, задушевное слово матери изгоняло из ребяческой памяти целые томы этих вычурных, насиженных ласк. Дети Прозорова оставались равнодушны к нему; письма его с любопытством прочитывались ими — и только. В такие минуты еще они действительно сознавали, что где-то вдали от них, в другом городе, живет далеко не посторонний им человек, имеющий громадные права на них; но в остальное время это или забывалось совсем, или вспоминалось случайно, мельком. Только в старшей дочери Лизаветы Михайловны, одиннадцатилетней Калерии, теплилось как будто искреннее чувство к отцу, но оно вспыхивало так редко и притом всегда при таких обстоятельствах, что трудно было сказать, вызвано ли это чувство самостоятельно или подкуплено лестью детскому самолюбию: отец постоянно называл ее в письмах «умницей», и самые длинные из них адресовались обыкновенно на ее имя. Что же касается младшей дочери Прозоровой, восьмилетней Сашеньки — преострой девочки, отличавшейся каким-то особенным природным юмором,— то она постоянно только лукаво посмеивалась, выслушивая от сестры длинные послания к той отца; ее смешило почему-то, что они и начинались и кончались всегда нескончаемым рядом имен угодников, призывавшихся в покровительство «милых деток». Но если девочки оставались равнодушны или, вернее, почти равнодушны к отцу, зато первенец Лизаветы Михайловны, тринадцатилетний Гриша, относился к нему положительно враждебно. С каких пор началась в ребенке эта странная вражда, он и сам не мог бы определить. Гриша был развит не по летам; в его еще пока детском лице уже и теперь заметно сказывались возмужалость и энергия. «Что? много разных глупостей написал?» — спрашивал он обыкновенно, с оттенком пренебрежения, у сестер, когда заставал их за чтением отцовских писем. Прозорова постоянно делала выговоры сыну за такой неуместный тон. «А зачем же он глупости пишет?» — был всегда короткий ответ мальчика. Вообще Гриша очень часто огорчал мать своими резкими выходками; но стоило Лизавете Михайловне только не ответить ему на два, на три вопроса,— и мальчик уже приставал

к ней, чуть не со слезами на глазах, прося прощения, и иногда в продолжение целого дня потом относился к матери необыкновенно мягко. Он ее очень любил, хотя и стыдился как будто обнаруживать это.

Лизавета Михайловна, инстинктивно сознавшая, что слишком рано учить детей не годится, что надо дать им свободу прочувствовать свое детство, сперва сама занималась с ними и исподволь, незаметно для самой себя, шутя, как говорится, выучила их грамоте. Впоследствии, года за три до настоящего времени, когда двое старших детей ее значительно подросли, она взяла для них учителя из ссыльных — добродушного старичка, жившего в Ушаковске исключительно уроками. «Гризенберг, может быть, и исправит кого-нибудь, но, во всяком случае, никого не испортит»,— таково было мнение об этом учителе местных знатоков дела; а подобное качество много значило, хотя бы и не для Ушаковска. Месяца за полтора до приезда Александра Васильича, Гризенберг, получив позволение возвратиться на родину, уехал — и дети Лизаветы Михайловны остались на все это время без учителя, так что предложение Любимова насчет Светлова пришло к ней как нельзя более кстати. Она в последнее время крепко была озабочена мыслью, что ее Грише давно пора поступить в гимназию, а между тем у Гризенберга он учился как-то неохотно, не слушался его и вообще начинал сильно полениваться. «Что это ты не учишься-то как следует, Гриша?» — замечала ему частенько мать. «Надоел он мне, муська»,— всегда немногосложно отвечал ей мальчик и по-прежнему плохо готовил уроки. Такова была семья Прозоровых, и в таком положении застает ее наш рассказ.

Сегодня дети Лизаветы Михайловны тоже проснулись несколько раньше обыкновенного. Накануне, ложась спать, они не меньше матери передумали, по-своему, о новом учителе, с которым завтра им предстояло познакомиться лично. Немудрено, что это покажется кому-нибудь странным. Мы, взрослые люди, привыкшие оценивать все по своей собственной, широкой мерке, относимся обыкновенно свысока и пренебрежительно к внутреннему детскому миру. Нам трудно представить себе, что в этом, по-видимому, крошечном внутреннем мире совершаются те же нравственные процессы, как и в нас самих. Мы чаще всего смешиваем форму с содержанием и, таким

образом, постоянно обманываем себя. Сплошь и рядом бывает, что в душе иного человека широко разовьется поэтический инстинкт, но этот, так сказать, внутренний поэт в то же время не имеет средств выразить своего содержания в строго определенной форме, в ярких, законченных образах. Каждый ребенок как нельзя больше похож на подобного человека: и у ребенка, как и у такого поэта, внутренний мир богат содержанием, обилен поэтическим материалом; ребенку также недостает только формы — уменья взрослого человека последовательно излагать свои мысли. Пусть кто-нибудь беспристрастно и поглубже заглянет в этот крошечный детский мир,— и он, ручаемся, узнает в нем себя лучше, чем в зеркале. Повторяем — дети Лизаветы Михайловны много передумали с вечера о новом учителе и, под влиянием вызванных им мучительных догадок, проснулись сегодня раньше обыкновенного. Мнение Гриши на этот счет, едва он открыл глаза, выразилось в сжатой, никому не сообщенной мысли: «Если он станет задавать мне такие же длинные уроки, какие задавал Гризенберг,— не буду учить ни за что... Надоело!» Калерия за утренним чаем несколько раз приставала к матери с вопросом, какое ей надеть сегодня платье.

— Да ведь ты уж одета,— заметила ей, наконец, Лизавета Михайловна, которой давно не нравились в старшей дочери признаки зарождающегося кокетства.

— А к учителю как я выйду? — спросила Калерия огорченным голосом.

— В том платье и выйдешь, какое теперь на тебе,— ответила сухо мать.

— Нет, мамочка, пусть она наденет белое с розовыми цветочками: в том она умнее,— сострила сидевшая рядом с сестрой Сашенька, сделав забавную гримаску. Сама она была еще в утреннем поэтическом беспорядке.

— Уж тебя везде спрашивают! — заметила ей Калерия раздражительно и со слезами в голосе.— Небось как ты, растрепанная, выйти?

— И выйду растрепанная; что ж такое?

— Ну и выходи! А я не хочу.

Калерия надула губки.

— А ты в чем, Гриша, выйдешь? — спросила, смеясь, Лизавета Михайловна у сына.

— Папин старый мундир надену,— ответил тот совер-

шенно серьезно. У него только в глазах мелькнула ироническая улыбка.

— Это который на вышку недавно вынесли? — сказала коварно Сашенька.

— Ну да, а то какой же?

— И шпагу, Гриша?

— И шпагу надену,— пояснил Гриша невозмутимо.

Сашенька прыснула со смеху и увлекла своим примером мать. Та засмеялась.

— Вот-то воин выйдет! — заметила она.

Калерия, взглянув на высокую и несколько сутуловатую фигуру брата, тоже не утерпела и расхохоталась. Таким образом, чай прошел очень весело. Девочки откровенно болтали с матерью обо всем; даже молчаливый Гриша разговорился к концу. Он опять насмешил всех, представив, как Калерия будет делать книксен учителю. Комизму этого импровизированного утреннего спектакля много способствовало байковое одеяло, из которого мальчик наскоро соорудил подобие короткого платьица.

Около одиннадцати часов, когда горничная девушка пришла убирать со стола, в передней раздался звонок. Дети встрепенулись. Сашенька первая не усидела на месте и проскользнула за горничной, как только та пошла отпирать дверь.

— Нехорошо, Саша...— едва успела заметить девочке мать.

— Евгений Петрович с учителем!.. Красивый такой! — впопыхах объявила ей вернувшаяся Сашенька.

— Вы пока не выходите еще,— сказала Лизавета Михайловна детям и поспешила в залу. Проходя через спальню, она машинально поправила перед зеркалом волосы.

— Вот вам, изволите видеть... Светлов,— молвил доктор, представляя Прозоровой приятеля.

Он хотел было сказать «чучело», но на этот раз удержался почему-то.

Александр Васильич с достоинством поклонился.

— Очень рада познакомиться с вами...— обратилась Лизавета Михайловна к будущему учителю своих детей и ласково протянула ему руку.— Я, впрочем, немного уже и знакома,— поспешила она прибавить,— доктор с таким восторгом всегда рассказывает о вас... Милости просим!

— Только ему не всегда следует верить,— заметил с улыбкой Светлов, садясь по указанию хозяйки.

— Слышите, доктор? — сказала она.

— Слышу. Да вы что думаете о нем? Ведь это воплощенная черная неблагодарность! — засмеялся Любимов.— Однако до свидания! — заторопился Евгений Петрович,— процесс ознакомления совершен, что и требовалось... Получите,— сказал он, указав головой на Светлова и прощаясь с хозяйкой.

— Постойте, да куда же вы бежите так скоро? — спросила она, улыбаясь.

— Опасный больной, изволите видеть, на руках.

— Приедете к нам обедать сегодня?

— Не обещаюсь.

— Не обещайтесь, а приезжайте просто.

— Ладно, коли успею.

Прозорова пошла проводить доктора до передней и в дверях подождала, пока он одевался. «Где я видел это лицо? — подумал в недоумении Светлов, пристально вглядываясь издали в ее профиль,— а видел где-то». Лизавету Михайловну занял тот же вопрос немного раньше, именно в ту самую минуту, как она вышла к ним, и если б Александр Васильич также пристально взглянул на нее тогда, он, наверно, заметил бы мгновенно набежавший на ее лицо легкий румянец.

— Так заезжайте же,— повторила хозяйка вслед уходившему доктору и вернулась к Светлову.— Виновата,— обратилась она к нему, садясь напротив,— у меня всегда привычка провожать до дверей хороших знакомых.

— Очень милая привычка,— сказал Александр Васильич.

— Вы ведь недавно из Петербурга? — спросила Лизавета Михайловна, помолчав.

— Всего только несколько недель.

— Я думаю, для вас не совсем удобно привыкать к нашему городу после столицы?

— Да ведь это мой родной город.

— Все-таки, я думаю, на первый раз скучаете?

— Отчего? Нет. Ведь мы, по большей части, скуку сами с собой носим, а я, признаюсь, никогда этим не запасаюсь,— улыбнулся Светлов.

— Счастливая у вас натура,— как-то робко выговорила Лизавета Михайловна.

— Как вам сказать? В этом отношении — да, пожалуй.

Они помолчали.

— Вы желали, чтоб я давал уроки вашим детям? — спросил Светлов, видя, что она затрудняется продолжать разговор.

— Да, я давно просила об этом доктора и так рада, что он указал мне на своего же товарища. Знаете, я в таких случаях бываю всегда как-то очень нерешительна...— застенчиво проговорила Прозорова.

— Еще бы! Это такой важный вопрос,— сказал Светлов совершенно серьезно.

— Иные как-то легко к этому относятся, а я не могу,— заметила она, несколько ободрившись.

— И вы совершенно правы. У нас действительно большинство даже и не подозревает, что от учителя зависит... да, почти зависит будущность ребенка. Я очень рад, что встречаю в вас именно такой взгляд, так как только при этом условии могу принять на себя обязанность учителя; в противном случае я всегда отказываюсь...

Александр Васильич пытливо посмотрел на собеседницу: та заметно повеселела.

— У меня, значит, есть надежда, что вы мне поможете,— сказала она мило и просто.

— Сделайте одолжение, располагайте мной,— слегка поклонился Светлов.

Лизавета Михайловна вдруг смутилась. Она, очевидно, хотела что-то сказать, но затруднялась.

— Что же касается условий,— выручил ее гость, догадавшись в чем дело,— то я буду просить вас позволить мне переговорить о них с вами впоследствии, когда я несколько ознакомлюсь с детьми, уроков после двух, например.

— Но... может быть...— начала было она нерешительно.

— Мы не сойдемся в цене, хотите вы сказать? — договорил за нее Александр Васильич.— На этот счет будьте совершенно спокойны: я не из церемонных; увижу и скажу вам, как я думаю. Найдете вы удобным — прекрасно, не найдете — никто из нас ничего не потеряет; по крайней мере у меня теперь все время свободно.

— Если вы находите так лучше...

— Да это даже необходимо. Я должен вам сказать откровенно, раз взявшись за что-нибудь, я не люблю, чтоб мне мешали; а для этого вам, по самому священному праву и прежде всего, надо будет удостовериться

лично в честности моих взглядов с вашей точки зрения,— иначе между мной и детьми никогда не установится полнейшей доверенности. Без нее мы будем, разумеется, толочь воду, а не учиться; по крайней мере я так смотрю на это. Раз убедившись в том, что я не намерен заносить плевел в ваш огород, вы развяжете руки и мне и себе. Очень часто бывает, видите, что самое честное слово учителя толкуется вкривь родителями только потому, что учителю они не доверяют, а сказанное слово непонятно им почему-нибудь. Я не отношу этого, разумеется, к вам...— остановился вдруг Александр Васильич.

— О, пожалуйста, не стесняйтесь! — попросила Лизавета Михайловна совершенно искренно.

— Я вас пока еще совсем не знаю, вы меня тоже,— продолжал спокойно Светлов,— очень может быть, что мы еще и разойдемся в чем-нибудь.

— Что касается меня, я совершенно полагаюсь на вашу добросовестность.

— Ну, не скажите этого. Сперва лучше всего некоторое время коситься друг на друга: посмотрим, мол, еще, что вы за человек. Это, по-моему, прочнее: не приходится жаловаться впоследствии.

— Но я не могу себе представить, как это сразу не доверять человеку? — сказала Прозорова.

— Да вы ему, пожалуй, и доверяйте, а все-таки настороже стоять не мешает, пока вы его не знаете хорошо, пока он совершенно не выразится перед вами.

— Но ведь это так трудно узнать...— попыталась возразить Лизавета Михайловна.

— Мне кажется, не особенно трудно. Человек всегда прорвется, хоть на мелочи, как бы он искусно не замаскировался.

— Я, признаюсь, частенько ошибаюсь; впрочем, мне почти и не приходится наблюдать: я все дома сижу,— заметила Прозорова.

— Я думаю, и я не реже вашего ошибаюсь, а все-таки с каждой новой ошибкой чему-нибудь да и научишься. Вероятно, и с вами это случалось не раз?

— Да, это правда,— сказала она, серьезно подумав.

Они снова помолчали.

— Если вы мне позволите с сегодняшнего дня считаться учителем ваших детей,— сказал Светлов,— то я попросил бы вас об одном...

— Ах, пожалуйста... Позвольте узнать ваше имя?
Светлов сказал.

— Пожалуйста, Александр Васильич,— повторила она,— не стесняйтесь.

— Я именно хотел просить вас — в тех случаях, если б между нами вышло какое недоразумение по урокам, обращаться ко мне всякий раз прямо за объяснением. Мы так скорее поймем друг друга, а главное — никогда не поссоримся.

— Мне кажется, с вами трудно поссориться,— сказала Лизавета Михайловна простодушно.

— Ну, не говорите этого... не ручаюсь,— рассмеялся Светлов.

— В таком случае, я постараюсь сделать с своей стороны все, чтоб этого не случилось,— улыбнулась Прозорова.

— Постараемся оба. Кстати, я должен теперь же предупредить вас и еще об одной моей привычке, которая, сколько я испытал до сих пор, никогда не приходилась по вкусу родителям,— сказал Александр Васильич, переходя в серьезный тон.

— Скажите; это очень интересно,— заметила Лизавета Михайловна.

— Видите ли в чем дело: в начале уроков, с месяц времени по крайней мере, я занимаюсь с детьми без книг.

— Как без книг? Совсем без книг? — удивилась она.

— Да, так-таки совсем без книг.

— Но как же они будут учиться? Ведь им нужно уроки готовить.

— Это ничего не значит. Сегодня утром, например, они выслушают меня, вечером припомнят все, обдумают, а завтра у них уже окажется известная доза знания — правда, небольшая,— но зато это будет нечто самостоятельное. В этом случае я исхожу из той мысли, что дети прежде всего должны быть как можно больше заинтересованы знанием; надобно, чтоб в них развилась сознательная жажда к нему, чтоб жажда эта вытекала непосредственно из них самих, при участии их собственной воли, а не прививалась к ним искусственными мерами. Тогда они постепенно втянутся в книгу. Надо, чтоб они смотрели на книгу, как на товарища, у которого больше сведений, чем у них, а не как на несколько листов печатной бумаги, где каждый столбец, по необходимости, стал

бы представляться им маленьким тираном, требующим к известному сроку знания «отсюда и досюда»,— сказал Светлов, указав пальцем на столе две противоположные точки.

— До сих пор мои дети занимались с книгами, и я боюсь, что это сильно помешает вашему приему.

— О, нет! Я полагаю, что особенной нежности к пройденным книгам у них не сохранилось. Сперва им это, может быть, и покажется несколько странным, а потом они привыкнут. Два-три таких опыта у меня были в высшей степени удачны.

— Вы, вероятно, давно уже даете уроки? — спросила Прозорова.

— Как вам сказать? Это не моя специальность; но я очень люблю детей и несколько времени серьезно занимался вопросом воспитания.

— Ах, вот еще что скажите мне, пожалуйста: как вы намерены распределить уроки?

— Как вам угодно, только бы не по часам. По-моему, нет ничего хуже, когда и учитель и ученики то и дело посматривают на часы. Один день мы можем заняться дольше, в другой — меньше,— это будет зависеть от степени внимания детей, свежести их головы, да и мало ли еще от чего. В этом вы уже предоставьте нам тоже полную свободу,— улыбнулся Александр Васильич.

— Да, пожалуйста, располагайте, как вам лучше. Вы, вероятно, утром ведь будете заниматься с ними?

— Разумеется, все утро.

— Каждый день?

— Да, непременно каждый день, за исключением дней отдыха, само собой разумеется.

— Конечно! А когда вы можете начать занятия? — спросила Прозорова.

— Да я желал бы приступить к ним сегодня же... если позволите?

— Так скоро? — улыбнулась она.

— Но вы, пожалуйста, не стесняйтесь: это совершенно от вас будет зависеть. Приказывайте,— сказал Светлов, закуривая папироску.

— Я-то очень рада, только бы вас это не стеснило.

— Ох, нисколько; у меня не в привычке стесняться,— заметил Светлов.— Да, я думаю, не мешало бы уж и начать? — сказал он, мельком взглянув на часы.

— Я вас сейчас познакомлю с детьми. Вы извините, если они будут немного дичиться вас сначала, пока не привыкнут; они ведь у меня страшные провинциалы,— вставая, проговорила Лизавета Михайловна с грациозной, добродушной улыбкой.

— Мы живо познакомимся,— ответил ей Светлов, тоже улыбнувшись.

Она хотела идти.

— На одну минуту...— сказал Александр Васильич, вежливо ее удерживая.— Вы только представьте нас друг другу, а уж познакомимся-то мы сами; я даже попросил бы вас оставить нас одних на некоторое время, если вы будете так любезны...

— Вот как! уж и выгоняете меня? — шутливо заметила Лизавета Михайловна Светлову и пошла к детям. Дорогой она сама не могла надивиться своей сегодняшней развязности.

«Какая славная, умная женщина!» — с удовольствием подумал Александр Васильич, провожая глазами ее воздушное лиловое платье. Минуты через две Прозорова вернулась с детьми и представила Светлову каждого члена семьи порознь.

— Ка-а-кой у вас цветник! — сказал он, вставая и дружески здороваясь с ними.

— Не говорите,— заметила она,— только этот цветник пошуметь иногда любит...

— Да? В таком случае ваш домашний шум теперь еще больше увеличится, так как я сам не из смирных,— рассмеялся Светлов.

— Вы меня извините,— улыбнулась Прозорова и вышла.

Девочки посматривали на учителя с заметным любопытством, а Гриша еще заметнее косился на него.

— Прошу любить и жаловать,— ласково обратился Светлов к детям.— Сядемте-ка теперь да потолкуем немножко. Ваша мама желает, чтобы мы сегодня же начали,— мы так и сделаем.

— Вам книги принести? — угрюмо осведомился Гриша.

— Нет, зачем; не нужно. Пожалуйста, устраивайтесь вокруг столика, где кому удобнее,— сказал Александр Васильич, садясь.— Что вы больше любите? какой предмет? — спросил он у мальчика.

— Географию,— ответил тот недоверчиво.

— Вон вы что любите. А вы? — обратился Светлов к старшей девочке.

— Историю...— отвечала Калерия, вся покраснев.

— Ну а вы, верно еще ничего не успели полюбить? — спросил Александр Васильич с улыбкой у Сашеньки.

— Нет, я арифметику очень люблю,— ответила та бойко.

— Вот как! Значит, мы с вами пара; я сам математик. А не кажется вам арифметика скучной? — осведомился Александр Васильич.

— Нет, не кажется.

— А мне так она сперва ужасно казалась скучной; бывало, как начну большое вычитание делать — непременно расплачусь.

Сашенька засмеялась.

— Да, вот вы смеетесь, а мне тогда ужасно трудно приходилось. Не вдруг ведь это выходит, что дело-то мастера боится,— сказал Светлов.

— А теперь вы мастер? — спросил Гриша.

— Еще какой, батюшка, мастер-то! — ответил с комичной важностью Александр Васильич.— Не хотите ли попробовать задать мне какую-нибудь задачу?

Гриша подумал.

— Потруднее, Гриша,— лукаво попросила Сашенька.

— Смотрите! — шутливо погрозил ей пальцем Светлов,— не злорадствуйте.

Гриша еще подумал и задал учителю какую-то мудреную, по его мнению, задачу. Светлов тотчас же блистательно разрешил ее в уме.

— Что? — сказал он, — не поймали?

— Нуте-ка, вы мне задайте,— попросил Гриша.

— Извольте.

Светлов определил задачу.

Дети, все трое, усердно принялись разрешать ее тоже в уме, но справиться не могли.

— Вы нарочно такую задали,— заметил, наконец, Гриша, потеряв надежду.

— Какую?

— Трудную.

— Напротив, совсем легкую, стоит только хорошенько подумать. Ну да уж нечего делать, пускай остается за вами; авось к завтрашнему дню догадаетесь, в чем дело.

— Да я и сегодня догадаюсь.

— Догадайтесь, догадайтесь.

От разговора об арифметике Светлов незаметно перешел к другим предметам, не выходя из манеры обыкновенной дружеской беседы. Он вел ее очень искусно и притом так, что беспрестанно вызывал у заинтересованных детей новые вопросы, которые сам же сейчас и разрешал им просто и наглядно. Когда Сашенька случайно рассказала ему, что была раз с матерью в немецкой кирке и видела, как смешно служит пастор,— Александр Васильич, воспользовавшись этим обстоятельством, стал до того увлекательно рассказывать о реформации, что его заслушалась даже Лизавета Михайловна, приютившаяся в соседней комнате и все время следившая оттуда за уроком. О Калерии и говорить нечего: та вся превратилась в слух. Несколько слов, сказанных тут же кстати о пуританах, переселившихся в Америку, дали повод Грише предложить учителю несколько географических вопросов. Зашла речь и о труде. Светлов провел яркую параллель между американским и нашим работником; объяснил детям, доступно их пониманию, важное значение работника вообще, кто бы он ни был и где бы ни совершалась его полезная деятельность. Сашеньке, таким образом, пришлось, незаметно для нее самой, узнать некоторые очень важные практические применения арифметических чисел. Короче сказать, дети заинтересовались учителем чрезвычайно; они даже не спохватились ни разу, как долго сидят с ним, а между тем беседа их длилась уже часа два с лишком. Да и Лизавета Михайловна не замечала этого: она только неясно сознавала в эти часы, что и сама тоже как будто учится. Но забавнее всего было положение Гриши; он от времени до времени задавал себе вопрос: когда же, наконец, новый учитель начнет свой урок? Преподавание без книг, в легкой, доступной даже для такого ребенка, как Сашенька, форме — было для него решительно немыслимо. А между тем рассказы учителя становились все интереснее, увлекательнее. Светлов нарочно касался на этот раз самых разнообразных предметов; ему хотелось, во-первых, сразу поближе ознакомиться с степенью развитости каждого из своих учеников, да, кроме того, он был глубоко убежден, что от первого урока зависит многое, что этим уроком, так сказать, устанавливается последующий взгляд учеников на учителя. Мы однако ж непростительно погрешили бы, если б сказали, что Алек-

сандр Васильич старался подделаться под возраст и понятия своих маленьких слушателей. Ничего подобного не было в его манере. Он говорил просто, ясно, убедительно. Иногда в зале раздавался дружный взрыв детского хохота, и это всякий раз означало, что Светлов либо сообщил детям какую-нибудь забавную школьную проделку из своего прошлого, либо охарактеризовал, с свойственным ему юмором, смешную сторону предмета. Лизавета Михайловна из своей засады не раз делалась невольной и невидимой сопричастницей общего смеха. Особенный фурор произвел Александр Васильич, рассказав, каким путем дошел «наилюбезный камердинер» его брата, вследствие своего невыгодного экономического положения, до необходимости выдавливать и есть на ходу икру из сырой рыбы. Мало-помалу к концу беседы дети не только совершенно освоились с учителем, но успели и подружиться с ним. Он, в свою очередь, узнал к этому времени, как кого из них зовут, какие к ним девочки и мальчики ходят; Сашенька даже посвятила учителя в маленькую тайну, признавшись, что накануне она его побаивалась-таки порядком. Гриша не утерпел при этом и целиком выдал свои утренние размышления.

— Ну, друзья, будет сегодня заниматься,— сказал Светлов после какого-то интересного объяснения,— хорошенького понемножку.

Он закурил папироску и встал.

— Да разве мы занимались сегодня? А урок? — осведомился с чрезвычайным изумлением Гриша.

— Да ведь уж мы, слава богу, часа три занимаемся, какой же вам еще урок? — спросил, в свою очередь, Светлов, посмотрев на часы.

— Он, верно, все спал,— звонко засмеялась Сашенька.

Но она схитрила: ей самой казалось до этого времени, что урок еще впереди.

— А как же завтра-то? — обратилась Калерия с недоумевающим видом к Светлову.

— Завтра опять будем заниматься,— ответил он, садясь подле нее,— каждый день, Калерия Дементьевна, будем заниматься.

— Я знаю; я не то хотела спросить,— сказала она, прямо и весело посматривая в глаза учителю,— я хотела спросить, что к завтрашнему дню нам выучить?

— А! Вон вы о чем спрашиваете. Ничего учить не нуж-

но. А вы вот подумайте хорошенько обо всем, о чем мы сегодня толковали,— завтра вам это и пригодится. И вы, Александра Дементьевна, тоже.

— А я? — спросил Гриша.

— И вы, разумеется.

В эту минуту вошла Лизавета Михайловна. Лицо ее выражало живейшее удовольствие.

— Ну, что? кончили, ребятки? — ласково обратилась она к детям и потрепала по щеке подвернувшуюся ей ближе других Сашеньку.

— Ах, мамочка, как нам весело было! — с наивным восторгом сказала Калерия, подбегая к матери,— просто чудо!

— Александр Васильич до того смешил, что мне даже больно стало,— заметил Гриша, сделав забавную гримасу носом.

— А задачу, мамочка, Гриша не разрешил, которую ему Александр Васильич задал,— объявила Сашенька.

— А вы, Александра Дементьевна, разве разрешили? — спросил у нее Светлов.

Сашенька сконфузилась отчего-то и убежала. Гриша решительно объявил, что есть хочет, и отправился вслед за сестрой. Калерия, которой мать что-то шепнула на ухо, тоже ушла.

— Ну, как вы нашли моих провинциалов? — спросила Лизавета Михайловна у Светлова по уходе детей.

— Славные детки, развитые такие,— сказал Александр Васильич.

— Вы, кажется, уже успели завоевать их расположение? — весело заметила ему Прозорова.

— Как будто похоже на это,— ответил ей так же весело Светлов.

— Впрочем, надо вам сказать, что это редкость, что они так скоро полюбили вас. Особенно Гриша меня удивил сегодня: веселый такой; а то он вообще учителей недолюбливает.

— У детей на этот счет бывают какие-то свои особые соображения. Я, во всяком случае, очень рад, что Любимов рекомендовал меня вам: с такими детьми весело заниматься,— сказал Светлов. Он взялся за фуражку.

— Что это вы, уж уходить думаете? — спросила Прозорова.

— Да, позвольте с вами проститься: пора,

—А я рассчитывала, что вы отобедаете с нами запросто,— несколько робко пригласила она.

— Неужели я еще не успел вам надоесть?— улыбнулся Александр Васильич.

— Ах, если только за этим дело, так, пожалуйста, оставайтесь.

Светлов колебался.

— Александр Васильич, я вас приглашаю не из простой учтивости,— заметила ему, одушевляясь, Лизавета Михайловна,— но мне было бы приятно видеть вас у себя за обедом...

— В таком случае... отдаюсь в ваше распоряжение,— сказал Светлов, бросив на кресло фуражку.

— Вот это очень мило с вашей стороны. Может быть, и доктор подъедет. Мы сегодня поздно пили чай, не завтракали, так что не беспокойтесь, не проморю вас; сейчас и за стол сядем. Только уж не взыщите: обед будет домашний,— предупредила Лизавета Михайловна и пошла распорядиться.

«Положительно, я видел ее где-то»,— подумал Светлов, опять пристально следя за удалявшимся лиловым платьем хозяйки. Александр Васильич стал усиленно припоминать — и вдруг просиял. «Вот странный-то случай! И первая встреча и первый урок — первый заработок,— мелькнуло у него в голове.— Но не ошибаюсь ли я? Нет, нельзя ошибиться, впрочем: такое оригинальное лицо...» — мысленно беседовал он сам с собою. Вернувшаяся хозяйка застала его врасплох на этих мыслях.

— Уж не передумали ли вы? — спросила она озабоченно у Светлова, видя, что он как будто несколько растерян.

— Ох, нет, совсем не то. Но вот странный случай: я должен прежде всего извиниться перед вами, Лизавета Михайловна...

— Вы?.. предо мной?.. В чем же это? Вот уж не в чем-то, кажется...— сказала Прозорова, смутясь вдруг, сама не зная чему.

— Ну, не скажите этого. Не припомните ли... не были ли вы, несколько недель тому назад, удивлены одним... поклоном? — проговорил Светлов, слегка зарумянясь.

— Боже мой! Позвольте... Разве это вы мне поклонились тогда... на тройке? — вспыхнула, в свою очередь, Лизавета Михайловна.

— Дерзкий преступник стоит перед вами,— сказал Александр Васильич с комической важностью. И он рассказал ей, смеясь, как было дело.

— Вот никак не ожидала-то! — заметила в волнении Прозорова, выслушав объяснение Светлова.

— Да вот подите, пришло же в голову такое школьничество. Но, надеюсь, вы мне верите, что это именно так случилось?

— Я вам совершенно верю; только меня это так удивило тогда... посудите сами...

— Да, разумеется, это хоть кого озадачит. Ну да ведь что же делать, так уж пришлось. Вы на меня не сердитесь, пожалуйста,— сказал Александр Васильич мягко.

— Полноте, я и не думала на вас сердиться,— успокоила его Лизавета Михайловна.— Пойдемте лучше обедать...

Она провела гостя в столовую.

— Решил я вашу задачу! — весело закричал, увидя учителя, Гриша, сидевший уже с сестрами за столом.— Верно? — спросил он, сообщив свой вывод.

— Совершенно верно. Молодец вы! — похвалил Светлов.

— Он не в уме, он на бумажке сделал,— выдала Сашенька брата.

— А! А вы, Александра Дементьевна, в уме решили? — спросил у нее Светлов с коварным простодушием.

Сашенька сконфузилась и умолкла.

— Что?..— насмешливо подтолкнула ее сестра, говоря шепотом,— вечно суешься, где тебя не спрашивают!

— И буду соваться! — шепотом же ответила ей Сашенька, надула губки и отвернулась.

Это маленькое обстоятельство не помешало однако ж обеду пройти как нельзя веселее. Светлов бесцеремонно ел и рассказывал, рассказывал и ел. Детские вопросы сыпались на него и теперь так же, как давеча за уроком. Лизавета Михайловна больше слушала, вставляя изредка в разговор и свое слово. Грише пришло почему-то на мысль, что этак, пожалуй, новый их учитель и обед считает уроком. Прозоровой во все это время казалось совершенно непонятным, что присутствие нового лица нисколько не стесняет ее даже и теперь, за столом, точно гость был совсем и не новое лицо в доме, а скорее старинный знакомый, с которым давно не видались. Когда Светлов

начинал спорить с детьми и лицо его постепенно воодушевлялось, Лизавета Михайловна с глубоким вниманием следила за гостем и пристально вглядывалась в это умное, открытое лицо. Неуловимые чары, какими обыкновенно только высокая степень развития запечатлевает человеческие лица, были для нее новы еще и теперь неотразимо приковывали к себе ее взгляд.

«Ведь вот,— думалось ей,— ничего в нем нет ни резкого, ни необыкновенного — все так спокойно, просто; а между тем чувствуется какое-то обаяние в его присутствии, что-то такое... я даже не умею этого выразить. Вон он как тихо, мягко говорит, а все-таки сила звучит у него в каждом слове. Я еще не встречала таких людей; или нет — одного такого человека я помню... Слабо, неясно — но помню: таков бывал иногда мой отец в редкие минуты. Он же сам и сказал мне однажды... Как это я вспомнила вдруг? Сказал: «Сила, Лилечка, не любит шуметь, потому что сознает, что она и без шуму — сила». Да, теперь я как будто начинаю понимать эти слова... Странно, как поздно иногда разгадывается смысл того, что слышал еще в детстве...»

Была минута, когда Лизавета Михайловна до того погрузилась в свои размышления, что даже не слыхала какого-то вопроса, обращенного к ней гостем, хотя и смотрела все время на него; ей пришлось сконфузиться и извиниться перед ним. Отдавшись вся воспитанию детей, Прозорова могла по целым месяцам оставаться, не скучая, без общества; но теперь, в минуты этого раздумья, она чувствовала почему-то, что не в силах была бы отказаться от общества людей, похожих на Светлова. «Не видевши таких людей,— вертелось у ней в голове,— можно не думать о них; но увидав их раз — не забудешь». Да, Светлов произвел на нее глубокое впечатление. Это не было вспышкой молодой натуры, долго чуждавшейся общества и вдруг почувствовавшей необходимость его; тут не существовало даже и тени тех неуловимо-заманчивых ощущений, какие обыкновенно испытываются женщинами при новом, нравящемся им мужчине. То, что неведомым путем проскользнуло теперь в душу Лизаветы Михайловны, было гораздо глубже, жизненнее, неотразимее. Такие впечатления никогда не проходят даром в сильной женской душе...

И потому-то так искренно, так крепко пожала она ру-

ку Светлову, когда он уходил, и потому-то таким особенно мягким, небывало задушевным приветом звучали ее слова, когда она сказала ему на прощанье:

— Мы всегда вас рады видеть у себя, Александр Васильич...

VII

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ И НОВОЕ ЗНАКОМСТВО ГРИШИ

Светлов подходил уже к калитке ворот квартиры Прозоровых, как вдруг его остановил Гриша, закричавший ему с крыльца:

— Подождите меня, Александр Васильич: мне хочется проводить вас... Можно?

— Пойдемте; только вы поскорее,— сказал Светлов, делая обратно несколько шагов к крыльцу.

Гриша убежал в комнаты, оделся и мигом вернулся.

— Что это вам вздумалось проводить меня? — спросил у него Александр Васильич, отворяя калитку.

— Да так, хочется пройтись с вами; я еще сегодня не гулял,— ответил мальчик уклончиво.

— А я, признаюсь, люблю ходить вдвоем: незаметнее дойдешь,— промолвил Светлов.

Они пошли, дружески разговаривая.

По местным расстояниям до дому Александра Васильича было не близко, наговориться можно было вдоволь. Гриша находился в каком-то особенно приятном настроении. Он говорил без умолку, то и дело с любопытством поглядывая на учителя. По правде сказать, хотя дома, сперва за уроком, а потом за обедом, он и почувствовал к нему большое расположение, но все еще не вполне доверял ему. «Дома, при муське, учитель, может быть, хитрил: нарочно вел себя с ними так, чтобы понравиться ей, и потому не корчил из себя заправского учителя, не напускал наставнической важности; а вот посмотрим, что теперь будет, как теперь он поведет себя»,— благоразумно рассуждал сметливый мальчик, отправляясь с Светловым.

Однако ж они идут уже довольно долго вместе, а между тем Александр Васильич остается все тем же милым, приветливым, внимательным к его вопросам собеседни-

ком. Гриша смекает это очень хорошо. Он убеждается на каждом шагу, что спутник ведет себя с ним, как равный с равным, ни разу не давая ему почувствовать присутствие учителя; мало того, Светлов даже как будто старается теперь скрыть от ученика свое умственное превосходство. Оттого-то так и весело с ним Грише; оттого-то он и шагает так бойко, самоуверенно, говорит так развязно. Но вот ему вдруг почему-то пришло в голову вероломное желание совершить маленький опыт над учителем, подставить ему, так сказать, нечаянно ножку.

— Мне ужасно хочется перескочить через тумбочку,— объявляет он лукаво Светлову.

— Так за чем же дело стало? Прыгайте,— ответил Александр Васильич, улыбаясь.

— Перескочить? — переспрашивает Гриша, в самом деле приготовляясь к этой забавной операции.

— Разумеется, перескочить, если уж это вам так хочется,— замечает Светлов.

Гриша перепрыгнул.

— А вот мамаша так сейчас бы меня остановила,— говорит он еще лукавее,— сказала бы, что только уличные мальчишки так делают...

— Да ведь и мы теперь с вами тоже уличные: по улице идем,— засмеялся Александр Васильич.

— Значит, в этом ничего дурного нет? — спросил мальчик, перепрыгнув еще через одну тумбу.

— Разумеется; что ж тут может быть дурного? Постойте-ка, дайте и я попробую: разве это так весело? — смеясь, сказал Светлов и тоже совершил прыжок.

Проходившая в это время мимо какая-то деревенская женщина остановилась и с крайним недоумением посмотрела на скачущего нарядного барина. «Должно быть, у него, сердечного, не совсем тут того...» — подумала она, мысленно тыкая себя пальцем в лоб.

— На вас баба с разинутым ртом смотрит; остановилась даже,— предупредил мальчик учителя.

— Пусть смотрит на здоровье,— сказал Александр Васильич, спокойно улыбнувшись,— по крайней мере у нее дома лишний предмет для беседы окажется.

— Значит, что захочется, то и можно делать? — спросил вдруг Гриша, очевидно, не отступая от своего первоначального плана.

— Да, все, что не вредно другим. Вот, например, от

того, что мы с вами перескочили сейчас через тумбу, никому, разумеется, убытка не последовало; много что себе мы ущерб сделали, осмеет нас кто-нибудь,— скажет: ходить не умеют по улице, как следует благовоспитанным людям. Ну, мы собственными своими особами и отдуемся за это. Другое дело, если б вам вздумалось перескочить вот через этот забор в чужой огород; там гряды, растет что-нибудь, верно,— можно испортить. В этом случае, как бы сильно ни было желание, надо его приудержать, отказаться от него, так как исполнением подобного желания наносится вред другому человеку,— пояснил серьезно Светлов.

— Значит, и хорошее желание не следует исполнять, если это кому-нибудь вред принесет? — спросил заинтересованный Гриша.

— Видите ли, бывают исключительные случаи, когда из двух зол приходится выбирать меньшее. Положим, во время пожара случилось бы так, что вам неизбежно приходилось бы погубить одного человека, чтобы спасти десятерых. Тогда, нечего делать — одним надо пожертвовать. Разумеется, одного необдуманного доброго желания тут еще мало; надо наперед взвесить все хорошенько, а потом уж, сообразно пользе, и действовать.

Гриша задумался. Он почувствовал в эту минуту, что опыт ему не удался, но в душе остался доволен этим.

— Муська так вот не так рассуждает,— сказал он, помолчав.

— Кто это «муська»? — спросил Светлов.

— Я мамашу так зову,— пояснил Гриша.

— А! А как же она рассуждает?

— Да она просто сказала бы, что прыгать на улице нехорошо, неприлично, и не позволила бы мне прыгнуть.

— Ну, видите ли, это уж ее дело. У человека всего только два глаза, да и те никогда не бывают точь-в-точь похожи один на другой; а у мира ведь глаз многое множество. Так и у вашей мамы на этот счет свое мнение, у меня тоже свое, а у вас, наверно, есть еще и третье,— сказал Светлов убедительно.

Продолжая разговор в том же роде, они незаметно дошли до светловских ворот.

— Вот и наш дом,— указал Александр Васильич Грише, остановясь на минуту перед затворенной калиткой.

Мальчик стал прощаться.

— Куда же вы? Зайдите ко мне; я вас с моими стариками познакомлю,— пригласил его приветливо Светлов.

— Я вам, может быть, помешаю,— заметил нерешительно Гриша; а зайти к учителю ему, очевидно, хотелось.

— Если б я знал, что вы мне помешаете, я бы не пригласил вас,— сказал Светлов просто.

Они вошли во двор и едва только ступили несколько шагов по направлению к флигельку, как оттуда вышел знакомый уже нам Ельников.

— А! Вон оно как кстати,— закричал ему еще издали Александр Васильич.

— А я, брат, только что зашел к тебе. Говорят, на урок ушел, да так и не приходил. Здорово! — сказал Ельников, подходя к Светлову.

— И отлично сделал,— молвил Александр Васильич, здороваясь с приятелем.— Позвольте вас познакомить: Анемподист Михайлыч Ельников — мой старый приятель; Григорий Дементьич Прозоров — мой новый приятель,— прибавил он, знакомя гостей.

Доктор радушно пожал мальчику руку.

— Вы, верно, и будете у него учиться? — спросил он у Гриши, мотнув головой на Светлова.

— Да, я-с...— ответил тот смущенно.

— Замучит, батюшка...— добродушно засмеялся Ельников.

У доктора был сегодня какой-то особенный вид, точно у чиновника, только что получившего выгодную награду.

— Ты кого у меня видел? — спросил Светлов.

— Видел, брат, некое цветущее создание, но кто оно — не могу тебе сказать,— шутливо отозвался Анемподист Михайлыч.

— Сестру, разумеется,— пояснил Светлов.

Ельников несколько раз уж бывал у Светлова, знаком был с его стариками, но всякий раз, как он приходил, Оленьки случайно не было дома. Теперь, когда они все трое вошли, как раз она их и встретила. Светлов представил ей гостей, назвав каждого по имени.

— Вперед можете рассчитывать на всякую услугу с моей стороны, исключая танцевания, пения и комплиментов, — особо отрекомендовался ей Анемподист Михайлыч.

— А болтовня по-французски? — рассмеялся Александр Васильич.

— Тоже не полагается,— заметил комично-серьезно Ельников.

— Я, Оля, обедал,— сказал Светлов,— вот у них,— указал он на Гришу.

— А мама тебя долго ждала: мы только что сейчас отобедали,— заметила ему сестра.

Светлов оставил ее с гостями в своем кабинете, а сам прошел к матери. Та отдыхала на кровати, в спальне.

— Что это, Санька, как ты поздно? — спросила Ирина Васильевна, когда сын поцеловал ее.— Я велела оставить тебе обедать, да, однако, батюшка, уж простыло все.

В голосе старушки звучало некоторое раздражение. Светлов объяснил, что он уж отобедал на уроке.

— Какие уж это уроки с обедами...— заметила ему мать подозрительно.

Александр Васильич промолчал и, зайдя поздороваться к отцу, прошел к себе в комнату. Оленька разговаривала в это время с Гришей, но при входе брата встала и ушла: она разделяла отчасти неудовольствие на него матери.

— Послушай, Светловушка: сидит у тебя что-нибудь в голове в последнее время? — с таинственным видом спросил Ельников у приятеля, едва тот переступил порог.

— То есть как «сидит»? в каком смысле?

— Уж разумеется, в том смысле, в каком я только и могу спрашивать тебя,— пояснил Анемподист Михайлыч.

— А! Да, сидит, брат, сидит — бесплатная школа,— сказал Светлов.

— Вот и чудесно! Так я от тебя и ожидал! — восторженно проговорил Ельников.— У меня, брат, тоже коечто сидело в голове на этих днях и сегодня вылезло наружу наконец...

— Что такое? — быстро спросил Александр Васильич.

— Над вратами тихого пристанища моего, как сказал бы Созонов, отныне красуется надпись: «Прием бедных больных бесплатно и даровое оспопрививание от восьми до десяти часов утра»! — торжественно-комично пояснил Анемподист Михайлыч. Но радостное чувство

Ельникова не могло укрыться за этим умышленным комизмом от глаз старого, хорошо знавшего его товарища.

— Наконец-то и ты, упорный противник филантропии, встаешь на ее сторону! — сказал Светлов, шутливо потрепав доктора по плечу.

— Да, как же! держи карман! — вспылил Анемподист Михайлыч.— Если я берусь даром пользовать бедных, то делаю это с единственной целью приучить их лечиться: хочу, значит, заманить их на даровщинку — вот что!

— А приучать бедняков лечиться — разве не та же филантропия? — возразил Александр Васильич.

— И все-таки, по-моему, филантропия ваша есть и была — чушь! — огрызся Ельников.

— Что значит «филантропия»? — спросил у него вдруг Гриша.

— Это, батюшка, означает переливание из пустого в порожнее, причем кой-кому кое-что и в рот перепадает,— несколько сердито ответил Анемподист Михайлыч.

Светлов подробно и обстоятельно объяснил Грише значение незнакомого ему слова.

— Ну, да; это только красивее сказано, а суть-то все та же. Небось вы теперь больше узнали? — насмешливо обратился Ельников к Грише.

Мальчик нерешительно смотрел на обоих, не зная, отвечать ли ему, или промолчать.

— Ну скажите мне, пожалуйста,— пристал к нему Ельников,— есть ли какой-нибудь смысл в том, что сегодня вам вот этакий пророк,— Анемподист Михайлыч указал на Светлова,— скажет, что драть человека как сидорову козу никто не имеет права, а завтра вас все-таки выпорют как сидорову козу?

— Если мне растолкуют, так я в другой раз не поддамся,— храбро возразил Гриша.

— Ну, ладно,— согласился доктор,— вот мы теперь вам это, положим, растолковали. А что если нам придет в голову взять да и выпороть вас... после растолкования-то?

— Я кусаться стану,— сказал Гриша.

— Кусаться? Вот что! Да ведь, батюшка, рот-то мы вам предварительно завяжем; на что другое, а на это ума нашего хватит.

— Я кричать буду,— заметил мальчик.

— С завязанным-то ртом? — ядовито спросил Ельников.

Гриша смешался.

— Ты одно забываешь, Анемподист Михайлыч,— вывел его из затруднения Светлов,— что сознание от двух-трех человек мало-помалу проникает в массу, а масса эта постепенно растет, и когда-нибудь да приидет же ее царствие...

— Знаю, брат; слыхали... Поди-ка ты стукнись в эту массу-то, так я и лечить не стану; тут, брат, и покрепче твоего лбы вдребезги разбивались...

— Не о крепости лбов речь,— сказал Светлов отрывисто.

— Так о чем же?

— А речь о том, что наше дело — проводить как можно больше сознания в массу.

— Ну, и будешь проводить; уж сколько тысяч лет проводят... Что же тебе, легче? — сердито спросил Ельников.

— Пожалуй, что и легче...

— То-то «пожалуй, что»! Нет, не легче, видно. Цивилизация-то вон одной рукой тебе служит, а другой норовит твоему врагу угодить: вдунет она тебе в одно ухо, что вот, мол, ты массами действуй — вернее, да сама же сейчас и побежит к твоему врагу нашептывать в другое ухо, что, мол, и против масс верное средство есть,— гильотину ему какую-нибудь нашепчет; и дешево, мол, и сердито. Это ведь, брат, обоюдоострый ножичек, цивилизация-то... Прежде, бывало, искрошат тебя бесцеремонно, как репу, изрубят, как бифштекс, и лежи помалкивай. А теперь в утонченности разные пустятся, все изобретения новейшие к тебе применят; даже физиологию пустят в дело, да так тебя, милого друга, оцивилизуют, что, прежде чем ты ножки-то протянешь, из тебя какую угодно тварь выделают! И так это все тонко да вежливо, по всем правилам естествоведения!..— говорил Ельников, задыхаясь от волнения и кашля.

Он полуприлег на диван.

Гриша смотрел на него, широко открыв глаза и жадно ловя каждое слово. Болезненное, желчное лицо доктора показалось ему удивительно привлекательным в эту минуту; раньше оно было как будто скучно, апатично. Мальчика глубоко поразили последние слова Ельникова;

они словно бурю подняли в его, еще совершенно шатких, понятиях. Даже Светлов почувствовал себя не по привычке взволнованным: он не мог не согласиться во многом с резким отзывом товарища.

— Так в чем же исход-то, по-твоему? — спросил у него Александр Васильич, печально опуская голову.

— O sancta simplicitas! — воскликнул Ельников.— Это значит: «святая простота»,— пояснил он Грише.— И ты еще, Светловушка, об исходе помышляешь? Изойди кровью — вот тебе и исход весь!

Ельников закашлялся в платок и с какой-то невыразимой грустью мотнул головой присутствующим на проступившее у него на платке алое пятнышко крови.

Гриша чуть не заплакал. Александр Васильич отвернулся к окну; жгучую слезу проглотил он в эту минуту.

— Нет! — сказал вдруг Ельников, приподнимаясь на диване и смотря прямо в глаза Светлову,— ты прав: надо действовать, надо работать всеми силами ума и души, хотя бы назло безнадежности, хотя бы для того только, чтоб враг не видел тебя с опущенными руками даже и в ту минуту, когда ты задыхаться будешь по его милости!..

— Успокойся ты ради Христа, Анемподист Михайлыч! — проговорил взволнованно Светлов, садясь возле приятеля.

— Успокоюсь, брат; чувствую, что скоро успокоюсь!..— с той же невыразимой грустью сказал Ельников.— Но будь уверен, что пока мои легкие в состоянии выработать из воздуха хоть один гран кислорода — я не сложу рук! Вот... перед вами... еще все,— обратился он мягко, как женщина, к Грише,— перед вами непочатый угол надежд... Учитесь... сколько сил у вас хватит — учитесь! Мало ли что сбрехнешь иногда, особливо коли горько станет,— вы это забудьте пока, не принимайте на веру; почем еще знать, кто ошибается — он или я...— заключил Анемподист Михайлыч, указав глазами на Светлова.— Любимовы, так вот те не ошибаются.

— Ну, мне кажется, ты немного несправедлив к Любимову,— заметил Светлов,— он очень хороший человек.

— Да что в его хорошестве-то? — прочно ли оно? Добряк он — это так, не спорю; а больше что же? Украсть он — не украдет и не надует никого, скорее его

самого надуют, только ведь он уж и теперь вертится: ухитряется как-то так делать, что и грызется с начальством и люб начальству. Барыни-то вот его заедают шибко. Впрочем, это мое личное мнение... А все-таки скажу, что поля он не нашего, хоть не теперь, а после...— проговорил задумчиво Ельников.

— Да, грех этот отчасти и я за ним знаю.— согласился Светлов.

— Евгений Петрович славный такой...— застенчиво выразил свое мнение Гриша.

— Да, он приятный человек,— заметил как бы про себя Анемподист Михайлыч.

— Вот что, Ельников,— сказал Светлов, взявши товарища за руку,— завтра вечерком я к тебе зайду потолковать серьезно кое о чем, а сегодня извиняюсь перед тобой: через полчаса мне на урок нужно.

— Что за извинения; конечно, иди. Да ты неужто два раза в день будешь у них заниматься? — удивился Анемподист Михайлыч, обращая глаза на Гришу.

— Ох, нет, я не к ним. Видишь, двоюродная сестра у меня тут есть... помнишь наше общее сочинение? письмо?

— Ну, как же, помню.

— Так вот я к ним и иду. Я, видишь, устраиваю ей уроки, так надо ее немного подготовить к ним; приемов она еще совсем не знает, а девушка-то неглупая, да и способная к этому. Вчера я с ней в первый раз начал заниматься — ничего, отлично выходит,— сказал Светлов, вставая, чтоб закурить папироску.

— Резон! — заметил Ельников,— прибавляй нашего полку. А вы не пойдете ли ко мне чайку вдвоем напиться? — обратился он к Грише.— Мне сегодня, по правде сказать, как-то не сидится одному: я было на него вон рассчитывал,— указал Анемподист Михайлыч на Светлова,— да, видите, у него серьезное дело на руках. Как вы думаете, а?

Гриша затруднялся, но ему, очевидно, хотелось пойти.

— Мама ведь, я думаю, не будет о вас беспокоиться,— ободрил его Светлов,— она знает, что вы со мной ушли.

— Она-то, я знаю, что ничего...— сказал Гриша.

— Ну, значит, и решено: пьем чай,— заключил Ельников, повеселев несколько.

— Я обещался познакомить вас с моими стариками, да они что-то не в духе сегодня, так мы отложим это до другого раза,— сообщил Александр Васильич Грише, немного нахмурившись.

Мальчик догадался, впрочем, что последнее не к нему относится.

Поговорив еще с четверть часа, они все трое собрались идти.

— Вы, господа, выходите; я вас догоню,— заметил Светлов гостям, когда они одевались в передней.

Те вышли, а Александр Васильич прошел к матери.

— До свидания, мама! Я иду...

Он поцеловал у нее руку.

— Не успел, батюшка, прийти, да уж и опять идешь? — спросила Ирина Васильевна с заметным неудовольствием.

— Да дело есть, мама. Кстати, тебе не нужно ли что-нибудь передать Агнии Васильевне: я к ним.

— Только у тебя и ходьбы, что к тетке Орлихе,— ответила старушка тем же тоном,— уж и то родные-то пеняли мне вчера из-за тебя...

— Ну, пусть их пеняют, мама: попеняют да перестанут. Так тебе ничего не нужно передать? — переспросил Светлов.

— А чего мне ей заказывать? Кланяйся,— сухо ответила Ирина Васильевна.

— А Владимирки где не видать? — осведомился сын.

— Да где ему быть-то, как не в бане, поди... Ужо наделают они там с Ванькой пожар с твоей химией! — заметила раздраженно мать.

Светлов ничего не сказал и прошел к отцу.

— А! Уж и на всех парусах? — сказал Василий Андреич сыну, сосредоточенно набивая трубку.— Смотри, парень, на мель не попади, скоро-то плавая...

— Я с компасом,— улыбнулся Александр Васильич.

— Извини, братец,— не догадался; примем к сведению,— торопливо проговорил старик, и в голосе его послышалась не то насмешка, не то обидчивость.

Александр Васильич чуть заметно нахмурился, но промолчал и вышел, еще раз простившись с отцом.

Ельников и Гриша ожидали его среди двора, разговаривая о чем-то.

— Постойте, я только брата отыщу,— закричал им Светлов.

Он торопливо пошел к бане, выстроенной на заднем дворе, за садом. Оказалось, что там действительно идет деятельная работа. «Наилюбезный камердинер» преусердным образом толок что-то в ступке, а Владимирко, не менее усердно, просевал натолченное сквозь обыкновенное сито.

— Что это вы тут стряпаете такое? — подкрался к ним незаметно Светлов.

Мальчуганы вздрогнули от неожиданности.

— А! Саша! — закричал весело Владимирко, опрометью бросаясь к брату, и в одну минуту успел выпачкать ему чем-то белым пальто.

— Не прикасайся! — сказал Александр Васильич, комично отстраняя его от себя двумя пальцами обеих рук,— ты весь в муке, как мельник. Да что вы это сочиняете такое? — обратился он уже к «наилюбезному камердинеру».

— Да вон барич хотят порох сделать-с...— как-то смешно ухмыльнулся тот и закосил глазами.

Светлов, не говоря ни слова, вышел, оставив маленьких лаборантов в полнейшем недоумении. Но через минуту дело объяснилось: на пороге открытых дверей бани показался сперва Ельников, за ним Гриша, а наконец и сам Александр Васильич.

— А! Химик, здорово! Помогай бог! — сказал Анемподист Михайлыч, смеясь и протягивая руку совсем растерявшемуся Владимирке.

«Химик», впрочем, сконфузился не от присутствия Ельникова, с которым он был уже хорошо знаком, а главное — смущал его крепко Гриша, как совершенно незнакомое лицо.

— Да вот подите-ка вы, угонитесь за ними...— заметил Светлов гостям, разражаясь самым веселым смехом.— Ты думаешь, чем они занимаются? — обратился он к доктору.— Порох, брат, выдумывают!

Ельников засмеялся, а Гриша только улыбнулся недоверчиво.

— Вы не верите, кажется? — спросил у Гриши Светлов,— Ваня! — обратился он к «наилюбезному камердинеру»,— вы что это делаете?

— Порох-с,— бойко ответил тот, по-прежнему ухмыляясь и кося глазами.

— Что, батюшка? Вот и не верьте после этого,— сказал Ельников с забавной серьезностью удивленному Грише.

Анемподист Михайлыч с Светловым присели на лавку.

— А там у вас что? — спросил Гриша Владимирку, указывая на покрытый синей бумагой горшок, стоявший поодаль, на полу.

— Уголь толченый...— ответил застенчиво Владимирко.

— А тут? — спросил снова Гриша, указав на другой горшок, поменьше, помещавшийся возле первого.

— Тут сера горячая,— пояснил «химик».

— А белое-то это что? — допытывался Гриша.

— Селитра-с...— подсказал Ваня.

— Так только из этого и делается порох? — удивленно и крайне недоверчиво осведомился еще раз Гриша.

— А как же? Так и делается,— стал уже развязно объяснять ему Владимирко, вертясь в своем халатике, с видом знатока, между ситом и ступкой.— Селитры надо вот сколько взять, а угля вот сколько, а серы поменьше — вон сколько,— показывал он.— Как растолкешь, взять да все вместе и высыпать — размешать, а потом водой намочить,— как тесто будет; после на терку положить да и продавливать: оно так, калачиками, из терки и выйдет. Их, калачики-то, высушить надо; они потом сами на зернушки рассыплются...

— И гореть будет? — спросил Гриша.

— Вчера горел, да худо: шипит только.

— Отчего «шипит»?

— Не просох,— с уверенностью заметил Владимирко.

— А терка-то какая?

— Да которой Акулина папе редьку трет.

Владимирко улыбнулся при этом и посмотрел на Гришу таким взглядом, как будто хотел сказать: «Э, брат, хорош же ты, коли терки не знаешь!»

Тем не менее последнее обстоятельство послужило к сближению мальчиков. Владимирко, чувствуя себя с этой минуты как бы распорядителем завода и снисходя к невежеству постороннего посетителя, сделался вдруг как нельзя более обязателен в отношении Гриши. Обязательность эта дошла, наконец, даже до того, что ему предло-

жен был ломтик черного хлеба с маслом — чем обыкновенно запасался «химик», удаляясь на свои работы. Гриша хоть и отказался от хлеба, но оценил любезность маленького порохового заводчика.

— Приходи к нам,— сказал он дружелюбно Владимирке, когда Светлов и Ельников собрались идти.

— Да я не знаю, где вы живете...— ответил без прямого отказа Владимирко.

— Вот Александр Васильич знает,— заметил Гриша,— ты с ним когда-нибудь и приходи; да поскорее.

— С Сашей я приду,— согласился Владимирко твердо.

Мальчики дружески простились. Ельников на прощанье взъерошил «химику» волосы и при этом дал обещание принести ему в следующий раз какой-то «новый состав для ракет».

— Ну, уж вы!.. только обещаете все, а не приносите...— сказал Владимирко сердито-ласково.

Уходя, Александр Васильич пустил гостей вперед, а сам на минуту остался и, когда они ушли, приятельски заметил брату, чтоб тот всякий раз сказывал ему, что намерен делать.

— Я всегда тебе с удовольствием покажу, за что и как надо приняться,— сказал он.— Вот и твой порох ты ужо не зажигай без меня: это ведь все-таки опасная штука. Мама как узнает, так, пожалуй, и не пустит тебя сюда в другой раз; а если ты будешь со мной советоваться — и мама ничего не скажет,— заключил Светлов.

— Да я сегодня, Саша, позабыл тебе сказать...

— Ну ладно, прощай; только в другой раз помните — смотрите.

Светлов дружески потрепал брата по плечу, а Ваню по щеке и ушел.

— Да вы очень-то не пачкайтесь, а то мне от мамы за вас достанется! — закричал он им уже в окно.

Александр Васильич догнал своих гостей на улице и проводил их до угла ближайшего переулка. Здесь они расстались. Ельников сейчас же после того вступил с Гришей в прерванный на время разговор и продолжал его вплоть до своей квартиры, над воротами которой действительно красовалась теперь известная вывеска. Доро́гой Анемподист Михайлыч понравился Грише еще больше, а дома у него мальчик почувствовал себя как-то сра-

зу своим человеком. Бедность обстановки доктора, его строгая простота во всем и грубоватая откровенность совершенно развязали Грише язык и сердце. Он просидел у Ельникова незаметно весь вечер. Сперва, за чаем, жарко о чем-то поспорили. Анемподист Михайлыч, разумеется, провалил своего противника на всех пунктах; Гриша даже вспотел при этом, но не унялся: он еще раз попробовал отстоять свою мысль, уже с новой точки зрения, но доктор и на этот раз провалил его, заставив снова вспотеть.

— Это, батюшка, самое действительное потогонное средство,— шутя заметил Ельников гостю относительно их спора.

После чаю Анемподист Михайлыч предложил Грише порыться в чемоданах с книгами. Тот, конечно, сейчас же воспользовался этим: стал рыться, перечитывал заглавия, пробегал наскоро глазами страницу-другую каждой наугад развернутой книги, кое-чем серьезно заинтересовался и, в заключение, попросил позволения у Ельникова взять две-три книги с собой. Доктор, без сомнения, охотно согласился на это, но сам от себя ничего ему не навязывал. Так как Гриша засиделся таким образом у своего нового знакомого довольно долго, то Анемподист Михайлыч и вызвался проводить мальчика до дому, нарочно сказав ему, что имеет охоту погулять. Дорогой у них опять шли толки. Ельников рассказывал, как они с Светловым учились в гимназии, какие в то время проделки устраивали вдвоем; потом доктор сообщил Грише не менее интересные подробности о своей университетской жизни, о своих профессорах и товарищах, причем с глубоким уважением и чувством отозвался о Светлове, заметив о нем, между прочим, с какой-то грустью: «Не у нас бы только действовать этой благородной голове». Расставаясь с Ельниковым у ворот своей квартиры, Гриша, совсем как взрослый, пригласил его: «Заходите когда-нибудь и ко мне». Доктор, в свою очередь, принял это приглашение совершенно так, как если б выслушал его от товарища.

— Только буде я не очень скоро зайду к вам, так знайте, что я сильно занят, а не сочтите этого за нежелание с моей стороны. Вы-то ко мне заходите своим чередом, без церемонии, да почаще,— сказал он мальчику, в последний раз пожимая ему руку.

Бойко вбежал Гриша к себе в комнаты. Обыкновенно молчаливый и несообщительный, он в этот раз без умолку проговорил до поздней ночи с матерью, то передавая ей впечатления дня, то пересказывая, почти слово в слово, свои споры с Ельниковым. Лизавета Михайловна была уже в постели, когда вернулся сын, и до этого времени несколько беспокоилась его продолжительным отсутствием; но теперь, узнав в чем дело, она была очень довольна.

Сообщая свои новости матери, Гриша примостился на кровати, у ее ног, и никогда еще между ними не обнаруживалось такой теплой дружбы, такой полной откровенности...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ПЕРВЫЕ ШИПЫ СЕМЕЙНОЙ РОЗЫ

Как у молодых супругов бывает обыкновенно свой так называемый «медовый месяц», так точно и на долю молодежи, возвращающейся под домашний кров после нескольких лет ученья, выпадает если не медовый месяц, то по крайней мере своя «медовая неделя». Считается она, разумеется, со дня приезда. Во все продолжение этой счастливой недели родители обыкновенно только тем и занимаются, что смотрят в глаза своему ненаглядному, возвратившемуся к ним детищу, стараясь предупредить, по возможности, малейшие его желания. Все, что водится резкого или упорного в их характере и привычках, как бы стушевывается в эти дни, принимает какую-то среднюю форму; старики точно отрешаются на время от своего обычного безапелляционного авторитета, точно молодеют. Впрочем, в подобной временной уступке, кроме родительской любви, сказывается еще и как бы чувство собственника. Оно, по-видимому, странно — однако верно. Человеческой натуре вообще свойственно питать особенное расположение к новинке, хотя бы даже эта новинка предстала ей в образе другого такого же человека. Приобретя какую-нибудь вещь, мы первое время обыкновенно усиленно бережем ее, усиленно ею тешимся, пока глаз не привыкнет к новому пред-

мету. Точно так же поступаем мы и в отношении незнакомого или давно невиданного близкого нам лица,— и как раз в такое же положение попал с приезда молодой Светлов: всю первую неделю старики только ухаживали за ним, стараясь либо не повертываться к нему своими острыми углами, либо обходить его собственные острые углы. А эти острые углы неизбежно существуют в каждом человеке по отношению к другому и так же неизбежно проявляются, едва только люди вступают в более близкие или частые сношения друг с другом. Кто внимательно следил за ходом нашего рассказа, от того не могли ускользнуть, конечно, и некоторая холодность, и то взаимное неудовольствие между Александром Васильичем и его стариками, какие успели проглянуть у них в последних сценах. Чтоб уяснить себе такую перемену, нам придется вернуться несколько назад и сжато проследить за всем тем, что могло ее вызвать. Этим мы и займемся в настоящей главе.

Поджидая сына из Петербурга, Светловы рассчитывали встретить в нем, прежде всего, гордеца: по их мнению, он, как человек столичный и ученый, непременно должен был отнестись свысока и насмешливо к их собственной неучености, к их простенькому провинциальному быту. В этом старики положительно ошиблись и ошиблись вдвойне: то, что Александр Васильич вел себя просто, солидно, не мозоля никому глаз своей ученостью, они, обрадовавшись, приняли за явный знак будущей безусловной покорности сына их родительской воле. Таким образом, все шло отлично до первого случая, когда Александру Васильичу пришлось обнаружить, в известной степени, стойкость своего характера. Светлов, впрочем, очень внимательно выслушивал стариковские замечания и наставления, но при этом, твердо высказав свое собственное мнение, поступал по-своему. Делал он это спокойно, с достоинством и без особенной резкости, к которой бы можно было удобно придраться. Там, где дело касалось только лично стариков, Александр Васильич ни во что не вмешивался и относился с полным уважением к их убеждению. Но когда интересы их сталкивались с интересами другой личности, в ущерб этой последней, он спокойно заявлял право на уважение и к его собственному убеждению, помогая обиженному отстаивать свои законные выгоды. Стариков больше-то

всего и раздражало именно то достоинство, с каким вел себя в отношении семьи Александр Васильич: они желали бы покровительствовать ему и видели в то же время, что он нисколько не нуждается в этом покровительстве; однако поведение такого рода не походило и на гордость, к которой приготовились старики. Это во-первых.

Во-вторых, как Василий Андреич, так и Ирина Васильевна, знавшие по письмам отвращение сына к коронной службе, втайне надеялись, что с приездом его они успеют общими силами победить в нем это чувство, казавшееся им одной легкомысленной прихотью. По их мнению, молодой человек из благородного звания должен был непременно служить; иначе, работай этот молодой человек хоть как вол, он все-таки оставался бы в их глазах не больше, как праздношатающимся. На занятие сына литературой старики Светловы смотрели еще менее одобрительно. «Сочинители, батюшка, все были горькие пьяницы; да и уж какое это занятие — все описывать да выставлять в насмешку»,— замечала не раз Ирина Васильевна с приезда Александру Васильичу, заставая его иногда ночью за письменной работой. Василий Андреич хоть и не совсем разделял мнение жены на этот счет, тем не менее и он не одобрял таких занятий сына. «Еще попадешься, парень»,— замечал ему обыкновенно старик. Но, главное, им не давали покою и огорчали их беспрестанные вопросы родных и знакомых: «Что, Василий Андреич, не определили еще сынка-то на службу?» или: «Какой у вас молодец сынок-то, Ирина Васильевна; поди, прямо чиновником особых поручений к генерал-губернатору поступит? Пора бы уж ему и послужить». «Пускай отдохнет немного с ученья»,— как-то сдержанно отвечали старики на все эти замечания и невесело опускали свои седые головы. Дело в том, что они больше всего желали, чтоб их любимое детище пользовалось в родном городе общим заслуженным почетом,— это было мечтой, манией их последних лет,— а почет старики понимали только внешний, чиновный. Им, правда, то и дело приходилось слышать похвалы уму и образованию сына даже от таких почтенных лиц, на отзывы которых они вполне полагались; но все-таки крупный чин или солидный орден на шее не могли сравниться в их глазах ни с какими

восторженными похвалами. Эта черта противоречила, по-видимому, и основному характеру Василья Андреича, никогда не кичившегося своим статским советничеством, и убеждениям Ирины Васильевны, часто проповедовавшей евангельское смирение, тем не менее черта эта существовала у них: она вообще свойственна людям, поднявшимся из ничего до заметного положения в обществе.

И вот, в начале третьей недели с приезда сына, старик Светлов, все о чем-то надумывавшийся перед этим, вошел однажды вечером к нему в кабинет с серьезным, несколько смущенным лицом. Александр Васильич писал корреспонденцию в Петербург.

— А я хотел с тобой поговорить делом...— сказал отец, садясь напротив сына, у стола, и сосредоточенно затягиваясь трубкой.

— Что тебе угодно, папа? Я не особенно занят; это можно и завтра кончить,— заметил Александр Васильич, указав на мелко исписанный почтовый лист бумаги большого формата, и отложил его в сторону.

— Ты вот все пишешь да пишешь, а когда же ты, парень, думаешь на службу поступить? — спросил старик, стараясь не смотреть на сына.

Александра Васильича не особенно удивил этот прямой вопрос: раньше на него уже делали несколько темных намеков. Молодой человек подумал и отвечал твердо:

— Я совсем не думаю служить, папа.

— Не ду-у-маешь? — угрюмо переспросил Василий Андреич, растягивая это слово.— Вот тебе и раз! Так ты о чем же думаешь-то после этого? делать-то ты с собой что хочешь?

— Как что? — ответил спокойно сын,— работать буду. Да я уж и теперь работаю; а вот скоро у меня еще и уроки будут, мне уж обещали.

— Какие же это такие уроки, братец? В учителя, что ли, ты поступаешь?

— Да, детей буду учить.

— Хорошо, детей будешь учить... да служба-то это какая, я спрашиваю: коронная, что ли? — еще угрюмее спросил старик.

— Нет, частная; я в частных домах буду заниматься.

— Немногого же ты, парень, хочешь! А жить-то ты чем будешь? — заметил несколько насмешливо Василий Андреич.

— Этим и буду жить.

— Да ведь чудак ты, братец: служба-то ведь выгоднее; она тебя и на старости обеспечивает.

— Не все то хорошо, папа, что выгодно,— по-прежнему спокойно ответил Александр Васильич.

Ирина Васильевна, сидевшая в это время в зале и слышавшая последние слова сына, не утерпела и тотчас же появилась на пороге его комнаты с вязаньем в руках.

— Ну уж, батюшка, выдумал же ты чего — уроками жить. Последнее дело; только нас с отцом острамишь. Вон посмотри-ка у Падериных-то сын: уж на что они богачи, а тоже служит; университетский, как ты же, не меньше тебя учен,— сказала она с затаенным раздражением в голосе сыну.

— Постой, мать, дай нам поговорить толком,— остановил ее Василий Андреич.

Ирина Васильевна ушла, приговаривая дорогой: «Уж коли в эти годы не служить, так чего и будет... выдумал что!»

— Тебе, парень, может, проситься на службу не хочется, кланяться лень,— так я сам к генерал-губернатору съезжу, а не то дядя Соснин вон похлопочет,— заметил Василий Андреич вкрадчиво сыну.

— Знаешь, что я тебе скажу, папа,— сказал Александр Васильич серьезно и твердо,— ты лучше оставь этот разговор в покое. У меня есть привычка — что сказать, то и сделать: я тебе сказал, что не намерен служить,— и не буду.

— Слонов станешь продавать, значит? — едко осведомился Василий Андреич.

— А это уж твое дело: думай, как хочешь.

— Так отец-то, по-твоему, что же такое выходит? — спросил старик, сурово насупив брови.

— Вот что, папа: ты напрасно не хмурься. Я — не пятилетний мальчик, а ты... ты очень хорошо знаешь, что я тебя люблю и уважаю,— еще спокойнее заметил Александр Васильич.

— Мне, братец, из твоего уважения не шубу шить. Не пятилетний мальчик. Вырос как скоро! Что ж ты

думаешь, у меня против тебя уж и управы не найдется? — еще суровее насупил брови Василий Андреич.

Александр Васильич весь вспыхнул на минуту и оглянул отца с ног до головы.

— Что же ты этим хочешь сказать? — проговорил он медленно и холодно.

— А то, что я заставлю тебя служить! — прогремел старик, выходя из себя.

— А! — сказал Александр Васильич, притягивая к себе отложенный им в сторону почтовый лист бумаги,— это другое дело. Я думал, что ты пришел поговорить со мной, как с сыном, а ты, кажется, принимаешь меня за лакея, с которым, впрочем, я так не заговорил бы; в таком случае, пожалуйста, не мешай мне: я живу исключительно работой.

Твердый, спокойный, полный достоинства тон, каким были сказаны эти слова, озадачил старика не на шутку. Он заметно сконфузился и как-то тревожно затянулся трубкой. Дело в том, что Василий Андреич хоть и знал раньше упрямство за сыном, но такой спокойной твердости от него не ожидал: ему до этой минуты как-то не приходило в голову, что теперь перед ним сидит далеко уже не тот Саша, которого он некогда бесцеремонно драл за уши; а главное — в словах сына старику послышался справедливый и чувствительный для родительского сердца упрек. «Я живу исключительно работой»,— раздавалось у него в ушах долго еще после того, как были сказаны эти простые слова. В самом деле, что он мог возразить против них? Последние три года сын его учился на свои трудовые деньги, упорно отказываясь от всякой помощи, и это случилось именно после того, как мать ему написала раз, что им трудно приходится жить теперь. Приехал он из Петербурга тоже на свои средства. Если сын и пользуется пока даром их столом и квартирой, то разве позволили бы ему они, Светловы, платить за это? Он уж и без того дал как-то матери двадцать пять рублей, сказав: «Это, мама, на мои прихоти к обеду». С приезда молодой человек даже не занял у него, отца, ни копейки. Все эти мысли болезненно завертелись в голове старика, пока он обдумывал, что ответить сыну на его последнее, справедливое, как ему казалось, замечание.

— Мы, слава богу, парень, тебя еще, кажется, ничем не попрекали...— надумался сказать наконец Василий Андреич.

Голос его слегка дрожал и звучал на этот раз как-то тихо, примирительно.

— Я и не говорил этого,— мягко заметил Александр Васильич.

— А ты вон отца-то из своей комнаты гонишь, не понимаю я, что ли...— продолжал старик обиженным тоном.

— Полноте, папа, мало ли что нечаянно с языка сорвется,— сказал сын.

— Ведь я тебе почему стал говорить? К твоей пользе говорил. Служи, не служи,— мне-то что! А тоже нам обидно с матерью, что вон и родственники и знакомые о тебе все спрашивают, скоро ли ты на службу поступишь.

— Да им-то что за дело до этого? На мое жалованье, что ли, они рассчитывают? — спросил несколько раздраженно молодой Светлов.

— Без тебя, батюшка, жили — без тебя и проживут! — заметила громко из залы Ирина Васильевна.

— И пусть их живут, как знают,— ответил ей вскользь Александр Васильич.— Вон ты, папа, до седых волос дожил,— обратился он снова к отцу,— а все еще, как видно, боишься того, что другие про нас скажут. Подумай-ка хорошенько: ладно ли это? Пришли тебе помочь эти *другие*-то, когда приходилось плохо? Небось все попрятались...

— Это так-то так, парень.

— Ну вот то-то и есть. Чужие, папа, мозги в свою чашку перекладывать не приходится: не поместятся. Вон родные-то обижаются, пожалуй, что ты сам на рынок ходишь,— ты бы и послушался их — не ходил бы. Посмотрел бы я, стал ли бы у тебя вкуснее обед тогда,— сказал Александр Васильич, зажигая папироску.

— Всего-то, парень, тоже не переслушаешь...— заметил старик.

Логика сына, очевидно, начинала действовать на него.

— Вот и я так же думаю,— молвил Александр Васильич.

— А все-таки, братец, служить необходимо, по-мое-

му...— как-то уже нерешительно проговорил Василий Андреич, с минуту помолчав.

— Ну, это по-твоему так, а по-моему совсем иначе.

— Да что тебя служба-то съест, что ли? — чуть-чуть повысил голос старик.

— А ты отчего в прошлый раз говорил, что если б тебе пришлось начинать службу с теперешним умом, так ты ни за что бы не определился в полицейскую службу? Ведь служил же ты по полиции, не съела же она тебя? — спросил сын.

— Хлопотно...— как-то замялся старик.

— Ну, это ты хитришь: не в хлопотности тут дело, а служба полицейская пошлая, лакейства много требует при наших порядках.

— Оно так-то так, братец; есть и это, что напрасно говорить... Да ведь ты любую службу-то выбирать можешь, чудак ты.

— Вот я так и сделаю — и выберу: буду служить непосредственно обществу.

— Мудрено это что-то сказано, парень,— заметил подозрительно Василий Андреич.

— Ничего не мудрено. Ты вон не любишь же от перекупщиков покупать: дороже, говоришь, заплатишь; а я не хочу, чтоб общество дороже платило за мой труд только потому, что он дойдет к нему не прямо от меня, а из третьих да, пожалуй, еще и из пятых рук,— сказал Александр Васильич, задумчиво прислонясь головой к спинке кресла.

— Вас, нынешних, ученых, и не поймешь сразу, о чем вы говорите; смысл-то, я вижу, в твоих словах есть, да вот раскопаешь-то его не скоро. Ну, а кабы все-то потвоему рассуждали, кто же бы служить-то стал? Ты об этом только, парень, подумай,— заметил старик, и по лицу его чуть заметно проскользнула лукавая усмешка.

— Вон что ты выдумал! — еще лукавее улыбнулся, в свою очередь, Александр Васильич.— Тогда бы, папа, нам и толковать с тобой было теперь не о чем, потому что тогда и третьих рук не было бы...

— Ах, ты... иностранец этакий! — весело сказал вдруг Василий Андреич, и какая-то глубокая, сосредоточенная мысль озарила на минуту умное лицо старика.

Александр Васильич пристально посмотрел на отца.

— По мне все равно! Делай, как знаешь; была бы,

по пословице, честь приложена, а от убытку бог избавил,— продолжал тот не совсем спокойно, заметив пристальный взгляд молодого Светлова.— Я бы не стал и говорить-то об этом, да видишь, вон мать-то убивается. С тобой, парень, не столкуешь, видно.

Старик медленно приподнялся и так же медленно вышел из комнаты сына, несколько раз усиленно затянувшись из своей неизменной трубки.

— Ну уж, отец, и ты! — шепотом напустилась на него в зале Ирина Васильевна,— отличился, батюшка! Правду Санька-то сказал, что до седых волос дожил, а ума не нажил: чем бы припугнуть его хорошенько, а он с ним же лясы сидит точит! Он чего воображает-то о себе много,— нарочно громко продолжала старушка, чтоб слышал сын,— он думает, что вырос, выучился, так уж родители и заставить его не могут... Я бы, батюшка, и говорить-то с ним не стала по-твоему, а вот просто взять да и определить его на службу! Вот он и узнает тогда, как кобениться с родителями-то!

— У тебя, мать, все «я бы» да «я бы»! Поди вон да и разговаривай с ним сама, коли я не умею. А черт его дери! — обиженно-сердито проговорил старик и, быстро пройдя к себе в комнату, с шумом захлопнул за собой дверь.

Василий Андреич долго еще не ложился в этот вечер, сидя одиноко в своем кабинете и сосредоточенно потягивая из своей коротенькой трубочки.

Тем и кончился этот решительный, но неудачный приступ стариков Светловых склонить сына к поступлению в коронную службу. Но хотя их последний опыт, по-видимому, и довольно мирно прошел для Александра Васильича, по крайней мере со стороны отца,— тем не менее последствия неудачи этого опыта не замедлили обнаружиться в семье с следующего же дня. Сперва они выражались только некоторой холодностью, выказанной стариками в отношении сына; потом мало-помалу холодность эта перешла в раздраженность и придирчивость, свидетелями которых мы были в предыдущей главе. Оба эти чувства нашли себе пищу во многом, и то, что при других обстоятельствах прошло бы незамеченным, теперь обращало на себя усиленное внимание стариков, возбуждая довольно открыто их неудовольствие. Позднее иногда возвращение сына до-

мой трактовалось уже ими как наклонность его к беспорядочной жизни. «Кутит где-нибудь»,— угрюмо замечала о нем обыкновенно Ирина Васильевна мужу всякий раз, как им приходилось ложиться спать, не дождавшись прихода сына. А на другой день, когда на вопрос матери, где он так долго пробыл вчера, Александр Васильич спокойно отвечал: «У товарища засиделся»,— ему недоверчиво и довольно колко замечали: «Какие уж это такие товарищи, у которых только по ночам собрание бывает...» Старики, разумеется, покраснели бы до ушей, если б при этом какое-нибудь постороннее, заслуживающее их полную доверенность, лицо могло удобопонятно сообщить им, что Александр Васильич действительно просидел вчера, чуть ли не до утра, вдвоем с Ельниковым, толкуя и споря о таких вопросах, от правильного разрешения которых зависит... ну хоть, скажем, благоденствие многих домашних уголков, вроде семьи «тетки Орлихи», например... Такого благодетельного лица, конечно, не оказывалось, и заблуждение стариков росло с каждым днем. Начались довольно прозрачные намеки на то, что при этаких порядках, дескать, и прислуга жить не будет: изволь всякий раз подниматься ночью. При первом же подобном намеке Александр Васильич поспешил успокоить домашних, назначив от себя очень солидную прибавку к жалованью прислуги. Но это не только не послужило ему в пользу, а, напротив, еще больше возбудило против него стариков: стали говорить, что с его приезда «прислуга совсем от рук отбилась, то ей нехорошо, другое неладно»; что она «только и слушает, что приезжий барич скажет», и многое в том же роде. Во всех этих жалобах была значительная доза справедливости, но она относилась скорее к чести Александра Васильича, чем к его осуждению. Прислуга действительно полюбила молодого Светлова, увидев в нем отчасти своего надежного заступника; два-три случая осязательно показали ей, что теперь, при молодом барине, ее не очень-то можно трактовать как бессловесное животное. И потому-то весьма многое из того, что делалось для стариков Светловых неопрятно и с ворчаньем, для Александра Васильича исполнялось всегда добросовестно и не только с охотой, но подчас даже и с удовольствием. Уж на что отпетым плутишком считался в доме «наилюбез-

ный камердинер», а и на нем отразилось влияние новоприбывшего члена светловской семьи. У Ирины Васильевны сахар всегда запирался, а Ваня все-таки находил возможность красть его и крал; у Александра же Васильича в комнате постоянно стоял открыто на столе целый ящик папирос, никогда, разумеется, не проверявшихся, а между тем ни одна папироска не исчезала из этого ящика без спроса, хотя Ваня и был до них еще бо́льший охотник, чем до сахару. Старикам «наилюбезный камердинер» врал в глаза, не краснея, при всяком удобном случае, хотя бы того и не требовали его интересы; а Александру Васильичу он, краснея, признавался в своем вранье даже и в тех случаях, когда признание могло нанести решительный вред этим интересам. Старики очень хорошо видели все это, но не могли ничего взять в толк и приписывали подобное обстоятельство «подачкам», как называли они те сверхштатные гривенники и пятаки, которые зарабатывал иногда Ваня, сбегав куда-нибудь лишний раз по поручению Александра Васильича.

Ко всему этому прибавилось и еще одно обстоятельство, значительно усилившее неудовольствие Светловых на сына. В числе немногих избранных знакомых, начавших изредка посещать Александра Васильича с приезда, трое были из сосланных в Сибирь политических преступников. В особенности крепко не понравилось старикам посещение одного из них, по фамилии Варгунина, с которым нам придется поближе познакомиться в следующей главе. Сейчас же после первого визита этого господина, едва только затворилась дверь за ним, Ирина Васильевна, заметно встревоженная, вошла в комнату сына.

— Кого ты еще, батюшка, к себе наведешь после этого!..— обратилась она к нему, вся вспыхнув.

Александр Васильич посмотрел на нее с удивлением.

— Я тебя не понимаю, мама,— сказал он, собирая со стола какие-то бумаги.

— Чего тут не понимать-то, не маленький, слава богу! — заметила ему мать с сильной досадой в голосе.— Это ведь у тебя Варгунин был?

— Ну да, он, так что же?

— Как «что же»? А то же, что ему нечего бывать здесь!

— Это почему? — удивился сын.— Я сам его пригласил; я с ним знаком.

— А коли и познакомился, так уж извини, батюшка, ходи к нему сам, коли хочешь, а к нам его не води, нечего ему у нас делать...

— Что такое! Да говори, мама, пожалуйста, яснее,— сказал Александр Васильич, нетерпеливо останавливаясь перед матерью.

— А то... Ты разве, батюшка, не знаешь, на что он покушался? — спросила Ирина Васильевна, и лицо ее приняло какое-то испуганное, тревожное выражение.

Александр Васильич улыбнулся.

— Вон что ты, мама! Да мало ли кто на что покушался,— молвил он весело,— а теперь не покушается. Ты вон, пожалуй, сама же рассказывала, что я, когда был еще мальчуганом, покушался воровать у тебя, в пост, сливки из кладовой, так меня, по-твоему, и теперь в кладовую пускать нельзя? И теперь я, по-твоему, вор выхожу?

— Толкуй с тобой! Ты вот этак-то, батюшка, всегда и отделываешься ото всего,— заметила с неудовольствием Ирина Васильевна.

— Да ведь нельзя же две шкуры с одного вола драть. Меня за покушение украсть у тебя сливки ты поставила, я помню, в угол; ну, я отстоял, сколько следовало, и дело с концом. Не поставишь же ты меня теперь снова в угол за то же самое? Так и Варгунин. Ты говоришь, он покушался на что-то; ну, его за это вот и сослали в работы. Теперь он срок свой отработал, поселен здесь... Стало быть, нечего и поминать о прошлом. А иначе и житья бы на свете никому не было,— сказал Александр Васильич, смотря матери прямо в глаза.

— Какое же уж это, Санька, сравнение: то сливки, а то... чего уж ты, батюшка, выдумал опять! — как-то смущенно проговорила Ирина Васильевна, поправляя чепец на голове.

— Тут, видишь ли, мама, дело не в сливках, разумеется, а в том, что нехорошо попрекать человека тем, за что он уже раз понес наказание. Ведь человека для чего наказывают? Для того, конечно, чтоб он исправился. А как же он исправится, коли ты его к себе не пустишь, я не пущу, другой не пустит? Этак и самый

смирный человек озлиться может,— ты подумай-ка об этом.

— Нельзя же, батюшка, из-за него да всех заставлять в петлю лезть...

— Да кто же тебя заставляет лезть в петлю, мама? Это совершенно от себя самой зависит. Ты помнишь, у нас, перед моим отъездом, работник жил,— Иван, кажется,— сосланный сюда за убийство? Он у нас больше двух лет жил, и ты, я помню, очень его любила и жалела...— сказал Александр Васильич задумчиво.

— Так он-то, батюшка, по несчастью ведь...— слабо возразила Ирина Васильевна.

— А ты почем знаешь, что и Варгунин не по несчастью здесь? Ведь все по несчастью...— еще задумчивее ответил ей сын.

— Правду отец-то говорит, что с тобой, Санька, толковать, так прежде пообедать надо. А уж ты, батюшка, как ни рассуждай, а к нам его не води! — сказала старушка довольно решительно.

— Ты, мама, конечно, имеешь полное право распоряжаться у себя дома, как хочешь. Но я полагал, что если вы отдали мне вот эту комнату, то я могу принимать в ней, кого мне угодно. Теперь оказывается, что я пользуюсь ею не даром, а на таких условиях, которые дороже для меня всякой платы... Ну, что же делать, мы стеснять друг друга не будем: я перееду на квартиру,— не менее решительно произнес Александр Васильич.

Старушка вспыхнула вся и, не найдясь сразу, только растерянно как-то развела руками.

— Так это ты, Санька, хочешь нас с отцом-то на Варгунина какого-нибудь променять? — спросила она наконец, и голос ее дрогнул, а на глазах навернулись слезы.

Александру Васильичу, по-видимому, тоже не легко было в эту минуту; он хоть и пересилил себя, но голос его заметно дрожал, когда он отвечал матери:

— Ты, мама, прежде всего успокойся и выслушай меня хорошенько. Мне нет надобности уверять тебя, что я никогда и ни на кого вас не променяю,— ты сама очень хорошо это знаешь; по крайней мере тебе пора бы уж убедиться в этом: случаев ведь много было. Но пойми, что так же как у тебя есть потребность, чтоб

тебе никто не мешал распоряжаться в своем уголку, и у меня есть точно такая же потребность. Ты посмотри-ка на меня хорошенько, пристальнее: я ведь уж не маленький, не ребенок. Ты рассуди: я прожил без вас десять лет, и в эти десять лет только я один — я сам — следил за собой, направлял себя. Из-за шести тысяч верст за советами к вам бегать не приходилось. В эти десять лет я знакомился с кем мне хотелось, принимал у себя кого хотел, и ты не скажешь... ты не в праве сказать, что недовольна мной, что должна краснеть за меня! Ты этого не можешь сказать... Как же ты требуешь, посуди сама, чтоб я отказался от такой привычки, которая всосалась мне в плоть и кровь и только вместе с ними может быть вырвана из меня?.. Неужели ты думаешь, что для меня не составило бы особенного удовольствия исполнить всякую твою просьбу... все, что только я могу сделать, не греша перед своими убеждениями? Помнишь, чего ты от меня хотела... чего ты требовала, когда я уезжал отсюда в университет? Ты хотела, чтобы я был честен прежде всего. И вот ты же теперь требуешь от меня, чтоб я отвернулся от такого же честного человека, как я сам,— да! я уверен в порядочности Варгунина,— и думаешь, что это было бы честно с моей стороны! Лучше уж нам жить врознь да в мире, чем ссориться поминутно из-за пустяков...

Ирина Васильевна плакала. Она бессильно как-то склонила свою седую голову, скрестив на груди руки.

— Полно, мама, не плачь,— продолжал через минуту уже спокойнее Светлов, ласкаясь к старушке,— нам ведь это не к особенному спеху. Мы об этом еще успеем потолковать, порассудить спокойнее; еще все может уладиться отлично...

— Чего тогда родные-то скажут, батюшка? Сколько лет, скажут, не видались с сыном... ждали, ждали... а он...— не договорила старушка и залилась слезами.

— Ну, мама, не до родных нам теперь, когда у нас самих в доме слезы...— тревожно и мягко сказал Александр Васильич, опустив голову на плечо матери.— Давно ли радости были, а вот уж и слезы... Напрасно приехал, значит? — спросил он тихо.

Ирина Васильевна улыбнулась сквозь слезы и молча, но горячо поцеловала сына в голову.

— Ведь вон ты какой ласковый, Санька, когда за-

хочешь...— сказала она погодя, дав пройти волнению и слезам.— Вот то-то то, батюшка, и худо, что я на тебя и сердиться-то не могу хорошенько: посержусь-посержусь да опять и перестану. Какие вы нынче, право, стали молодые люди: не сговоришь с вами... Пускай уж он ходит, чего ли, этот, прости господи, косматый-то?.. — как бы вопросительно заметила старушка.

Александр Васильич поцеловал ее и успокоил. Но Ирина Васильевна даже и во все продолжение следующего дня не могла выбросить этого разговора из памяти.

Как бы то ни было, неудовольствие стариков Светловых на сына являлось еще понятным или объяснимым по крайней мере. Но уж совсем загадочно было в этом отношении поведение Оленьки, которая вдруг, при первом же семейном облачке, перешла на их сторону, отвернувшись, так сказать, от молодой светловской партии, хотя и должна бы была принадлежать к ней уже по одному естественному праву возраста; она в этом случае явилась живым контрастом Владимирки, стоявшего горой за брата. Неудовольствие Оленьки на Александра Васильича выражалось очень заметно. Правда, она и прежде, с самого приезда молодого человека, относилась к нему сдержанно-ласково; но теперь эта сдержанность перешла у ней в очевидную сухость, а подчас даже и в какое-то пренебрежительное обращение с ним. Никаких видимых причин на это не было. Александр Васильич вел себя с сестрой так же внимательно, как и с остальными членами семьи; первоначально он даже оказывал девушке некоторое предпочтение перед ними, проводя с ней целые вечера в своей комнате либо за чтением, либо за спорами. Но книги брата не нравились Оленьке, или, вернее сказать, не производили на нее ровно никакого впечатления: в одно ухо впустит и тотчас же выпустит в другое; его идеи казались ей дикими и, по меньшей мере, забавными; спорила она с ним всегда как-то неохотно, вяло, точно и спорить незачем было. Заметив это, Александр Васильич удивился и переменил тактику: стал спорить с сестрой только тогда, когда она сама начинала; читал с ней только при ясно выраженном на это желании с ее стороны. Светлов боялся, чтоб мысль, что он собирается учить ее, не отбила у ней на первых же порах охоты заниматься с

ним, и потому в последнее время просто предоставил в ее распоряжение все свои книги, не указывая ни на одну с особенной рекомендацией. А книги все-таки не трогались с места; Оленька даже и не прикоснулась к ним, точно это были такие вещи, в которых она давно знала все наизусть, или такие, что о них и понятия иметь не стоило. Однако ж все это было своим чередом, и отсюда, по-видимому, отнюдь не могла вытекать причина ее неудовольствия на брата. Если в их отношениях и можно было найти нечто подобное тому, что обыкновенно называют размолвкой, то разве следующий случай. Светлов застал как-то сестру за чтением журнала «Pour tous»[1] — любимым развлечением Оленьки.

— Охота тебе, Оля, всякую дребедень читать,— сказал ей Александр Васильич, мельком взглянув на заглавие.

— А я уж три года читаю эту дребедень,— ответила она крайне обидчиво и сделав особенное ударение на словах «я» и «дребедень».

— Тем хуже для тебя,— заметил ей холодно брат и больше не сказал ни слова.

Она промолчала, очевидно, надувшись.

Но разве подобное ничтожное обстоятельство могло вызвать в Оленьке столь постоянное и такое серьезное неудовольствие на брата, какое он замечал за ней в последнее время? Может быть — нет, а может быть — и да. Вернее всего, что именно в этом-то ничтожном обстоятельстве и зародилось первое семечко того яблока раздора, которое встало впоследствии непроходимой стеной между ними. По всей вероятности, неудовольствие стариков Светловых на сына только дало Оленьке канву для разработки ее собственной неприязни к нему, доставило ей, так сказать, возможность иметь на эту неприязнь более приличные и осязательные, по ее мнению, причины. Девушка могла бы еще помириться с чем угодно в поступках и мнениях брата, но Александр Васильич наступил нечаянно на самое больное и, вместе с тем, самое дорогое ее место: он задел ее полуфранцузское воспитание, на которое она смотрела, как на верх совершенства. И вот Оленька еще упорнее принялась доканчивать это вос-

---

[1] «Для всех» — французский еженедельный иллюстрированный литературный журнал, издаваемый в 1855—1870 годах в Париже.

питание, не простив никогда брату его невольного промаха. Он и сам увидел это впоследствии, и сам спохватился, но уже тогда, когда дело было непоправимо.

В эти невеселые дни домашних размолвок и недомолвок Александр Васильич не раз, заглянув случайно в зеркало, вспоминал с улыбкой «уксус» дяди Соснина, и ему частенько-таки приходили в голову насмешливые слова старика, что «у семейной розы, шипов не оберешься»...

II

МАТВЕЙ НИКОЛАИЧ ВАРГУНИН

Прошла еще неделя.

Однажды, часов около восьми вечера, когда стариков Светловых не было дома, а молодой Светлов только что собрался куда-то идти и уже надевал в передней пальто, туда вошел, или, вернее сказать, вбежал, запыхавшись, мужчина огромного роста, в беспорядочно накинутом черном плаще. Это был именно Матвей Николаич Варгунин — тот самый, из-за которого Ирина Васильевна пролила так много слез недели за две перед этим.

— Кричите, батенька: победа! — замахал он руками Светлову, торопливо и небрежно сбрасывая на пол свой плащ.

— Победа! — закричал шутливо Светлов.

Они, смеясь, поздоровались и прошли в кабинет к Александру Васильичу.

— Дайте папироску, и пока я ее не выкурю, ни о чем меня не спрашивайте: часа два не курил! — заметил Варгунин хозяину, бесцеремонно растянувшись на его диване во весь свой исполинский рост.

Мы воспользуемся этой минутой и познакомимся с наружностью гостя. Варгунин, прежде всего, был как-то весь пропорционален в своих массивных частях. Оттого огромная, косматая голова его с первого взгляда нисколько не казалось огромной; только увидевши Матвея Николаича рядом с другим человеком, можно было усмотреть это качество во всей полноте. Небрежно зачесанные назад черные, с частой проседью, длинные волосы вились у него в беспорядке по плечам, рельефно оттеняя

высокий, чрезвычайной белизны лоб, перерезанный над самыми бровями глубокой морщиной. Из-под этих тонких совершенно еще черных бровей задумчиво смотрели прелестные голубые глаза, удивительно сохранившие юношескую свежесть; выражение их было переменчиво и несколько странно: то в них проглядывала робкая, почти женственная мягкость, то гордость и отвага знающего себе цену мужчины. Но замечательнее всего была у Варгунина улыбка: такая же непостоянная, как и выражение глаз, она то чуть змеилась насмешливо где-то около скул, то до самых этих скул добродушно открывала широкий рот, окаймленный крупными, но очень красивыми и правильными губами. Вообще же наружность Матвея Николаича, оригинальная и привлекательная, представляла из себя смесь чего-то детски-простодушного с умным и сильным.

— Слушайте, Светлов,— сказал он вдруг, затянувшись в последний раз папироской,— сколько, вы говорите, платят в год вашему отцу за большой дом? Я позабыл.

— Двести пятьдесят рублей. А что? — отвечал Александр Васильич, не придавая, очевидно, никакого особенного значения вопросу Варгунина.

Тот улыбнулся своей широкой улыбкой.

— Видите, что это такое? — спросил он, вынимая из кармана толстую пачку денег и показывая ее Александру Васильичу.

— Деньги, разумеется,— сказал, спокойно улыбнувшись, Светлов.

— Это и слепой, батенька, скажет, что деньги. А я вам скажу, что это наша... или, лучше сказать, ваша... бесплатная школа! — торжественно проговорил Варгунин.

Светлов заметно изменился в лице и посмотрел на гостя таким взглядом, как будто хотел сказать: «Не грех вам шутить подобными вещами?»

— Да вы что, в самом деле! не верите? — сказал Матвей Николаич, потрясая ассигнациями.

— Но...— возразил было, покраснев, Александр Васильич.

— Теперь эта грамматическая частичка совершенно лишняя... Слушайте-ка, батенька, лучше! — быстро прервал его Варгунин, откидывая назад волосы движе-

нием головы.— Когда вы мне в прошлый раз сообщили план своей бесплатной школы, я тогда же вошел во вкус его, только промолчал: что попусту язык мозолить. Вы намекнули... или нет — что я! — вы просто соображали, что хорошо бы было, если б вам заработать поскорее столько деньжонок, чтоб иметь возможность переехать в большой дом, а здесь, во флигеле, устроить школу... так ли? Ну-с, хорошо-с. Денег этих вы еще не скоро дождетесь, а между тем мне припала охота примазаться к вам в компанию... Постойте, не перебивайте меня,— остановил Матвей Николаич Светлова, заметив, что тот собирается что-то сказать.— Припала, я говорю, и мне охота... А охота, батенька, дело великое. У меня самого таких денег, разумеется, не нашлось лишних. Ну-с, хорошо-с. Так вот-с я и обратился к одному... подходящему человечку... Да уберите, пожалуйста, с вашего лица ненужные черты удивления! к подходящему человеку, говорю, обратился. Подходящий человек оказался не скот, что я и предполагал, впрочем: дал мне вот эти триста рублей на школу,— чувствуете? Стало быть, батенька, вам остается только переговорить со своими стариками, уломать их переехать в большой дом, а речь насчет убытков прикрыть двумястами пятьюдесятью рублями из этих денег. Теперь можете даже многоглагольствовать.

Светлов, весь встревоженный и обрадованный, бросился сперва на шею к Варгунину, а потом стал крепко жать ему руку.

— Только руку, батенька, мне не изломайте...— чуть насмешливо улыбнулся Матвей Николаич, растроганный и сам не менее хозяина.

— Я просто не знаю, как вас и благодарить! — сказал Александр Васильич, садясь возле гостя,— ведь это прелесть — что вы совершили!

— Ну... благодарность-то вы можете в сторону... оно ведь не для вас и сделано,— заметил Варгунин, дружески обняв молодого человека.

— Как это вы ухитрились так скоро все обработать? Сегодня я меньше чем когда-нибудь был приготовлен к сюрпризам, особенно к такому... Вот вы обрадовали-то меня, Матвей Николаич! Не поверите, я просто сам не свой от удовольствия! — говорил Светлов, продолжая от времени до времени пожимать гостю руку.— Чем же бы нам отпраздновать сегодняшний замечательный для меня

вечер? А непременно сто́ит отпраздновать! Давайте-ка выпьемте какого-нибудь вина, а?

— А что же, отчего бы и нет? Выпьемте. Вспрыски, стало быть, устроим, по русскому обыкновению. Обычай старый... да ведь и все не ново. Идет!

— Чего же мы выпьем? — спросил Светлов у гостя.— Выбор ваш: вы виновник сегодняшнего торжества.

— Ну, ладно, пусть мой будет. Так разве бутылочки две рейнвейну разопьем. Как думаете?

— Я сказал, что выбор ваш.

— Валяйте рейнвейну,— решил Варгунин.

Он стал рыться у себя в бумажнике.

— Вы что это хотите?.. Уж и на этот раз не припала ли вам охота примазаться в компанию? — обратился к нему ребячески-испуганно Светлов.

— Батенька, у меня такой обычай,— заметил Матвей Николаич, вынув трехрублевую бумажку.

— Полноте! вы меня обидите...— сказал Александр Васильич.

— А в противном случае я себя обижу: у меня закон — пить и есть что бы то ни было на свой счет,— серьезно возразил Варгунин.

— Ну, измените сегодня ваш закон...— убедительно попросил хозяин.

— Полноте-ка, батенька, и вам о пустяках толковать. Вы думаете, я церемонюсь? Как бы не так, стану я церемониться! Что прикажете делать, коли у человека такое правило,— пояснил Матвей Николаич.

— В таком случае,— заметил Светлов, нехотя взяв у него из рук деньги,— пусть будет по-вашему: сегодня я не в состоянии ни в чем отказать вам,— и вышел распорядиться.

— Кстати, вы познакомитесь сейчас и с моим старым товарищем — Ельниковым: помните, я вам еще говорил о нем? Я за ним послал,— сообщил Александр Васильич гостю, вернувшись к нему через несколько минут.

— И умно, батенька, сделали: у меня сегодня есть-таки охота покалякать,— заметил Варгунин.

Начались толки о будущей школе. Светлов увлекся и говорил очень много, развивая Матвею Николаичу подробности своего плана; он только одного и боялся, что старики сильно заупрямятся. Варгунин доказывал, что это, собственно, пустяки, а главное — разрешат ли шко-

лу? Александр Васильич намекнул гостю, что можно написать кое-кому в Петербург об этом деле, а оттуда-то уж подтолкнут кого следует; что у него есть там довольно веская рука. Порешили, между прочим, устроить литературный вечер на первое обзаведение школы всем необходимым; Варгунин взялся выхлопотать для этого залу благородного собрания и раздать половину билетов. Перебрали всех, кто может быть у них учителями; оказалось, что недостатка в последних не будет. Тем временем на столе появились три бутылки рейнвейна, а почти вслед за ними пришел и Ельников.

— Эге! Да ты никак пьянство, Светловушка, учиняешь? — спросил он у приятеля, здороваясь с ним и искоса поглядывая на бутылки.

Александр Васильич объяснил доктору причину их сегодняшнего торжества и, как главного виновника этого торжества, представил ему Матвея Николаича.

— Вас, батюшка, за этакое дело на том свете горячей сковороды избавят, а на этом — поджарить могут...— весело сказал Анемподист Михайлыч Варгунину и крепко пожал ему руку.

— Ну, батенька, меня как ни поджаривай, а все бифштекс-то с кровью выйдет...— широко улыбнулся тот. Он сказал это с таким юношеским задором, что трудно было бы поверить, что старику уж за пятьдесят стукнуло.

Светлов разлил вино в стаканы и пригласил гостей к столу. Уселись. Но не прошло и минуты, как Ельников снова встал и, подняв высоко кверху свой стакан, как-то шутливо и вместе с тем горько-воодушевленно сказал:

— Милостивые государи! Надеюсь, что вы не взыщете с меня, если я не буду речист. Красноречивым оратором я был только тогда, когда меня драли в школе. Я не хочу этим сказать, чтоб то был самый лучший способ развития дара слова, но я желаю напомнить вам, из какой школы пришлось выйти нам самим. Смею думать, что сохранением наших мозгов в порядке мы исключительно обязаны слепому случаю: один из моих умнейших товарищей, к которому не пришел на выручку этот слепыш,— уже помешан. Ваш покорный слуга... да не смеши, Светловушка, если и вынес из школы некоторые серьезные знания, то, во-первых, он откопал их там самостоятельно, где-то в заднем углу, чуть ли не под печкой, а во-вторых, розыски сии довели его до... кровохарканья.

Да, милостивые государи, если я теперь о чем-нибудь больше всего сожалею, так именно о том, что не могу плюнуть этой самой кровью в лицо некоторым... сошедшим со сцены моим наставникам!.. С теперешним умом я бы даже мою собаку не поручил им воспитывать!.. Приглашаю вас серьезно подумать обо всем мною сказанном и пью от всего сердца за то, чтоб школа ваша вносила ум и душу в человека, а не отнимала их у него!

Ельников звонко чокнулся с компанией, залпом выпил свой стакан и закашлялся.

— Аминь! — сказали в один голос Светлов и Варгунин и дружно последовали его примеру; затем каждый из них поочередно обнял по-братски встревоженного доктора.

— Уж если на то пошло, господа, то и я прошу слова...— заметил после этих приветствий Матвей Николаич, становясь в позу оратора.— Достопочтенный предшественник мой,— начал он, улыбнувшись и указав глазами на Ельникова,— прекрасно обрисовал в немногих словах предстоящую нам задачу. Ну-с, хорошо-с. Соглашаясь с ним во многом, соглашаясь с ним во всем, я не могу сочувствовать, однако ж, тем проклятиям, которыми он бросил, так сказать, в покойных своих наставников... Да! именно этих проклятий я не могу разделить — и вот почему-с: делали прежние наставники свое дело как умели; может быть, и хуже, чем умели, но в таком случае, значит, оно не представлялось им настолько серьезным, как бы следовало. Еще бы! Не надо забывать, господа, что этих наставников воспитывали еще хуже, чем они нас. Это раз. Мы на них смотрим теперь свысока, а разве наши-то понятия о воспитании — последнее слово в таком деле? Ну-ка, скажите-ка? Допустить это — значило бы думать, что с нами остановится мир. Ошибки предстоят неизбежно и нам... не морщитесь, господин Ельников! — это меня нимало не смутит; ошибки, говорю, предстоят и нам. Но неужели же, если из каждых десяти человек, которых мы успеем ввести в область знания, двое окажутся даже в конец испорченными нами... неужели же, говорю, мы не заслужим ничего, кроме проклятий? Я по крайней мере так не думаю, не могу так думать! С такой печальной теорией легко могут и руки опуститься... да и непременно опустятся. Помилуйте! что это такое! Положим, копотен, узок был свет наших наставников,— правда; но

все-таки это был свет или, по меньшей мере, намек на него. А ведь подчас довольно и намека, тогда как без этого намека уж ровно ничего немыслимо... Вы говорите, батенька, жалки были эти наставники, много хорошего исковеркали они в нас, не жалея нашей крови... Но мы будем лучше их: мы их пожалеем; все-таки мы кое-чем им обязаны. Ну-с, хорошо-с. Не будем же, господа, начинать проводить новые борозды с бесплодной брани на тех, кто работал на том же поле до нас, хотя по крайнему своему невежеству и напортил нам многое, и выпьем, господа, в память этих жалких, темных предшественников наших!

Варгунин поднес свой стакан к стакану Светлова.

— Я разделяю ваш тост с оговоркой,— сказал Александр Васильич, подумав,— я пью только за тех из них, которые действительно желали давать свет, но не сумели; за тех же, кто взялся за наставничество, как за средство существовать — как разбойник идет на большую дорогу — даже не подумав о том, что делает,— за тех я не пью... тех я даже и не считаю нашими предшественниками.

Светлов чокнулся с Варгуниным и отпил из стакана.

— Браво, Светловушка! — вскричал Ельников, следуя примеру товарища,— ты меня отлично понял... превосходно, брат, понял!

Начался оживленный спор. Варгунин, несколько сконфуженный, долго еще отстаивал свою мысль, доказывая доктору, что после этого и всякий работник, приступающий к делу, не видя в нем смысла, тоже не заслуживает доброй памяти, хотя бы оно и дало благоприятные результаты.

— Да где же вы, батюшка, нашли такого работника? — накинулся на него Ельников.— Таких работников нет; такие господа даже и названия-то подобного не заслуживают. Столяр, например, очень хорошо понимает значение стола, который он стругает; башмачник шьет башмаки потому, что тоже знает, что без башмаков ходить нельзя,— вот что, батюшка!

— Ну-с, хорошо-с,— возразил Матвей Николаич.— А разве те-то наставники, за которых вы отказались выпить... разве они, батенька, не сознавали так же точно, что без ученья нельзя обойтись?

— Вот то-то и есть, что не сознавали они этого,—

в том-то и вся штука: видели просто, что люди платят деньги за ученье,— и учили; а там хоть трава не расти.

— Ну, а столяр-то, по-вашему, как же поступает? Не так же, что ли? Знает, что ему заплатят за стол, и делает стол; а потом ему тоже хоть трава не расти,— заметил Варгунин.

— Дудки-с, батюшка! софизм! — сказал, горячась, Ельников,— у него все-таки есть сознание, что он делает полезную вещь; а как ее употребят потом — это, разумеется, уж не его дело.

Спорившие нахмурились.

— А если кандалы кузнецу закажут? — спросил Матвей Николаич, помолчав.

— Сделает; с его точки зрения и кандалы полезная вещь.

— Ну, батенька, будто бы уж работник никогда и не делает бесполезных вещей. Мало ли что взбредет другому в ум заказать.

— Так что же? Работник и сознает, что уж если ему что заказали, так, видно, это нужно, видно, это полезно для заказчика; а вот, батюшка, наставник-то ваш, не понимающий смысла ученья, так тот, хотя бы и вред в нем видел, по первому же вашему приглашению возьмется за роль наставничества, потому что вы ему деньги за это хотите платить,— сказал доктор, сильно закашлявшись.

— Да разве, батенька, я не могу подкупить работника сделать мне какую-нибудь такую вещь, которая, как ему известно, служит исключительно ко вреду другого и именно на этот предмет и заказывается мной? — спросил Варгунин.

— Можете; только уж он-то будет с той минуты не работником, а... мошенником! — сказал Ельников, прихлебнув из стакана.

— Вон вы как, батенька, на работника-то смотрите...— заметил Матвей Николаич не то задумчиво, не то насмешливо.— Ну, я попроще гляжу...

Он медленно допил свой стакан, и в эту минуту по лицу его уже явственно проскользнула насмешливая улыбка. Анемподист Михайлович пристально посмотрел на Варгунина и ответил ему несколько сухо и тоже насмешливо:

— Глядите, пожалуй, как знаете; взгляды ведь нико-

му не воспрещаются, да к тому же благо это, кажется, единственный предмет, не обложенный еще налогом.

— Мне, господа, в качестве предупредительного хозяина, остается только заключить ваш спор как можно безобиднее для обеих сторон... Ну, вот я и скажу, что вы — оба правы,— заключил, рассмеявшись Светлов.

Но шутка его не достигла цели: Варгунин и Ельников даже не улыбнулись; они продолжали хмуриться друг на друга.

— Два хороших человека всегда немножко оба правы,— повторил Александр Васильич.

— Ну и уподобился ты в эту минуту Любимову, брат! — рассмеялся, наконец, Анемподист Михайлыч.— Впрочем, рознь во взглядах еще не обозначает розни в стремлениях,— продолжал он, взявшись за стакан и обращаясь уже к Матвею Николаичу,— и потому я от души пью ваше здоровье, господин Варгунин, как человека, который помог самым капитальным образом осуществлению плана моего закадычного приятеля!

Тост этот пришелся как нельзя более кстати. Варгунин оценил и такт, с которым он был предложен, и ту искренность, с какою его высказали, и потому ответил на него добродушно и горячо.

— И ваше здоровье, доктор! — сказал он, чокаясь и крепко пожимая руку Ельникову.— Вы правы, батенька: стремления у нас одни, а взгляды нам не помешают... Я старик, но я всегда на стороне того, что мне докажет молодежь... да! именно, всегда на стороне доказанного. Не смотрите на мои седые волосы: под ними еще шевелится кое-что, как и в лучшую пору молодости, и они сумеют еще почернеть... Эка куда хватил: почернеть! Ну да вы меня понимаете, надеюсь,— заключил Варгунин, еще раз пожав руку Анемподисту Михайлычу.

— Вот с какого тоста следовало бы нам начать,— весело сказал Светлов, чокаясь, в свою очередь, с Матвеем Николаичем,— как это мне не пришло в голову раньше? Ну да все равно — не взыщете. Итак... да почернеют же ваши седые кудри!

— Эх, господа, я и точно чувствую, что помолодел с вами сегодня! — заметил Варгунин задушевным тоном.— Дай бог, чтоб это почаще случалось... Залезайте-ка когда-нибудь, доктор, вот с ним,— Матвей Николаич указал Ельникову на Светлова,— в мою хатку... потолковать

поспорить. У меня дома просторно, да и дивана два лишних найдутся, чтоб не тащиться ночью домой: я, надо вам заметить, за рекой живу — в деревне, так сказать...

— Разве вам не удобнее жить в городе? — спросил Ельников.

— Удобнее-то удобнее, да я, признаться, не люблю городской жизни средней руки; по мне, батенька, либо уж столица со всей ее толкотней, а не то так деревенская тишина. Злит меня эта провинциальная городская жизнь: все точно как сонные мухи ходят. А главное, знаете, я люблю с мужиками возиться; весело мне с ними. У меня, батенька, тут кругом, верст на двадцать от города, все приятели; да такие, батенька, приятели, что, пожалуй, при случае, и вилами за меня постоят, живого-то уж не выдадут. Это я верно знаю; не шутите с ними. Вот ужо приезжайте, посмотрите-ка...

— А далеко это? — полюбопытствовал доктор, насторожив уши.

— Да сейчас же за рекой, первая деревня на горе; версты четыре, не больше, будет. Хатка у меня своя, чуть не своими руками срубленная; хозяйство маленькое водится, а в бане... ну-ка, вот догадайтесь-ка вы, умный человек, что у меня в бане? — спросил Матвей Николаич с широкой улыбкой, обратившись к Ельникову.

— Ну... трудновато угадать,— заметил Анемподист Михайлыч, почувствовавший вдруг большое уважение к Варгунину.

— Уж именно, батюшка, трудновато: школа у меня там деревенская помещается.

— Так вы, стало быть, по части разведения школ-то дока уж, Матвей Николаич? А ведь ни слова мне не сказали раньше об этом, в первый раз слышу. Недобрый какой! — сказал Светлов с ласковой укоризной.

— Не случалось, батенька; давно ли мы и знакомы: в четвертый или пятый раз, кажется, и видимся-то всего; а вот теперь к слову пришлось, так и сказал.

— Какая же это школа? — спросил Ельников,— то есть на чей счет она содержится?

— Да моя собственная школа. Кстати, вы не проговоритесь где-нибудь об этом... чувствуете?

— А! Вон оно что...— заметил Светлов, с каким-то особенным удовольствием посмотрев на Варгунина.

— Да вы не представляйте себе, что это и в самом

деле школа, со всеми атрибутами, то есть. Это просто, батенька, баня — говорю я; чистенькая, разумеется,— вот и все. Мальчуганы босоногие сидят,— кто на лавку, а кто и на полок заберется; иной раз между ними и дед с седой бородой торчит, да тоже тычет указкой в книгу... всякие у меня водятся. Зато в деревне теперь только шестеро всего и неграмотных-то, не считая баб да совсем малолетних ребятишек. В последнее время, впрочем, и баб приохотил, начинают похаживать, особливо красные девушки; теперь и их доверие на моей стороне, а то сначала все как будто опасались чего-то. Я потому школу в бане устроил, что в хату-то ко мне частенько посторонние из города заглядывают,— так чтоб дела пустяками не испортить...

— Значит, Светловушка у вас еще не был? Вы где же познакомились-то с ним? — спросил Ельников.

— У Шустова в библиотеке встретились. Он мне, батенька, нечаянно на мозоль наступил; с этого у нас и разговор начался,— улыбнулся Варгунин своей широкой улыбкой.

— Ведь я тебе рассказывал тогда. Экая у тебя, брат, память-то девичья! — заметил Анемподисту Михайлычу Светлов, шутливо покачав головой.

— Да, да; теперь вспомнил, действительно. Так это об вас шла тогда речь? Уж и насмешил же, батюшка, он меня в то время,— сказал доктор, садясь возле Матвея Николаича.

— Да мы и всю библиотеку тогда насмешили, батенька,— подтвердил Варгунин.— Вообразите: он стоял на скамейке,— на верхней полке шкафа книги просматривал, а я подле стоял — тоже рылся в книгах. То ли он увлекся, задумался, или что, только оступился вдруг да каблуком-то и хвать мне прямо в самую мозоль; да так, батенька, больно, что я даже вскрикнул, и уж сам теперь не соображу хорошенько, как мы очутились с ним потом оба на полу, сидя друг против друга. Я говорю: «Вы мне на мозоль, милостивый государь, наступили»; а он говорит: «А вы зачем меня, говорит, толкнули, милостивый государь?» Ему показалось, видите ли, что я его толкнул; он думал, что оттого и соскользнул со скамейки. Так мы тогда, сидя на полу, и объяснились, и познакомились тут, отрекомендовались друг другу по всем правилам...

Матвей Николаич добродушно захохотал. Александр Васильич с Ельниковым дружно последовали его примеру.

Долго еще длилась в этот вечер их оживленная беседа. Возвратившиеся домой, часов в одиннадцать ночи, старики Светловы не могли переждать веселого говора в комнате сына; они поужинали одни, выслав гостям его по порции бифштекса, и улеглись. Правда, громкий голос Варгунина долго еще возмущал уши Ирины Васильевны, но понемногу и она заснула под этот общий веселый говор. А жаль: именно в ту минуту, как стала забываться старушка, Матвей Николаич рассказывал самые интересные вещи о своем прошлом. Вино и неожиданное сближение с Ельниковым после их первоначальной легонькой размолвки совершенно развязали ему язык. Тут бы из первых уст прослушала Ирина Васильевна так сильно пугавшую ее историю «покушения» — «старые грехи», как называл эту историю сам рассказчик. Во многом бы, может быть, изменила старушка свой взгляд на «косматого», даже примирилась бы с ним, пожалуй; да вот видите же! — как на грех в это время заснула. А был один человечек, очень маленький человечек, который не проронил ни слова из занимательной исповеди Варгунина; это был именно Владимирко, воровски покинувший мать и подслушивавший у дверей, сидя на корточках, босой и в одной рубашке. Он порядочно продрог тут, но не ушел раньше, пока не дослушал самого интересного. И мы не поставим этого в вину маленькому человечку, не назовем его поступка нехорошим именем по двум, очень уважительным, причинам: во-первых, потому, что мальчик никому, кроме брата, ни слова не проронил на другой день о том, что слышал, а во-вторых, и потому еще, что Александр Васильич сказал ему как-то раз, что он, Владимирко, может во всякое время свободно присутствовать в его комнате, о чем бы там ни говорилось. Владимирко это хорошо понял, и если слушал теперь у дверей, а не в самом кабинете брата, то имел на это достаточное для ребенка его лет основание: ему просто лень было одеться, а показаться в своем настоящем виде он совестился. Впрочем, надо сказать и то, что Владимирко, как только вернулся с стариками домой, сейчас же явился к Александру Васильичу и поздоровался с его гостями; но старики потребовали его к ужину, а

потом ему пришлось раздеться, чтоб не остаться в сильном подозрении, тем более, что сестра зорко начала следить за ним в последнее время. Что в поступке мальчика не было и тени чего-либо дурного, лучше всего свидетельствовало то обстоятельство, что на другой же день утром он, воспользовавшись удобной минутой, передал брату свои маленькие думы по поводу подслушанной им вчера беседы, расспрашивая Александра Васильича обо многом, что казалось темным детскому умишку. Стало быть, он не прятался с своим поступком, не чувствовал за ним ничего нехорошего. «Косматый» ему очень понравился.

Понравился этот «косматый» и Ельникову. Уж верно понравился, если Анемподист Михайлыч, с первого же знакомства, пошел проводить его до дому, переехал с ним через реку, версты три шел в гору, выкурил у него в хатке папироску и тем же путем вернулся домой, часа в четыре утра. Ельников, по всей вероятности, и переночевал бы у Матвея Николаича, если б приколоченная над квартирой доктора вывеска не гласила, что он с восьми часов утра принимает больных...

III

РАННИЕ ГОДЫ СВЕТЛОВА

Теперь нам придется сделать значительный шаг назад и повести читателя в золотую даль детства и юности Светлова, где, как лучи в оптическом фокусе, сосредоточиваются все первоначальные условия, по направлению которых развивался впоследствии характер нашего главного действующего лица. Там, из этой золотой дали, выступят перед нами постепенно сперва фигура Светлова-ребенка, а за ней фигура Светлова-юноши, и, может быть, нам посчастливится выяснить по этим двум фигурам и ту третью, которая в образе вполне уже сформировавшейся личности выведена нами перед глазами читателя. Не без робости осмеливаемся мы приподнять таинственную завесу, отделяющую нас от этой дали; но мы обязаны сделать это...

В те блаженной памяти блаженные времена, когда у камчатского исправника Светлова родился его первенец,

Петропавловский порт, удаленный почти на двенадцать тысяч верст от Петербурга, представлял и должен был представлять весьма характерное местечко. Время, конечно, успело изменить его с тех пор во многом даже относительно наружности, но мы нарисуем его таким, каким сохранился он в памяти Александра Васильича; а в этой памяти он сохранился живо, свежо. Да и нельзя было ему, впрочем, не сохраниться в ней: слишком много резких детских впечатлений говорило о нем. В минуту послеобеденного отдыха, когда легкая дремота делает ум особенно наклонным к иллюзиям, Светлову стоит только закрыть глаза, чтоб перед ним воочию потянулись давно покинутые родные места...

И вот видит он опять, как у себя на ладони, этот прекраснейший и просторнейший в мире залив, именуемый Авачинской губой, вдали устье и при нем одиноко торчащие из воды, точно сторожа, *Три брата* — большие колоннообразные скалы. А ближе перерезывает залив, отделяя большую губу от малой, *Кошка* — песчаная отмель, словно мост, перекинутая с одного берега на другой и оставившая направо только узкий, но глубокий проход, как раз для ввода судов на зимнюю стоянку. Вдоль всей *Кошки* тянутся деревянные сваи, а на сваях выстроены такие же деревянные амбары для просушки *юколы* — вяленой рыбы, составляющей постоянную пищу камчатских собак. В жаркий летний день она так и горит рубинами на солнце, так и сквозится, точно гроздия крупной красной смородины. Александр Васильич даже ощущает как будто самый вкус этого, когда-то так лакомого для него, рыбного блюда. Немного далее *Кошки* круто выступает из воды *Сигнальный мыс*, с мачтой на вершине и с русским, несколько раз перекрещенным, флагом на мачте. Ближе виден *Перешеек*, с убогим, доморощенным памятником в честь Лаперуза[1], а еще ближе, по берегу малой губы, тянутся далеко в гору беспорядочно разбросанные здесь и там приземистые деревянные домики с соломенными крышами. Это и есть собственно порт. Светлов мысленно идет мимо незатейливых построек, ловко перепрыгивая извилистые ручьи, с веселым, бодрым шумом сбегающие

---

[1] Лаперуз Жан Франсуа (1741—1788) — французский мореплаватель, возглавивший кругосветную экспедицию 1785—1788 годов, во время которой посетил и Петропавловск-на-Камчатке.

вниз, в малую губу. И как много их попадается ему на дороге! Но это не случайные дождевые потоки, а постоянные горные ключи; вода в них холодна даже в самую жаркую пору лета и прозрачна, как кристалл золотистого топаза. Домики нарочно по ним и лепятся, чтоб свежая вода всегда была под рукой, так что через любой двор протекает ключ. Впрочем, дворов в обыкновенном смысле, огороженных забором,— нет, а их просто заменяет здесь известное пространство, какое заблагорассудилось хозяину считать своим владением; только огороды обнесены невысоким плетнем из гибкого тальника, чтоб свободно гуляющие по улицам коровы не лакомились хозяйской капустой. Да и улиц-то, собственно, нет, за исключением одной, громко именуемой петропавловцами то *пришпехтом,* то проспектом, смотря по лицу; все же остальное представляет только какие-то узенькие извилистые переходы со множеством перекинутых через них импровизированных мостиков, чаще всего в виде простой доски. Зато при столкновении на этих переходах и мостиках каждый обыватель порта может безошибочно назвать любое встреченное лицо по чину, имени, отчеству и фамилии. Светлов тоже узнает и называет всякого встречного. Но вот домики пройдены, миновал последний плетень, миновал и ветхий деревянный сарай с никогда не употреблявшимися в дело пожарными инструментами, а ключи, как змеи, вьются с горы, орошая густо растущий по берегам их малинник. Боже мой, ягод-то, ягод-то сколько! У Светлова, как в детстве, даже дух захватило от удовольствия. Набирает он их горсть, другую, ест и снова набирает пригоршни. Надоело, наконец, собирать,— и ребенок, заслонясь рукой от яркого солнца, жадно всматривается вперед, вдаль. Там сперва все мелкий лес идет, постепенно взбираясь выше и выше, а за ним вырастает уже гора с косматым гребнем, точно грива у рассерженного зверя. И куда ни уставится зоркий глазок — везде вокруг все те же косматые горы таинственно манят к себе детское любопытство. Но особенно неодолимо как-то возбуждает его величественно выступающий вдали, из-за этих гор, белый, как сахарная голова, снежный конус Авачинской сопки. С вершины конуса змейкой ползет к небу легкий серый дымок. «Опеть курится»,— объясняет Светлову-ребенку сопровождающий его казак Онохов, указывая рукою на дымящуюся вершину. Мальчик при-

стально смотрит, и вдруг глаза его перебегают ниже, к небольшому озеру направо, где имеет обыкновение купаться в такую пору Василий Андреич. Ребенок зовет туда Онохова, будто бы встречать папу; но дело, собственно, не в папе, а в *хахальче* — маленькой колючей рыбке, которая в таком избытке водится в этом озере, что ее можно черпать оттуда пригоршнями. «Какой же я лукавый был!» — думает Александр Васильич, останавливаясь подольше на этом воспоминании и усиливаясь представить себе наглядно свою тогдашнюю фигурку. Воображение рисует ему неуклюжего мальчугана, с широкой, загоревшей рожицей, в розовой ситцевой рубашке, опоясанной позументным кушачком. «Это как я еще очень маленьким был, когда меня одного далеко не пускали, а через мостики переносил на руках Онохов»,— думается Светлову. Но вот они спускаются с горы к озеру, а налево море так и сверкает на солнце, точно исполинский брильянт. Сколько там китоловных судов стоит на якоре под всевозможными флагами! Вон и еще одно показывается из-за устья, серое да маленькое, словно чайка. С озера, вдоволь наловив там *хахальчи* (бог весть зачем, так как ее не едят), Онохов с мальчиком идут на батарею перед гауптвахтой. «У, как дулища страшно смотрят!» — мелькает в голове Александра Васильича детское впечатление, вызванное пушками. «Тогда я еще без всякого анализа глазел на все»,— снова думается Светлову,— и вдруг, по неисповедимой прихоти, воображение рисует ему ту же местность, но в совершенно другой картине...

Все побелело кругом: и домики, и горы, и озеро, и море до самого устья; даже ключи побелели, так что и не отличишь теперь сразу этих знакомых предметов от снежного конуса сопки,— и все это точно мелкими алмазами усеяно, блестит и искрится, даже глазам больно. Но что сталось с петропавловскими домиками? Они словно присели и смотрят откуда-то снизу, как стаканы и чашки из гнезд дорожного погребца. Это оттого, что большие снега выпали. Проснулись в одно прекрасное утро петропавловцы и видят, что совсем занесло их низенькие жилища, так что и свету из окон не видно. Нечего делать, принялись за работу,— и к полудню в порте вместо улиц образовались снежные коридоры, а вокруг домиков выросли снежные заборы, да такие высокие, что хоть куда: пожалуй, что и не вскарабкаешься на них. Только после этого открылось

правильное сообщение между жителями. «Вот и мама,— мерещится Светлову,— поехала с визитом к начальнице». Пять добрых собак в щегольских красных *алыках* — местной упряжи — легко и быстро мчат по снежным коридорам ее выездную повозку, благо обитые китовой костью полозья только скользят по свежему рыхлому снежку. Пред каждым домиком появились теперь ямки в снегу, а в ямках лежат привязанные к вбитым около них колышкам камчатские собаки. Иные из этих животных как-то забавно тяжело дышат, высунув длинные красные языки,— значит, только что в деле были. А вот им и *юколу* несет камчадал-работник, перекинув ее через плечо в виде двух переметных сум. Взбеленились собаки, так и рвутся к нему со всех ног; некоторые даже и колышки повыдергивали, утащив их за собой. А ворон-то, ворон-то сколько налетело на этот пир! и какие все жадные да смелые: из-под рук у камчадала, бестии, тащат рыбу. Подойдет как-то бочком да и схватит. Иную собака лапой дернет, а та, в свою очередь, клюнет собаку в лапу и опять за свое дело, как будто так оно и следовало, да ведь как дружно-то. Но вот вдруг зоркие глаза камчадала-работника лихорадочно загорелись; оставив в покое назойливых птиц, он весь превратился в зрение, следя за какой-то быстро движущейся фигурой по горе напротив. Это местный почтмейстер — заклятый охотник — гонится на лыжах за лисицей, благо почта только два раза в год приходит в порт...

Странно, однако, что, несмотря на совершенную противоположность этих двух картин, зимы и лета, в той и другой лежит какое-то одинаковое грандиозное спокойствие. Горы не громоздятся здесь в беспорядке одна на другую, а как-то постепенно, мягко выдвигаются одна из-за другой, не пугая глаза резкими переходами, не утомляя его однообразием. Даже в бурю море, почти одинаково шумящее здесь зимой и летом, даже и оно как будто носит на себе печать того же спокойствия, гармонируя с остальной природой: в этих горах шум его слышится будто издали. «Порядочно-таки прихватил я у родины наружного покоя,— с улыбкой думает Александр Васильич, сопоставляя в уме две промелькнувшие перед ним картины,— во мне, как вон в той сопке, снаружи как будто все спокойно, только дымок чуть виден, а между тем внутри, под этой ледяной корой, все горит и клокочет, шумит, как

море... Неужели же, в самом деле, природа способна так явственно налагать печать свою на человека?» И опять тянутся перед Светловым картина за картиной, воспоминание за воспоминанием, до тех пор, пока он не стряхнет с себя послеобеденную дремоту...

Память и воображение не лгали Александру Васильичу, когда рисовали перед ним его детскую фигурку в виде неуклюжего мальчугана: маленький Саша был, действительно, неуклюжий мальчик, отнюдь не обещавший развиться в ту стройную фигуру, какая прошла перед нами в начале нашего рассказа. У Саши было круглое, красноватое, точно раз навсегда загоревшее, грубое лицо, со множеством веснушек. Такие лица очень часто встречаются у уличных мальчишек, вечно роющихся в земле. Саша, впрочем, и рос, как они: только проливной дождь мог загнать его домой с улицы, да и то не всегда, не без зову. Но, несмотря на свою неуклюжесть и видимую неловкость, он был проворный и, по-своему, даже очень ловкий мальчуган. Именно — по-своему. Неловкость он обнаруживал обыкновенно дома только в комнатах, то за чайным столом, то за обедом, особливо при посторонних. То же случалось с ним и тогда, когда его, чуть не насильно, уводили куда-нибудь в гости; не было для Саши неприятности хуже этой, и «гости» никогда не обходились ему без слез, сидели ли они у Светловых, или сами Светловы были в гостях. Вообще в комнатах ребенок чувствовал, что его точно гнетет все: и сапожки жмут ногу, и ворот рубашки давит, и тесно будто в комнате, как тут не разбить чашки, не пролить отцовской чернилицы, не ляпнуть на брючки жирное пятно во всю коленку? А с виду — смирный такой мальчик; только ни на минуту нельзя отвернуться от него: что-нибудь да напроказит. «Платье — так просто горит на нем»,— жаловалась иногда Ирина Васильевна на сына знакомым. Но едва затворялась за Сашей комнатная дверь, неуклюжий смиренник совершенно перерождался. В целом порте не нашлось бы ему достойного соперника, когда, с ловкостью соболя, он перепрыгивал с камешка на камешек через любой ключ; ни один мальчик не отыскал бы скорее него гнезда птички где-нибудь в глухо заросшем кусту. Другой — только еще глазами поводит, отыскивая, откуда вспорхнула наседка, а Саша уж пробует языком вкус серенького либо голубого яичка. На солнечном склоне горы, под которой стоял

домик, занимаемый Светловыми, Саше была знакома малейшая тропинка чуть ли не с пятилетнего возраста; зато уж и спрятаться там никто не мог лучше его: хоть целый день до вечера ищи — не найдешь, точно в воду канул. Ищут, ищут его, бывало, сверстники, все кусты обойдут, упарятся, да так и бросят напрасные поиски, присев отдохнуть где-нибудь у ключа. А Саша между тем тут же, подле, сидит себе в густом малиннике за камнем да улыбается во весь рот до ушей, лукаво выглядывая на них из своей засады. И если он с улицы являлся иногда на глаза Ирины Васильевны в таком красивом виде, что та только руками всплескивала, то это происходило отнюдь не от неловкости ребенка, а скорее от его излишней уверенности в своей ловкости. Предстанет он, бывало, поглядывая робко и исподлобья, весь мокрый,— так-таки с ног до головы весь мокрый,— а не то с одной верхней половиной гачи[1] на ноге. «За сук задел», либо «В ключ провалился»,— угрюмо потупившись, объяснит он матери, смотря по надобности; но из умных темно-голубых глаз ребенка так и брызжет лукавство, веселость да смелость, несмотря на смиренную позу. «С чистыми мальчиками так вот не любит играть»,— замечает не то ласково, не то сердито, как бы для себя, но вслух, Ирина Васильевна, предварительно выбранив хорошенько сына. Под «чистыми мальчиками» она разумела детей так называемого благородного происхождения. Такие дети, казалось ей, уж по самой своей природе неспособны ни рыться целый день в земле, ни проваливаться в ключи, ни оставлять на суку гачи, хотя этому и противоречила ежедневная практика ее собственного детища благородного происхождения. Действительно, Саша не любил водиться с «чистыми мальчиками»; если они и приходили к нему или он к ним, то «в наказанье», как думал ребенок. Ему, чаще всего запачканному или оборванному, как-то не под пару были эти «чистые мальчики»: с ними у него разом пропадали и веселость, и ловкость, и смелость; опять ему сапожки жали ногу, опять давил его ворот рубашки. Саша с любопытством посматривал на этих маленьких джентльменов; но их заученные манеры, нежность и белизна их тела, их подозрительная развязность — все это отталкивало почему-то ребенка. Чуть покрепче заденешь кого-

---

[1] Гача — штаны, шаровары.

нибудь из них — сейчас уж и слезы, и жалоба домашним, пожалуй. То ли дело сверстники Саши: попробуй заденька их хорошенько,— они плакать не станут, а сами тебя заденут, да так, что долго будешь помнить, но жаловаться ни один не пойдет. А сверстников у него было много: с любым уличным мальчишкой он тотчас же заводил знакомство и знал их в порте всех наперечет. Однако ж настоящих любимцев у Саши было только двое; ими считались некие «Павка» и «Васька» — дети одной матросской вдовы, жившей тогда в услужении у Светловых. Павка отличался некоторою степенностью, но постоянно получал выговоры от матери за «сосульки под носом». Васька был черномазый, как цыганенок, мальчик, резвый и лукавый до крайности; он постоянно щеголял босиком и без одной гачи, так как пришивать ее было бы бесполезно, «на один час только», как основательно замечала его мать. Росший вместе с ними Саша любил их без памяти, и они, все трое, были неразлучными друзьями.

Маленький Светлов развивался на совершенной свободе. До пяти лет, правда, за ним был еще кой-какой присмотр; например, его не пускали далеко одного, без Онохова, часто спохватывались, если мальчик пропадал из глаз на полчаса или час. Но с этого возраста ребенка почти предоставили самому себе. У нас в невзыскательных семьях среднего сословия это устраивается как-то само собой: раз не спохватились ребенка, забыли часа на два, а он, смотрят, вернулся целехонек; повторится это потом, также благополучно, еще раза два — и войдет всем в привычку. То же было и в семье Светловых; поистине, заря, бывало, выгонит Сашу, заря и вгонит; никто в доме и внимания не обратит, куда делся мальчик. «Бегает, верно, где-нибудь на улице с ребятишками»,— подумают на минуту отец и мать и успокоятся. «В эти-то годы ему ведь только и побегать по воле»,— может быть, справедливо размышляли они. Существования на свете такой мудреной штуки, как воспитание, Светловы даже и не подозревали. Напоить, накормить да одеть ребенка, либо поставить его в угол, коли уж очень напроказит,— вот все, что они считали, в отношении к Саше, своей родительской обязанностью и, пожалуй, системой воспитания. «Чего его рано учить-то — мучить! — поспеет еще»,— заметила однажды Ирина Васильевна мужу при семейном разговоре об этом предмете, когда мальчику пошел уже девятый

год. А раньше об ученье не могло быть и речи между ними, хотя некоторые знакомые еще и прежде советовали им посадить ребенка за азбуку. Кто знает, может быть, и правы были Светловы, предоставляя своему первенцу полную свободу изучать непосредственно широкий божий мир. Как бы то ни было, но детские опыты Саши над природой не всегда проходили безопасно для него, хоть он в конце концов и уходил от них целехонек. В семье, разумеется, никогда не знали, чем рисковал иногда поплатиться мальчик за свою свободу, так как он никому, кроме Павки и Васьки, о своих приключениях не рассказывал. Они же весьма разумно смекали, что выдать Сашеньку — значит выдать самих себя, да и законы товарищества были как-то не по-детски прочно развиты у этих непосредственных натур. А бывали подчас с Сашей приключения вот какого рода.

Засело ему раз в голову, нельзя ли как-нибудь посмотреть, что находится вон за той «большущей горой», что возвышается у них перед домом? До того времени мальчик обыкновенно только до половины взбирался на нее, а дальше ходить казалось страшно, даже и втроем; но тут, как пить захотелось, куда и страх делся. Павка и Васька в одну минуту дали подговорить себя на смелый подвиг. На другое же утро мальчуганы поднялись ни свет ни заря, воровски запаслись на кухне кое-какой провизией, вытащили из плетня у огорода по палке — и марш в гору. Путешествие было очень соблазнительно. Хоть шли сперва и по знакомым тропинкам, но дальше эти тропинки становились все незнакомее и, наконец, осталась всего только одна, да узенькая такая. Однако ж путешественники не унывают. По дороге они открыли источник одного ключа, с любопытством расселись вокруг него на камушках, тут же всласть позавтракали, лежа на брюхе, испили ртом холодной водицы — и опять марш дальше. Идут себе бодро, не оглядываясь назад, переговариваются между собой, либо толкнут один другого в густую траву — и все весело расхохочутся. Вот уж и до вершины недалеко, а время за полдень. Тут с ними случилось нечто забавное: шли-шли, да вдруг, точно по уговору, и обернулись все разом, чтоб посмотреть, что у них назади. А назади было на что поглядеть: Петропавловский порт лежал перед ними, как на блюдечке, хорошенький такой да маленький. Но именно это последнее обстоятельство и озадачило Пав-

ку с Васькой,— что уж очень маленьким кажется порт. Они струсили и отказались идти дальше. «Отчего, Пава? Отчего, Вася? Пойдемте!» — приставал Саша попеременно то к одному, то к другому; но это нисколько не подействовало на храбрость его спутников. Мальчуганы разом смекнули, что ведь они дома могут получить порку от матери за такое путешествие, коли о нем проведают, а Сашеньку-то много что в темный угол поставят вечером, так ему хорошо звать их на самый верх. Собственно говоря, они на этот раз разошлись с ним в стремлениях: Саша с тем и пошел, чтоб посмотреть, что там, за горой, а Павке и Ваське не было никакого дела до этого, лишь бы пошататься по новым местам. Во всяком случае, неожиданное препятствие раздражило еще больше любопытство ребенка. Спутники его, однако, стояли на своем твердо. Наконец, после многих неудачных переговоров, решили, что Саша пойдет наверх один, а Павка и Васька подождут его здесь, на месте,— и провизию разделили. Маленький Светлов побледнел было, но бодро пошел вперед. «Зачем вы, Сашенька, идете? Ужо вот что маонька-то скажет!» — бесполезно попытался остановить его Васька. У этого мальчугана уж такая манера была — прежде всего громко очистить совесть; сам же, бывало, и наведет товарища на какую-нибудь неудобоисполнимую мысль, подстрекает, а как дойдет до дела, сейчас и отговаривать примется,— совесть, значит, громко очищает. Жутко Саше идти одному на вершину горы, в этот таинственный, косматый гребень, а все-таки идет, не оглядываясь. Еще несколько шагов — и вот он уж на вершине; посмотрел вперед, вниз — и обомлел, дух захватило от восторга. Широкая, действительно захватывающая дух картина лежала перед ним: открытое море за устьем. Китоловное судно, шедшее на всех парусах по направлению к этому устью, так и ныряло, как чайка, перерезывая исполинские, пенистые гребни расходившихся волн. Такого простора и таких волн еще никогда не видывал Саша. Он долго не мог оторваться от чудной картины, стоя перед ней с широко открытым ртом и глазами. Но мало-помалу это первое страстное впечатление приняло у него более спокойную форму — перешло в тихое наслаждение. «Туда бы, на берег побежать»,— мелькнуло в голове ребенка, и он уж было и ногу занес вперед, вниз, но тут же и разочаровался: внизу чернел непроходимый лес, торчали горы и пригорки, так

что и отсюда, с вершины, до моря было так же далеко, как и от Петропавловского порта. Привыкший к природе глаз мальчика сразу оценил расстояние, как только всмотрелся в него. Теперь Саше оставалось только поторопиться домой, тем более, что солнце начинало уж садиться; но взгляд мальчика нечаянно упал на площадку внизу, красневшую спелой брусникой. Искусительно показалось ребенку. Сбежал он к площадке и присел на ягодах, забыв было обо всем, даже и о товарищах. Но не прошло и пяти минут, как до слуха мальчика долетел какой-то странный, неопределенный звук, раздавшийся невдалеке от него. Саша быстро обернулся — и так и окоченел на месте, где стоял. Да и было от чего окоченеть даже не ребенку: в каких-нибудь саженях четырех от него — не больше, на окраине той же самой площадки, только немного пониже, преспокойно лакомился ягодой огромный черный медведь, сгребая ее вместе с листьями в рот своей неуклюжей лапой. Саша видел один раз в порте ручного медведя, вспомнил, что это за штука такая,— и сердце у него упало, в лице не стало ни кровинки. Минут пять просидел он так, не шевелясь, не смея дохнуть, и вдруг закричал изо всей мочи. Был ли то долго задержанный волнением крик испуга, или что другое, во всяком случае, голос ребенка заметно озадачил незваного неприятеля. Отъевшийся до отвалу на ягодах и кедровых шишках, сытый камчатский Топтыгин только слегка привстал на дыбы, раза два фыркнул и опрометью пустился бежать вниз, под гору, сердито ворча и неловко перекувыркиваясь дорогой. Саша тоже пустился бежать, что было в нем духу. Вечерело уж, когда мальчик добежал до перепугавшихся за него и за себя товарищей. Как только завидел он их, так и упал тут же, на месте, на траву, едва переводя дыхание. Через полчаса, возвращаясь с ними домой, ребенок то и дело нервически вздрагивал, но о встрече с медведем не проронил почему-то ни слова. На все расспросы, отчего он так бежал с горы, Саша только односложно ответил несколько раз: «Торопился». А у самого неотвязно вертелось на уме, вплоть до дома: «Видно, вот этот же медведь и ободрал нынешней весной начальниковскую корову?» Солоно пришлось отделаться за свою прогулку смелым путешественникам, вернувшимся домой к самому ужину; особенно досталось Павке и Ваське, которых мать, сейчас же после ужина, отвела на сарай, откуда

через несколько минут и донеслись до Саши, стоявшего в углу темной залы, их попеременно вопиющие голоса: «Никогда, маонька, вперед не буду!..»

Замечательно, что именно вслед за этим случаем обнаружилась у Саши правильная способность размышлять, проверять свои впечатления чужими, словом — анализировать. До того времени он только безотчетно поглядывал на все с жадным детским любопытством, как будто не различая предметов; любил очень слушать, когда при нем что-нибудь рассказывали, но почти никогда ни о чем не расспрашивал, как обыкновенно поступают дети. Видит он, бывало, что утка плавает, а курица нет, но ни у кого не спросит: отчего эта разница? Даже к своим закадычным любимцам, Павке и Ваське, мальчик ни разу не обращался с подобным вопросом; то ли инстинкт подсказывал ему, что правильного объяснения он пока ни от кого из окружающих не получит, то ли действительно ребенок не интересовался этим. «Видно, любит до всего своим умишком доходить»,— попросту объясняла такую странность Ирина Васильевна. Но после случая с медведем не было проходу ни ей, ни остальным домашним от бесчисленных вопросов мальчика. «Все ему расскажи, как на ладонь выложи»,— замечала мать. Саша после того даже как будто вырос немного, выпрямился, стал развязнее, точно прибавилось к нему что-то. Не дешево досталось ребенку это «что-то», но зато досталось, видно, нечто прочное; по крайней мере Саше казалось, что он знает теперь то, чего во всем Петропавловском порте никто другой не знает,— что вон с этой «большущей горы» открытое море видно. «Кабы знали, так ходили бы туда»,— думалось ему. А знание — сила, говорят. «Санька что-то нынче отвадился у нас ходить на гору»,—таинственно сообщила Ирина Васильевна мужу через несколько дней после описанного приключения, не заметив, что мальчик сидит тут же в комнате. А он не пропустил мимо ушей замечания матери и, точно обидевшись, подумал: «Да ведь он и на эту сторону может перелезть, Топтыгин-то косолапый... Ну, да ужо опять как-нибудь схожу»,— и действительно недели через две сходил, но, разумеется, ни с кем не встретился.

В это же время Саша каким-то чутьем проведал, что Онохов, должно быть, знает кое-что по части зверей, и сблизился с ним. Раньше он недолюбливал его, видя в

нем только непрошеного соглядатая своей резвости. Онохов был казак из обрусевших камчадалов, состоявший при исправнике в качестве вестового. Кривой на один глаз, он за эту особенность, соединенную с другой особенностью — всегда и везде поспевать вовремя, получил от Василия Андреича очень меткое прозвище «всевидящего ока». «Всевидящее око» хотя и не все, а многое-таки видало на своем веку. Саша узнал от него, между прочим, что весной медведь бывает голоден, так как всю зиму ничего не ест, а с конца лета и осенью снова отъедается. «Так вот отчего он и ободрал весной начальниковскую корову, а меня в конце лета не съел,— сразу смекнул мальчик.— Значит,— вывел он отсюда,— голодный медведь злее. И папа бывает сердитее, когда голоден, и я»,— припомнил ребенок после минутного раздумья. «И все голодные, видно, злее бывают. Видно, и тот матросик, который в прошлом году мичмана кирпичом убил, тоже был голоден»,— думалось ему несколько позже,— и восстала в детской головке тьма вопросов, тем, догадок, сомнений.

На помощь этой внезапно вспыхнувшей в мальчике жажде знания явилась, вслед за Оноховым, крестная мать Саши. Она только что вернулась тогда из последнего похода мужа, умершего на судне, во время плавания. Вдова Хлебалкина (так звали крестную Саши) была женщина атлетического сложения, лет пятидесяти, с грубыми, но приятными и выразительными чертами лица. Желтые космы ее никогда не причесанных волос придавали мужественному лицу старухи вид волшебницы, как их обыкновенно изображают художники. Она всю жизнь, начиная с шестнадцати лет, провела на море с мужем, нередко командовала за него судном, постоянно курила трубку, отплевываясь как-то боком, сквозь зубы, и подчас умела выругаться, как истый, поседевший в бурях моряк. При множестве практических сведений, старуха обладала еще огромным запасом здравого смысла, сразу покорявшим иногда даже и утонченного диалектика во всеоружии знания. Жила Хлебалкина в порте одна-одинешенька, в маленьком домике на горе, у самого леса. Со времени ее приезда Саша не покидал этого домика: так крепко полюбилась ему колоссальная фигура крестной матери. Мальчик смутно чувствовал, что в ее присутствии он как будто никого и ничего не боится.

А боялся Саша вот кого и вот чего: во-первых, немца-

агронома Кегеля, у которого нос был такой необыкновенной длины и кривизны, что мальчику всегда казалось, будто немец собирается клюнуть его этим носом, как вон ворона *юколу* клюет у собак. Во-вторых, еще больше боялся Саша некоего Бахирева — рослого, характерного старика, занимавшегося в порте самым последним, ночным ремеслом. У этого Бахирева были рваные ноздри, что придавало его лицу какое-то страшное, отталкивающее выражение. В порте никто не помнил, с какого времени он попал туда и как. В-третьих, и уж еще больше, Саша боялся *асеев*, как называло петропавловское простонародье иностранных матросов с китоловных судов, производя, вероятно, это слово от часто употребляемого американцами и англичанами выражения: «I say!» («Посмотри!»). Как только завидит их, бывало, мальчик где-нибудь на горе, так и тягу домой со всех ног. Он нередко видал, как убегали и прятались от них петропавловские гражданки, частенько слыхал, что *асеи* обижают женщин, и потому считал всех иностранцев, не говоривших по-русски, чем-то до того особенным, что их непременно следует бояться. Это было какое-то смутное, тяжелое представление, усиливавшееся, главным образом, непонятным для ребенка «тарабарским языком» *асеев*. Как бы то ни было, уж одно слово *асей*, сказанное нечаянно кем-нибудь в лесу, возбуждало в мальчике панический страх. Пуще же всего боялся Саша всякой темноты — все равно, были ли то темный угол, темная комната, темная ночь: в потемках его постоянно как будто кто-то хватал сзади, и он весь дрожал, как в лихорадке, хотя бы в это время и слышались ему вблизи родные или знакомые голоса. Но каковы же были сперва ужас, а потом изумление Саши, когда он узнал, что его крестная мать в большой дружбе с безобразным Кегелем; что страшного Бахирева старуха частенько угощает у себя то водочкой, то чайком; что *асеев* она потчивает иногда молоком, зазывая их к себе и даже преспокойно разговаривая с ними на «тарабарском языке»; что, наконец, ее любимое удовольствие составляет — либо прислушиваться ночью, в совершенных потьмах, к журчанью ключа, либо в такую же темень кататься одной по заливу в щегольской китобойке! Саша, за эти страшные качества крестной, уж было и разлюбить ее собрался, да помешал ему один, им же самим вызванный, разговор с нею.

Однажды, поздним осенним вечером, Хлебалкина сидела по обыкновению у ключа, возле своего домика, вместе с крестником, который остался у нее ночевать.

Чем гуще ложились вечерние тени, тем больше жался к ней Саша. Она это наконец заметила и грубовато спросила:

— Ты что это ко мне так жмешься?

— Да мне страшно...— нерешительно ответил мальчик, еще больше прижимаясь к ней

— Чего же тебе страшно, глупенький? — удивленно осведомилась Хлебалкина.

— Ночь уж скоро... вон как стемнело...

Старуха рассмеялась.

— Глупенький ты, парнюга! — сказала она,— ночи боишься. А сам ночью родился.

— Я, крестненька, боюсь, как схватит кто-нибудь...— робко заметил Саша.

— Схва-а-тит? — переспросила Хлебалкина.— А это на что?

Она поднесла ему к самому носу здоровенный кулак.

— Да он кулака не боится...— с внутренним трепетом выговорил мальчик.

— Кто это моего кулака не боится? Попробует, так небось станет бояться: я и с десятерыми управлюсь. Да ты про кого это говоришь-то, парнюга? — вдруг подозрительно спросила Хлебалкина.

— Про нечистого, крестненька...— боязливым шепотом ответил ей на ухо Саша.

— Про какого «нечистого»? Про Павку твоего, что ли? Он ведь никогда в баню-то не ходит,— опять рассмеялась старуха.

Мальчик недоумевал.

— Он в бане и сидит, нечистый-то...— выговорил, наконец, Саша, запинаясь.

— В ба-а-не? Постой-ка, крестник, у меня тоже баня есть, надо сходить посмотреть, какой там такой «нечистый» забрался: я не люблю, чтоб у меня чужие мылись. Пойдем...

Старуха пресерьезно взяла мальчика за руку, дошла с ним так до дому, зажгла свечу, вставила ее промеж пальцев правой руки и, не выпуская из другой слегка дрожавшей руки Саши, направилась с ним прямо к бане. Баня стояла саженях в десяти от домика. Мальчик заплакал и

не хотел идти, но Хлебалкина не обратила на это никакого внимания.

— А коли никого не найдем, так тебе же и стыдно будет, что обманываешь крестную,— сказала она, почти насильно увлекая ребенка в предбанок.— Ну, ищи, где тут какой «нечистый»...

Мальчик боязливо и растерянно смотрел по углам, Хлебалкина посветила ему в каждый угол, даже под лавку.

— Ну, что? нет? — спросила она, наконец.

— Нету...— робко ответил Саша.

Она провела его в баню и там повторила то же самое, до мельчайших подробностей, даже заставила мальчика в подполок слазить со свечкой, как он ни отговаривался от этого.

— Ну, что? и тут нет? — снова спросила старуха.

— Нету...— тихо повторил ребенок и заметно сконфузился.

— Ну, то-то же! Пойдем. Да вперед не обманывай, смотри, крестную,— с ласковой суровостью заметила ему Хлебалкина, уходя из бани.

Они опять уселись у ключа.

— Я и Кегеля боюсь,— сказал вдруг Саша, заметно ободренный.

— Кегеля? Карла-то Иваныча моего милого? Что ты, бог с тобой, парнюга! Да ведь это добрейшая душа в свете; он не только что тебя, да он мухи никогда не обидит,— с серьезным изумлением сказала старуха.

— Я носа у него боюсь...

— Но-о-са? А что тебе его нос сделал? Что длинный да кривой? Так не отрезать же его, не в карман же прятать. А ты когда-нибудь возьми-ка его за нос, вот и увидишь, что он добрый: не рассердится небось. Эх, ты, парнюга, парнюга! Ума-то у тебя еще мало,— проговорила крестная.— Ну, еще ты кого не боишься ли? — спросила она с заметным любопытством, помолчав немного.

— Бахирева, крестненька, боюсь...

— Этак ты и меня скоро будешь бояться. А Бахирев что тебе сделал?

— У него норки страшные...

— Вот что! Хорошо, как у тебя твои-то норки целы, а у него, вишь, их вырвали добрые люди... Этак тебе кто-нибудь палец отрежет, так и нам надо тебя бояться? Ты

вот лучше приласкай-ка Бахирева-то, он тебе кораблик сделает,— он славные кораблики умеет делать. У тебя, вон, и отец, и мать, и крестная есть, а у Бахирева никого нету, и закона про него нет; велено ему золото чистить — и чистит. Коли и тебе велят — тоже будешь чистить: не узнаешь ведь, парнюга, как век проживешь...

— А кто же ему, крестненька, велит чистить? — спросил Саша, до того заинтересованный разговором, что и про ночь забыл.

— А тот и велит, кому власть дана издеваться над человеком...— угрюмо сказала Хлебалкина.

— А кому же, крестненька, власть дана?

— Власть-то? А всякому дана, парнюга, кто посильнее нас с тобой да Бахирева. Ты вон сильнее птички, потому ты и издеваешься над ней: яички у нее из гнезда берешь. А у нее яичко-то — все равно что ты у матери. Ну-ка тебя утащить бы да съесть, что мать-то скажет? То-то вот и есть, парнюга... Поцелуй-ка скорее крестную.

Саша с жаром поцеловал ее.

— А за что, крестненька, Бахиреву норки вырвали? — спросил он, как-то печально помолчав.

— Где уж это нам с тобой знать. Сделал, видно, какое-нибудь нехорошее дело, может, убил кого-нибудь,— вот и вырвали; а может, и за хорошее дело вырвали,— мы почем с тобой знаем, парнюга...

«А убить бы тех, которые ему норки-то вырвали?» — мелькнуло в голове Саши, но он не решился почему-то сообщить это крестной — и задумался.

— Ну, что приумолк? Еще кого боишься? — спрашивала Хлебалкина, приглаживая своей могучей рукой взбившиеся волосы ребенка.

— Я никого, крестненька, больше не боюсь, только еще *асеев* боюсь...— выговорил он, ласкаясь к старухе.

— Что ты, что ты, парнюга! Нашел кого бояться! Это славный народ, свободный, работящий народ! — торопливо и с жаром заговорила крестная.— Ты посмотрел бы, какие у них города, какие порядки,— не чета нашим деревушкам. Вежливый народ, славный...

— А они, крестненька, зачем баб наших обижают? — нерешительно спросил Саша.

— Маловат ты, парнюга, вот что! — рассмеялась добродушно-лукаво Хлебалкина.— Как походишь в море с

год без нашего, женского пола, так и с бабами подуреть захочется. Да бабы-то наши дуры, коли в обиду-даются, а не *асеи* виноваты...

— Да ведь они, крестненька, сильнее баб: видно, и издеваются над ними потому,— возразил Саша.

— Ну, ты сам не видал, так и не говори, не мели пустяков. Ты вот лучше птичек-то не обижай. Ужо вот я попрошу твоего папку, чтоб он тебя на судно к *асеям* свозил: как накладут они тебе полные карманы разных заморских гостинцев, так и понравятся, и бояться не станешь. Это только маленькие девчонки всего боятся да воробьи еще. Воробьям хоть тряпку повесь, они и ее испугаются; у них мозгочек-то уж очень мал. А ты ведь у меня — умница. Ну-ка, поцелуй-ка поскорее крестную, да пойдем-ка мы лучше с тобой спать, парнюга: утро вечера мудренее,— говорила грубовато-ласково Хлебалкина, уводя за руку Сашу по направлению к своему домику.

Разговор этот, несмотря на его видимую незначительность, произвел, однако ж, значительный переворот в мыслях ребенка. «Как же это,— прежде всего думалось ему на другой день,— крестненька, которая все знает и все, как говорит мама, видала, не понимает, что бывает нечистый? Павкина мать сказывала, что он по ночам в бане сидит, а мы с крестненькой никого вчерась ночью в бане не видали... Мама тоже говорит, что есть нечистый, крестики от него ставит мелом на дверях в крещенье; да и папа про нечистого знает. А крестненька его не боится... Он, видно, не страшный совсем, нечистый-то. Крестненька лучше знает»,— задумчиво решил Саша. Темноты и Бахирева он стал бояться с тех пор гораздо меньше, а Кегеля и совсем перестал бояться после того, как тот поиграл с ним у крестной раза два в мячик; только вид *асеев* беспокоил его еще по-прежнему. Но раз, в конце той же осени, уступая настоянию Хлебалкиной, Василий Андреич,— обязанный по должности исправника осматривать с помощью доктора и переводчика каждое, вошедшее в порт, китоловное судно,— не окажется ли больных на нем,— взял с собой на подобный осмотр и Сашу. В тот день пришло много судов, и мальчику удалось побывать разом на наскольких. Это ему чрезвычайно понравилось. Каждое судно имело какую-нибудь да особенность — в обстановке палубы, в устройстве кают, в манерах капи-

тана. Тем не менее официальных гостей везде встретили одинаково просто, радушно; везде угостили их чем-нибудь оригинальным, заморским, а исключительно для Саши — везде появлялись на стол какие-нибудь, большей частью невиданные им еще, лакомства. В особенности понравился мальчику капитан французского судна, некто Кубриер — здоровенный толстяк, с открытым, несколько заносчивым видом, с постоянным веселым смехом на лице и с бойкой, как дробь сыплющейся, речью. Этот добродушный француз так обрадовался присутствию ребенка на своей палубе, как будто к нему привезли родного сына: он выносил Сашу на руках по всему судну, без умолку болтая с мальчиком на своем родном языке и преусердно, хотя и совершенно бесполезно, объясняя ему до мельчайших подробностей все, что ни попадалось им на глаза. Здесь Саша мало того, что набил себе карманы конфетами, но ему еще нагрузили, на дорогу, чуть не полную китобойку кокосов, апельсинов и т. п. и, что всего интереснее было для ребенка,— он получил в подарок прехорошенькую модель китоловного судна. В этот день маленький Светлов чувствовал себя в полнейшем восторге от *асеев,* шел преспокойно на руки к любому матросу и даже одного из них передразнил «по-тарабарски», к величайшему удовольствию всех остальных его товарищей. Дома, в тот же день, наскоро проверив, на сон грядущий, разнообразные впечатления своей прогулки с отцом, Саша нашел, что подметил за *асеями,* главным образом, одну, очень удивившую его, особенность: *асеи*-матросы не вытягивались в струнку при встрече с капитаном, не смотрели ему боязливо в глаза, не снимали перед ним фуражки, а расхаживали себе преспокойно, тут же у него под носом, заложив руки в карманы, покуривая да поплевывая на сторону. Это до крайности заняло мальчика, привыкшего постоянно видеть, как русские матросики всякий раз испуганно соскакивали и вытягивали руки по швам, еще издали завидев какого-нибудь мичмана, не говоря уже о капитане. «Отчего это?» — спросил сам себя Саша и крепко призадумался. «Да оттого, видно, что *асеи* славный народ, работящий»,— сам же себе и ответил он немного погодя, припомнив слова крестной. «А папа про Аверьяна говорит: «Дубина этакая! никогда, чтоб он вытянулся да как следует шапку снял тебе на улице; зазнался, как поваром к начальнику взяли»,— припомни-

лось почему-то вдруг Саше, и опять восстала в голове ребенка тьма вопросов, тем, догадок, соображений...

Дня через три после этого, разгуливая перед обедом один у пристани порта, мальчик нечаянно наткнулся на того же самого Кубриера. Веселый капитан торопливо пробирался по сходням к ожидавшей его китобойке. Он и Саша тотчас же узнали друг друга. Добродушный француз, видимо, обрадовался этой встрече, положил к себе на левую ладонь Сашину руку и дружески прихлопнул ее несколько раз широкой правой ладонью; затем он выразительными знаками стал приглашать мальчика поехать с ним, Кубриером, к нему на судно. Ребенок раза три или четыре как-то нерешительно обернулся по направлению к дому, подумал о чем-то и вдруг согласился, весело кивнув головой. Дорогой и на судне Саша вел себя самым приличным образом, насколько это возможно для мальчика, не понимающего ни слова на языке того, у кого он в гостях. Маленький Светлов позавтракал у Кубриера сырыми устрицами, не понимая сам, что ест, благо вкусны показались («ракушки ел»,— сообщил он об этом дома), отобедал там, поиграл на палубе с матросами, у которых так и переходил с рук на руки, и, наконец, уже под вечер стал обращать беспокойные взгляды на берег. Как только это заметили, сейчас же сообщили капитану. Кубриер в одну минуту распорядился китобойкой, опять надавал Саше гостинцев на дорогу и сам сел править задним веслом, так как начинало заметно свежеть и по заливу заходили зайчики. Мальчик сначала порядочно струсил, видя, как подбрасывает китобойку, но тотчас же и свыкся с этим: все одинаково подбрасывало. Веселый капитан проводил ребенка вплоть до дому и там лично, с обязательной улыбкой, вручил его растерявшимся от неожиданности родителям, ни слова не понимавшим ни на одном иностранном языке. Сидевшая в это время у Светловых Хлебалкина с достоинством выручила их. По уходе нечаянного гостя, Саше порядочно досталось за его новую проделку,— опять пришлось поплатиться углом темной залы; но тем не менее это был положительный подвиг с его стороны и даже едва ли не самый полезный для мальчика из всех его остальных смелых похождений. С этого времени ребенок уже, бывало, ждет не дождется, когда войдет в порт китоловное судно, и едва только завидит с горы сигнал о нем, как уже опрометью бежит домой, чтоб не про-

зевать отца, которому он с тех пор и сопутствовал каждый раз на суда.

Зимой у Саши были другого рода забавы, иные наблюдения. Он и в эту пору года редко сидел в комнате, благодаря умеренности камчатского климата. Любимым удовольствием мальчика было прокладывать дорожки в лес. Возьмет он, бывало, салазки, сгорбившись, упрется в них сзади руками и долго-долго бежит так, прокладывая полозьями извилистый путь между кустов и оврагов. Павка и Васька, запрягшись в те же самые салазки, возят его потом по этим дорожкам: то будто он в лес за дровами едет, то будто за сеном. Сено и дрова нарочно для этого натаскивались ими в разные места еще с конца осени. Либо поднимется Саша ни свет ни заря, чтоб не пропустить наст (подмерзший к утру снег, по которому можно ходить, не проваливаясь), опять возьмет салазки, заберется с ними высоко-высоко в гору и мчится оттуда вниз, правя рукавичками, по таким извилистым, прихотливым линиям, перелетает через такие глубокие овраги, что постороннему, непривычному зрителю, наверно, стало бы страшно за мальчика. А он себе только посмеивается да правит, красный как рак, и ловкий, как истый туземец. Но ребенок и учится вместе с этой забавой, учится легко и незаметно для самого себя, то усваивая практические законы движения тел, то подмечая условия, при которых действуют силы одна на другую,— и вообще, за что только ни примется мальчик, сведения так и растут в его умной головке. В средине зимы Василий Андреич уезжал обыкновенно в округ за сбором ясака[1]. На возвращении оттуда отца сосредоточивались лучшие зимние надежды Саши. Он, бывало, ждет не дождется этой минуты, иногда не спит всю ночь напролет, прислушиваясь, не раздадутся ли вдруг на дворе знакомые голоса, в особенности после того, как получится письмо от папы, что он едет обратно. Впрочем, и было отчего волноваться мальчику: Василий Андреич уж непременно навезет с собой из округа каких-нибудь диковинок,— то живого медвежонка, то соболя, не то горностая или лисицу; либо навезет разных фигурок из китовой кости туземного

---

[1] Ясак, от тюрк. jasaq — натуральный налог (пушниной, скотом и т. п.), которым облагались в царской России народности Поволжья, Сибири, Дальнего Востока.

изделия, аметистовых щеток, рыбы, уток соленых и множество других разных разностей. А там, глядишь, и еще радость: начнут просушивать ясак, раскупорят для этого сумы, выворотят звериные шкуры шерстью вверх и разложат по зале чуть не до потолка в вышину. Не выживешь в такие дни Сашу из комнаты. Уйди только старшие хоть на минуту из дома, даже отвернись только они от залы, ребенок сейчас же вскарабкается на меха,— и любо, привольно ему кувыркаться в соболях да чернобурых лисицах. Увидит это, бывало, нечаянно Ирина Васильевна и скажет мужу: «Видно, Санька у нас богат будет или знаменит». — «Дожидайся!» — ответит ей иронически-ласково Василий Андреич,— и оба чему-то рассмеются. А Саша, услыхав их разговор, еще глубже зароется в шкурки и совсем притаится там. Весело и на собаках ездить зимой, особенно вечером, при лунном свете: они шибко бегут тогда, удирая от собственных длинных теней на снегу; а по бокам также быстро убегают назад заиндевелые деревья, таинственно протягивая к Саше свои голые сучья, точно множество исполинских рук тянется к ребенку, чтоб схватить его. И жутко и хорошо...

А весной? И весной было много работы Саше, даже больше, чем во всякую остальную пору года. Благодаря многому множеству ключей, вряд ли в целом мире найдется другая весна, подобная петропавловской. Такой резвый шум поднимут ключи, такое веселое журчанье пойдет повсюду, что слушаешь, заслушиваешься и не наслушаешься. И вот, вместе с этой закипевшей в природе изумительной деятельностью, проснется и в ребенке неодолимое желание двигаться, двигаться и двигаться: то надо Саше пленки на жаворонков ставить на приталинках, то кораблики приходится строить к лету (все светловские комнатки окажутся в стружках да щепках, сколько ни прибирай их там Ирина Васильевна), начнется рыбная ловля, пойдут пироги из свежей *чавычи* (лососины), окажется множество перламутровых ракушек по берегам залива, морских звезд, репок,— и со всем этим надо справиться почти в одно и то же время! Саша даже похудеет весной от такой кипучей деятельности...

Таким образом рос и развивался на свободе ребенок до девяти лет, почерпая свои уроки непосредственно у природы. Опьяняющая и расслабляющая ум, а еще больше воображение, язва русских сказок не коснулась его в

этот нежный период возраста, и, следовательно, он отделался от нее раз навсегда. Взамен сказок ему сослужили верную службу таинства разнообразной природы, постоянно вызывавшие ум к пытливости и мешавшие воображению уноситься слишком далеко за пределы видимого, в область мечтательного. Но зато воображение Саши было богато роскошью картин действительных, оригинальных. Из своих детских созерцаний он вынес необходимое для последующей жизни, проникнутое анализом спокойное отношение к ее явлениям, не утратив в то же время ни душевной теплоты, ни страстной энергии. На десятом году мальчика посадили наконец за азбуку, отдав его учиться к местному священнику. Азбуку Саша прошел легко и быстро, но последующие книги не удовлетворили того ожидания, какое он почему-то возлагал на них. Мальчик стал учиться вяло, неохотно. От бессмысленно зазубриваемых уроков «отсюда и досюда», по допотопным книжкам, в числе которых псалтырь играл не последнюю роль, Сашу неодолимо тянуло на свежий воздух, в гору, на улицу, словом — на свободу. Многих горьких слез стоили ему эти патриархальные уроки! Слыша, что ученье плохо подвигается вперед, Светловы просили отца Егора — учителя Саши,— чтоб тот относился к нему построже. Отец Егор, само собой разумеется, понял это «построже» точно так же, как понимали его в той семинарии, где он когда-то чему-то учился,— и вот однажды вечером, размыслив, что уж очень плохо пошло ученье Саши, почтенный наставник задумал прибегнуть на следующее утро к розге. До тех пор Саша только слыхал от Павки и Васьки, что такое розги, но его самого никогда не наказывали. Светловы не то чтоб не признавали действительности этого средства, а так как-то не случилось им употребить его в дело. Иногда сгоряча они было и пообещают высечь Сашу, а тот убежит куда-нибудь из дому, пропадет чуть не на целый день, будто и не слыхал; погорячатся, погорячатся, бывало, Светловы — глядишь, и гнев прошел и забудут,— добряки уж очень были они оба. Но не таков был отец Егор, а главное, он смотрел на леность Саши, как на неуважение к себе, как на неуважение к его собственной духовной особе; кроме того, за ним водилась скверная привычка — никогда не забывать утром того, что задумано было с вечера. Так случилось и на этот раз. Увидев поутру розги, Саша побледнел и за-

трясся весь, однако не заплакал. Но как только отец Егор тронул его за брючки, чтобы раздеть, мальчик порывисто рванулся от него к двери. Отец Егор снова и уже гораздо энергичнее ухватился было за ученика, но в эту минуту Саша, весь позеленев, толкнул учителя кулаком в висок, и пока озадаченный до ярости священник приходил в себя, мальчик летел уже, что было в нем духу, через мостики и ключи в гору. Событие это показалось настолько важным отцу Егору, что он, подумав с минуту, облекся в свою праздничную рясу и отправился к Светловым. Те так и ахнули, узнав в чем дело. Немедленно командирован был Онохов — разыскать и привести мальчика. «Всевидящее око» знало не хуже самого Саши всякое его пристанище,— и через полчаса ребенок был найден притаившимся за большим камнем, в одной из трущоб у ключа. Однако ж мальчик не хотел идти домой. Он и теперь весь еще трясся, даже зубы у него стучали. Казак хотел было употребить в дело силу, но едва протянул к беглецу руку, как тот закричал что есть мочи: «Не тронь, а то утоплюсь!» — и кинулся к тому месту ключа, где было поглубже и утонуть, пожалуй, возможность предстояла. Онохов совершенно был озадачен и не знал, что ему делать. Наконец, казак решился прибегнуть к хитрости.

— Пойдемте, Сашенька: я вас у Хлебалчихи спрячу,— сказал он как можно ласковее.

Услыхав фамилию своей крестной, Саша вдруг точно ожил, и в глазах его ярко сверкнула не то новая мысль, не то радость: впопыхах страха он совсем было позабыл о крестной. Однако ж мальчик не поддался на удочку «всевидящего ока»; он только пристально посмотрел на его одинокий глаз, посмотрел как-то уж очень недоверчиво и даже как будто свысока. Потом, с минуту подумав о чем-то, Саша быстро измерил глазами расстояние от себя до Онохова, стоявшего по ту сторону ключа,— и вдруг снова пустился бежать со всех ног по направлению к домику Хлебалкиной. Старуха серьезно испугалась, увидев, в каком волнении вбежал мальчик в ее комнатку, но когда узнала в чем дело — успокоилась сама и его успокоила, даже как будто удовольствие мелькнуло у нее на лице.

— Сиди тут, парнюга, отдохни,— сказала она Саше, усадив его на кровать за перегородкой.— Не бойся ничего: Хлебалкина своих не выдаст!

И старуха гордо пошла навстречу вошедшему в это время Онохову, которому сердито и пренебрежительно объявила, что Саша у нее и что домой она его не пустит.

Принесенный казаком ответ в другое время, может быть, и удовлетворил бы Василия Андреича, но на этот раз рассердил его не на шутку. В поступке Хлебалкиной ему померещилось посягательство на его родительские права, да еще вдобавок отец Егор кольнул его самолюбие, ядовито сказав, поглаживая бороду:

— Вот как! Ай да крестная маменька! Научит она его добру: этак он скоро и тебя, Василий Андреич, по уху свиснет...

Светлов промолчал, торопливо оделся и пригласил священника пойти вместе с ним к Хлебалкиной. Отец Егор хоть и крепко недолюбливал старуху, но из самолюбия согласился.

Хлебалкина встретила их у себя на крыльце.

— Ты что это, отец Егор, вздурел, что ли, на старости лет? — обратилась она первая к священнику, когда они холодно поздоровались,— ребенка истязать вздумал!

Священник заметно смутился.

— Наказание за леность не есть истязание, сударыня,— сказал он, видимо стараясь приосаниться, напустить на себя важности.

— Видно, тебя самого за леность-то частенько пороли в семинарии, так и здесь хочешь завести эти порядки,— сурово обрезала его Хлебалкина.

Она порядочно была раздражена и стояла теперь на крыльце, вся выпрямившись, прислонив правый локоть к колоде двери.

— Это, Катерина Васильевна, уж мое дело распоряжаться Сашкой,— вступился было Василий Андреич,— вы тут посторонний человек. Вы и без того совсем у меня его избаловали...

— Как я «посторонний человек»? — еще больше выпрямилась Хлебалкина, и глаза у нее засверкали.— А ты зачем меня крестить звал? От безлюдья, что ли? Ты, что ли, у купели-то за него поручался? Что ты, что ты это! «Посторонний человек!» — величественно передразнила она Василья Андреича.

— А все же и по священному писанию отец больше власти имеет,— оправился священник.

— Ты и сам-то, отец Егор, хорошенько священного

писания не знаешь, так уж молчи лучше,— опять обрезала его старуха.— Покажи-ка ты мне, где у тебя там, в священном писании, детей истязать указывается? Христос велел любить детей, а не истязать. Уж пусть только владыка сюда приедет, спрошу я у него, непременно спрошу об этом! Учителю благий! сам ничего не знаешь, а тоже берешься других учить!.. У тебя, видно, и наука-то вся в березе?..

При слове «владыка» священник прикусил язык: он знал, что Хлебалкина была в большой дружбе с преосвященным.

— Мы к вам не ссориться пришли, Катерина Васильевна,— сказал значительно охлажденный Василий Андреич, — а только позвольте мне взять Александра.

— Так я тебе и дала его сейчас! — твердо ответила ему Хлебалкина.— Поди-ка ты лучше испей холодной водицы прежде да умойся у ключа, а по вечеру ужо приходи ко мне,— потолкуем...

— Да ведь этим, Катерина Васильевна, шутить нельзя,— заметил Василий Андреич, стараясь казаться строгим,— ведь он — вы что думаете? — ударил батюшку-то!

— Так ему и нужно: не поступай христианский священник по-нехристиански! — отрывисто возразила старуха.

— Если вы Александра не пустите...— начал было Василий Андреич, на этот раз очень серьезно.

— Так что? — величественно перебила его Хлебалкина, опять выпрямляясь во весь рост,— к начальнику небось пойдешь на меня жаловаться? Ступай! Стыдись-ка, стыдись, Василий Андреич! — заключила она гордо и ушла, громко захлопнув за собой дверь.

Так они ничего и не поделали с старухой. Василий Андреич, разумеется, не захотел из-за пустяков серьезно ссориться с Хлебалкиной, с которой, как и с ее покойным мужем, Светловы несколько лет водили хлеб-соль. Что же касается священника, то он после напоминания о «владыке» значительно смирился и дорогой сказал Василью Андреичу, как-то уныло махнув рукой:

— Ну, да бог с ним! ребенок еще: не ведает, что творит...

В результате оказалось, что Саша с того же дня перестал учиться у отца Егора. Заняться с мальчиком Хле-

балкина упросила одного знакомого моряка. Катерина Васильевна, по всей вероятности, никому не уступила бы этого права, если б только сама... была грамотна. У моряка маленький Светлов стал было учиться превосходно, но на следующий год пришел давно ожидаемый Васильем Андреичем перевод в Ушаковск, куда он и переселился с семьей. Мальчик поступил там в гимназию, в первый класс. В гимназии Саша стал учиться опять ни то ни се; только по физике и словесности он шел хорошо, а на законе божием и математике постоянно проваливался, так что ему частенько приходилось передерживать годичный экзамен из двух последних предметов. Впрочем, Сашу и в эти годы редко можно было застать за учебной книжкой. Пробежит он, бывало, торопливо глазами урок раза два с вечера да в школе у товарища заглянет как-нибудь на другой день утром, в учебник,— и ничего себе, недурно ответит. Перед экзаменами мальчик никогда не сидел, как другие, с утра до вечера за повторением пройденного, но каждый раз отважно шел на экзамен, чаще всего позабыв дома книги, и тут же, в экзаменационном зале, наскоро запасался кой-какими сведениями то у одного, то у другого из товарищей. Саша даже производил этим некоторого рода шик между ними, в особенности в старших классах. Явится он, бывало, на экзамен веселый такой, развязный да щеголеватый, небрежно посматривая на уткнувшихся в книгу товарищей, точно сам давно уж и насквозь прошел всю эту книжную мудрость. Вызовут его, например, к доске из математики: он молодецки тряхнет головой, выйдет как ни в чем не бывало, хотя иной раз, как говорится, ни в зуб толкнуть, с беззастенчивой храбростью возьмет билет — и ну писать на доске, что первое на ум взбрело; он пишет быстро, энергично, даже с некоторым апломбом. Смотрят, смотрят, бывало, то на него, то на доску гг. экзаменаторы и сами не знают, что подумать: знаток перед ними или только шарлатан? Доска обыкновенно стояла довольно далеко от экзаменационного стола, а цифры у Светлова, как нарочно, выходили до крайности неразборчивы. Так, бывало, и отделается он на тройку, ввиду сомнений, не разрешенных по лености гг. экзаменаторов. Из истории и некоторых других подходящих предметов маленький Светлов брал больше красноречием: наговорит иногда невесть каких турусов на колесах, целый роман приплетет, но так

смело и бойко, что глядишь, учителя только глазами хлопают, а мальчик опять вышел сух из воды, к зависти и досаде прилежных товарищей. Его, например, о крещении русского народа спрашивают, а он о преемниках Владимира режет да еще ухитрится и текст из катехизиса приплести. Случалось, разумеется, и попадаться при этом, но Саша даже и глазом не моргнет, бывало, в подобном случае, не говоря уже о том, чтоб покраснеть, а сядет себе преспокойно на место, чуть-чуть насмешливо улыбаясь, точно он невесть как хорошо сдал свой экзамен. Насмешливое отношение к учителям было его постоянной чертой на школьной скамейке. Мальчик как будто угадывал их умственную несостоятельность и никого из них серьезно не уважал, даже не боялся. Правда, и в гимназии хотели было раз испытать на нем неудавшийся прием отца Егора, но прием этот оказался и здесь столько же неудачен: маленький Светлов удрал домой и решительно объявил отцу, что не пойдет больше в школу, если с ним повторится та же история, а не то «плюху даст хоть самому директору». Василий Андреич знал по опыту, до какой степени способен был его первенец охранять свою шкурку, и волей-неволей пошел на другой день просить директора, чтоб Сашу не наказывали розгами. Тот, как водится, сперва наговорил кучу доказательств в пользу этой меры, но потом принужден был только пожать плечами и согласиться на настояния Светлова.

— В таком случае мы принуждены будем выключить вашего сына при первой же серьезной шалости,— внушительно прибавило начальство.

Ответ директора, переданный Саше отцом слово в слово, порядочно озадачил мальчика. Он долго раздумывал над ним, потом смекнул что-то, и с тех пор, в течение полгода с лишком, однокурсники Саши решительно не узнавали в нем прежнего, беззаботно-резвого товарища.

— Отойди,— выключат! — коротко говаривал он после этого случая каждому из своих сверстников, пристававших к нему с какою-нибудь шалостью.

А там подошел незаметно и шестой класс, в котором учеников уже не наказывали розгами, разве только случай выходил из ряда вон, а таких случаев с Светловым не бывало.

Но отчего же, спрашивается, он не учился как сле-

дует в гимназии? Ответить на это, как нам кажется, будет не особенно трудно. Саша сел на гимназическую скамью с бесчисленным множеством накопившихся у него в голове вопросов и сомнений, большая часть которых ожидала серьезного разрешения их строгою наукой. Ему смутно казалось, что в гимназии он найдет, наконец, ключ к уразумению этих сомнений, этих вопросов, но он ошибся: она наводила его только на новые, еще более запутанные догадки. Сухое, бездарное преподавание исключительно по обязанности, а не по любви к делу, не удовлетворяло живой, впечатлительной натуры Светлова. Когда наставник вяло спрашивал у него урок, Саше самому хотелось задать учителю тысячу вопросов. Если мальчик и осмеливался иногда предлагать их, то ему без церемонии отвечали обыкновенно, что это не относится к уроку,— и он опять уходил в самого себя, неудовлетворенный, глубоко обиженный в самом естественном праве своего возраста. Будучи вообще очень развитым мальчиком, развитее всех остальных товарищей, за исключением разве только Ельникова, Саша видел в то же время, что учителя относятся к нему как-то свысока, а некоторые даже и совсем пренебрежительно ввиду его мнимой лености. Часто какой-нибудь полуидиот, но усердный зубрила, стоял у них на первом плане и ставился в пример ему, Светлову. Он хорошо сознавал подобную несправедливость и мало-помалу стал и сам относиться к учителям насмешливо. Это и было главной причиной того нахальства, с каким вел себя Саша на экзаменах, просто из одного самолюбия не желая подготовляться к ним: ему хотелось показать учителям, что он не дорожит их мнением, не смущается их взглядами на него свысока. «Вы, дескать, думаете, что я болван,— так думайте же, черт вас дери! Я и без вас когда-нибудь выучусь»,— рассуждал Светлов и, по-своему, действительно прилежно учился: он постоянно и много читал, всякими неправдами доставая себе книги. В подтверждение всего высказанного нами относительно неуспехов Саши в гимназии красноречиво говорило то обстоятельство, что он очень ревностно занимался из двух предметов, читавшихся там и не так сухо, и с некоторой любовью к делу. Такими предметами были, как мы заметили выше, физика и словесность. Занимаясь последнею особенно усердно, мальчик постоянно обнаруживал большую страсть к

сочинительству. Учитель словесности, подметив в нем такую наклонность, старался поощрять ее сколько мог; правда, он и сам был не из далеких, но в данном случае совершенно добросовестно понял свою обязанность,— и Светлов отблагодарил его за это по-своему: никогда меньше пятерки не стояло у мальчика из его предмета.

Впрочем, с сочинительством у Саши было очень много горя. Василий Андреич и Ирина Васильевна уже и тогда почему-то упорно преследовали в нем авторские наклонности и, чтоб отучить своего первенца от сиденья по ночам за сочинениями, отбирали у него нередко бумагу, чернила и перья, а не то не давали ему свечи. Мальчик, разумеется, принужден был или доставать эти предметы у кого-нибудь из товарищей, или красть их у отца. Последнее обстоятельство, войдя мало-помалу в привычку, могло очень дурно отразиться впоследствии на характере Саши; но один непредвиденный случай вылечил его вовремя и раз навсегда от возможности подобной позорной привычки. Дело было таким образом: пришел однажды утром к Саше какой-то товарищ, которому до зарезу понадобился гривенник. Старших Светловых в то время не было дома, а сынок их знал, что медные деньги всегда и в большом количестве лежали у его отца на столе в холщовом мешочке. Желая услужить товарищу и вместе с тем избежать неприятного выговора за самовольство, мальчик решился взять оттуда тихонько десять копеек, но не заметил второпях, что в мешке на тот раз только всего и была эта сумма. Василий Андреич случайно спохватился вечером денег в присутствии Саши и, заметив на его лице внезапную краску, догадался в чем дело и прямо обратился к нему:

— Ты взял у меня медные деньги из кошелька? — спросил он строго у сына.

Саша еще больше покраснел и чистосердечно во всем признался.

— Как же тебе, братец, не стыдно воровать у отца?— серьезно, но мягко сказал Василий Андреич, терпеливо выслушав исповедь до крайности смущенного мальчика,— ведь это ты все равно, что у себя воруешь. Я для кого коплю? Для тебя же. Все вам останется. Ведь вон у меня кошель никогда, ты видишь, не запирается: бери, когда нужно, а воровать — стыдно! Ты — не прислуга, а этак и на нее, в другой раз, подумать можно.

Сашу как громом поразило. Он ждал бури, ругани,— это бы еще ничего; но мягкое слово отца навсегда запало ему и в голову и в сердце: оно точно ножом врезалось туда. Как достало мудрости Василья Андреича на такой глубокий и потому вряд ли не единственный в его воспитательной практике урок,— этого, вероятно, он и сам не сумел бы объяснить нам. Во всяком случае, происшествие с гривенником было последним детским случаем в жизни Саши. С тех пор ребенок умер в нем, и стал заметно формироваться юноша. Юность свою он отпраздновал первою любовью, восторженно и пышно, как немногие. Мы именно и коснемся теперь этой нежной струны, трепет и звуки которой пробудили во всем существе его долго дремавшие силы, дав им спасительный толчок и определенное, стройное направление...

Притихнувший на время, от острастки директора, резвый Светлов с шестого класса опять было развернулся по-прежнему, но не надолго: на него напала вдруг какая-то задумчивость, рассеянность, даже несообщительность. Это продолжалось по крайней мере недели три и, наконец, в одно прекрасное утро, он явился в гимназию таким сияющим, таким щеголеватым, остроумным, что Ельников просто голову потерял от догадок насчет состояния своего любимца. Дело, однако ж, не замедлило объясниться. В тот же день вечером, когда товарищи пошли вместе гулять по приглашению юного Светлова, последний, задыхаясь, признался Анемподисту Михайловичу, что влюблен до безумия и любим взаимно. Ельников, смотревший в то время на жизнь совершенно по-монашески, принял это известие весьма неодобрительно и всю дорогу ворчал, убеждаясь с каждой новой подробностью повествования своего друга, что дело его пока непоправимо, очень серьезно, а главное — так далеко зашло, что отступить без явного позора было невозможно. В заключение прогулки Ельников выругал Светлова «женоугодником»; сказал, что подарит ему в именины розовый галстучек, но расстались товарищи дружно, с улыбками: они уважали друг в друге самостоятельность.

А влюбился наш юноша в одну девушку, известную в то время чуть ли не всему Ушаковску под вульгарным именем «Христинки». Она вела себя чрезвычайно

эксцентрично и пользовалась в городе весьма незавидной репутацией, не удостоиваемая быть принятой ни в один так называемый «порядочный дом». «Христинка» была дочь одного из декабристов, живших на поселении в Ушаковске. Светлов познакомился с ней случайно и довольно оригинально.

Раз, под вечер, он катался, по обыкновению, один в отцовском кабриолете по набережной. Когда юноша остановился на минуту, чтоб полюбоваться заречным видом при заходящем солнце, к нему подошла вдруг незнакомая, стройная и нарядно одетая девушка лет восемнадцати и, опершись рукой о крыло кабриолета, весело сказала:

— Подвезите меня, милый гимназистик, домой.

Светлов хоть и был действительно в гимназической форме, но его почему-то весьма неприятно кольнуло прозвище «гимназистик». Он, однако, подвинулся и дал незнакомке место возле себя, в кабриолете.

— Куда вас довезти? — спросил у нее несколько смущенно юноша, когда она уселась.

— Покатайте меня прежде немного, если дома вас за это не забранят,— сказала ласково-насмешливо девушка, обратив к импровизированному кавалеру свое лукавое личико,— а потом я вам скажу, куда ехать. Мне прокатиться хочется.

Светлов молча повез ее, выбирая улицы подальше от дому и частенько заглядываясь дорогой на свою спутницу. Она была красавица в полном смысле этого слова.

— Как же вы это решились попросить меня... подвезти вас? — надумался спросить у нее Светлов, когда они сделали вместе порядочный конец, а сам он между тем свыкся понемногу с присутствием неожиданной подруги.

— Вот забавно — как! Да с чего же мне вас бояться было? вы разве кусаетесь? — спросила, в свою очередь, и она, улыбнувшись.

— Да ведь не все же бояться только того, что кусается... Другая бы не решилась попросить...

— А чего же еще бояться? — лукаво полюбопытствовала девушка.

Светлов сконфузился.

— Мало ли чего...— тихо сказал он.

— Однако ж? Например? — приставала незнакомка, смотря ему пристально в глаза и обдавая его каким-то обаянием от всей своей стройной фигуры.

— Мужчины часто делают дерзости женщинам...— решился выговорить юноша и покраснел.

— А! Ну так то ведь мужчины...

— Да и я мужчина,— сказал Светлов, опять весь вспыхнув почему-то.

— Какой же вы еще мужчина? — звонко захохотала она,— вы вон даже мимо своего дома, кажется, боитесь проехать со мной... а?

— А вы почем знаете, где я живу?

— Да я не знаю, я так только думаю: ведь вы бы, верно, показали мне ваш дом, если б мы проезжали мимо,— слукавила она.

— Так поедемте же; я сейчас покажу вам, где я живу,— досадливо оправился Светлов, решительно поворачивая лошадь в противоположную сторону.

— Да ведь вам достанется потом от родных? Лучше уж поезжайте, куда ехали,— попыталась она остановить его насмешливо.

Но Светлов не изменил направления.

— Если и достанется, так это не ваше дело,— сказал он только с горечью в голосе.— Вот где я живу: вон в том флигеле,— указал он ей немного погодя.

— А это кто? не знаете? — спросила вдруг незнакомка, кивнув головой на выходившую в ту минуту из ворот Ирину Васильевну, которую сын как-то не заметил сперва.

Сердце так и ёкнуло у юноши при взгляде на пристально смотревшую на него, в свою очередь, мать.

— Это... моя мамаша...— выговорил он тихо, стараясь смотреть вдаль, и погнал лошадь.

— Что? попались? Не храбритесь вперед! — заметила ему спутница, весело смеясь.

— С чего это вы выдумали, что я испугался? — спросил Светлов, краснея.

— Я видела, как вы побледнели вдруг. Но когда-нибудь, молчите, я вас поцелую за такую храбрость...— засмеялась она, с умыслом выразив свою мысль полунамеком.

— Не стоит вас катать! — рассердился и вместе сконфузился юноша.

— Ну так остановитесь: я пешком дойду,— сказала она будто серьезно, дотрагиваясь рукой до вожжей.

— Так не пущу же вот нарочно! — вспыхнул Светлов и пуще прежнего погнал лошадь.

— Куда же это вы меня мчите так? — спросила через минуту незнакомка, видя, что спутник ее правит к заставе.

— Я вас в деревню увезу... — постращал он ее.

— И молоком угостите, не правда ли? Да это будет премило с вашей стороны! — заметила она, весело посматривая на замелькавшие по сторонам дороги первые загородные домики.

Но юноша проехал с версту и повернул назад.

— Молочка пожалели? — насмешливо спросила она у него.

— Нет,— вас пожалел! — получился сердитый ответ.

— Или, еще больше, себя,— засмеялась она.

Светлов промолчал, но и сам улыбнулся чему-то.

Долго еще катались они в этот вечер, точно таким же образом ссорясь и мирясь поминутно. Наконец, кабриолет, по указанию девушки, остановился у ворот хорошенького домика в три окна.

— Если вам когда-нибудь вздумается опять покатать меня,— ласково обратилась к Светлову его спутница, дружески пожимая ему руку,— приезжайте сюда. Спросите только Христину Казимировну Жилинскую. Да у мамаши своей не забудьте спросить позволения,— засмеялась она и грациозно скрылась за калиткой.

Встреча эта произвела на юношу чарующее впечатление. Как ни велики были те неприятности, которые, по ее поводу, обрушились на него в тот же вечер дома, но даже и они не имели достаточно веса, чтоб хоть сколько-нибудь ослабить силу его девственного восторга. Впрочем, Светлову удалось благополучно отделаться на первый раз от домашних: они в конце концов поверили ему, что «Христинка» встретилась с ним случайно и сама напросилась подвезти ее домой. Но Ирина Васильевна все-таки тут же предупредила сына, что это «известная развратница» и что «связаться с ней — значит погибнуть без возврата». Светлов слыхал нечто подобное от кого-то и прежде, но при замечании матери у него невольно мелькнула улыбка на лице, и ему вдруг пришли почему-то на ум и нос Кегеля и ноздри Бахирева. Как бы там ни было,

юноша всю ночь промечтал о Жилинской, а дня через два после того кабриолет его снова и как бы невольно остановился у ворот ее квартиры. В это посещение Христина Казимировна познакомила Светлова с своим отцом, напоила их обоих чаем, и затем юная парочка опять поехала кататься; только кабриолет их не проезжал уже в тот вечер мимо очень знакомых ему мест в центре города, а придерживался больше окраин. С тех пор такие прогулки вдвоем стали повторяться все чаще и чаще, и как шила в мешке не утаишь, то, разумеется, не утаились и они от зорких глаз стариков Светловых. Целая буря поднялась дома против Саши: его бранили, стыдили, ему угрожали, даже отняли у него кабриолет; но ничто не помогало: с семи часов вечера он исчезал из дома и возвращался домой только после одиннадцати, а иногда и позже. Не только домашние, но и вся светловская родня обрушилась на него с своим гневом по поводу такого «неслыханного поведения» со стороны «мальчика». Она — эта родня — стала посматривать теперь на Сашу, подозрительно качая головой, не то как на помешанного, не то как на невиданного заморского зверька. Ирина Васильевна несколько раз пробовала вставать до свету и вспрыскивать сына святой водой с креста, образок какой-то зашила ему в жилет, но увы! даже и эти универсальные, по ее мнению, средства не помогали.

— Вздурел у нас Санька, совсем вздурел! — растерянно шептала она родственникам и только безнадежно разводила руками.— И ведь как приколдовала-то она его, чертовка этакая! Раз папа как-то выругал ее за глаза, беспутную, так ведь наш-то чуть с ножом не полез на отца! Совсем парень одурел!

А между тем виновник всей этой бури даже и не подозревал за собой такого несчастия. Он, правда, стал теперь, по-видимому, учиться еще хуже; но в действительности успехи его росли с каждым днем. Вращаясь в избранном кружке знакомых Жилинского, из которых все до единого были политические преступники, юный Светлов, даже и не спрашивая, то и дело получал здесь ответы на мучившие его вопросы. Ответы эти были всегда серьезны, строги, иногда ужасали его своей бесцеремонной резкостью, но тем не менее, они казались ему вполне удовлетворительными ответами, т. е. такими, каких давно жаждал его практически настроенный ум. В кружке

Жилинского, в какие-нибудь три месяца, юноша гораздо более умственно вырос, чем во все свое семилетнее пребывание в гимназии. Между прочим, Светлов выучился здесь по-польски, познакомился в оригинале с Мицкевичем, Красинским[1], Лелевелем[2]... Он в это время даже не мог бы сказать положительно, что для него дороже теперь: сама ли Христина Казимировна, или кружок ее отца? Ужас стариков Светловых относительно нравственности «Христинки» тоже не имел никакого серьезного основания: она была честная девушка, только эксцентричная в высшей степени. Светлова Жилинская полюбила исподволь, незаметно для самой себя, и притом полюбила его самой чистой, первой девической любовью. Влюбленные, правда, уже и теперь открыто говорили «ты» друг другу, но в их отношениях, даже и наедине, не было и тени той короткости, после которой остается только «погибнуть без возврата», по выражению Ирины Васильевны. Несмотря на свою эксцентричность и шаловливость, Христина Казимировна с величайшим тактом пользовалась широкой свободой, предоставленной ей отцом. Он все видел, все знал — и к обоим относился как нельзя радушнее, не подавая ни малейшего вида, что угадывает между ними любовь под оболочкой пленительной дружбы. «Уж это их дело, а не мое»,— основательно думал закаленный борьбою старик.

Между тем подошли и выпускные экзамены. Светлов, в последнее время почти не бравший в руки учебных книг, провалился, разумеется, на всех предметах, за исключением физики и словесности. Из последней он ухитрился-таки и на этот раз получить пятерку, да еще и с плюсом.

— Опозорил ты совсем наши седые головы! — мрачно сказал Василий Андреич сыну, когда обнаружился результат экзаменов.— Теперь хошь десять лет еще сиди в седьмом классе, а аттестат мне подай!

— Я не останусь больше в гимназии, нынче же выйду со свидетельством,— возразил твердо сын.

---

[1] Красинский Зыгмунт (1812—1859) — польский поэт, в ряде произведений которого («Небожественная комедия», 1835) критически изображалось отживающее дворянское общество.

[2] Лелевель Иоахим (1786—1861) — выдающийся польский историк и прогрессивный общественный деятель, участник польского освободительного восстания 1830—1831 годов.

— Вы-ый-дешь? Что же так? — насмешливо и вместе подозрительно осведомился старик.

— Чтоб не позорить вас больше,— ответил еще тверже юноша, слегка покраснев.

И он, действительно, настоял на своем: вышел из заведения, как только начался новый учебный год.

— Что же вы, Светлов, намерены делать теперь с собой? — спросил у него директор гимназии, выдав ему свидетельство.

— Поеду в Петербург, в университет,— развязно ответил тот, хотя дома у него не было пока и помину об этом предмете.

— Не кончивши курса? — удивился директор.

— Я выдержу экзамен в Петербурге,— еще развязнее пояснил юноша.

— Что же вы здесь-то думали?

— Здесь преподавать не умеют,— брякнул Светлов.

Директор смерил его глазами с ног до головы.

— Вы думаете? — насмешливо спросил он.— Жаль! Вы, кажется, способный мальчик...

Директор сделал резкое ударение на последнем слове.

— Был когда-то мальчиком, но не считался способным между неспособными учителями,— вспыхнул Светлов.

Почтенный педагог широко открыл глаза, точно перед ним стояло теперь совершенно другое лицо, а не то, которое он ежедневно видел в течение семи лет.

— Во всяком случае,— желаю вам успеха! — сказал директор, значительно изменив тон, и на прощанье вежливо подал руку бывшему ученику.

На вопросы товарищей и знакомых о дальнейших намерениях Светлова он тоже отвечал всем, что едет в Петербург, так что вскоре и посторонние лица в городе, знавшие Светловых, стали поговаривать, что те отправляют недоучившегося сына в столичный университет. Только сами старики ничего не знали об этом.

— Когда вы сынка-то отправляете? — спросила раз, в это время, Ирину Васильевну одна знакомая ей попадья, встретив ее где-то у всенощной.

— Никуда мы его не отправляем, а вот службу ему с отцом приискиваем,— ответила та простодушно и почти обидчиво.

— Да я уж от скольких слышала, что вы Сашеньку в Петербург, в неверситет отправляете,— сказала недоверчиво попадья.

— Кому, матушка, охота говорить пустяки, так и пусть говорят, а мы тут с отцом ни при чем,— с очевидным уже неудовольствием заметила Ирина Васильевна и положила земной поклон.

«И какая же скрытная эта Светлиха! Да ведь мне у нее не воровать сына-то сорванца...» — язвительно подумала попадья и тоже усердно принялась молиться.

Те же слухи и так же стороной дошли и до Василья Андреича.

— Это он что же, нарочно, что ли, насмех нам рассказывает везде? — посоветовался старик с женой.

— Допроси-ка ты его хорошенько, да пристращай, отец, а то ведь этак парень-то и совсем пропадет у нас,— посоветовала Ирина Васильевна.

Виновника этих переговоров в тот же вечер потянули к допросу.

— Ты что еще выдумаешь, балбес? По всему городу ходишь — трезвонишь, что мы тебя в Петербург отправляем...— обратился к нему старик, насупив брови.

— Я нигде не говорил, что *вы* меня отправляете, а *я сам,* действительно, собираюсь в Петербург; хочу в университет поступить,— сказал твердо юноша.

— На вшах, что ли, ты поедешь-то? — едко заметила ему мать.

— Как придется, мама, так и поеду,— тихо и мягко ответил ей сын.

— Ну, так ты так у меня и знай после этого: я тебя, шельму, в солдаты отдам, только ты у меня об этом заикнись! — вышел из терпения Василий Андреич и грозно постучал кулаком по столу.

Юноша побледнел, но молча удалился из отцовского кабинета. Бо́льшую половину ночи он беспокойно проходил из угла в угол по своей комнатке, серьезно и упорно надумываясь о чем-то. Незадолго перед рассветом у него появилось вдруг точно такое же выражение, какое замечалось иногда на детском лице Саши, когда ему удавалось что-нибудь смекнуть. Юный Светлов спокойно уснул после этого.

Объясняя всем и каждому, что едет в Петербург, юноша отнюдь не рисовался, не выдумывал. Дело в

том, что когда в нем раз пробуждалось какое-нибудь горячее желание, он уже относился к нему, как к делу решенному, не задумываясь о средствах. То же самое было и теперь. Если он до сих пор и не говорил ничего об этом своим старикам, то поступал так единственно потому, что очень хорошо знал, что они его ни за что в Петербург не пустят, и, таким образом, решительное объяснение с ними откладывал до того времени, когда все будет готово к отъезду. Впрочем, юный Светлов, по обыкновению, и сам не знал еще, как это устроится. Но теперь, после объяснения со стариками, ему пришла в голову оригинальная мысль — попытаться устроить все так, чтоб они сами его отправили. Как ни больно было юноше расставаться с своей первой, дорогой привязанностью, но страстное желание учиться в университете, навеянное на него кружком Жилинского, пересилило в нем все другие чувства. «Только в столице человек может как следует образовать себя и развиться»,— слышалось часто в этом кружке. Христина Казимировна знала о серьезном намерении Светлова уехать, ей тоже было больно, не меньше его, расстаться с ним, но тем не менее она решительно и твердо сказала ему по этому поводу:

— Поезжай, Саша. Что бы ни случилось с нашей любовью,— поезжай: есть на свете такие вещи, на которые никакая любовь посягать не в праве...

— Да,— подтвердил от своего имени и Жилинский.— И ты бы не была моей дочерью, если б посоветовала ему что-нибудь другое,— горячо целуя ее, прибавил с величественным достоинством старик.

Таким образом, между ними это было решенное дело, и юноша поспешил привести в исполнение свою оригинальную мысль. Он начал с того, что стал открыто появляться везде с Жилинской, точно хвастаясь близостью своих отношений к ней. Христина Казимировна отлично помогала ему в этом, зная его план и стараясь вести себя с ним, как невеста. Светлов, кроме того, сделал привычку все реже бывать дома, уходил иногда оттуда очень поздно ночью, а возвращался только на заре, с очевидными признаками ночного разгула, точно преступную связь завел. В действительности же он очень скромно проводил это время у Жилинских, но нарочно не спал там, чтоб показаться дома как мож-

но в беспорядочном виде. А родня его между тем только ахала, пожимала плечами да руками разводила: «Уж лучше вы его, не то, отправьте: может, он остепенится, забудет Христинку-то»,— советовала она Светловым. Как утопающий хватается за соломинку, ухватились за эту мысль старики, когда у них, наконец, «терпения уж не стало», по выражению Ирины Васильевны. И вот ее первенец опять был потребован к допросу, в кабинет отца.

— Что же ты... докуда же ты будешь так шляться? — спросил у него Василий Андреич, и никогда еще брови не хмурились так у старика, как в эту минуту.

Сын молчал.

— Я *тебя* спрашиваю! — грозно повторил старик.

— Тут на него и столбняк найдет, а как с подлой Христинкой по ночам таскаться, так это его дело! — раздраженно вмешалась Ирина Васильевна.

Сын побледнел, потом вспыхнул, опять побледнел, но все-таки молчал.

— Так ты еще и говорить с отцом не хочешь, шельма ты этакая! — побагровел, в свою очередь, старик.— Уж ты не жениться ли на этой поганой твари думаешь? — продолжал он, все больше выходя из себя и задыхаясь, и поднес кулак к лицу сына.— Ты знаешь, что я могу из тебя сделать... шельма!

— Порки хорошей в полиции, что ли, ты, батюшка, ждешь? — снова вмешалась Ирина Васильевна.

У юного Светлова так и засверкали глаза. Холодный, нехороший огонь блеснул в них, и все-таки он промолчал и на этот раз.

— Вон отсюда!.. подлец!! — прохрипел Василий Андреич, совершенно побагровев от злости.— Чтоб завтра же ты у меня был готов в дорогу!.. чтоб духу твоего не было!.. Слышишь?! — крикнул он изо всей мочи сыну, даже не замечая, что того уже не было в комнате.

Дней через десять после этой сцены почтовая тройка уносила юного Светлова вперед по московскому тракту. За ней, до второй станции, следовала другая такая же тройка с стариком Жилинским и его дочерью. У Христины Казимировны от слез были совсем красные глаза. До позднего вечера простояли обе тройки на этой станции, и только перед светом одна из них, не торо-

пясь, вернулась в город, а другая лихорадочно понеслась вперед, то уныло, то звонко побрякивая колокольчиками и тревожа ими чуткое на рассвете деревенское ухо...

IV

ПОЛКОВНИЦА РЯБКОВА

Ровно через два месяца после того, как Александр Васильич скромно отпраздновал у себя, втроем, близкое осуществление одной из своих задушевных мыслей, а именно: в первых числах сентября он получил, наконец, разрешение открыть бесплатную школу для мальчиков и девочек и при ней воскресные вечерние уроки для чернорабочих обоего пола. Это причинило молодому человеку много хлопот и не обошлось без содействия той «веской» петербургской руки, о которой он намекнул в известный вечер Варгунину.

Особенно немалого труда стоило Светлову уломать своих стариков переехать в большой дом; но в течение двух предшествовавших месяцев он исподволь, то шутками, то серьезными доводами, успел-таки победить их упрямство.

В большом доме Светловых вот уже два года с лишком квартировало семейство некоего полковника Рябкова. Сам Рябков — выживший из ума старик — принадлежал, по своему общественному положению, к местной аристократии, а его молоденькая жена пользовалась особенным расположением представителя местной власти; злые языки уверяли даже, что единственная пятилетняя дочь этой милой дамы имела поразительное сходство с ним. Старики Светловы тем именно и мотивировали свое первоначальное несогласие на просьбу сына, что им «неловко отказать ни с того ни с сего таким почтенным и столько лет квартирующим жильцам». Теперь, когда дело останавливалось только из-за подобной неловкости и когда пятиться от своих слов уже не приходилось, Василий Андреич решительно объявил сыну:

— Пускай к ним мать идет: дом ее,— она и распорядительница; а я, парень, ни за что не пойду срамиться, уж как ты там хошь!

Но Ирина Васильевна, услыхав такой отзыв мужа, наотрез объявила ему, в свою очередь:

— Да ладно, батюшка! чего выдумал еще: тебе стыдно, а другим небось — нет. Ни за что я не пойду... Пускай Санька и идет сам, коли ему так приспичило!

— Да я, мама, и не отказываюсь идти,— сказал спокойно Александр Васильич, выслушав мнение стариков,— только я думал, что это удобнее было бы сделать вам...

— Сам, батюшка, заварил кашу — сам и расхлебывай ее, как знаешь,— заметила ему мать.

— Я же, кстати, охотник до каши,— весело ответил молодой Светлов и стал одеваться.

Разговор этот происходил в его комнате, часов в десять утра, на другой день после того, как получилось разрешение на открытие школы.

— Да ты и в самом деле, что ли, идешь, парень? — нахмурившись, осведомился Василий Андреич у сына, когда тот надел сюртук.

— Сейчас же, папа.

— Ужо вот тебе Рябков-то покажет!..— постращала Ирина Васильевна своего первенца.

— Только бы что-нибудь новенькое показал, а уж я с удовольствием посмотрю,— засмеялся Александр Васильич.

— Вот и толкуй с ним, прости господи, как Захар с пьяной бабой! — обратилась старушка к мужу и не могла удержаться от улыбки.

— Пу-у-скай его идет! — безнадежно махнул рукой Василий Андреич и ушел.

Минут десять спустя молодой Светлов звонил уже у подъезда большого дома. Александр Васильич не был еще знаком с Рябковыми, только раза два видел их где-то мельком. Впрочем, и его старики особенного знакомства с ними не водили, а разменивались обыкновенно чопорными визитами в рождество и пасху.

На звонок Светлова к нему вышла востроносая, чрезвычайно вертлявая молоденькая горничная, кокетливо одетая, и с лукавой ужимкой объявила, что «полковник теперь на службе, а полковница — у себя». Александр Васильич попросил доложить о нем хозяйке и, раздевшись в передней, прошел в залу.

Рябкова, питавшая большую наклонность к «моло-

дым людям хорошего тона», уже давно интересовалась приезжим сыном своих квартирных хозяев, даже сердилась, что он до сих пор не делал ей визита, и потому, когда горничная назвала ей гостя, «полковница» вся встрепенулась, торопливо приказала просить его обождать минуту, а сама принялась одеваться, беспрестанно оглядывая себя в зеркале.

— Наконец-то, monsieur Светлов! — с каким-то веселым торжеством сказала она гостю, выходя к нему минут через десять, чрезвычайно нарядная, и кокетливо прищуривая левый глаз; на правый — «полковница» немного косила.

Александр Васильич сухо, но вежливо пожал торопливо протянутую ему сдобную белую руку, блиставшую множеством перстней на безымянном пальце.

— Soyez le bien venu![1] — повела его за собой Рябкова в гостиную.

Она расположилась там на диване, а Светлова пригласила рукой сесть возле себя, но тот предпочел почему-то поместиться напротив ее, в кресле.

— Mieux tard que jamais[2],— любезно проговорила, снова прищуриваясь, Рябкова, когда они уселись, и при этом она поправила платье так, что из-под его оборки выставилась щегольская ботинка и слегка обнажился белый, как снег, чулок.— Впрочем, я уверена, что вам просто хотелось пококетничать немного... N'est ce pas?[3]

— Извините меня, но я не понимаю, о чем вы говорите,— заметил ей очень серьезно Александр Васильич.

— О-о-о, какой вы опасный человек! — лукаво погрозила она ему пальцем,— сейчас видно, что только что из столицы.

— Но я все-таки, сударыня...— начал было нетерпеливо Светлов.

— Сударыня! — передразнила его с забавной гримаской хозяйка, не дав ему договорить.— Ах какой несносный! Mettez-vous donc ici á côté de moi,[4] — заключила она, слегка отодвигаясь и снова указывая ему место возле себя на диване.

— Благодарю вас, мне очень удобно здесь,— сказал

---

[1] Добро пожаловать! *(франц.)*.
[2] Лучше поздно, чем никогда *(франц.)*.
[3] Не так ли? *(франц.)*.
[4] Садитесь же рядом со мной *(франц.)*.

Александр Васильич с заметной досадой в голосе и так выразительно оглянул Рябкову, что та даже сконфузилась немного.

— Нет, в самом деле, monsieur Светлов, отчего вы так долго не хотели навестить нас? — спросила она, значительно изменив тон.

— Ах, вот о чем вы говорите. Но я, признаюсь, и теперь не совсем вас понимаю: разве на мне лежала в этом отношении какая-нибудь обязанность? — невозмутимо осведомился Александр Васильич.

— Обязанность! — повторила она, гримасничая,— кто же говорит об обязанности... фи!

— Но вы именно так принимаете меня, как будто я в чем-то согрешил перед вами,— заметил Светлов.

— Согрешил! — опять повторила хозяйка, с новой кокетливой гримаской.— Разумеется, согрешили: всякий молодой человек хорошего тона грешит, лишая других удовольствия своего общества.

— А вы очень уверены, что я — «молодой человек хорошего тона»? — спросил Александр Васильич; которому почему-то в настоящую минуту захотелось побесить эту провинциальную львицу.

— Иначе, я полагаю, я не имела бы чести принимать вас теперь у себя,— величаво пояснила Рябкова с очевидной досадой и недружелюбно покосилась на гостя.

— В таком случае, позвольте извиниться, что я не предупредил вас с первого шага: я к вам по делу,— сказал Светлов.

— По де-е-лу! — растянула она, снова передразнив его.— Как это мило, однако, сказано! А так, из вежливости, вы бы и не наведались к нам?

— Согласитесь, что если б только существовал подобный закон вежливости,— мне бы пришлось объехать весь город...

— Зачем же непременно «весь город», monsieur Светлов? Я полагаю, прежде к тем, кто ближе,— еще с большей досадой заметила хозяйка.

— Я так и сделал: побывал с приезда у всех своих родственников и друзей,— ответил спокойно Александр Васильич, как будто не замечая ее раздражения.

— Вы меня не поняли: я хотела сказать, что мы, кажется, на одном дворе живем с вами...

— Виноват! — сказал Светлов,— но эта оплошность

не столько зависела от меня, сколько от привычки: в Петербурге — в одном доме сотни жильцов.

— О-о-о, как надо с вами осторожно!..— опять погрозила ему пальцем Рябкова, смягчаясь почему-то.— А я, должна признаться, так желала вас видеть и познакомиться...

— Согласитесь, я не мог этого знать. Отчего же, в таком случае, вы сами не зашли к нам? — спросил Александр Васильич, придавая наивнейшее выражение своему вопросу,— матушка говорила мне, что вы знакомы.

— Фи-и!.. monsieur Светлов!! — покачала она головой, вся вспыхнув,— я не делаю визитов к молодым людям...

— Ну вот видите, мы совершенно расходимся во взглядах,— заметил лукаво Александр Васильич,— не думаю, чтоб подобное знакомство могло доставить вам какое-нибудь удовольствие.

— Ah, mon dieu! Au contraire...—защебетала хозяйка,— я сама большая охотница до всего оригинального; c'est le défaut de presque tous les jeunes gehs. Je vous assure...[1]

— Извините, я не говорю по-французски,— резко остановил ее Светлов.

— Вы... не говорите по-французски?! Не верю, не верю! — вскричала Рябкова, делая большие глаза, и грациозно замахала руками, обнажив их чуть не до локтя.

— По крайней мере без нужды,— подтвердил Александр Васильич.— Мне кажется, на родном языке мы гораздо лучше поймем друг друга. Впрочем, виноват!.. вы, может быть, француженка? — поспешил он добавить с тонкой иронией в голосе.

— Ах нет, я русская...— сконфузилась она,— но это так принято в порядочном обществе.

— Ну вот видите: ясно, что я не принадлежу к «порядочному» обществу,— рассмеялся Светлов, сделав особенное ударение на предпоследнем слове.

— Ах... вы совсем меня не поняли...— засмеялась и еще более сконфузилась Рябкова.

Ей показалось, что гость обиделся.

---

[1] Ах, боже мой! Напротив... это недостаток почти всех молодых людей. Уверяю вас... (*франц.*).

— Напротив, мне кажется, я совершенно вас понял,— сказал Александр Васильич холодно,— каждый имеет право называть порядочным только то, что ему представляется таким.

— О-о-о, какой вы!..

Она опять погрозила ему пальцем, но на этот раз, кажется, исключительно потому, что уж очень была смущена оборотом их разговора.

— Позвольте мне теперь прямо перейти к тому делу, по которому я побеспокоил вас,— молвил вежливо Светлов, пользуясь минутой смущения хозяйки.— Собственно, мне следовало бы обратиться за этим к вашему мужу; но так как его нет дома...

— Да, да, monsieur Светлов, с делами, пожалуйста, к мужу,— бойко перебила его Рябкова,— я ничего не смыслю в делах. Полковник через час воротится, а до тех пор я считаю вас исключительно *моим* гостем...

— Очень вам благодарен; но мое дело не сложно,— заметил Александр Васильич, вставая,— я уверен, вы так же хорошо его поймете, как и ваш муж. Отец поручил мне извиниться перед вами и просить вас приискать для себя другую квартиру.

— Не предупредивши нас об этом заранее? — запальчиво спросила «полковница» — и величественно поднялась с места.

— Вот именно он и поручил мне предупредить вас.

— Но... но я не понимаю, как же это так... вдруг? Я полагаю, мы не подали никакого повода вашему отцу...

— О совершенно, совершенно никакого! — поспешил подтвердить Светлов,— напротив, он даже уполномочил меня передать вам, что не желал бы иметь лучших жильцов, так что в этом отношении...

— Так я не понимаю после этого ни вашего дела, ни вашего отца,— перебила нетерпеливо Рябкова.

— Дело очень просто: мы хотим переселиться сами в большой дом.

— Разве ваш батюшка получил наследство? — спросила хозяйка больше раздражительно, чем насмешливо.

Александр Васильич вспыхнул.

— Отец мой всегда рассчитывает только на свою трудовую собственность, которою и распоряжается по своему усмотрению,— сказал он едко,— но я надеюсь,

он будет очень рад дожить до той минуты,— если *вы* имеете в виду какое-нибудь наследство,— когда и у вас будет своя недвижимая собственность.

— Вы, кажется, забываетесь, monsieur Светлов!

Она горделиво окинула его глазами.

— Ровно настолько, насколько позволили себе это вы,— сухо подтвердил Светлов.

Рябкова чуть не до крови прикусила нижнюю губу.

— Я скажу мужу,— ответила она, всеми силами стараясь казаться спокойной,— но не думаю, чтоб он это принял так легко...

— Как бы он ни принял, это до нашего семейства совершенно не касается. Мне, впрочем, очень жаль, что я, по-видимому, принес вам большую неприятность... что роль эта пала именно на меня... но...— Светлов пожал плечами.— Позвольте с вами раскланяться.

— Ах, боже мой! — бойко заговорила Рябкова, переменив вдруг тон и принудив себя улыбнуться,— да к чему же нам с вами так горячиться из-за пустяков? Поссорились немножко — и помиримся. Прошу вас, monsieur Светлов, будьте столько любезны, присядьте на минутку,— пропела она сиреной и опять приютилась на диване.

— К вашим услугам,— вежливо проговорил Александр Васильич и тоже присел на кресло.

— Дела — делами, знакомство — знакомством... не так ли? — начала она, обворожительно прищуривая на гостя левый глаз.— Вы меня не поняли: мне просто хотелось узнать,— мы ведь, женщины, ужасно как любопытны,— отчего ваши переходят в большой дом? Уж не выходит ли замуж Ольга Васильевна?

— Ох нет, совсем не потому. Вы напрасно не спросили у меня прямо о причине. Дело в том, что нам необходимо очистить флигель: я устраиваю в нем школу.

— Так значит, корень-то всего зла — вы? — спросила Рябкова с хитрой улыбкой и таким тоном, как будто этот вопрос совершенно успокаивал ее.

— Да, я... если школу можно назвать злом,— улыбнулся, в свою очередь, Светлов.

— Что это вам вздумалось, monsieur Светлов, брать на себя такую скуку, как школа? В ваши годы, при вашем образовании... помилуйте! да вам здесь, в городе, все открыто настежь, стоит только за...

— Извините меня,— не дал ей договорить Александр Васильич,— мы, кажется, опять касаемся такого пункта, что... что, я боюсь, не пришлось бы нам снова мириться.

— О! да вы настоящий дипломат, monsieur Светлов,— звонко засмеялась хозяйка.— Je gagerai tout ce que vous plaira[1],— наши дамы погибли...

— Разве вы предполагаете в скором времени какую-нибудь женскую эпидемию здесь? — невозмутимо осведомился у нее Светлов.

— Ах, какой несносный! — вскричала Рябкова, очевидно, приходя в восторг и кокетливо гримасничая.— Замолчите лучше или я даже и за себя не ручаюсь...

— Воля ваша, но я совершенно не понимаю, что вы хотите сказать,— молвил Александр Васильич, пожимая плечами.

— Он «не понимает»! Скажите! он «не понимает»,— кокетничала хозяйка.— Замолчите, замолчите! Я вам говорю, что даже за себя не ручаюсь...

— Если это, действительно, так опасно, как вы говорите, то мне остается только посоветовать вам... горчичник! — не выдержал Светлов и так безумно расхохотался, как только был способен.

Рябкова, по-видимому, не поняла его.

— Вы наш! Это решено: вы наш! — захохотала она, в свою очередь, грациозно махая руками и снова обнажая их почти до локтя.

Александр Васильич вдруг сделался серьезен.

— Вы очень веселая женщина,— сказал он, вставая,— и мне остается только пожалеть, что между нами такая разница во вкусах... Желаю вам... здоровья!

Светлов сухо поклонился и, не подавая ей руки, пошел к дверям в залу.

— Постойте... На что же вы опять так рассердились, monsieur Светлов? — остановила его Рябкова.

В эту минуту в соседней комнате послышался слабый детский плач и чей-то старушечий шепот.

— Я думаю, что мы уже достаточно поняли друг друга,— несколько боком повернулся к хозяйке Александр Васильич,— да и вас, кажется, призывают ваши

[1] Держу пари на что угодно *(франц.)*.

обязанности,— прибавил он колко и указал головой по направлению, откуда слышался детский плач.

— Ах, это моя дочь изволит там капризничать,— небрежно проговорила Рябкова, стараясь придать себе как можно больше мнимого аристократизма.— Но вы еще не сказали мне, какую вы школу устраиваете? для кого? Надеюсь, что для детей нашего круга?

— Напротив, для простонародья,— ответил ей вскользь молодой человек уже в зале, направляясь к передней.

— Удивляюсь, monsieur Светлов, вашей охоте возиться с мальчишками! — пожала она плечами, рисуясь.

— У меня будут учиться и взрослые,— также вскользь пояснил Александр Васильич, надевая в передней пальто.

— Мужики? Возиться с мужиками... фи-и! Вот уж не ожидала-то, monsieur Светлов, найти в вас такие... странные наклонности. Удивляюсь, удивляюсь!..— насмешливо говорила Рябкова, в то же время как-то смущенно потирая двумя пальцами правой руки левый мизинец.

— Чему же вы так удивляетесь? Иные мужики умеют вести себя, право, с гораздо бо́льшим тактом, чем некоторые из наших так называемых светских женщин,— холодно и опять вскользь заметил Светлов.

Он чуть-чуть поклонился хозяйке и, не дав ей опомниться, быстро исчез за дверями передней.

— Ско-о-ро, парень, слетал!..— встретил Василий Андреич сына на пороге прихожей флигеля.

— Уж тебя, Санька, Рябков-то не вытурил ли? — рассмеялась Ирина Васильевна, услыхавшая замечание мужа и тоже вышедшая к ним в прихожую.

— Только не он, а она,— заметил Александр Васильич, сбрасывая с себя пальто.— Ну уж и барыня!

— А что? — осведомился отец.

— Да это просто какая-то... мышеловка, только не для мышей, конечно, а для молодых людей мышиных свойств. Не успел я присесть, двух слов сказать, как она уж и на меня дверцы насторожила.

— Она, батюшка, вон каким почетом здесь пользуется,— заметила внушительно старушка.

— Немудрено; ведь в нашем светском кругу — чем легче женщина, тем и почета ей больше: такая всех понемножку приласкает,— сказал Александр Васильич, переступая порог своей комнаты.

— Ближе лежит — скорее достанешь,— сострил Василий Андреич, следуя за сыном,— вам, молодятнику, это-то и на руку, парень...

— Только не мне, папа. В моих глазах любая публичная женщина, доведенная путем холода и голода до разврата, имеет больше права на уважение, чем такая... художница, как госпожа Рябкова. Я не выношу подобных женщин; я их как-то с двух слов знаю, и меня всегда так и подмывает наговорить им дерзостей. Этих женщин постоянно окружает такая нравственная шваль, что порядочному человеку необходимо хоть раз дать почувствовать подобной особе, что она такое в сущности и какого обращения заслуживает,— ну, и я-таки, признаюсь, не поскупился!

— Ты уж, батюшка, и вправду не наговорил ли ей чего такого?..— с торопливым испугом спросила старушка.

Сын спохватился.

— Пустяки говорились, мама,— ответил он уклончиво.

Хотя этот ответ и успокоил Ирину Васильевну, но она не могла пропустить мимо ушей беспощадного приговора молодого человека и сочла долгом обидеться и заступиться за свою жилицу, высказав на ее счет несколько смягчительных соображений и сделав сыну выговор за легкомыслие.

— Просто модная дама,— заключила она.

— Деликатес!..— выразительно-иронически поддержал ее Василий Андреич.

Александр Васильич вкратце передал им сущность своего визита и ушел на урок. Старики остались в его комнате и долго еще советовались, как будет лучше поступить, если кто-нибудь из Рябковых пожалует к ним для переговоров; порешили, что уж отступать нельзя, «некрасиво», как выразился Василий Андреич.

Действительно, в тот же вечер во флигель явилась разодетая Рябкова, наговорила Ирине Васильевне, как ни в чем не бывало, кучу комплиментов насчет ее сына, очень чувствительно изобразила ей свою привязанность

к большому дому, как она к нему привыкла, как жаль ей будет оставить «таких славных хозяев»,— и вообще распустила самую тонкую дипломатию. Старики, однако, устояли, хотя для этого Ирине Васильевне пришлось даже солгать: она довольно тонко намекнула гостье, что школа-то тут, кажется, только для виду, а главное дело чуть ли не в будущей невестке.

Во всяком случае, молодой Светлов мог поздравить себя в это утро с новым успехом; но, несмотря на то, он весь день был очень хмур и точно недоволен собой. Пообедав, Александр Васильич сейчас же отправился из дому, читая себе дорогой такую нотацию:

«Стыдно вам, милостивый государь! Кто думает о том, о чем помышляете вы, тот должен вести себя сдержаннее, должен каждую минуту держать ухо востро. Ржавый гвоздь — все-таки гвоздь; он может при случае совсем некстати войти туда, где ему вовсе не следует быть. Советую вам быть в следующий раз скупее: не зажигать свеч, когда игра их не стоит. Полковница Рябкова, при всей своей легкости, кажется, не совсем глупа и может, пожалуй, захотеть доказать вам это; а враг всегда очень последовательно доказывает... Стыдно-с!»

Но Александр Васильич пока даже и представить себе не мог, какого врага действительно нажил он своему делу в этой «полковнице Рябковой»...

V

ПРОДУМАННОЕ И ПРОЧУВСТВОВАННОЕ

Лизавета Михайловна чувствовала себя в последнее время как бы окруженной каким-то сиянием: никогда еще не жилось ей так хорошо; по крайней мере она признавалась в этом самой себе в минуты одиночества, пытливо заглядывая в глубину своей души. Впрочем, теперь у ней такие минуты случались все реже и реже: из мертвого мира умных книг она незаметно перешла в живой мир умных людей, и чем чаще появлялись эти люди в ее гостиной, тем меньше оставалось у нее времени на беседу с глазу на глаз с собственными мыслями. Но Прозорова только выиграла от этого: книгам она не имела возможности задавать своих мучительных вопро-

сов, а если и задавала, то безответно; книги не могли ей сказать, что заключалось в них между строками, когда эти строки были не вполне ясны и давали только темные намеки. Живые люди, напротив, восполнили этот пробел ее самостоятельного развития; они смело отвечали на все, и потому им также смело можно было предложить всякий вопрос.

Первым из этих людей по влиянию был Светлов. Он, так сказать, стал ее руководителем, помимо своей и даже ее воли. Лизавета Михайловна чувствовала, как с каждым его уроком, с каждым шагом вперед ее детей, все шире и шире развертывается и ее собственный, с самого детства замкнутый, внутренний мир, с каким исполинским ростом зреют в ней самой понятия, заносимые учителем на юную умственную почву его учеников. Она замечала также и не мало удивлялась этому, что жизнь как будто получила для нее, с некоторого времени, совершенно новое значение. Мало того, Лизавета Михайловна ясно и даже с некоторым страхом увидела, что из души ее как будто бьют горячим ключом новые, неведомые ей самой, силы, готовые залить своим стремительным потоком все ее существование. Откуда взялись они, эти могучие силы? Таились ли они и прежде в глубоком роднике ее души и теперь только вызваны наружу или пришли к ней извне? На этот поглощавший ее вопрос она не могла ответить себе прямо; но что-то особенное, совершавшееся в ней в последние дни, как бы давало ей предчувствовать, что вырви из нее теперь эти силы — и жизнь ее угаснет, ни разу не вспыхнув, не осветив даже самой себя...

Вслед за Светловым в дом Лизаветы Михайловны незаметно вошел целый избранный кружок. Прежде других появился в ее семействе — Ельников. Анемподист Михайлыч сдержал свое обещание и, после двух-трех посещений Гриши, завернул к нему как-то вечерком. Мальчик, разумеется, сейчас же представил его матери. Ей достаточно было сказать, что это друг Александра Васильича, чтоб доктор нашел у нее самый радушный прием. Наружная суровость Ельникова не оттолкнула Прозоровой; напротив, добродушная грубоватость манер доктора как нельзя более расположила Лизавету Михайловну в его пользу,— у ней на это было удивительное чутье. Она сразу нашла, что Ельников и

несравненно глубже Любимова и гораздо искреннее его, несмотря на то, что Евгений Петрович казался самым откровенным человеком. Любимов завертывал к ним чуть не через день в течение года, и все-таки Лизавета Михайловна не помнила, чтоб она когда-нибудь заговорила с ним так задушевно, как сделала это в отношении Анемподиста Михайлыча в первый же вечер знакомства с ним. В свою очередь, Ельников, в ответ на приглашение хозяйки бывать у них чаще, тогда же объявил ей напрямик:

— Вы такая славная барыня, что теперь меня, пожалуй, и не выживешь из вашего дома.

И Светлов и Ельников столько раз и так тепло отзывались Лизавете Михайловне о Варгунине, что она и его пожелала видеть у себя. Матвей Николаич также расположил ее к себе сразу. Устраивая уроки Анюте Орловой, которая была достаточно уже подготовлена к ним, Александр Васильич встретил со стороны Прозоровой самое горячее сочувствие к этому делу. Хотя Лизавета Михайловна давно уже никуда не выезжала, она решилась сделать на этот раз исключение и съездила в два-три значительных дома, где пользовалась большим уважением и вниманием, несмотря на свою нелюдимость. Благодаря ее хлопотам Анюта получила хорошее место с тридцатью пятью рублями жалованья в месяц за четыре урока в неделю с двумя маленькими девочками. По этому случаю ей тоже пришлось познакомиться лично с Прозоровой и войти в ее тесный кружок, тем более, что Лизавета Михайловна, слыша от Светлова, как необходимо для его кузины влияние хорошего семейного дома, всеми силами постаралась вызвать ее на более или менее искренние отношения между ними. Прозоровой совершенно удалось это, и ее крытая пролетка, прежде так редко употреблявшаяся в дело, теперь частенько стояла у ворот знакомого нам ветхого помещения «тетки Орлихи», откуда и увозила обыкновенно свою хозяйку не иначе, как вдвоем с Анютой.

Таким образом Лизавета Михайловна очень скоро, и без особенных с ее стороны усилий, сделалась центром с весьма заметной притягательной силой. По очень верному замечанию Варгунина, нигде так хорошо не отдыхалось после трудов, как у нее за вечерним чаем. И действительно, редкий день не завертывал к ней вечерком

кто-нибудь из этих господ, а все вместе они встречались у нее по крайней мере раз в неделю. Как ни далеко жил Матвей Николаич, но и он не был на этот счет исключением.

— Вы меня, Лизавета Михайловна, в расход и в роскошь ввели,— пошутил он ей однажды,— прежде я исключительно рассчитывал на свои ноги, так как в город наведывался изредка, а теперь вот как повадился сюда ездить — совсем избаловался: как к вам, так и запрягай кобылку.

Любимов, прежде обыкновенно заезжавший к Прозоровой только по утрам и то, кажется, больше по обязанности, чем по личному влечению, теперь тоже сделался ее частым вечерним гостем. Дело в том, что Евгений Петрович, лакомый вообще до дам, не особенно был расположен к серьезным женщинам; он всегда предпочитал им более легкие, игривые женские натуры, в присутствии которых чувствовал себя как-то развязнее, находчивее, а главное — победа над ними была так же не трудна, как и отступление после победы. Любимов в этом отношении не любил слишком долго сосредоточивать своих чувств на одном предмете; с Прозоровой же нечего было даже и думать пускаться в обольстительную игру минутных страстей. Евгений Петрович и попробовал было раз отважиться на подобный шаг, но это так дорого обошлось ему, что он месяца полтора после того не смел показать глаз к Лизавете Михайловне и должен был сознаться, что только благодаря короткому знакомству и самому чистосердечному раскаянию удержал за собой дальнейшую практику в ее доме. Теперь же его, очевидно, привлекал туда сгруппировавшийся вокруг хозяйки умный кружок. Кружок этот, конечно, не мог похвастаться своей обширностью; но зато он был вполне содержателен и, в то же время, отличался совершенным отсутствием натянутости и всяких претензий; в нем даже застенчивая Анюта мало-помалу развернулась, видя и уразумев ту смелость, с какою высказывал здесь каждый свои, подчас причудливые, мнения, не боясь показаться смешным в глазах остальных. Исподволь, сперва робко, а потом все смелее и смелее, как и Лизавета Михайловна, Анюта и сама, наконец, стала незаметно вступать в горячие споры, так часто закипавшие здесь. В этом отношении, несмот-

ря на разницу лет и положений, между нею и Прозоровой было много общего: как та, так и другая развивались до того времени молча, про себя; как та, так и другая одинаково жаждали прямых ответов на мучившие их вопросы жизни. И они, действительно, подружились, как только им обеим стало ясно подобное сродство.

Но не одни эти обстоятельства производили впечатление того сияния, в каком, по мнению Лизаветы Михайловны, жила она в последнее время; ему — этому впечатлению — много способствовали полнейшее ее спокойствие и радость за детей: они учились превосходно; быстрое развитие их бросалось в глаза даже матери, следившей за ними изо дня в день. Мало того, Прозоровой пришлось, наконец, уже не поощрять, а скорее останавливать излишнее усердие девочек, с трудом отрывавшихся от своих уроков, так как они в последнее время, особенно Сашенька, заметно похудели. Гриша также не отставал от сестер; он, кроме того, успел уже прочесть едва ли не все, что заключалось в обоих чемоданах Ельникова на русском языке. С другой стороны, Владимирко, введенный понемногу братом в этот детский кружок, внес в него очень много оживления и служил, так сказать, противоядием его усидчивой деятельности; они вдвоем с Гришей даже устроили както во дворе Лизаветы Михайловны такой блестящий фейерверк для девочек, что потревожили им местную полицию, явившуюся к ним, в образе пожарного вестового, узнать в чем дело. Что же касается самого Александра Васильича, то он к этому времени успел настолько освоиться с своими учениками и вообще у них в доме, что там его никто уже и посторонним человеком не считал; даже горничная девушка Прозоровой докладывала о нем не иначе, как «наш барин». По общепринятому мнению, сближение подобного рода должно было бы подорвать в детях уважение к учителю, дать им возможность, как говорится, не ставить его ни во что; однако в настоящем случае ничего похожего на это не оказалось. Возьмем, например, хоть Гришу. Он был так дружен с учителем, что говорил ему «ты» и нисколько при нем не стеснялся; тем не менее, один незначительный, по-видимому, случай заставил мальчика быть очень осмотрительным в собственных проявлениях этой дружбы.

Однажды Александр Васильич рассказывал что-то Лизавете Михайловне об Ельникове и привел его слова, которые раньше слышал и Гриша; но мальчику, не совсем хорошо понявшему тогда их смысл, показалось, что Александр Васильич все переиначил.

— Ты врешь,— заметил он ему,— Анемподист Михайлыч не так сказал.

— Повторите, пожалуйста, Гриша: я не слыхал, что вы сказали,— обратился Светлов к мальчику и взглянул на него прямо, в упор.

Спокойный тон этих слов и не менее спокойное выражение взгляда Александра Васильича были, однако ж, таковы, что Гриша согласился бы лучше сквозь землю провалиться от внезапно обхватившего его непривычного чувства смущения, чем испытать на себе в другой раз их силу. Он покраснел весь и промолчал, но целый вечер потом боязливо поглядывал все в глаза учителю, как-то особенно ухаживал за ним и только тогда успокоился, когда Светлов опять стал говорить ему «ты».

Дело в том, что «общепринятое мнение» чаще всего является ошибочным уже по тому одному, что оно именно *принято,* т. е. взято обществом без проверки позднейшими опытами. «Общепринятое мнение» никак не может взять в толк, что большинство людей бывает красиво только в гостях да при посторонних, а дома, предоставленное исключительно самому себе и полной свободе, оно — это большинство — широко распоясывается, разоблачает во всех подробностях свою дрянненькую натуру и в таком виде, разумеется, не может быть почтенно даже в глазах его собственных комнатных собачек. Но есть исключения, есть люди, которые, в обширном смысле слова, и в гостях таковы же, как дома, или, лучше сказать, которые и дома ведут себя так же порядочно, как в гостях. Таких исключений, конечно, немного, но к таким-то именно людям принадлежал и Светлов: сколько бы кто ни сближался с ним,— его никогда нельзя было застать в нравственном dèshabillè [1]. А дети именно только тогда и теряют уважение к старшим, когда начинают беспрестанно наталкивать-

[1] Беспорядке (*франц.*).

ся в них на противоречия между словом и делом, между их праздничным и будничным видом...

В начале настоящей главы мы сказали, что в последнее время у Лизаветы Михайловны редко удавались минуты, когда она могла свободно беседовать с глазу на глаз с собственными мыслями. Тем не менее Прозорова еще с большей жадностью пользовалась этими редкими минутами. Теперь — быть может, благодаря их редкости — ее задумчивость проявлялась еще заметнее, была еще глубже, сосредоточеннее. Особенно это резко бросалось в глаза с самого утра того дня, когда Светлов так странно объяснился с госпожой Рябковой. Во время урока у Прозоровых Александр Васильич с первого же взгляда подметил на лице хозяйки какое-то напряженное выражение, как будто она все собирается спросить его о чем-то, и он должен был признаться, что никогда еще не видал ее более задумчивой и прекрасной. Когда Светлов уходил, она не оставляла его, по обыкновению, обедать у себя, а только сказала ему просто:

— Если у вас сегодня вечером нет *особенно важного* дела — приходите к нам: мне нужно посоветоваться с вами...

Но видно было по всему, что просьба ее очень серьезна.

И действительно, Лизавета Михайловна с лихорадочным нетерпением ждала вечера. Сейчас же после обеда она отправила Гришу к Ельникову с запиской, в которой просила Анемподиста Михайловича удержать мальчика у себя, если можно, на целый вечер. «Сегодня я не буду рада видеть вас у нас,— прибавляла она в конце,— а завтра — милости просим; кстати и объяснение этому получите». Проводив сына, Прозорова поехала с девочками к Анюте Орловой; она заказала перед тем горничной, если кто-нибудь зайдет к ним, то говорить всем, что «хозяйка не скоро вернется», Александра Васильича же просить «непременно дождаться» ее возвращения. Лизавета Михайловна просидела у Анюты с час времени, сказала, что попозже вечерком сама заедет за детьми, и уехала одна. Вернувшись домой и не застав у себя Светлова, Прозорова снова торопливо распорядилась, чтоб, кроме него, никого не принимали.

— Кто бы ни зашел — говорите: все уехали в гости,— раза два по крайней мере повторила она удивленной горничной.

Около семи часов вечера Лизавета Михайловна, сидевшая до того времени впотьмах, приказала подать свечи. Нетерпение хозяйки стало заметно усиливаться теперь с каждой минутой, а тени глубокой думы все гуще и гуще ложились на ее озабоченном лице; несколько раз она взволнованно принималась ходить взад и вперед по комнате, на минуту садилась, задумывалась и опять ходила. Раздавшийся в половине восьмого звонок в передней, как ни ждала его Прозорова, заставил ее вздрогнуть.

Вошел Светлов.

— Наконец-то!..— радостно протянула она ему обе руки,— а я уж думала, что вы не придете.

«Какая огромная разница между этим «наконец-то!» и тем пошлым, каким попотчевала меня сегодня утром Рябкова»,— мелькнуло в голове Светлова.

— Извините, Лизавета Михайловна,— сказал он, дружески здороваясь с хозяйкой,— я сегодня с утра был в таком скверном настроении духа, что мне пришлось прежде значительно проветриться, чтоб предстать перед вами в порядочном виде. Я только что от Варгунина,— не застал: наш седой юноша ускакал куда-то в деревню. Что это у вас такая тишина сегодня? А где же дети?

— Девочки уехали к Орловым, а Гриша у Ельникова... А что? вам их надо зачем-нибудь? — ответила она смущенно.

— Нет, я так спросил. А ведь вот вам ни за что не угадать, Лизавета Михайловна, как и кто испортил у меня сегодня фунта два крови?

Светлов сел и, смеясь, рассказал хозяйке о своем визите к Рябковой,— утром, во время урока, он едва успел переброситься с Лизаветой Михайловной двумя-тремя словами. Несмотря на то, однако ж, что Александр Васильич рассказывал очень остроумно, обнаруживая бездну наблюдательности, Прозорова выслушала его с какой-то принужденной полуулыбкой. Она порывисто воспользовалась первой удобной минутой, чтобы прервать гостя, и тревожно сказала ему:

— Александр Васильич!.. у меня большое горе и... большая к вам просьба....

При слове «горе» лицо Светлова мгновенно изменилось: на нем не осталось и тени прежней веселости.

— Располагайте всем мной... как другом,— тихо сказал он, слегка наклоняя голову, и придвинул к хозяйке свое кресло.

— Я хотела серьезно поговорить с вами, откровенно... именно как с другом,— подтвердила она так же тихо и тоже наклонила голову.— Мне это необходимо. Будете ли вы... вполне искренни со мною?

— Лизавета Михайловна! — сказал торжественно Светлов, почувствовав в себе какую-то непривычную тревогу, и голос его зазвучал мягко-мягко,— когда вы удостаиваете меня таким высоким званием и доверием, вы смело можете не сомневаться во мне ни на минуту.

— Я вам верю... не могу вам не верить... и эта уверенность больше всего нужна мне теперь и дорога...— заметила Прозорова еще тише, и на реснице у ней навернулась и блеснула крупная слезинка.

Светлов молчал: то ли он хотел дать ей высказаться вполне, то ли залюбовался на эту милую, неожиданную слезинку.

— Без этой уверенности в вашей искренности,— продолжала она,— я никогда бы не решилась заговорить с вами о том, что мучило мою душу всю жизнь, и что еще больше мучит меня со вчерашнего вечера... Скажите мне, Александр Васильич,— это очень, очень серьезный вопрос, не забудьте, —считаете ли вы меня... честной женщиной?

Голос ее дрожал, когда она говорила это.

— Вы меня обижаете, Лизавета Михайловна!.. — молвил только Светлов, озадаченный неожиданностью ее вопроса.

— Нет, я не хочу обижать вас: не хочу думать, что вы сказали сейчас... фразу; но мне нужно прямого ответа, Александр Васильич.

— Лизавета Михайловна! — сказал Светлов, быстро подавая ей руку, и голос его снова зазвучал торжественно,— я вас считаю вполне честной женщиной, в самом лучшем значении этого слова; я... я покуда не нахожу слов выразить вам мою мысль яснее.

— И не надо: я поняла, что вы хотели сказать; бла-

годарю вас, —крепко пожала ему руку хозяйка.— Но я не могу понять... но как же... но почему же *меня* вы считаете честной женщиной, когда вы сами согласились вчера с Ельниковым, что женщина, живущая на средства нелюбимого человека, не может быть названа, в строгом смысле, честной женщиной, что она... Я не могу выговорить со вчерашнего дня этого ужасного слова...

Лизавета Михайловна вся вспыхнула.

— Содержанка? — договорил за нее Светлов, краснея почему-то и сам.— Совершенная правда. Но что же вы находите общего в себе с подобной женщиной?

— Да разве я сама не живу за счет моего мужа, которого я... никогда... не любила, даже не уважаю? — спросила Прозорова с замирающим сердцем и, делая это признание чужому человеку, она снова вся вспыхнула.

— Видите ли, в чем дело, дорогая,— сказал Светлов и положил ей на руку свою руку,— вчерашний разговор наш шел о таких женщинах, которые нисколько не стремятся выйти из своего рабского положения, даже и тогда, когда разглядят всю его мерзость, нисколько не тяготятся им. Мы говорили о женщинах, слишком испорченных этим положением, слишком избалованных им, чтоб подняться на борьбу, на вольный труд... слишком втянувшихся в готовые, вполне обеспечивающие их средства, чтоб оставить свои удобства для скудного и, к сожалению, часто неверного заработка; а главное — эти женщины, спокойно пользуясь всем, даже не хотят исполнять, как умеют, обязанностей, налагаемых на них помощью мужей. Вы — совсем другое дело; наш теперешний разговор — лучшее доказательство этому. Позвольте мне иметь дерзость порыться одну минуту в вашей душе. Вы, я уверен, сперва совсем не понимали ложности своего положения; вы, быть может, только предчувствовали ее. Этого, конечно, было слишком мало для серьезного движения с вашей стороны. Потом, под влиянием книг, под влиянием... да мало ли чего, в вас вспыхнула искорка сознания; но и ее было недостаточно для взрыва. Однако вы не затушили в себе этой искорки выгодными, пошлыми успокоениями, как поступают на вашем месте другие; напротив, вы давали ей постоянно новый горючий материал,— и вспышка полного сознания не могла не по-

следовать. Немудрено, что она опалила вас: заряд был многолетний. Но гул и действие выстрела не одномоментны со вспышкой, между ними существует промежуток. В жизни этот промежуток бывает иногда очень долог, Лизавета Михайловна... Я глубоко радуюсь за вас; радуюсь и за себя, что мне выпало сегодня счастье быть, так сказать, восприемником первого мгновения подобной вспышки — вашего возрождения. Честная ли вы женщина? спрашиваете вы. Да! повторяю еще смелее, вы честная женщина. Я мог бы, впрочем, сказать вам то же самое и несколькими днями раньше: чужая внутренняя борьба не может оставаться незаметной для того... для тех, кто сам борется, может быть, уже несколько лет...

Светлов был очень взволнован и все время, пока говорил, держал Лизавету Михайловну за руку, крепко пожимая ее. Прозорова внимательно и детски нетерпеливо слушала его, опустя голову, не отнимая своей руки. Когда он умолк, Лизавета Михайловна еще несколько минут оставалась молча в этом положении.

— Вы, действительно, заглянули в мою душу,— сказала она, наконец, поднимая на собеседника заплаканные глаза.— Я не буду... не могу благодарить вас теперь за участие к моему положению: я слишком взволнована... так много набегает в голову мыслей... Ах, боже мой, боже мой! какие это тяжелые мысли... как трудно идти дальше!.. — порывисто схватилась она обеими ладонями за голову и закрыла ими глаза.— И как же это... вдруг... оставить все и пойти... пойти, как... как нищая?!.— зарыдала молодая женщина, облокотясь на стол и нервически вздрагивая.

Несколько минут Александр Васильич чувствовал себя бессильным при виде этого искреннего, так долго накипавшего, действительно, горя; он дал ей выплакаться вволю и потом тихонько, с нежностью матери, ухаживающей за больным ребенком, отвел у ней от лица руки и притянул их к себе.

— Самое худшее пройдено, Лизавета Михайловна,— сказал он весело,— хуже всего была тьма, в которой вы находились. Вы вот сейчас сказали: как же это вдруг все оставить и пойти нищей? Зачем же такой крутой поворот? К чему скачки? Если б вам вздумалось, например, подняться... вон хоть на ту печку,— Светлов

показал головой в угол залы,— ведь вы должны были бы прежде всего держаться как можно крепче за стул, без которого вам нельзя сделать туда первого шага...

Александр Васильич быстро поднялся с места, поставил к печке стул и встал на него.

— Видите: я вот прежде всего постараюсь вскарабкаться на спинку этого стула, чтоб достать рукой до карниза и схватиться за него таким образом,— продолжал он, очень искусно приводя в исполнение свои слова.— Но и теперь, когда я уже и держусь за карниз, стул мне еще нужен, как опора; я могу оттолкнуть его только тогда, когда буду там, куда лез, то есть на печке. Последнего на практике показать здесь нельзя; но вообразите вместо печки крышу... Да вы меня, разумеется, и так поняли,— засмеялся Светлов, соскакивая со стула.

Следя за его забавными движениями, Лизавета Михайловна не могла не улыбнуться сквозь слезы.

— Ну вот и солнышко проглянуло,— сказал Александр Васильич, поймав ее улыбку.

Он опять расположился на прежнем месте.

— Вот видите ли, этот стул, конечно, не ваш; но если вы, бессознательно пользуясь им несколько лет не по праву, пришли наконец к той мысли, что это нехорошо, нечестно, и решились отказаться от него, то уже ни один здравомыслящий человек не поставит вам в вину, когда ради такой прекрасной цели вы воспользуетесь этим чужим стулом и еще на несколько времени... насколько будет необходимо. Тот был бы олух царя небесного, кто посоветовал бы вам убрать сперва почву из-под ног, а потом уж и хвататься за что ни попало: естественно, что тогда вы упали бы и размозжили себе голову прежде, чем успели бы за что-нибудь ухватиться.

— А дети?..— спросила она тихо-тихо.

— Вы кстати напомнили мне о них,— сказал Светлов.— Именно вот вы еще почему честная женщина: вы прекрасно ведете детей; дай бог, чтоб моя будущая подруга вела их так...

— Но вы меня не поняли, Александр Васильич,— заметила Лизавета Михайловна с глубокой грустью,— я хотела сказать...

— Нет, я хорошо, я совершенно понял ваш вопрос

и сейчас же отвечу на него прямо,— не дал ей договорить Светлов.— Я вот что вам отвечу: кто хочет вести серьезную борьбу, Лизавета Михайловна, чтоб отстоять свою свободу, свое человеческое достоинство, тому надо прежде всего приучить себя к мысли, что он должен или все завоевать, или уж — ничего. Добьется или не добьется он этого «всего» — это другой вопрос; но чем больше желаешь, чем шире задача, тем больше и получишь. «Из большого не выпадет» — говорит пословица. А я вам вот что скажу, Лизавета Михайловна: я не считаю честной женщиной ту, которая бросает своих детей ради каких бы то ни было высоких целей. Женщина — если уж она мать — должна, по-моему, прежде всего воспитать доверенное ей природой молодое поколение. Да! она прежде всего должна детей себе завоевать, если разлуку с ними поставят ей условием ее личной свободы, как это постоянно бывает в нашем семейном быту. Но прежде борьбы следует еще взвесить, под чьим влиянием дети могут получить больше нравственного выигрыша — под вашим или отцовским. Не забудьте,— *нравственного* выигрыша, я сказал. Мои дети, в материальном отношении, могут требовать от меня дележа с ними только тем, что я сам имею; но относительно духовной и умственной стороны они имеют право требовать, чтоб им дан был высший уровень современного развития, или по крайней мере дана была свобода, возможность достигать его. Ясно ли я выразил мою мысль? Поняли ли вы меня?

— Да, я поняла вас... мне кажется,— сказала Лизавета Михайловна, помолчав.— Во всяком случае, могу вам сказать теперь же: вы меня воскресили; вы мне дали силу... такую силу, Александр Васильич, что я... что у меня нет слова выразить вам это!.. О, благодарю вас, благодарю!

И она снова заплакала, но то уже были отрадные слезы.

— Ну успокойтесь же,— сказал глубоко тронутый Светлов и снова крепко пожал ей руку.— Я только сегодня узнал вас вполне и — повторяю — бесконечно рад за вас. Поверьте мне, Лизавета Михайловна, идеи, добытые внутренней борьбой, как ваши, гораздо прочнее и благотворнее всяких других; на них можно положиться как на каменную стену. Вы должны считать

себя счастливицей, что они получили у вас такое высокое содержание; а ведь могло быть и иначе...

Лизавета Михайловна приложила платок к заплаканным глазам и несколько времени оставалась в таком положении.

— Теперь вы знаете, Александр Васильич, мое горе, которое, впрочем, вы каким-то чудом обратили в радость,— сказала она немного погодя, когда успокоилась, поднимая на собеседника свои глубокие карие глаза,— но я вам еще не высказала моей просьбы...

— Ручаюсь вам вперед, что она будет исполнена,— успокоил ее Светлов, и тон его слов не позволил ей ни на минутку усомниться в их искренности.

— Я предвижу, знаю... убеждена, что мне... может быть, очень скоро... будет необходима ваша помощь и словом и делом. Не оставляйте меня, помогите мне!.. Я знаю, что не имею никакого права на это; но... но к кому же мне обратиться, как не к вам? Вы — лучший... вы единственный человек, на которого я могу положиться,— я это чувствую!

— А я не возьму назад своего слова, Лизавета Михаловна,— сказал Светлов просто.— Для меня будет величайшей отрадой тот день, когда я увижу вас победоносной.

— Как далеко еще мне до этого дня! — тоскливо покачала она головой.

— Ну, не скажите. То, на что мы готовы отдать всю свою душу, всегда гораздо ближе к нам, чем мы думаем.

— Ах, если б вы знали, Александр Васильич, сколько бессонных ночей пошло у меня на все эти думы! — заметила Прозорова с глубоким вздохом.— Я иногда мечтаю... вы не поверите?.. мечтаю о таких вещах... такая сумасбродная я...

Она не договорила.

— О чем же? Почему же непременно «сумасбродная»? — сказал Светлов, закуривая папироску.

— Да потому, что, мне кажется, вести себя так простительно только молоденькой девушке. А уж мечтаю-то я, разумеется, глупо...

— Однако? — спросил Александр Васильич.

— Да вот хоть вчера ночью, после этого разговора... я совсем замечталась. Мне вдруг вообразилось, что уж

я ни от кого не завишу, устроила по-своему жизнь, работаю, ем свой трудовой хлеб... такие все глупости лезли в голову... И вдруг мне стало так больно-больно... А что же дальше? спросила я себя: дальше что? — и долго ждала ответа...

— И что же? какого ответа дождались вы? — спросил Светлов, весь заинтересованный.

— Я не дождалась его, Александр Васильич, и... уснула,— заметила Прозорова, с печальной шуткой.

— А теперь вы могли бы ответить на ваш вопрос?

— Да, могла бы... кажется; я бы сказала: дальше будет то же, на чем я остановилась, засыпая: независимость, работа, свой хлеб... и... ничего больше.

— А деятельность более широкая? — сказал Светлов,— вы не дошли до нее в ваших мечтах?

— Не дошла, да и не посмела бы: что может сделать женщина?

— То же, что и всякий мужчина, Лизавета Михайловна.

— Положим что так, не буду с вами спорить; но скажите мне: ну вот,— вы мужчина... и что же? Независимы вы, работаете, хлеб у вас свой; как человек образованный, вы, если захотите, можете много зарабатывать, даже разбогатеть, получить какое-нибудь особенно значительное место, должность...

Светлов сделал нетерпеливое движение.

— Но не одно и то же ли это, на чем и я вчера остановилась? — продолжала с воодушевлением Прозорова, не заметив его движения.— Я не говорю о том, что можете сделать вы, как литератор, потому что ведь это уж исключение, не все же — литераторы; ну, а не будь вы им, будь вы просто мужчина, как и всякий другой... что же он может сделать?

— Каждый мужчина, Лизавета Михайловна, может сделать то же, что сделал Христос: может страдать и умереть, как он, отстаивая на практике великие христианские истины...— сказал чрезвычайно серьезно, даже несколько нахмурясь, Светлов и пытливо посмотрел на хозяйку.

Лизавета Михайловна, в свою очередь, взглянула на него с величайшим изумлением и отчасти со страхом.

— Александр Васильич... что вы!.. что вы говорите!.. Да разве это возможно?.. —выговорила она с трудом.

Светлов помолчал с минуту, тихо барабаня кончиком пальца по столу.

— Лизавета Михайловна! — сказал он, наконец, открыто и прямо смотря на нее,— вы, воспитавшаяся внутренней борьбой, привыкли, конечно, сами вырабатывать себе ответы на такие важные вопросы. Я не хочу мешать этой прекрасной привычке: подумайте обо всем хорошенько, на свободе,— может быть, ответ придет к вам сам собою. Подобные ответы не подсказываются, а если и подсказываются, то не таким, разумеется, натурам, как ваша. Право, если б я меньше знал вас, я подумал бы, что вы... превосходный дипломат.

У Александра Васильича в эту минуту было такое серьезное, строгое лицо, что не звучи так мягко его голос,— Лизавета Михайловна могла бы подумать, что оскорбила его. Ей стало очень неловко.

— Вы как будто рассердились на меня? — спросила она робко.

— Вот вы еще что выдумали! — сказал он с добродушным упреком, нагнулся и поцеловал у ней руку.

— Право, мне так показалось...— вспыхнула Прозорова.

«Я никогда еще не видала его таким серьезным и... ласковым; никогда прежде он не целовал у меня руки»,— подумала она и глубоко ушла в эту думу.

— Но я, Лизавета Михайловна, должен ответить вам на ваше замечание перед тем,— сказал Светлов, и кончик его пальца снова тихо забарабанил по столу.— Вы вот сказали, что я, как литератор, могу рассчитывать на более широкую деятельность, не правда ли? Мне хотелось бы знать, в каком смысле вы понимаете эту деятельность?

— Я в том смысле сказала, что, сделавшись литератором, вы достигли вашей высокой цели — развивать общество. На вашем месте я бы и мечтать ни о чем больше не стала,— ответила она простодушно, выходя из задумчивости.

— Будто бы уж и не стали? Ну-с, а если бы вам и тут пришел в голову вчерашний несносный вопрос: а дальше? дальше-то что же?

Светлов очень лукаво взглянул на нее.

— Да что же еще может быть дальше-то? Я не знаю.

Она недоумевала и, в свою очередь, пристально смотрела на него.

— Вот то-то и есть: ведь и вчера вы спрашивали себя об этом только потому, что не знали. Во всем есть свое «дальше», Лизавета Михайловна.

— Ну, я не так взыскательна, как вы,— заметила шутливо хозяйка.

— Считайте же меня взыскательным до какой угодно степени, а все-таки я прямо вам отвечу: дальше всякого «дальше» — все. Вот этого-то «всего» я и буду добиваться! — сказал Светлов, и в голосе его послышалась необычайная энергия.

Лизавета Михайловна посмотрела на него как-то искоса, с детским любопытством.

— Да! — продолжал он с жаром,— я буду добиваться! Вот школу мы открываем; вы думаете, это — цель? Нет, это только средство... одно из бесчисленных средств. Когда школа встанет покрепче на ноги, мы передадим ее в другие надежные руки. Надобно только дать пример обществу, надо показать ему, что может оно иметь, если захочет, то есть сделать для него необходимыми повторения этого примера. Вы слышали, что прошедший раз пророчил Любимов,— что школа недолго продержится, что ее закрыть могут. Что ж такое! — пускай закрывают. Дело-то все в том, Лизавета Михайловна, что кто хоть раз имел у себя кое-что необходимое и потерял его, у того уж навсегда останется невольное желание возвратить рано или поздно потерянное. Так и общество; оно живет по тем же законам, как и отдельная личность. Вы не очень-то доверяйте Любимовым: они переучились,— это хуже, чем недоучиться. Эти господа, кажется, забывают и то, что дождь не из ведра льют, а собирается он по каплям, и то, что эти же самые капли могут образовать целые моря... Повторяю вам, школа — только средство, так же точно, как и мои уроки вашим детям; даже мое литераторство, в котором вам угодно видеть достигнутую цель,— тоже только средство...

— Может быть, и ваш теперешний разговор со мной,— одно из таких же средств? — не то шутливо, не то с упреком заметила Прозорова; в голосе ее, однако, явственно звучала тоскливая нота.

— Очень может быть; но не забудьте, что вы сами

вызвали меня на него,— задумчиво проговорил Александр Васильич.

Лизавета Михайловна хотела что-то ответить ему, но вдруг страшно побледнела и схватилась рукой за голову.

— Что с вами, дорогая? — испуганно поднялся с места и нагнулся к ней Светлов.

— Ничего, не беспокойтесь, милый Александр Васильич: прошло,— сказала хозяйка с болезненным выражением в лице, стараясь улыбнуться.— У меня сегодня с утра болит голова, и вот сейчас как будто молотком в ней кто стукнул. Но теперь прошло. Сядьте,— успокоительно повторила она.

Светлов, однако, не был спокоен.

— Вам бы нужно пораньше лечь сегодня, Лизавета Михайловна,— сказал он тревожно и не сел, а стоял перед ней.— Действительно, у вас еще давеча утром, я заметил, было не совсем здоровое лицо. Хотите, я съезжу к Любимову и привезу его? А не застану, так Ельникова притащу; тот всегда дома в это время. Хотите?

И Александр Васильич взялся было уже за фуражку.

— Ой нет, что вы! зачем это? — удержала его Лизавета Михайловна за руку.— Какой вы всегда... добрый, внимательный,— заметила она, пожав его руку,— стоит ли обращать внимание на такие пустяки. Присядьте-ка лучше да потолкуем еще. Вот я поговорю с вами — и развлекусь, и все пройдет, как ни в чем не бывало; со мной ведь это часто случается: я полнокровная, говорят.

— Поберечься-то никогда не мешает, Лизавета Михайловна,— сказал Светлов, нерешительно занимая прежнее место возле нее на кресле.

— Я и поберегусь, Александр Васильич: поставлю себе на ночь горчичник,— заметила она и вдруг засмеялась весело, по-детски.

— Верно, вам что-нибудь очень веселенькое вспомнилось? — спросил Светлов и тоже засмеялся, сам не зная чему: ее редкий смех был неотразимо увлекателен.

— Очень веселенькое,— повторила она и опять засмеялась,— я вспомнила, как вы перед этим только рассказывали, что посоветовали давеча утром вашей жилице горчичник, как средство от угрожавшей ей от вас опасности. Вот и мне приходится сегодня прибегнуть к тому же средству.

Светлов засмеялся.

— Однако, на этот раз не от меня, надеюсь? — спросил он, совсем повеселев.

— Кто знает, Александр Васильич,— может быть, и от вас...

— Разве и вы усматриваете опасность для себя в моем присутствии? — снова засмеялся он самым добродушным образом.

— По крайней мере начинаю чувствовать ее,— сказала Лизавета Михайловна.

Она и сама хотела было тоже рассмеяться, но вдруг задумалась, опять стала чрезвычайно серьезна и прибавила, помолчав:

— Только совсем с другой стороны...

— С какой же это? — спросил Светлов.

— С той именно, которая у меня всего слабее,— ответила она уклончиво.

— Это не ответ,— заметил он.

Лизавета Михайловна промолчала. Спустя минуту, она хотела как будто встать, но вдруг снова побледнела и опять схватилась рукой за голову.

— Нет, как хотите, я съезжу за доктором! — обратился к ней Светлов, быстро вскочив и тоже побледнев немного.

— Полноте, что вы так пугаетесь; вот и прошло опять, и ничего..— болезненно улыбнулась она.— Такая уж скверная голова у меня.

— По крайней мере вам надо лечь скорее, успокоиться,— заметил ей Александр Васильич, взявшись за фуражку.

— Да, я лягу, вот только съезжу за детьми.

— Не лучше ли мне за ними съездить, а вы бы прилегли тем временем?

— Нет, Александр Васильич, благодарю вас; мне хочется самой поехать: я знаю, это меня освежит, да и Анюту, может быть, я утащу к себе ночевать, а так она не поедет,— сказала Лизавета Михайловна, вставая.— Походимте немного.

Они молча сделали рядом несколько шагов по комнате.

— Видите, какие мы, женщины, слабые создания,— заговорила Прозорова с кроткой, почти детской улыбкой,— чуть что заболит у нас — вы, мужчины, сейчас уж и пугаетесь, сейчас уж и доктора нужно. Помните, как

у вас самих, на прошедшей неделе, два дня сряду болела голова, а ведь уж вы, верно, не обращались ни к кому за советом, хотя у вас два доктора — товарищи и друзья?

— У меня действительно есть дурная храбрость — не лечиться до тех пор, пока не слягу; но подражать этой храбрости я бы никому не посоветовал, да и сам надеюсь изгнать ее,— сказал Светлов.

— Кстати, уж мы разговорились сегодня откровенно,— заметила Лизавета Михайловна, помолчав,— скажите мне, пожалуйста, Александр Васильич, как это вы всегда так смело смотрите на все, как будто ничего не боитесь?

— То есть как «ничего не боюсь»?

— Да так уж я чувствую, что ничего вы не боитесь.

— Напротив, Лизавета Михайловна,— сказал Светлов, немного подумав и останавливаясь посреди комнаты,— если я смел, то именно только потому, что всегда боюсь всего.

— Как же это так? — очень удивилась она.

— Да вот как, видите ли,— притчей вам расскажу; когда я был еще ребенком, мне вздумалось раз, из любопытства, забраться в лес, на гору,— это было еще в Камчатке.

— Да! ведь вы — камчадал; я и забыла совсем,— улыбнулась она.

— Непременно. Так вот-с, во время этой прогулки я и наткнулся нечаянно на огромного медведя, чуть не под самым носом у него; короче сказать, этому барину ровно ничего не стоило съесть тогда вашего покорнейшего слугу. Если б меня раньше напугали хорошенько медведем, я бы или совсем не пошел на гору, либо шел бы туда осторожнее, оглядываясь,— не так ли? Этот случай никогда не мог выйти у меня из памяти, даже и теперь не выходит. Даже и теперь мне постоянно представляется, что в жизни, в обществе — словом, везде — вместе со мной ходит огромный медведь, с которым мне, врасплох, ни за что одному не справиться, а на ближних — вы знаете — плохая надежда. Поэтому, где бы я ни был, с кем бы я ни говорил, я всегда пугливо озираюсь, всегда боюсь, как бы такой медведь не выскочил на меня откуда-нибудь, не замеченный мною. Другими словами сказать — я смел потому, что осторожен: я хочу прежде издали увидеть этого непрошеного сторожа, чтоб либо обойти его, либо

выиграть время и приготовиться к защите, если уж обойти невозможно,— не отдаться же ему без боя, когда он больше мне мешает, чем я ему; да, кроме того, ведь косточки-то у меня свои собственные, Лизавета Михайловна,— рассмеялся Светлов.

— Ну, и что ж? до сих пор бог миловал? — спросила Прозорова, тоже засмеявшись.

— Миловал, потому что удавалось обходить.

— А были-таки встречи? — смеялась она.

— Издали,— да. С этим зверем у нас всегда и везде рискуешь встретиться,— едко заметил Светлов.

— Вот видите, Александр Васильич, слушая вашу притчу, я и выздоровела совсем,— весело сказала Лизавета Михайловна, продолжая ходить с ним по зале.— Я вас, кажется, не очень давно знаю, но я всегда удивляюсь вашему характеру.

— Что же так?

— Право, я бы желала иметь такой же: он у вас и мягкий какой-то и железный вместе.

— Ох, если б вы знали, как ему далеко еще до железного-то! — заметил, улыбнувшись, Светлов.— Что же вам, впрочем, мешает, Лизавета Михайловна? Попробуйте, выработайте себе характер,— прибавил он серьезно.

— Да разве это от меня зависит?

— А от кого же? От впечатлений детства, от обстоятельств жизни — скажете вы?

— Разумеется. Сядемте, я немного устала,— ответила она, стараясь приютиться в самом уголку дивана, и повела кверху плечами, как будто зябла.

— Не совсем так, Лизавета Михайловна,— заметил Светлов, садясь с ней рядом на другой конец дивана, но не выпуская из рук фуражки.— Без сомнения, и то, и другое, и многое кое-что еще громадным образом влияет на образование и развитие характера; но многое в нем и от нас самих зависит, коль скоро мы сознаем направление, какое желали бы дать ему. Меня нечаянно научил этому один... кто бы вы думали? — скорняк! Право. Я раз как-то зашел с отцом,— когда еще в седьмом классе здешней гимназии учился,— к скорняку и видел, как он растягивал на доске какую-то мокрую шкурку. Сперва он ее только по углам гвоздиками приколотил, чуть только натянул, так что она была еще вся сморщена, а после и по

бокам стал гвоздики садить; что ни вобьет гвоздик — шкурка-то, глядишь, уж и глаже смотрит. Потом я пощупал ее, когда он кончил: просто, как на барабане, натянута. Мне тут же, глядя на эту, совсем не хитрую работу, пришло каким-то образом на мысль, что ведь вот и характер свой можно также выправить, стоит только постепенно... садить в него по гвоздику — отрешаться день за день от недостатков хоть на йоту. Впоследствии эта мысль опять пришла мне на память, и я стал довольно удачно практиковать ее на собственной особе...

— И много вы заколотили таких гвоздиков?— улыбнувшись, спросила Прозорова, немного как будто удивленная и, очевидно, крайне заинтересованная сообщением Светлова.

— Сказать вам откровенно, не рисуясь,— много уж приколотил, Лизавета Михайловна; но еще больше, несравненно больше остается приколотить,— ответил Александр Васильич серьезно.— Вот, что касается до моего сегодняшнего поведения относительно госпожи Рябковой,— тут у меня пока не забит еще гвоздик, а надо; да справиться все не могу, не могу спокойно отнестись к этому предмету. Тут уж, впрочем, не гвоздик, а целый гвоздь придется посадить,— улыбнулся он.

— Попробую ужо и я последовать вашему примеру,— задумчиво сказала Прозорова, помолчав,— авось и мне это удастся.

— Непременно удастся,— молвил Светлов, вставая, и стал прощаться с хозяйкой.

— Я не оставляю вас пить чай, милый Александр Васильич. Анюта всегда недовольна, когда я приезжаю к ним, напившись чаю,— говорила, она провожая гостя в переднюю.

— Что за церемонии,— сказал Светлов, надевая пальто и мягко отстраняя услуги горничной, явившейся помочь ему.— До свидания, будьте здоровы! — крепко, по-студенчески, пожал он руку хозяйке и взялся за скобку двери.

— Постойте на минутку,— торопливо остановила его Лизавета Михайловна, как бы теперь только вспомнив о чем-то.— Вы вот перед тем говорили о своих занятиях, что это все — одни средства... А цель?..— спросила она, опять тихо-тихо, точно так, как раньше предложила ему вопрос: «А дети?..»

Александр Васильич искоса взглянул на стоявшую поодаль горничную и, в свою очередь, что-то так тихо ответил хозяйке, что та едва расслышала его.

— До свидания! — повторил он громко и вышел.

Прозорова вздрогнула: то ли подействовал на нее так тихий ответ гостя, то ли его последний громкий привет. Медленно потирая правой рукой лоб, она по крайней мере с минуту еще стояла в передней, бесцельно устремив глаза на дверь, за которою скрылся Светлов; потом вскользь и так же бесцельно остановила их на горничной и почти машинально прошла через залу в темную спальню. Здесь Лизавета Михайловна порывисто бросилась в постель и несколько минут неслышно и судорожно рыдала. Утихнув, она принесла из залы свечу, забилась в уголок и долго читала евангелие. На одной из страниц она как бы замерла на несколько минут, как бы приросла глазами к буквам,— и вдруг быстро встала, точно разбуженная внезапным толчком, но вся воодушевленная.

Лицо у ней пылало; неутолимая жажда света, простора, кипучей деятельности выразилась на нем с поразительной силой.

Жаль, что не было свидетеля этой минуты ее жизни: люди редко видят такое выражение на человеческом лице и то немногие счастливцы...

Лизавета Михайловна тотчас же поехала за детьми.

VI

«ЖИЗНЬ ЕЕ ВИСИТ НА ВОЛОСКЕ»

Светлов, зашедший от Прозоровой к Ельникову и напившийся у него чаю вместе с Гришей, вернулся домой, против обыкновения, довольно рано — часов в одиннадцать: в этот день приходила московская почта, и он поторопился к письмам, которые почтальон разносил обыкновенно от пяти до восьми часов вечера. Александр Васильич вел очень обширную для провинциального жителя переписку и теперь действительно застал у себя на столе несколько писем, доставленных в его отсутствие, и записку Варгунина, принесенную — по докладу Владимирки— «какой-то пузатой бабой». С Матвеем Николаичем Светлов не виделся дней пять уже и потому прежде все-

го обратился к его посланию. Наскоро и карандашом написанная записка Варгунина гласила следующее:

«Хотя я, батенька, эти дни и пропадал, зато не попеняете на меня: некоторое, приятное для Вас, открытие совершил. Ездил я по делам в Ельцинскую фабрику, откуда только вчера вечером вернулся, а сегодня, через час, уезжаю опять верст за тридцать, дней на пять, на шесть, по спешному делу,— такой уж крюк вышел,— и потому прибегаю к корреспонденции. В фабрике, от моей старой приятельницы, Христины Казимировны Жилинской, я узнал, что Вы с ней тоже старинные друзья. Едва я упомянул Ваше имя, как и она и старик Жилинский обрадовались на чем свет, закидали меня вопросами и взяли с меня слово (самое честное), что я немедленно же привезу Вас к ним. Сдерживаю, по необходимости, слово только вполовину — передаю Вам их желание, так как мне самому, как я сказал, ехать теперь никак нельзя. Уж прокатитесь, батенька, одни. Только скажите: Жилинские,— Вам в фабрике всякий укажет их домик. А не то, коли хватит терпения подождать дней пять,— вместе поедем. Ну что, батенька? угодил ли? Да поезжайте одни,— всего сорок верст,— а то меня съест Казимировна. Всем своим, т. е. «нашим», бью челом. Преданный Вам Варгунин. 11 часов утра, в собственной резиденции».

Светлов долго не мог оторвать глаз от этой записки; он по крайней мере трижды перечитал ее, весело улыбаясь, прилег на спинку кресла — и вдруг задумался. Перед ним воочию встал теперь стройный, смелый и гордый образ красавицы Христины Казимировны, во всей первоначальной свежести прошли в его памяти на всю жизнь незабвенные сцены первой, юношеской любви. Но чем дольше всматривался он мысленно в этот образ, чем живее становились эти воспоминания, тем больше сжималось его сердце какой-то странной тоскою. Как внезапно, врасплох застала его варгунинская весть! Отчего бы ей не дойти до него раньше, сейчас же после приезда? Сам виноват — зачем не справился. Да ведь как же еще справляться-то было? — ведь мать же писала ему, что Жилинские уехали в Варшаву? Ну, плохое оправдание!— можно было и не поверить матери в этом исключительном случае... Теперь уж не воротишь... Чего же, впрочем, не воротишь?..

Светлов особенно крепко задумался над последней мыслью. Дело в том, что и его первую любовь постигла та же участь, какая выпадает обыкновенно на долю юношей, разделенных с любимой девушкой — даже и не десятком лет, не шестью тысячами верст. В первый год своего приезда в Петербург он страшно тосковал по Жилинской, то и дело писал ей; потом мало-помалу университетские занятия и товарищи, шумный коловорот столичной жизни рассеяли эту тоску, ослабили необходимость частой переписки. А там, к концу второго года, Светлов месяца четыре сряду как-то все забывал написать к ней, все собирался только да откладывал, так что, наконец, ему уж и неловко показалось напомнить ей о себе вновь. Христина Казимировна аккуратно отвечала ему: ее письма дышали все тем же нежным, смелым и независимым чувством,— и даже тогда, когда переписка с его стороны прекратилась, она еще раз написала ему по-прежнему, без малейшей тени упрека. Письмо это кольнуло студента в самое сердце, разбудив в нем на несколько дней в прежней силе задремавшую было любовь; он горячо ответил ей, но сделал ребяческую ошибку, вообразив себя настолько возмужалым, что адресовал свое письмо на имя матери, с передачей: оно, разумеется, не дошло по назначению. На заочные расспросы сына Ирина Васильевна, скрепя сердце, любезно ответила только, что Жилинские уехали в Варшаву,— и юность поверила чистосердечно этой любезности... Правда, и в остальные годы Светлов не испытал новой серьезной привязанности; однако ж, увлечений у него было много, а увлечения, как ни легки они, очень скоро стирают своим грубым прикосновением хотя и яркий, но слишком нежный цвет любви-первенца...

Долго еще просидел в этот вечер Александр Васильич в своем невеселом раздумье о том, чего уже не воротишь больше, пока, наконец, не обратился, с глубоким вздохом, к остальным письмам, более часу ожидавшим на столе его внимания. Неохотно он принялся за них, сильно хмурился, прочитывая иные, но ни одно не вызвало его на улыбку. Когда оканчивалось чтение того или другого письма, Светлов либо откладывал его в свои бумаги, либо разрывал и бросал в корзинку под столом; последние всегда предназначались им к сожжению на другой день собственноручно,— такова была привычка,

сделанная молодым человеком в последние два-три года. Александр Васильич сохранял только те письма, род которых он, смеясь, охарактеризовал однажды, в разговоре с Ельниковым, названием «пастушеских». На этот раз таких писем оказалось только два, остальные — все угодили в корзинку...

Был уже час второй в исходе, когда мысли Светлова, перейдя на несколько минут от корреспонденции опять к Христине Казимировне, остановились вдруг на его последнем разговоре с Прозоровой,— и он снова впал в глубокую, сосредоточенную думу. Александр Васильич не слыхал даже, как в это же время кто-то несколько раз сряду нетерпеливо позвонил у ворот в колокольчик, привешенный снаружи у флигеля над дверью кухни. Молодой человек очнулся только тогда, когда постучались к нему в ставень и за окном послышался запыхавшийся голос Ельникова:

— Оденься и выйди ко мне скорее...

Светлов так порывисто вскочил, как будто слова доктора резнули его по больному месту; он опрометью кинулся в переднюю, схватил пальто и фуражку и бросился с ними в кухню. В одну минуту разбудив здесь Машу и поручив ей загасить у него в комнате свечу, Александр Васильич выбежал на двор и уже около ворот догнал уходившего Ельникова, от которого зловеще так и пахнуло на него аптекой.

— Что такое? Что случилось, голубчик? — с нервной дрожью спросил он, подбегая к товарищу.

— Да ничего особенного, брат,— сказал осторожно доктор, заметив сильное волнение в голосе приятеля,— Лизавета Михайловна заболела.. .

— Когда? — растерялся немного Светлов.

— Да вот теперь, ночью. Дорогой расскажу,— тороплюсь. Поедем! — отрывисто ответил Анемподист Михайлыч, выходя в калитку и садясь в ожидавшую его у ворот крытую пролетку Прозоровой.

Светлов молча поместился с ним рядом.

— У меня еще Гриша сидел, как за мной приехали,— заговорил доктор, когда пролетка тронулась,— должно быть, часу в первом. Твоя сестра, Анна Николаевна, приезжала; она у них ночует. Собственно, тут надо бы Любимова, да его не нашли. Поезжай скорее! — крикнул Анемподист Михайлыч кучеру.— В аптеке, брат, меня

долго задержали,— обратился он как бы с пояснением к Светлову,— да и то почти все пришлось самому приготовить; а положись на здешних немцев, так и получишь, разве к утру, какую-нибудь бурдомагу вместо надлежащего средства...

— Что же у ней такое? — тревожно перебил его Александр Васильич.

— Да скверная штука, брат: нервная горячка, и чуть ли не обещает воспаления в мозгу,— нахмурившись, пояснил Ельников.— Такого быстрого хода этой болезни, как у нее, я просто не припомню — не слыхивал,— продолжал доктор, кашляя и, очевидно, возмущаясь против своего нового врага по профессии.— Черт, брат, знает, что такое! Да барыня -то, главное, славная. Ну, да еще посмотрим, кто кого перешибет, а уж я не поддамся, хотя бы пришлось не спать двадцать ночей сряду!

Светлов, задумавшись, угрюмо промолчал.

— Во всяком случае, дело поправимое...— снова заговорил Анемподист Михайлыч, взглянув на товарища как-то исподлобья.— За тобой, собственно, я вот почему заехал: иногда, в подобных случаях, больной обнаруживает необыкновенную силу и ведет себя очень беспокойно,— так я и рассчитываю на твои мускулы. У ней уж был намек на такой припадок. Разве вот только неприятно тебе будет?

— Мало ли что неприятно!— заметил раздражительно Светлов

Он тоже стал торопить кучера, и с этой минуты голос его снова зазвучал спокойно и твердо.

Так же твердо и спокойно было и выражение лица Александра Васильича, когда, вслед за Ельниковым, он осторожно вступил в квартиру Прозоровой. Они не звонили: наружная дверь оказалась только притворенной, но не замкнутой изнутри, а колокольчик в передней был обмотан войлоком. Здесь их встретила, со свечой в руке, Анюта Орлова, слышавшая стук подъехавшего экипажа. Ее худенькое личико смотрело серьезно и несколько испуганно, задумчивые глаза выражали непритворную печаль. Следом за Анютой неслышно явились Калерия и Гриша — оба с заплаканными глазами и с встревоженными лицами.

— Ну что, Анна Николаевна? — тихо спросил доктор,— как наша больная?

— Перед вами только что бредила,— так же тихо ответила ему девушка.

— Как мило с вашей стороны, Анюта, что вы — здесь...— горячо пожал ей руку Александр Васильич.— Здравствуйте, детки! — особенно ласково поздоровался он с детьми.

Они все вместе прошли на цыпочках в залу.

— А где же Сашенька? — осведомился Светлов.

— Она у мамы сидит...— сказала Калерия и замигала ресницами, очевидно, намереваясь заплакать.

— Вам бы пора уж и лечь, Калерия Дементьевна, а то еще урок завтра проспите,— заметил ей добродушно-ободрительно Александр Васильич.— Да и вам бы оно не мешало,— обратился он таким же тоном к Грише.

— Я не лягу,— решительно ответил мальчик.

В эту минуту из спальни Лизаветы Михайловны послышался не то стон, не то невнятный говор. Ельников и вслед за ним Анюта поспешили туда. Светлов сел на диван и усадил с собой детей. Почти сейчас же после того пришла к ним Сашенька. Бледное и крайне встревоженное личико девочки не обнаруживало, однако, признака слез, хотя глаза и были немного красны.

— Мамочка сильно больна,— серьезно, как взрослая, объявила Сашенька учителю, здороваясь с ним,— все про Иисуса Христа рассказывает и про вас. Мамочка вас очень любит,— ласково прижалась она к нему.

У Светлова чуть-чуть шевельнулись брови.

— Вот и не надо, значит, беспокоить мамочку,— сказал он, задумчиво проводя рукой по шелковистым волосам девочки.— Право, детки, я бы вам советовал лечь; ведь вы маме не поможете, а если она узнает, что вы не спите,— это может еще больше расстроить ее.

— Да мама не узнает,— заметила Сашенька.— Мамочка теперь никого не узнаёт,— прибавила она с такой выразительной печалью в голосе, что у Александра Васильича, как говорится, сердце повернулось.

Калерия заплакала.

— Слушайте-ка, Калерия Дементьевна,— взял ее за руку Светлов,— как вы думаете? жалею я вашу маму?

— Жалеете...— проговорила та сквозь слезы.

— Ну вот видите. Действительно, я ее жалею, и не меньше вашего, однако — не плачу. Что бы было, если б мы все стали только плакать — и вы, и я, и доктор, и

Анюта, и Гриша вон с Сашенькой? У всех бы, наверно, голова разболелась от слез, так что слегли бы мы и сами, пожалуй,— некому стало бы и за вашей мамой ходить. А мы лучше побережем себя для ее же пользы. Сегодня и без вас есть кому за ней присмотреть, а завтра — *вам*, может быть, придется заменить нас,— для этого-то вот я и советую уснуть теперь немного, подкрепиться. Не стану вас обманывать — ваша мама больна серьезно; но посмотрите на меня: я спокоен; я знаю, что Анемподист Михайлыч хороший доктор и тоже любит вашу маму.

— Я пойду спать,— сказала Сашенька, вопросительно посматривая на Калерию.

— И я,— заметила та.

— А завтра будем мамочке помогать. Бедная мамочка! Я бы только одним глазком теперь на нее взглянула... Можно? — обратилась Сашенька к учителю.

— Сходите, Сашенька, взгляните, только не беспокойте ее,— сказал Александр Васильич.

Обе девочки тихонько прошли в спальню.

— Ты у нас ночуешь? — спросил Гриша у Светлова.

— Да, Гриша, ночую.

— А доктор?

— И он также ночует.

— Я лягу, только не буду раздеваться,— заметил мальчик, подумав, и тоже проскользнул в спальню матери.

Минуты через две дети, все трое, вернулись в залу, объявили учителю, что «мама, кажется, спит», и дружески-трогательно простились с ним.

— Давно бы так! — мягко сказал Александр Васильич, провожая их до дверей, и видно было, как спокойно-ласковый тон его голоса ободрил детские лица.

Спустя полчаса, Светлов спросил у вошедшей за чем-то в залу горничной спят ли дети? — и, получив в ответ: «Спят-с»,— попросил ее закрыть осторожно двери у девочек и в комнате Гриши. Предосторожность эта оказалась весьма кстати, впрочем, только на некоторое время. Едва успела горничная исполнить поручение Александра Васильича, как из спальни Лизаветы Михайловны явственно донеслись до него сперва тяжелые стоны больной, потом какой-то неопределенный шум, и вслед за тем он услышал ее раздирающий душу крик:

— Пустите!.. Пустите меня к нему!!

В дверях залы показалась Анюта с испуганным лицом.

— Идите скорее!..— встревоженно поманила она рукой брата и скрылась.

Светлов вскочил и быстро, почти без шума последовал за ней; но на пороге спальни он остановился, весь побледнев: то, что бросилось ему там в глаза, было слишком неожиданно. Лизавета Михайловна — полураздетая, с разорванным воротом у рубашки, с полуобнаженной грудью и вообще в ужасном беспорядке одежды — металась на постели, стараясь вырваться из рук Ельникова и кусая их. Цвет ее лица при этом изменялся с неимоверной быстротой; оно то горело ярким румянцем, то покрывалось зловещей синеватой бледностью, то вдруг багровело. Выражение его сменялось так же быстро, нежность, гнев, отчаяние, ярость — чего только не отражалось на нем! — и все носило печать невыразимой муки. Анюта стояла у изголовья, бледная как полотно, растерянная, не смея коснуться больной.

Услыхав легкий шорох шагов Светлова, Ельников быстро повернул голову к двери и глазами указал товарищу, чтоб тот подошел.

— Пособи, пожалуйста,— шепнул он ему,— у тебя силы больше. Скажите, чтоб еще льду принесли,— шепотом же обратился доктор к Анюте.

Девушка, как тень, ускользнула из спальни.

Александр Васильич только теперь заметил, что голова больной покрыта чем-то вроде пузыря, а густой косы ее — как не бывало.

— Ужасный жар: лед так и тает...— как бы в раздумье проговорил Ельников.— Держи же, брат! — быстро шепнул он Светлову, когда больная сделала новое движение, чтоб освободиться,— я уж из сил выбился...

Александр Васильич хотел осторожно взять Лизавету Михайловну за руку повыше локтя: но едва он успел прикоснуться к ней, как больная заметалась еще неистовее.

— Пустите!.. Пустите же меня, говорят вам!!.— закричала она, лихорадочно стуча зубами и судорожно подергиваясь.— Низкий, неделикатный человек! Разве я раба вам?.. Пустите меня к нему! Он умер за меня... и я хочу умереть с ним за... за других... за всех... Слышите: я хочу!! — Больная стала бить правой ногой в стенку кровати, как будто топала ею об пол.— Ну, сжальтесь же! —

жалобно простонала она,— не бейте меня! — и как будто затихла. Но через минуту болезненная энергия опять вернулась к ней.— Что же вы так смотрите на меня?.. Не узнали?..— нервически засмеялась Лизавета Михайловна, откинув голову на подушку.— А я все прежняя... Что-о?.. Что тако-е?..— вдруг приподнялась она, силясь выпрямиться во весь рост.— Что же «дети»?.. А-а-а!.. Ты лжешь, негодяй! — крикнула охрипшим голосом больная,— они будут честными людьми... Да! людьми, а не... не чиновниками, сосущими кровь народа!.. Откуда это я знаю?.. А вы думали, что я... ничего не знаю, ничего не смыслю?.. куколка?.. Ну да, я куколка, и вы меня купили... Зачем же вы не спросили, как заводится пружина у вашей куколки?.. Лю-бо-вница-а?.. Я?.. я-то любовница?!. Чья? Ну да! ну да!.. Вон он, любовник мой... видите? — распят!.. Приходите на свадьбу... всем будет место на пире... и вино будет... красное-красное... Ха-ха-ха-ха!..— захохотала она таким неистовым хохотом, что у Светлова пошел мороз по голове.

Этот ужасный хохот разбудил детей. Полураздетые, испуганные, они явились в спальню матери вслед за Анютой, принесшей лед.

— Детки! — обратился к ним убедительным полушепотом Александр Васильич,— ради бога, если вы не можете спать, посидите у себя в комнате. Я приду за вами, как только позволит доктор. Анемподист Михайлыч не может с должным спокойствием исполнять своих обязанностей, когда ему мешают...

— Я даже и вас, Анна Николаевна, попрошу удалиться,— серьезно подтвердил Ельников, нарочно возвысив голос, чтоб слышали это дети.— Займите их, успокойте, а сюда пришлите горничную,— шепнул он незаметно девушке.

Дети молча и нехотя вышли вместе с Анютой.

Между тем больная продолжала все больше и больше метаться. Она то вдруг вскрикивала, как ужаленная, и выпрямлялась, то произносила сквозь стиснутые зубы глухие, несвязные речи, то молча кусала руки Светлову и Ельникову. Силы ее быстро возрастали, и наконец припадок до того усилился, что пришлось потребовать из кухни на подмогу кухарку и кучера, не говоря уже о горничной. С Светлова лил градом пот; Ельников позеленел от усталости...

Около четырех часов утра, с помощью прислуги, доктору удалось влить в рот больной несколько капель собственноручно приготовленного им в аптеке лекарства. Через полчаса после его приема она впала в совершенное изнеможение и как будто успокоилась немного. Александр Васильич вышел ободрить детей и опять уговорил их лечь спать. Доктор нашел возможным отпустить прислугу, сказав горничной, чтоб она легла, не раздеваясь, в комнате барыни. Анюта, тоже не раздеваясь, расположилась у девочек. Светлов настоятельно требовал, чтоб Ельников уснул немного, а сам вызвался дежурить при больной. Анемподиста Михайлыча нелегко было уломать, но, наконец, он согласился «вздремнуть тут же, в кресле» — у ее постели.

В исходе пятого Александр Васильич, добросовестно исполнявший свое дежурство, услыхал сперва стук подъехавшего экипажа у ворот, а потом шорох веревки, протянутой к колокольчику в кухне. Он разбудил горничную и выслал ее узнать, в чем дело, так как Прозоровы занимали весь дом и, следовательно, звонить могли исключительно к ним. Оказалось, что приехал Любимов. Он сидел где-то в гостях и, только что перед тем вернувшись домой, узнал, что за ним присылали. Евгений Петрович был значительно выпивши, и потому Светлов, вышедший к доктору на крыльцо, уговорил его не входить в комнаты, разбудил Ельникова и выслал к нему. Между докторами-товарищами произошел, хотя и короткий, но к концу довольно крупный разговор. Светлов слышал из передней, когда входил обратно Анемподист Михайлыч, как Любимов, спускаясь с крыльца, проговорил себе под нос:

— Чучело лечит,— вот потеха-то!

— Что у тебя с ним вышло? — спросил Александр Васильич у Ельникова, запирая за ним дверь на крючок.

— Дышло! — закашлявшись, проговорил доктор и сердито плюнул.

Минуты через две он уже снова сидел в кресле напротив больной, но не дремал, а следил за ходом ее болезни...

Прошло одиннадцать суток. Это были дни самой тяжелой неизвестности относительно положения Лизаветы Михайловны. Болезнь ее, по-видимому, не делала ни од-

ного шага к благополучному исходу. Все это время больная ни на минуту не приходила в сознание, постоянно бредила и волновалась. Днем еще — ничего, но к вечеру и, в особенности, ночью припадки упорно возобновлялись, хотя и с меньшей против первого дня силой; не то наступало такое изнеможение, что на больную смотреть было страшно. Никогда еще Ельников не относился так недоверчиво к своим знаниям, как в эти одиннадцать томительных суток. Анемподист Михайлыч заезжал к Прозоровым раза два-три в день и, кроме того, ночевал у них каждую ночь, с напряженным вниманием наблюдая больную иногда по часу времени и больше. Дома он пользовался всякой свободной минутой, забирался в угол на диван и лихорадочно просматривал различные медицинские сочинения на немецком языке, которыми постоянно снабжал его один польский врач изгнанник, получавший в Ушаковске все, что выходило нового в Европе по части медицины. Подчас, во время этих занятий, Ельников либо нетерпеливо взъерошивал себе волосы, либо выразительно обругивался. Его обычная суровость как бы удвоилась; он стал очень неразговорчив и даже на расспросы Светлова о положении больной угрюмо и коротко отвечал: «Ничего, брат, не могу пока сказать — сам видишь». Александр Васильич действительно видел не раз, украдкой следя за товарищем, как тот, стоя у постели Лизаветы Михайловны, сомнительно покачивал головой. «Жизнь ее висит на волоске»,— думалось тогда Светлову, и сердце у него болезненно сжималось. Он тоже проводил все это время у Прозоровых, почти безвыходно; дома его видели раза четыре — не больше, и то на несколько минут. Все необходимое доставлял ему оттуда Владимирко, являвшийся аккуратно через день. И это было очень кстати: дети Лизаветы Михайловны сильно скучали, особенно Сашенька, которая под конец захворала и сама от огорчения. Владимирко, до тех пор державшийся развязно только с Гришей, теперь подружился и с девочками, в особенности с младшей.

— Вы чего плачете? Я, брат, раз сам так хворал, что у меня вот какая мордочка сделалась! — рассмешил он однажды всех, желая утешить Сашеньку и курьезно прижав ладони к щекам, чтоб показать ей наглядно, какая у него «мордочка сделалась».

Ирина Васильевна сперва было очень недоброжела-

тельно встретила излишнюю озабоченность в старшем сыне относительно болезни Лизаветы Михайловны.

— Уж не на добро, отец, завел наш Санька эти уроки,— вот помяни мое слово! — несколько раз, с различными изменениями, повторяла она мужу.— Что ж такое, что хворает сильно? — не родня ведь она ему. Стыд какой! у молодой дамы ночует...

Но на седьмой день, когда старушка, взглянув на Александра Васильича, забежавшего перед обедом на минуту домой, увидела, что он значительно похудел,— ее любвеобильное сердце не выдержало и, так сказать, очнулось.

— Кто же у вас там ходит-то за ней? — спросила она у сына, слегка покраснев.

— Да Анюта,— сказал рассеянно Светлов.

— Ну уж, батюшка, много твоя Анюта находит! она, поди, сама-то еле ноги передвигает,— нетерпеливо заметила ему Ирина Васильевна.

Александр Васильич промолчал.

В тот же день, довольно поздно вечером, он был и удивлен и тронут, встретив нечаянно мать в зале «молодой дамы». Старушка выразила твердое намерение присмотреть до утра за больной. Она почти насильно прогнала спать Анюту, обласкала детей и подробно расспросила у Ельникова, что и как надо делать; при этом Ирина Васильевна сообщила ему, в свою очередь, что больную следует «умыть с креста». Анемподист Михайлыч поморщился и решительно, хотя и мягко отклонил это предложение. Тем не менее едва доктор с Светловым успели расположиться в зале ко сну, известный крест с мощами Варвары великомученицы водрузился-таки, при содействии чайной чашки, на этажерке Лизаветы Михайловны, и старушка только тогда успокоилась, когда прилепила перед ним, к краешку той же чашки, захваченную из дому восковую свечу и затеплила ее. Заглянув рано утром в спальню больной, Ельников только покосился на эту свечку, но не сказал ни слова. Ирина Васильевна точно таким же образом отдежурила здесь и еще две ночи сряду, пропустив один день, «пока», по ее выражению, «молодежь не отдохнула». Прощаясь с старушкой, Анемподист Михайлыч доставил ей большое удовольствие, сказав, что у нее можно поучиться ходить за больными.

— Только уж будто вы, молодые, одни все и знаете! Я ужо крест-то оставлю здесь: посмотрите, как ей полегчает; Санька принесет его потом,— весело ответила она на любезность доктора и ушла.

Любимов тоже заезжал сюда раза два в течение описанного времени, но больше, кажется, для виду. В оба эти посещения он старался вести себя с Светловым попрежнему, т. е. на товарищеской ноге; тем не менее в его обращении с Александром Васильичем нельзя было не заметить некоторой натяжки. Что же касается Ельникова, то на него Евгений Петрович положительно дулся; они обменялись друг с другом только несколькими холодными словами на «вы», с которого, впрочем, начал Любимов.

Таким образом прошло, как мы сказали, одиннадцать суток, не обнаружив в положении больной ни малейшего изменения к лучшему. На двенадцатые сутки, в ночь, в зале Лизаветы Михайловны шел тихий, но оживленный разговор. Дня за два перед тем вернувшийся из своей поездке Варгунин с жаром рассказывал о ней что-то Светлову, успевшему передать Матвею Николаичу еще раньше, за чаем, подробности болезни хозяйки дома. Анюта дремала в уголку над какой-то работой, взятой ею в руки именно с намерением отогнать сон: она была дежурной в ту ночь. Ельников, несмотря на все свое желание потолковать с Варгуниным, с самого вечера и до сих пор не отходил ни на шаг от больной: он ждал кризиса.

— Так-то, батенька! — говорил Матвей Николаич, дружески трепля Светлова по колену,— помучился-таки я с ними, не меньше, чем здесь вы с Лизаветой Михайловной; хоть рук мне и не кусали, а зубы я больше видел... И как это они, шельмецы, пронюхали? Не понимаю!

Варгунин пожал плечами и хотел было продолжать, но его остановили неясные звуки, выходившие, очевидно, из комнаты больной.

Светлов, сидевший спиной к дверям спальни, тревожно обернулся и увидел на пороге Ельникова. У Александра Васильича так и замерло сердце: на лице доктора было что-то торжественное.

— Поди-ка сюда, Светловушка,— громко сказал он, махнув рукой,— тебя Лизавета Михайловна хочет видеть...

Радость, как молния, сверкнула на лице Светлова. Он кинулся в спальню, не будучи в состоянии выговорить ни слова.

Больная лежала спокойно, с закрытыми глазами. Слабый свет ночника, покрытого густым абажуром, мягко падал на ее изнуренное лицо, значительно скрадывая его страдальческое выражение. Правая рука Лизаветы Михайловны чуть-чуть свесилась с кровати; исхудалая и обнаженная до локтя, рука эта выделялась, как мрамор, на фоне голубого шелкового одеяла.

Светлов молча остановился у изголовья и ждал, жадно впившись глазами в знакомый, но неузнаваемый образ,— и какое-то странное жгучее до боли чувство охватило молодого человека. Ельников закашлялся. Лицо Лизаветы Михайловны как будто дрогнуло от этого звука, губы шевельнулись едва приметной улыбкой, глаза медленно открылись и прямо упали на Светлова.

— Благодарю вас... милый...— слабо сказала она и чуть шевельнула рукой, как бы желая протянуть ее Александру Васильичу.

— Лизавета Михайловна!..— порывисто молвил он, наклоняясь над ней и нежно дотрагиваясь до ее руки; но голос его дрогнул и оборвался.

Светлов только теперь вполне почувствовал, как дорога стала ему эта женщина, какую страшную потерю могли понести в лице ее он и его дело.

— Детей... пожалуйста...— все так же слабо попросила больная, опять закрывая глаза.

— Только с одним условием: взгляните на них, но не говорите,— заметил Ельников,— малейшее усилие может повредить вам сегодня; завтра я буду милостивее.

— Да...— вздохнула Лизавета Михайловна.

Приятели вышли.

— Теперь — поздравьте меня! — с некоторой торжественностью обратился Анемподист Михайлыч в зале к Светлову, Варгунину и Анюте, тревожно ожидавшим, что он скажет,— наша больная вне всякой опасности; ей нужен только покой, покой и покой. Вот этого могучего врага побороть весело! — продолжал доктор, самодовольно потирая руки.— Н-ну, да уж и натура же у нее!.. Молодец-барыня!

Светлов молча обнял и поцеловал товарища; Варгунин и Анюта радостно пожали доктору руку.

— Да и вы молодчина, батенька! — восторженно заметил ему при этом Матвей Николаич.

— Ну, Анна Николаевна, я чувствую дьявольский ап-

петит и сознаю, что на этот раз покормить меня стоит,— весело обратился Анемподист Михайлыч к Орловой,— вот бы вы удружили-то мне, кабы угостили этак... бифштекцем.

Ельников последние два-три дня обедал наскоро и чем попало.

— С кровью? — рассмеялась Анюта, знавшая уже его привычки.

— С кровью, с солью, с перцем — со всякими штуками,— шутливо подтвердил доктор.

Анемподист Михайлыч, схватив свечу, отправился к детям. Он осторожно разбудил их, поздравил с благополучным исходом болезни матери, растолковал, как они должны вести себя у нее и потом уже повел их к больной вместе с Анютой.

Нечего и говорить, до какой степени были обрадованы дети, видя, что мать узнает их. Сашенька выказала при этом примерную твердость: поцеловав Лизавету Михайловну и услышав от нее «только одно словечко», она первая сейчас же ушла, как ни хотелось ей посидеть с матерью; Гриша и Калерия невольно последовали ее примеру. В заключение Анемподист Михайлыч нашел возможным показать больной даже Варгунина.

— Там, у нас, пойдет теперь пир горой, а вы пока усните,— сказал ей на прощанье доктор.

С следующего дня выздоровление Лизаветы Михайловны видимо пошло очень быстро. Покой и внимание, которыми все в доме, начиная с детей и кончая прислугой, старались окружить ее, много способствовали этому. Каждый вечер около постели больной собирался известный нам тесный кружок друзей, шли толки и споры до тех пор, пока она не начинала дремать; бывал и Любимов, но ненадолго: у него все «опасные больные на руках, изволите ли видеть», оказывались. Иногда, по желанию Прозоровой, ей передавали подробности ее бессознательного поведения в течение одиннадцати суток, причем каждый раз, как разговор касался участия Светлова в деятельности Ельникова, она украдкой взглядывала на Александра Васильича и краснела, подобно шестнадцатилетней девушке. В характере ее, однако ж, произошла значительная перемена. Нельзя было не заметить, например, что прежняя робость Лизаветы Михайловны как будто исчезла; она свободно говорила обо всем, выражалась

метко и смело. Не меньше заметна была в ней теперь еще и другая особенность: в ее манерах и словах появилась какая-то порывистость, горячность, точно она спешила все куда-то, точно принимала все близко к сердцу. Даже и в мыслях Прозоровой обнаружилось нечто подобное: они получили теперь какой-то новый, более высокий, полет, бо́льшую глубину и силу.

— Знаете что, господа? — заметила она однажды Светлову и Ельникову, сидевшим у ее изголовья,— это мне и самой кажется странно: ныне, после болезни, я смотрю на вас, как будто на товарищей, точно в одном университете с вами курс кончила...

И она была, пожалуй, права.

Что же такое испытывала в действительности Лизавета Михайловна? Да она и сама не могла бы ответить на это хорошенько: водворившаяся в ее внутреннем мире гармония не поддавалась никакому анализу. Но в тот день, когда Прозорова, в первый раз после болезни, выехала из дому, чтобы сделать визит старушке Светловой,— она невыразимо ясно и бестрепетно почувствовала, что связь ее с прошлым разорвана навсегда...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

МЫСЛЬ СВЕТЛОВА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Наконец-то осуществилась давно лелеемая мысль Александра Васильича: вот уже третья неделя пошла с тех пор, как школа его открыта. Василий Андреич, отправляясь, по обыкновению, утром на рынок, каждый день встречает у своих ворот очень бедно одетых мальчиков и девочек, с узелками и сумочками в руках. Иные из этих детей так плохо защищены от осеннего холода, что, смотря на их съежившиеся фигурки и красные руки, старику Светлову становится иногда жутко пройти мимо без ласкового слова.

— Опеть ребяты попались мне навстречу... Экие ведь все голыши какие! — сообщает он, вернувшись домой, жене.

— Да уж и холода же, батюшка, ноне стоят, как зима точно,— скажет в ответ на это Ирина Васильевна и пойдет придумывать, не найдется ли у нее и еще какого-нибудь старенького платья либо бурнуса, годных для превращения в детский гардероб.

Много уж таких платьев и бурнусов пустила старушка в ход в последнее время, соболезнуя ученикам и ученицам сына.

— Ты уж лучше все из дому-то вынеси! — нахмурившись, замечал ей муж, когда она, торопливо всунув под

мышку которому-нибудь из уходивших домой детей тот либо другой плод своих неусыпных изысканий, так же торопливо возвращалась в комнаты с крыльца большого дома, куда теперь переселились Светловы.

— Это, батюшка, все равно, что самому Христу подаешь,— давала отпор старушка.

— У тебя все — Христос! Этак и Вольдюшке нашему не в чем будет скоро в гимназию ходить. Уж этот мне Сашка со своими затеями! Разорит меня парень совсем...— ворчал Василий Андреич.

Но на другой же день, порывшись у себя в старом платье, старик приносил из кабинета к жене какую-нибудь старомодную шинель, говоря:

— На вот еще... может, пригодится.

Однако, хотя и сказано в писании, что «рука дающего не оскудеет», тем не менее Ирина Васильевна, глубоко верившая этому изречению, вскоре заметила, что запас различного старья совершенно оскудел в их доме. Еще бы, когда в школу приходило ежедневно до тридцати человек детей обоего пола! Однажды утром старушка заглянула туда минут на пять — и ничего не поняла: обучение грамоте по звуковой методе поставило ее в совершенный тупик.

— Ну, уж мудрен нынче народ стал! — заметила она мужу, вернувшись оттуда, и покачала головой.

— А что, мать? — спросил, будто равнодушно, старик.

— Да ничего, батюшка, не разберешь у них: буквы как-то на доске передвигают,— мучат ли, учат ли — кто их знает. И девчонки эти и мальчишки — все знать ничего не хотят, точно и не в школе; тот спросит, другой спросит — всякому отвечай. Уж чего это Санька выдумал, право так я и не знаю!

Василий Андреич соблазнился и на другой же день сам зашел в школу. Его тоже поразило, прежде всего, свободное обращение детей с учителем, которым в тот день была Прозорова.

Лизавета Михайловна сама вызвалась нести эту обязанность, предложив Александру Васильичу свои услуги три раза в неделю, через день, и просила только познакомить ее прежде с приемами преподавания. Она усвоила все необыкновенно быстро и была теперь общей любимицей детей, в особенности девочек. Короткие, еще не успевшие отрасти после болезни, волосы чрезвычайно шли к ее

заметно похудевшему лицу, хотя молодой Светлов и уверял, что с косой она была гораздо привлекательнее.

Василий Андреич пришел в школу довольно поздно и потому застал немногое. Пока он сидел да соображал, стараясь понять, в чем дело, урок уже кончился. Ребятишки, поскакав со скамеек, целой гурьбой окружили учительницу, предлагая ей наперерыв различные вопросы; но никто из них не обнаруживал особенного желания убежать поскорее домой.

Это невольно бросилось в глаза старику и чрезвычайно удивило его.

«Вишь ведь, разбойники, и домой не хотят! Мой Володька теперь бы уж давно дул из гимназии во все лопатки»,— подумал он, и его точно смутило что-то.

— Потише, ребятушки, потише! — мягко унимала между тем Прозорова все больше и больше напиравшую на нее юную толпу, пробираясь, чтобы поздороваться, к Василию Андреичу, с которым она познакомилась в то время, когда была после болезни с визитом у Ирины Васильевны.

Светлов старомодно расшаркался с ней.

— Не надоедают-с? — осведомился он с обязательной улыбкой.

— Бывает грех, да что же делать — дети! — чуть-чуть повела она плечами.— Впрочем, я как-то скоро привыкла,— у меня ведь своих трое.

— Ну, эти-то не в счет-с. А и то сказать, у меня у самого тоже только трое всего, да и с теми не справлюсь...

Прозорова улыбнулась.

— Ну, вам-то, кажется, теперь приходится иметь дело только с одним,— заметила она

— Ка-а-кой с одним! Старшие, думаете, лучше? То-оже вертопрахи! — шутливо махнул рукой Василий Андреич и, уходя, опять расшаркался.

Дома, на расспросы жены, что он думает о школе, старик сдержанно ответил:

— Кто их знает! может, и путное что выйдет...

Однако, как ни темны были представления стариков об этом предмете, они в ту ночь уснули оба с одинаковой мыслью: «А ведь Санька-то, кажись, и вправду доброе дело делает».

Но если кто был в восторге от школы,так это — Варгунин. Звуковая метода, о практичности которой Матвей

Николаич до того времени не имел никакого ясного понятия, просто очаровала его.

— Да это, батенька, прелесть ведь!.. Ведь это, батенька, сокращение времени-то какое — вы подумайте! — говорил он с жаром Александру Васильичу, раз шесть навестив его школу.— Я теперь тоже свои азбуки побоку... ну их к праху! Давайте-ка, батенька, катнемте скорее в Ельцинскую: мы там живо эти порядки устроим.

— Да вот пусть только школа покрепче встанет на ноги,— отозвался Светлов.

— Ну-с, хорошо-с. Когда же? — приставал Матвей Николаич.

— Может быть, с неделю, а может быть, и с месяц еще придется подождать.

— Эка вы, батенька, хватили — с месяц! В месяц-то можно, этаким манером, всю фабрику грамотной сделать.

— Это только сгоряча так кажется, Матвей Николаич,— возразил, улыбнувшись, Светлов.

— Сгоряча-то, батенька, и надо действовать,— сказал пылко Варгунин,— а как простынет — и кусай губы!

— В этом случае я не совсем согласен с вами,— заметил спокойно Александр Васильич,— губы-то именно тогда и приходится кусать, когда слишком поторопишься; поэтому я предпочитаю идти до времени — *шаг за шагом.*

— Так-то, батенька, и черепахи плетутся.

— Идти шаг за шагом не значит, по-моему, плестись; напротив, это значит идти решительно и неуклонно к своей цели, без скачков,— по крайней мере я именно в таком смысле употребил это выражение. Самая суть-то ведь не в скорости шагов, а в их твердости и осмысленности, мне кажется. Войско так же идет...

— А еще лучше, батенька, как и то и другое есть.

— Уж это само собой разумеется; да ведь мало ли чего нет... У нас если даже и плестить-то к порядочной цели, так надо поминутно оглядываться да под ноги смотреть, как бы на гнилую колоду не наткнуться, либо чтоб какой-нибудь зверь ноги тебе сзади не подставил; а уж о скачках-то и говорить нечего — сейчас шею сломишь: непроходимыми дебрями ведь мы идем...— сказал задумчиво Светлов.

— На то, батенька, мы и пионеры... шея-то уж не в счет,— улыбнулся широкой улыбкой Варгунин.

— Так как же вы в девственной-то трущобе побежите,

хотел бы я знать? Кто говорит о шее? да было бы за что ее ломать; не на потеху же гнилых колод она предназначается...— по-прежнему задумчиво возразил Александр Васильич.

— А вы думаете — целой донесете, батенька, вашу шкурку? — спросил Матвей Николаич, и в скулах его мелькнула ироническая улыбка.

Светлов пристально посмотрел на Варгунина.

— Одно из двух, Матвей Николаич,— сказал он необыкновенно серьезно,— или быть практическим деятелем или ходить по ворожеям...

Варгунин искоса посмотрел на него и смущенно умолк.

А дело школы между тем шло своим порядком. Усерднее всех работали для нее сам Светлов, Лизавета Михайловна и Ельников; кроме того, были приглашены к урокам двое молодых учителей ушаковской гимназии, только что перед тем приехавшие из Петербурга и довольно тесно сблизившиеся с Александром Васильичем. Сходясь с ними, Светлов очень хорошо понимал, что присутствие их, от времени до времени, в школе придаст ей необходимую прочность, в особенности в глазах местного учебного начальства. Сначала, впрочем, деятельность во флигеле кипела только по утрам — с детьми; что же касается воскресных вечерних уроков для чернорабочих, то на них в первое время никто не являлся. Потом Светлову удалось, через посредство горничной Маши, залучить на воскресный урок и еще трех-четырех молоденьких горничных; девушка Прозоровой тоже присоединилась к ним. Они сперва явились в школу из простого любопытства, а затем уже им понравилось и самое ученье. Но главным образом поддержке этих вечерних занятий помог Анемподист Михайлыч. Стяжав себе понемногу в Ушаковске довольно громкую репутацию «лекаря для бедных», он то и дело сталкивался в последнее время с разным рабочим людом, забираясь иногда с своей медицинской помощью в самые глухие закоулки города. Здесь, в этих пустынных закоулках, в этом темном мире невежества, нужды и, чаще всего, непосильной работы, ему удалось завербовать, наконец, сперва немногих, но зато вполне надежных учеников для светловской школы. Пример их соблазнил и еще кое-кого из подобных тружеников, так что в последнее воскресенье, когда Ельникову же и учительствовать

приходилось, во флигель порядочно-таки набралось черного народа, несмотря на дождливый сентябрьский день.

Под вечер Ирина Васильевна, сидевшая, по случаю воскресенья, с пустыми руками у окна, выходившего на двор, невольно обратила внимание на повторявшийся раза три или четыре скрип калитки. При новом подобном звуке Светлова поспешно заглянула в окно и увидела во дворе какого-то рабочего,— кузнеца, как ей показалось,— который недоумчиво озирался на все четыре стороны.

— Кого, батюшка, надо? — спросила она у него через форточку.

— А где тут учат? — осведомился, в свою очередь, рабочий, чуть-чуть тронув рукой шапку.

— А вон там во флигельке, батюшка, школа,— туда и ступай. А ты от кого? — полюбопытствовала старушка.

— Да мы сами от себя,— ответил рабочий и направился к флигелю.

Не успела Ирина Васильевна отвернуться от окна, как скрип у ворот повторился снова. На этот раз она увидела входившего во двор знакомого ей столяра-соседа, частенько работавшего на Светловых по домашнему обиходу.

— Куды ты, Петрович? — обратилась к нему с удивлением старушка, высунувшись в форточку.

— Да в школу, матушка, к вашему сынку,— конфузливо объяснил столяр, почесав правой ладонью затылок.— Доброго здоровья! — приподнял он за козырек новенькую фуражку.

— А тебе туды зачем? — спросила старушка,— починить, видно, что понадобилось?

— Кака, матушка, починка в праздник! Грамоте-то вот поучиться хочется...— по-прежнему конфузливо заметил Петрович и опять почесал правой ладонью затылок.

— Это на старости-то лет выдумал?! — изумилась Ирина Васильевна.

— Де она у меня еще, старость-то? Всего-то четвертый десяток ноне пошел,— как-то уже обидчиво проговорил столяр и, торопливо приподняв фуражку, тоже направился к флигелю.

— Чудеса, ребята, да и только! — шумно вошла старушка в кабинет мужа, где Оленька читала отцу какую-то книгу,— Петрович-то, сосед-то наш,— вот что контор-

ку-то папе делал,— поди-ка ты с ним, шути! — в школу, батюшка, Санькину поступил!

Старик не совсем понял жену.

— А ты где его, мать, видела? — спросил он.

— Да вот сейчас только во флигель он прошел; я еще с ним в форточку разговаривала; ученье, надо быть, у них там сегодня. Ба! да ведь сегодня воскресенье же и есть, ребяты,— спохватилась Ирина Васильевна.— Ну, так, так!.. так Санька и сказал, что у них по воскресеньям мужики будут обучаться.

— Я говорю, что...— хотел было что-то сказать Василий Андреич.— Гхе! — махнул он только рукой и не договорил.

Ирина Васильевна присела на диван рядом с Оленькой.

— Я бы, отец, на твоем месте, батюшка...— начала она поучительно.

— Эх, мать! уж ты-то хоть не досаждай,— с горечью перебил ее старик.— Кабы мне твое «я бы», так уж меня, однако, давно бы министром сделали. Совсем ноне свет навыворот пошел...— задумался он и минуты две по крайней мере досадливо чесал у себя волосы на лбу тремя средними пальцами правой руки так, что большой палец торчал кверху.— Эдак и сам с панталыку собьешься...

Василий Андреич встал и, наклонив голову, медленно зашагал по кабинету. Потом, так же медленно, он набил свою коротенькую трубку, закурил ее, уселся в угол и долго, с каким-то азартом, тянул из нее дым, пока она не засопела и не погасла; выколотив пепел, старик снова набил ее, опять хотел закурить, но как будто раздумал и подошел к шкафу с платьем.

— Пойду, погляжу...— сказал он, выразительно подняв брови, и стал повязывать галстук.

Спустя минут пять Василий Андреич поднимался уже на заднее крыльцо флигеля.

Здесь будет кстати заметить, что туда, дня за четыре перед тем, переселился Александр Васильич: он занял ту самую комнату, которая служила прежде кабинетом его отцу. Никакой особенной надобности в этом, по отношению к школе, Светлову не предстояло, но молодой человек просто воспользовался ею, как благовидным предлогом, чтобы разом отделаться и от бесполезного поми-

нутного контроля стариков, порядочно-таки мешавшего ему, и от мелких домашних столкновений, неизбежных при слишком тесном сожительстве,— все это только бесполезно раздражало обе стороны; а главное — круг деятельности и знакомых Александра Васильича настолько расширился теперь, что он мог действительно обеспокоить семью, привыкшую и рано ложиться и рано вставать. Ирина Васильевна восстала было сперва против такого переселения, но потом должна была согласиться с доводами сына, что ничего позорного относительно стариков в этом нет, что ведь он не на сторону переезжает, а остается жить у них же в доме. Таким образом, дело уладилось без особенного огорчения для старушки, выговорившей, однако, чтоб стол был общий, за исключением тех случаев, когда к молодому человеку соберутся гости. Александр Васильич кстати уж нанял себе и слугу, подговорив его, кроме того, исполнять обязанность сторожа при школе.

Василий Андреич с тем именно намерением и поднимался теперь по заднему крыльцу, чтобы предварительно зайти к сыну.

— А у вас тут, кажись, сборище сегодня? — обратился он к Александру Васильичу, встретившему отца на пороге его бывшего кабинета, с карандашом в одной руке и с мелко исписанным листом бумаги в другой.

— Да; сегодня вечерний урок,— подтвердил Александр Васильич.

— Неужели и взаправду мужиков станете учить? — присел Василий Андреич на край дивана.

— Как же, папа: целая комната набралась,— весело сказал молодой Светлов, положив на стол карандаш и бумагу.

— Да поймут ли они чего? — заметил старик.

— Ну вот еще! Разумеется, поймут. Как же мы-то с тобой поняли? — улыбнулся сын.

— Да им на что же, парень, грамота-то? ты вот что мне только скажи.

— Как «на что»? А нам-то она для чего была нужна?

— Эка ты сравнил! — чуть не обиделся Василий Андреич.— А по-моему — ничего путного из этого не выйдет; пустое дело вы затеяли,— сказал он.

— Вот что, папа: сегодня, после ученья, Анемподист Михайлыч будет объяснять, почему грамоту необходимо

знать всякому,— ты не хочешь ли, кстати, послушать? — спросил Александр Васильич невозмутимо.

— Послушать-то, парень, я, пожалуй, послушаю, да только дело-то, говорю, вы затеяли непутное... Ну, а как грех какой выйдет?

— Да какой же, папа, грех может выйти? Как ты думаешь?

— Всяко, брат, случается...— молвил с тяжелым вздохом старик и, низко опустив голову, он неподвижно уставил глаза на сложенные на коленях руки.

Из бывшей залы флигелька, переделанной в классную комнату, откуда слышался перед тем только неясный говор, теперь явственно донесся грубоватый голос Ельникова:

— Начнемте, братцы, с богом...

Жаль, что Василий Андреич не был там в эту минуту: он увидел бы, с какой глубокой серьезностью перекрестились взрослые ученики при возгласе доктора.

— Вот и урок начался,— заметил молодой Светлов отцу,— пойдем, папа, послушаем.

Они скромно, без малейшего шума, вошли в классную комнату и уселись в уголку, на самой задней скамейке — единственном незанятом месте. Все окружающее сразу произвело, по-видимому, значительное впечатление на старика. Он с нескрываемым любопытсвом стал вглядываться в разнообразные лица рабочего люда, принарядившегося по-праздничному. Некоторые стояли сбоку, возле скамеек, и слушали, подперши левой рукой правый локоть; трое или четверо были с женами и сестрами и сидели рядом с ними. На первой скамейке Василий Андреич заметил Машу и еще двух каких-то горничных, пристально следивших за передвижением Ельниковым картонных букв и, по его вызову, громко повторявших, как и остальные, звуки той, либо другой гласной. Петрович степенно поклонился старику Светлову, когда тот взглянул, между прочим, и на него. У Анемподиста Михайловича была, как видно, очень острая память: он многих уже называл по именам.

— Ну-ка, Григорий Терентьич, скажи-ка ты мне, как вон та буква называется? — говорил, например, доктор широкоплечему кузнецу, сидевшему на самой дальней скамье.— А теперь ты, Марфа Никитишна, повтори,— обращался он к ближайшей слушательнице.

Вообще же урок шел очень занимательно, интересовал, очевидно, всех и даже молодого Светлова, давно привыкшего ко всяким приемам обучения, занял под конец не на шутку. Василий Андреич только теперь начал понемногу догадываться, в чем состоит главным образом преимущество этого нового способа преподавания грамоты перед прежним — «на медные деньги». Старику в особенности понравилось то, что Ельников, от времени до времени, пересыпал свое серьезное дело разговором и шутками с учащимися. Собственно урок кончился в начале девятого. Затем доктор, заключив его словами: «Так-то, братцы! и вся мудрость невелика, была бы только охота»,— обратился к присутствующим с следующей речью:

— Надо вам сказать, братцы, что грамота — дело не пустое, а дело — важное. Кто грамоте выучится, тот всему уж потом может выучиться; я вот теперь лекарь, а без грамоты я бы лекарем не был. Грамотный человек сам себе голова: что захочет, то и может узнать из книжек, не прибегая за умом к соседу; грамотный человек и чужой-то голове еще пособит, коли понадобится. В книжках чего только нет: и про вашего и про нашего брата пишут, про всякое мастерство, даже про зверей,— про все пишут. Один ум, говорят, хорошо, а два лучше; ну, а что ни книжка, то и ум. Книжек же разных столько на свете, что коли и десять жизней проживешь, всех не перечитаешь,— больше, чем видимых звезд на небе. Вот даже и и про звезды можно из книжек узнать, а уж чего мудренее! Как прочитаешь этак, примерно, книжек сто, вот уж у тебя как будто и сто умов в голове. Особенно мастеровому человеку, как любой из вас, без грамоты совсем плохо приходится: всякий грамотей обсчитать его может. Мастеровой на хозяина работает, деньги вперед по мелочам забирает,— неграмотному надо, значит, всякую копейку в уме держать, чтоб не опростоволоситься, сколько потом дополучить придется. А грамотному что? Взял деньги — записал; в другой раз взял,— опять записал; в третий — тоже; при расчете-то уж ему и горя мало: только сосчитал все вместе — вот и конец весь; сейчас вернехонько и узнал, кто у кого в долгу. Бумага-то ведь, братцы, не голова: уж на бумаге что написано — не убежит, а из головы-то иной раз, пожалуй, и вылетит лишняя гривна: где все упомнишь! Хозяин хотя и пишет у себя в

книге, да ему тоже доверять нельзя: он все больше на свою сторону гнет...

— Уж это как водится,— поспешил согласиться молодой плотник, сидевший на третьей скамейке.

— Не нами, брат, оно заведено, не нами и кончится,— подтвердил Ельников.— Вот тоже и по домашнему обиходу.. ведь без грамоты ничего толком не поделаешь,— продолжал доктор и пристально посмотрел на женщин.— Грамотная мать сама может и детей своих грамоте учить, стало быть, лишняя копейка в кармане у ней останется; потому что мы-то еще с вами, так и сяк, проживем как-нибудь, а уж ребятишек-то без ученья оставить — все равно, что по миру их пустить: без грамоты нынче далеко не уйдешь, при всяком деле она требуется. Да и по хозяйству как без нее быть? Коли не умеешь считать, нечего и толковать, что обсчитаешься, как я вам уже и говорил. Вот тоже случаи бывают: отлучится кто-нибудь из вас, по своему делу, в другой город,— как тут жить без весточки от жены, от мужа, от ребятишек? Пожалуй, так-то дома и все прахом пойдет. А у грамотных это нипочем: разговаривают да советуются между собой письмами, будто и не врозь живут. У меня вон сколько приятелей в Москве, а я со всеми раза по два в месяц разговариваю заочно, через письма,— ну, значит, и не забываю их. А главное, братцы, грамота в кабак ходить отучит. В кабак, известно, зачем мастеровой идет,— чтоб душу отвести после работы, дома-то скучно...

— Уж это што говорить! кабак — последнее дело; а люб он нам точно-што со скуки больше... и зашибешься, значит, винишком,— снова поспешил согласиться тот же плотник.

— Да так, брат, в другой раз зашибешься, что, пожалуй, и в больницу к нам угодишь, а то и на тот свет,— опять подтвердил Ельников.— А грамотного человека какой прах в кабак понесет? — продолжал он с особенным увлечением.— Грамотному дома любая книжка больше расскажет, чем все кабацкие сотоварищи. Не захочется самому, с устатку, приняться за книжку, так все равно женушка может почитать, а ты, знай себе, лежи на лавочке, послушивай да похваливай; и разговоры у вас разные пойдут с хозяйкой... как река польются. А так-то больше грызотня одна идет между вами да брань; тут ведь уж и до бабьей косы недалеко — как раз ухватишься...

Долго еще говорил Анемподист Михайлыч, в таком же тоне, о важном значении грамоты, все шире и шире развивая свою мысль и то и дело наглядно поясняя ее примерами. Речь его сильно подействовала даже на Василья Андреича. Теперь старик уж не предложил бы сыну давешнего вопроса: «Да им на что же, парень, грамота-то?» Что же касается рабочих, то они, кажется, согласились бы всю ночь просидеть так, слушая доктора. Несмотря на то, что минуты две уже прошло с тех пор, как он кончил и отошел от доски, у многих все еще были навострены уши. Нечто подобное случилось и с Владимирком. Ирина Васильевна больше часу тому назад послала его в школу, чтоб звать отца пить чай, но мальчик позабыл о поручении; он все время, пока шел урок, торчал в соседней темной комнате, украдкой выглядывая оттуда по временам на отца. Александр Васильич только теперь заметил его забавно вытянувшуюся вперед фигурку и все еще полуразинутый, по обыкновению, рот.

— А! химик, здорово! — весело сказал доктор, тоже усмотрев мальчугана.

Владимирко принужден был выступить на сцену.

— А вы мне порошок-то так и принесли? — упрекнул он Ельникова, здороваясь с ним.

— Принесу, брат, принесу; извини, совсем позабыл,— смеясь, оправдывался Анемподист Михайлыч.

— Вы все забываете! Спирту мне тоже хотели принести...— допекал его мальчик.

— Ты откуда, парень, взялся? — подошел к ним Василий Андреич, обратившись с этим вопросом к сыну.— Мое почтение! — поздоровался он с доктором.

— Тебя мама чай пить звала,— пояснил Владимирко отцу.

— Да неужели у нас только теперь чай пьют? — удивился старик.

— Меня еще давече послали, да вон я их слушал...— сконфузился «химик» и указал на Ельникова.

— А мать-то там ждет: хорош посланный! — добродушно рассмеялся Василий Андреич.— Поди-ка лучше, вели самовар сызнова поставить: мы все вместе придем чай пить,— скажи матери.

— И вы придете? — тронул Владимирко доктора за локоть и, не дожидаясь ответа, юркнул из комнаты.

— Милости просим чайку с нами откушать? — как-то

вопросительно и будто неуверенно отнесся старик к Анемподисту Михайлычу.

Ельников поклонился.

— Отчего бы и не напиться чайку,— согласился он.

Между тем рабочие, с которыми до того времени толковал о чем-то молодой Светлов, начали понемногу расходиться, изъявляя ему свою благодарность, кто как умел.

— Уж ты, пожалуйста, дозволь опеть-то прийти,— наивно обратился к Александру Васильичу один из них, широкий в кости кузнец,— не гляди на нас, што мы, значит, мужики... ну, и значит, не приобыкши ешо, мы тебе сами заслужим.

Молодой человек ласково успокоил его.

С этого вечера значение школы как будто выяснилось в голове старика Светлова, как будто значительно выросло в его глазах; по крайней мере он уже очень недалек был от убеждения, что сын его, действительно, не баклуши бьет, а «делает, кажись, дело путное». Василью Андреичу даже удалось растолковать это жене, насколько хватило у старика умственных сил. Что же касается самого Александра Васильича, то он мог опасаться теперь разве только посторонних, так сказать, не зависящих от него влияний на школу; помимо их, в самом существе дела, дальнейший успех ее был вполне обеспечен и не подлежал ни малейшему сомнению. Но молодой Светлов очень хорошо знал, какую силу имеют у нас эти «посторонние», «независящие» влияния...

«Дело начато... Что-то будет дальше?..» — думалось ему весь вечер.

II

ЕЛЬЦИНСКАЯ ФАБРИКА

Санная дорога только что стала. Морозило слегка. Вечерние тени начали уже кой-где ложиться на снегу, придавая ему синеватый оттенок; хотя солнце еще не закатилось, но оно стояло довольно низко, и лучи его с каждой минутой все больше и больше утрачивали свою живость. К Ельцинской фабрике подъезжала рысью почтовая тройка. Из повозки задумчиво посматривали по

сторонам, куря манильские сигары, Светлов и Варгунин, оба закутанные в теплые енотовые шубы. Впереди, по дороге, чинно прохаживались вороны, поклевывая от времени до времени рыхлый снег; вспугнутые лошадьми, они на минуту взлетали и потом снова принимались за свою мирную прогулку.

— Ну, вот мы и Ельцу переехали; теперь до фабрики рукой подать,— пояснил Матвей Николаич своему спутнику, когда повозка их миновала ветхий мостик, перекинутый через небольшую извилистую речку.

Светлов стал молча вглядываться вдаль. Минут через пять он явственно различил первые домики деревни.

— Что, батенька? бьется небось сердчишко? — спросил у него Варгунин, широко улыбнувшись.

— Да как вам сказать, Матвей Николаич? И бьется и не бьется — как хотите; во всяком случае, не берусь изобразить вам состояния, в каком я нахожусь теперь: что-то совсем новое шевелится во мне...— молвил Александр Васильич, продолжая задумчиво смотреть вдаль.

— Это бывает,— согласился Варгунин и тоже умолк.

Между тем повозка, сделав несколько крутых поворотов, въехала в фабрику. День был праздничный, и потому фабричный люд весь высыпал на улицу. Старики и старухи чинно беседовали, кто стоя у ворот, кто сидя на лавочке, либо на завалинке под окнами, а молодежь обоего пола, разделившись на несколько кружков, дружно шумела, пела и заигрывала посреди улицы. Множество ребятишек с звонким смехом суетливо сновало взад и вперед в этой пестрой толпе; одни из них гонялись друг за другом с комками снегу в руках, другие задевали взрослых и ловко увертывались от их преследования. Легкий морозец был, очевидно, всем по вкусу. Светлова, столько лет не бывавшего в сибирской деревне, сразу поразило здесь очень многое: прежде всего ему бросились в глаза кокетливая щеголеватость женщин и молодцеватый вид парней; кроме того, степенная наружность стариков и незапуганная развязность детей, какую редко можно встретить в русском селе, также не прошли не замеченными для молодого человека. Но больше всего обратила на себя его внимание типичная привлекательность лиц, в особенности у женщин: они, как на подбор, все были красавицы в своем роде. Александр Васильич не мог утерпеть,

чтоб не обратиться к Варгунину с замечанием на этот счет.

— Эге, батенька! да такого местечка, как эта фабрика, в целой губернии поискать — не найдешь,— с воодушевлением пояснил Матвей Николаич.— Фабричные старики рассказывают, что будто, несколько десятков лет тому назад, первые здешние поселенцы крали и увозили сюда из соседних деревень первых тамошних красавиц,— вот таким-то образом и пошел, видите, какой красивый народец. Еще бы вам, батенька, *малолетки*[1] наши не понравились!

Светлов еще с большим любопытством стал вглядываться в пеструю шумную толпу. Въехав в ее середину, повозка, по приказанию Варгунина, подвигалась вперед осторожно, шагом. В толпе то и дело приподнимались фуражки и слышались радушные приветствия «косматому». «Матвею Миколаичу наше почтение!» — степенно приподнимались с завалинок старики, отдавая ему солидные поклоны. Многие женщины тоже здоровались с ним дружелюбными кивками головы.

— Ого! — сказал Светлов, повернувшись на минуту лицом к своему спутнику,— да область-то вашего знакомства, как видно, гораздо шире, чем вы рассказывали? Ведь тут она уж, кажется, не на двадцать, а верст по крайней мере на сорок от города раздвинулась.

— Это, батенька, не то, что у вас там, за Уралом: здесь — своя своих познаша,— весело заметил ему в ответ Варгунин, продолжая любезно отвечать на новые приветствия фабричных.

В конце деревни повозка, по указанию того же Матвея Николаича, остановилась у одной из групп стариков, в числе пяти человек. Это были люди самого степенного вида, совсем седые и, как видно, местные вожаки. Варгунин вышел на минуту из экипажа и поздоровался с ними рукой.

— Вот, деды... видите вы его? — указал он им головой на Светлова.— Это наш. Смотрите! — волоска на нем не тронуть!

---

[1] *Малолетками,* до последней реформы, назывались в Сибири не отделенные от родителей дети поселенцев, приписанных к казенным фабрикам и заводам. Лет десять тому назад встречались еще там совсем уже седые старики, именовавшиеся официально, в паспортах, этим званием. (*Прим. автора*).

Александр Васильич не нашел деликатным оставаться долее в повозке и тоже вылез.

Из группы «дедов» выдвинулся вперед один, совсем еще бодрый, величественного вида старик. Солидно погладив длинную седую бороду, он обернулся на минуту к товарищам и потом, как бы получив от них согласие, с важным, серьезным видом обратился к Светлову, до крайности заинтересованному этой сценой:

— Что сказал Матвей Миколаич, так тому и быть! Погости, погости у нас, добрый человек... Давай, поздоровкаемся!

Старик покровительственно обнял молодого человека и трижды поцеловал его так, как на Руси обыкновенно христосуются. Светлов догадался, что ему следует делать, и сам уже перецеловался таким же манером с остальными.

— Живете, значит, деды, ладно? Тихо у вас все? — спросил Варгунин у стариков после общего минутного молчания.

— Ничего, Матвей Миколаич, ладновато живем. Спасибо на добром слове! — ответили ему двое из них почти в один голос.

— Ну и ладно. Повидаемся ужо еще,— сказал Матвей Николаич, садясь в повозку и движением головы приглашая к тому же своего несколько рассеянного спутника.— Трогай! — пошевелил он рукой за локоть ямщика.

Повозка отъехала рысью.

— Добро погостить! — послышалось ей вслед.

— Спасибо! — откликнулся Варгунин, приподняв меховую шапку, и обратился к Светлову: — Вы, батенька, я вижу, порядком-таки удивлены нашей остановкой? — заметил он ему.— Это я вот для чего сделал: здесь парни — народ бедовый; а женщины — сами видели, какие,— так необходимо было, на всякий случай, заручиться дедами. У вас ведь, я чай, не лягушечья кровь?..

Александр Васильич, против обыкновения, не поморщился от этой шутки.

— Полно вам, Матвей Николаич, загадки-то загадывать,— весело сказал он и лукаво засмеялся,— разве я не понимаю, в чем дело?

— А поняли, батенька, так и тем лучше,— ответил Варгунин, и широкая улыбка осветила его умное, выразительное лицо.

Повозка подъезжала между тем к красивому домику в русском вкусе, с балконом и зелеными ставнями. В ту минуту, как она повернула к крыльцу, выходившему прямо на улицу,— в глубине холодного коридора, который разделял домик на две необширные половины, показалась высокая стройная фигура молодой девушки, в синей бархатной шубке, опушенной соболем, и в белой пуховой косынке на голове. Девушка, очевидно, шла на улицу. Едва она переступила порог крыльца, как Светлов, не дав еще остановиться экипажу, в одну минуту поднялся на ноги, бесцеремонно перепрыгнул через колени Варгунина, причем порядочно толкнул его и, выскочив из повозки, опрометью бросился на крыльцо: он сразу узнал в этой стройной фигуре... Христину Казимировну.

Взглянув мельком на вылезавшего из повозки Варгунина, девушка вспыхнула, как порох, и, с быстротой молнии, перенесла свой взгляд на молодого человека, который стоял теперь перед ней, трепетно ожидая, как его примут.

— Са-а-ша!!. Здравствуй!!.— вскричала она, наконец, вся задыхаясь от волнения, и кинулась на шею к Светлову.

Они поцеловались долгим, горячим поцелуем и, вероятно, минуты две по крайней мере простояли бы так, обнявшись, если б их не разъединил подошедший Варгунин.

— Надобно что-нибудь и на мою долю оставить, Казимировна...— сказал он шутливо.

— Славный, добрый Матвей Николаич!.. Спасибо вам!

Она так же дружески обняла и его.

Светлов смотрел на них и ничего не видел: у него словно туман стоял перед глазами,— так глубоко потрясло его это, столь давно желаемое им, свидание. Он, по правде сказать, не ожидал уже услышать от Жилинской прежнего дружеского «ты», не ожидал от нее и такого горячего привета, каким она его встретила, зная по опыту других, как много значат годы разлуки в подобных встречах. Собственная ошибка, так очевидно доказанная ему теперь когда-то любимой девушкой, поразила его.

Обняв Варгунина, Христина Казимировна опять подошла к Светлову, взяла его за обе руки и долго-долго смотрела ему молча в лицо.

— Так вот ты какой стал теперь! — сказала она наконец, продолжая пристально и ласково всматриваться в него,— уж не прежний «гимназистик».— Жилинская как-то особенно оттенила последнее слово.— Ты ведь, впрочем,— помнишь? — всегда сердился, когда я тебя так называла. А теперь уж не рассердишься? Да?

Светлов улыбался только, молча соглашаясь с ней.

— Но... не прими за комплимент — ты страшно похорошел с тех пор, хотя уж и нет на щеках прежних роз,— продолжала она, любуясь им.— Однако что это я мелю? Я совсем потеряла голову, как тебя увидела... Пойдем скорее к папке!

И Христина Казимировна, быстро схватив за руку Светлова, стремительно повела его в комнаты, забыв даже пригласить Варгунина, который, впрочем, и без приглашения последовал за ними, улыбаясь и напевая что-то себе под нос.

Жилинский стоял у письменного стола, спиной к двери, и зажигал свечу, когда дочь почти вбежала к нему в кабинет, ведя за руку гостя.

— Угадай, папка, кого я к тебе привела? — задушевно-весело сказала она, поцеловав отца, и загасила свечу, дунув на нее прежде, чем старик успел обернуться.

— Если б ты даже и не таким восторженным тоном предложила мне этот вопрос, так я догадался бы...— ответил он с сильным выражением радости в голосе.— Пусти, стрекоза! дай поскорее огня зажечь: у меня ведь не твои влюбленные глаза...

Он, однако ж, не сразу зажег свечу: рука у него заметно дрожала. Светлов, стоя сзади, громко поздоровался с ним по-польски.

— Так и есть! Так я и думал! — быстро проговорил Жилинский и, ставя второпях на стол зажженную свечу, он едва не уронил ее на пол.— Здорово же, мальчик! — уже дрожащим голосом, но по-русски, обратился он к Светлову точно с такими же словами, какими приветствовал его обыкновенно десять лет тому назад.

Старые знакомые крепко обнялись и поцеловались несколько раз.

— Вы даже представить тебе не можете, Казимир Антоныч, всей моей радости, что я снова вас вижу, после стольких лет!..— опять по-польски сказал Светлов, и голос у него задрожал от волнения.

— Верю...— снова по-русски заметил ему растроганный старик,— но говорить мы с тобой по-польски будем тогда, когда буду у *тебя*, а теперь ты — *мой* гость,— прибавил он с старосветской любезностью.

В эту минуту в кабинет вошел Варгунин.

— Ба! и коллега здесь! — весело вскричал Жилинский, идя к нему навстречу.— Н-ну! сегодня мы так запируем, как никогда еще не пировали... А что? ведь мальчик-то этот теперь совсем молодцом смотрит? А? что ты на это скажешь? — с некоторой гордостью прибавил он, указывая Матвею Николаичу на Светлова.

— Молодец, батенька, всегда молодцом смотрит,— ответил Варгунин, улыбаясь и пожимая старику руку.

Как только кончились первые приветствия, весь дом был поставлен на ноги. Жилинский имел обыкновение сам распоряжаться всем, отстраняя по возможности дочь от занятия хозяйством, так как, по его любимому выражению, «только эта бабья профессия и делает баб из женщин». Несмотря на свои шестьдесят лет с лишком, он быстро шагал теперь из комнаты в комнату, отдавая, между прочим, и совсем лишние, но, по его мнению, на этот раз необходимые, приказания. Христина Казимировна тем временем занимала в отцовском кабинете гостей; то есть, если сказать по правде, она, вся увлеченная прошлым, говорила с одним Светловым, предоставив Матвею Николаичу широкое право только поглядывать на них из уголка дивана да улыбаться. Варгунин даже успел вздремнуть там с четверть часа под их неумолкаемый говор.

Вскоре все это маленькое общество мирно сидело уже за чайным столом. Стол был сервирован на славу; видно было, что старик Жилинский недаром провел бо́льшую часть своей молодости в лучших варшавских и петербургских салонах: на всем лежала печать утонченной простоты и изящного вкуса. Христина Казимировна, по обыкновению, сама разливала чай,— это было, кажется, единственное хозяйственное занятие, безраздельно предоставленное ей отцом. Минут за пять до чаю с Александром Васильичем сделался легкий обморок. Светлова заботливо уложили на мягкий диван, поодаль от стола, спрыснули ему холодной водой лицо и, чтоб не тревожить молодого человека, все говорили вполголоса. Теперь, полулежа на диване, Светлов хотя и чувствовал силы встать и

вмешаться в общий разговор, он не мог, однако ж, не поддаться сладкому соблазну — остаться и еще на несколько минут в этом положении. Дело в том, что Александр Васильич только теперь пришел немного в себя от всех треволнений недавней встречи; он даже не успел порядком разглядеть до сих пор знакомых, дорогих лиц: перед глазами его все это время носился какой-то туман, как и давеча на крыльце, и только в настоящую минуту, когда этот туман рассеялся вместе с обмороком, молодой человек мог вполне убедиться, что перед ним сидят не призраки, а живые, дорогие ему, лица. Светлов полуоткрыл глаза и жадно всматривался в них.

Да! это были действительно не призраки, а живые люди, с которыми он так крепко, так разумно был связан десять лет тому назад. Старик Жилинский все смотрит таким же бодрым, величавым стариком, как и тогда; та же энергия запечатлена на лице, только голова стала еще седее да волосы реже; даже взгляд черных, как уголь, глаз не утратил как будто ни единой доли прежнего огня.

«Таких стойких и самому времени не поддающихся натур не родится уж больше на измельчавшей Руси»,— думается Светлову, и он медленно, будто нехотя, отводит глаза от старика Жилинского, чтоб взглянуть на его дочь.

Она рассеянно слушает Варгунина, приподняв слегка подбородок. Это — и прежняя, и не прежняя Христина Казимировна: та же гордая, причудливая и независимая головка, но как будто меньше стало мускульной упругости и силы в тонкой, стройной шее, будто слегка покачивается на ней эта неугомонная головка; те же проницательные, отцовские глаза, но только теперь они стали влажнее, бархатистее, глубже; и осанка та же, но женственнее. Да! и теперь Христина Казимировна смотрит прежней красавицей в полном смысле слова, только еще роскошнее стали формы, еще ярче горит на щеках зарево румянца, еще пышнее оттеняют бледные окраины лица шелковистые и черные, как смоль, раскинутые по плечам волосы. И все-таки во всей ее фигуре нет уже прежней беззаветно заносчивой отваги: это — все то же море, бурное и бездонное, но, как будто у берегов, где крутые, незыблемые скалы дали холодный отпор его могучей силе...

Светлов закрыл глаза и задумался.

Когда молодой человек снова открыл их, услыхав воз-

ле себя легкий шорох шелкового платья, он увидел, что над ним наклонилась и тревожно смотрела на него Христина Казимировна.

— Ну что ты, Саша? Что это с тобой?!. Лучше ли тебе? — говорила она, нежно гладя рукой его холодный лоб.

«И от этой роскошной, любящей и гордой женщины я должен отказаться!» — мелькнуло в голове Светлова, и эта мысль прошла через нее, как раскаленное железо. Александр Васильич, однако ж, тотчас же встал с дивана.

— Не беспокойся, Кристи,— сказал он, делая усилие улыбнуться и целуя ее в лоб,— от радости не умирают.

Христина Казимировна задержала на минуту руками его голову и горячо поцеловала его в губы.

— Это за то, что ты, наконец, вспомнил когда-то твое любимое имя,— сказала она, снова садясь разливать чай.

Жилинский встал и усадил Светлова между собой и дочерью.

— Поторопился я немного, мальчик, назвать тебя молодцом,— заметил он ему с добродушной шуткой, дружески потрепав его по плечу,— обмороки от женщин не должны быть у тех, кто не хочет падать в обморок перед свистящей пулей...

— Эка, батенька, что сказал! — засмеялся Варгунин,— да, по-моему, в любой прекрасной женщине столько сидит зарядов, сколько не отыщется их в пороховых погребах всего земного шара!

— Отодвиньте же, в таком случае, Матвей Николаич, свечу от Кристи,— засмеялся, в свою очередь, Светлов, указав глазами на Жилинскую.

— Ну уж, батенька, вот вас-то бы так вернее было отодвинуть от Казимировны...— сострил Варгунин.

Все непринужденно засмеялись.

От шуток разговор незаметно перешел к серьезным предметам и, наконец, коснулся светловской школы.

— Отчего бы и тебе, Кристи, не устроить здесь школу? — спросил, между прочим, Александр Васильич у Жилинской.

— Да она уж дважды заводила ее здесь,— ответил за нее отец,— в первый раз, с разрешения,— закрыли; во второй раз, потихоньку,— обязали подпиской не входить ни в какие подобные заботы, даже относительно детей...

— Остается, значит, попытаться только завести школу в третий раз? — заметил, улыбаясь, Светлов.

— Так тогда меня и вышлют отсюда,— возразила Жилинская.

— Чего у нас нельзя обойти, Кристи! — сказал Светлов, выразительно покачав головой.

— Да я и обхожу: а ты думаешь — нет? Папка ведь говорит только, что нельзя устроить правильной школы.

— Зато у моей девочки целый свой лазарет здесь организован,— сказал Жилинский.

— На попечение которого я однажды не побоялся отдать даже собственную особу,— вмешался Варгунин.

— Вот как! Кто же им заведует? — спросил Александр Васильич.

— Да я сама, Саша,— скромно пояснила Христина Казимировна.

— Да? Но лечит-то кто же?

— Я же сама и лечу,— опять так же скромно пояснила она.

Светлов находился в очевидном недоумении.

— А ты думаешь, мальчик, что мы без тебя ничего уж и не делали в эти десять лет? — спросил у него старик Жилинский.— Моя девочка года четыре, если еще не больше, училась медицине у...

Казимир Антоныч назвал фамилию того самого польского врача-изгнанника, у которого Ельников заимствовался специальными пособиями на немецком языке.

— Он, папка, думает, что я все это время размышляла, отчего он вдруг перестал ко мне письма писать...— лукаво улыбнулась Христина Казимировна.

Светлов вспыхнул, как прежний «гимназистик».

— Кристи! — сказал он с задумчивым упреком,— разве ты не знаешь, что кто старое помянет, тому глаз вон?

— Может быть, это и мудрость; но, по-моему, справедливее было бы выкалывать оба глаза тому, кто забывает старое,— заметила она тем же прежним, насмешливым тоном, который был так памятен Светлову.

— По-о-лно вам ссориться,— вмешался в разговор Жилинский.— Кто же бранится с посторонним мужчиной при женихе! — шутливо обратился он к дочери, с комично-важным видом покачав головой.

— Это вот Казимир Антоныч постоянно меня так

дразнит,— пояснил Варгунин Светлову,— а теперь, батенька, кстати уж и вас призадел маленько...

Светлов опять почему-то вспыхнул.

— Нет, папка, тут дело не в ссоре, а я сегодня же хочу доказать Саше, что не забыла старое: я помню, что я у него в долгу,— сказала Христина Казимировна с той обворожительной улыбкой, перед которой Светлов никогда не мог устоять.— Вели, папка, запречь мои беговые саночки: я прокачу его сегодня сама... за прежний кабриолет.

— Надеюсь, Казимировна, вы не вывалите его с досады в снег? — осведомился Варгунин.

— А уж об этом вы спросите у него, когда мы вернемся...— лукаво-насмешливо ответила ему Жилинская.

Опять все засмеялись.

Через полчаса от крыльца домика Жилинских действительно отъехали беговые саночки; правила лошадью Христина Казимировна. Она была в том самом наряде, в каком встретила давеча гостей. Рядом с ней сидел Александр Васильич; он принужден был одной рукой обнять ее, а другой держаться за передок, чтобы не упасть: саночки оказались очень малы и узки. Сперва, с четверть версты, Христина Казимировна ехала легкой рысцой, почти опустя вожжи, но, миновав какой-то мостик, она натянула их и сказала Светлову:

— Теперь держись крепче, Саша!

И они полетели, как из лука стрела.

— Куда же ты мчишь меня так, Кристи? — спросил Александр Васильич свою спутницу, когда у него, наконец, дух захватило от быстроты езды.

— Я тебя в деревню увезу! — засмеялась она, еще сильнее натянув вожжи, и потом не то лаского, не то насмешливо прибавила: — Теперь мы, кажется, поменялись ролями... Помнишь, как в первый день нашего знакомства я предложила тебе тот же самый вопрос, какой ты мне сделал сейчас? и помнишь, как на этот вопрос ты ответил мне тогда точно так же, как я тебе сейчас ответила?

— Да, помню,— сказал Светлов.

— Только, видишь, я не так скупа, как ты был тогда: я молочка для тебя не пожалею...

Она звонко захохотала, поцеловав его на лету.

— Но ведь Казимир Антоныч будет ждать нас к ужину, Кристи...— слабо напомнил ей Александр Васильич.

— Казимир Антоныч, Саша, пожил довольно и как ему хотелось; теперь *мне* хочется жить,— и посмотрела бы я, кто запретит мне это! — возразила она гордо, и глаза у ней засверкали в вечернем полумраке.

Светлов промолчал, не находя в себе силы бороться в эту минуту с неотразимым обаянием своей спутницы; он только крепче обнял ее.

Они продолжали нестись по-прежнему, но молча, переживая каждый неизгладимую бурю в душе. Александру Васильичу начинала уже нравиться эта быстрая езда: она соответствовала тому вихрю мыслей, который крутился теперь в его голове. Отъехав версты четыре от дому, молодые люди завидели вдали огонек. Христина Казимировна задержала лошадь и пустила ее опять легкой рысцой.

— Вот и деревня,— сказала она, круто повернув налево, не то в какой-то темный коридор, не то в улицу.

Через минуту Жилинская стояла уже под окном чьей-то большой избы и стучалась в ставень.

— Это я, кума Маня. Отвори! — говорила она громко.

— Ба! да никак и впрямь барышня наша! — послышался за окном мягкий женский голос.— Отвори, Гарась, поскоре!

Сейчас же вслед за тем послышался стук тяжелого запора у ворот, и дюжий молодой парень лихо отворил настежь обе их половинки.

— Вот нежданно-то, негаданно!.. Здоровате-ка! — так же лихо тряхнул он головой, приветствуя неожиданную гостью.

— Здравствуй, Герасим! — дружески протянула было ему руку Христина Казимировна.— Прибери, голубчик, нашу лошадь. Да я не одна, смотри: вон и еще гость со мной,— указала она на стоящего поодаль Светлова.

— Ну, нет, милая барышня, со сна-то, не умывшись, руки я тебе не дам,— степенно заметил ей Герасим, торопливо убирая назад свою руку,— а как помоюсь, ужо, тогды дам. А вот, что до их милости, так это — наши гости: для них в избе завсегда места хватит, сколько ни приди. Милости просим, слышь, не побрезговать! — радушно обратился он к Александру Васильичу.

Светлов тоже было протянул ему руку.

— И тебе не дам руки без умывки,— так же степенно остановил его парень, тряхнув волосами.

В эту минуту в окнах избы показался свет.

— Вон уж кума Маня и огня добыла. Пойдем...— как-то особенно ласково обратилась Жилинская к Александру Васильичу.

Они проскользнули в ворота и быстро взбежали на высокое крыльцо.

Кума Маня — красивая деревенская женщина лет двадцати трех — встретила их, со свечой в руке, на пороге избы. Поздоровавшись с ней непринужденным поцелуем, Христина Казимировна представила ей своего спутника, сказав только:

— Это из наших, кума Маня.

Такой незначительной фразы, по-видимому, было совершенно достаточно для того, чтобы Светлову был оказан самый радушный прием со стороны молодой хозяйки.

— Мы вот с этим человеком, Маня, десять лет не видались, так надо нам хорошенько поговорить с ним с глазу на глаз,— сказала ей Жилинская после первых обычных расспросов о здоровье и делах.— Ты уступи нам, часика на два, вашу чистую половину и молочком нас попотчевай: я вот его обещалась угостить,— указала она глазами на Светлова.— Мы ведь вас не стесним этим... а?

— Что вы, что вы, барышня, грех какой! Да мы с Гарасей душу за вас отдать рады! — взволнованно проговорила радушная хозяйка.

Кума Маня засуетилась, сбегала на чистую половину, торопливо прибрала там, что было нужно, и проводила туда гостей, опять со свечой в руках; потом, минуты через три, она принесла им крынку густых сливок, две кружки, деревянную ложку — поставила все это на стол, покрытый чистой скатерью, и ушла, ласково сказав на прощанье гостям:

— Христос с вами! Хоть две ночки напролет проговорите...

Жилинская стала раздеваться.

— Мы здесь, Саша, как у себя дома: распоряжайся,— весело заметила она Светлову.

Александр Васильич видел, что ему готовы дать решительную, смертельную битву, и чувствовал в то же время, что никакая логика не устоит перед этой гордой, страстно любящей женщиной. Он задумчиво смотрел, как она сняла с себя сперва шубку и положила ее в углу на сундук, как сняла потом с головы косынку, небрежно кинув

ее туда же, как ее изящные пальчики нетерпеливо тормошили не снимавшийся сразу меховой ботинок,— и его всего охватило вдруг чем-то теплым, чем-то никогда им еще не испытанным. Он быстро сбросил с себя шубу и помог Жилинской снять заупрямившийся ботинок.

Христина Казимировна откинула назад волосы и обвила Светлова руками за шею.

— Теперь я обниму тебя и поцелую так, что ты никогда этого не забудешь!..— сказала она, задыхаясь,— и действительно, так обняла и поцеловала Александра Васильича, что у него на минуту опять встал давешний туман перед глазами.

— Кристи! — молвил он, опустив в изнеможении голову на ее плечо,— ты сама не знаешь, что делаешь... Ты должна меня выслушать прежде...

Христина Казимировна отвела одной рукой от плеча голову Светлова, а другой нежно провела несколько раз по его волосам.

— Ты, я вижу, не понимаешь, чего стоило мне любить тебя целые десять лет неизменно. Ты не знаешь, что значит тосковать столько лет, отдавать свою душу другому... даже без надежды увидеть его вновь когда-нибудь... Саша, Саша! как мало же ты понимаешь!!.

Она истерически зарыдала.

— Полно, Кристи!.. Кристи! поговорим лучше задушевно...

Светлов успокаивал ее, как мог.

— Я не ребенок, мне не нужно утешений...— говорила она через минуту, уже улыбаясь.— Давай, чокнемся молочком!

Жилинская до краев налила в обе кружки сливок и одну подала Светлову.

— Настоящее — наше. Выпьем же за эти немногие нераздельные минуты! — сказала она ему, подняв высоко свою кружку.

— За настоящим идет будущее...— возразил он нерешительно.

Христина Казимировна гордо выпрямилась перед ним.

— За свое будущее отвечаю я *сама!* — пылко проговорила она, и глаза у ней опять засверкали.

Они чокнулись.

— Теперь, Кристи, ты, во всяком случае, должна вы-

слушать меня...— сказал Александр Васильич, медленно ставя на стол опорожненную кружку.

Он сел; она сделала то же.

— Мы ведь не дети с тобой, Кристи... и ты знаешь, за какой вещью какой следует результат...— продолжал Светлов.— Я никогда не женюсь...

— Мне нет нужды знать об этом! — вся вспыхнув, гордо перебила его Христина Казимировна.

— Нужно или не нужно тебе это знать, Кристи,— повторяю: я никогда не женюсь...

— Отчего?..

Она пристально и проницательно смотрела на него.

— Оттого...

Светлов не договорил и тихо забарабанил кончиком пальца по столу.

> На те деньги, молодец,
> Ты купи коня[1],—

задумчиво и как бы про себя продекламировал он.

Христина Казимировна вздрогнула.

— Послушай же меня, Кристи,— продолжал Александр Васильич через минуту общего тяжелого молчания,— я ведь уж не люблю тебя теперь той, навсегда для меня памятной глубокой и горячей любовью, которая одна — и только она одна! — могла бы дать мне право целовать тебя не братским поцелуем... Мне больно сказать это тебе... в особенности тебе... но... но я не буду принадлежать никогда даже и той, которую я, кажется,— быть может, сам того не замечая,— люблю теперь... Слушай, Кристи! Ты хорошо знаешь сама, как ты хороша; ты хорошо знаешь, что за тобой — все обаяние моего невозвратного прошлого... все лучшее мое за тобой... Поедем!

Светлов решительно встал.

Она зарыдала, но не пустила его.

. . . .

Медленной рысцой возвращались назад беговые саночки Христины Казимировны; ими правил уже Светлов, а она, крепко прижавшись к нему, лежала у него на плече. Бледная луна томно освещала ее еще более бледное

---

[1] Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Измаил Бей» (1832). Черкесская песня, глава IX.

лицо. По временам оно на минуту вспыхивало ярким румянцем, глаза лихорадочно загорались и потом неопределенно-задумчиво смотрели в снежную даль. Александр Васильич тоже был бледен, задумчив, но на лице его играл какой-то особенный мягкий свет. Они всю дорогу ехали молча, только под конец заговорила Христина Казимировна.

— Ты имел тогда право на все и ничего не взял... Лучше же поздно, чем никогда... А я все-таки не могу ни наговориться с тобой, ни насмотреться на тебя!..— успокоительно шептала она Светлову, подъезжая к дому.

Казимир Антоныч и Варгунин давно уже поджидали их, не садясь одни за ужин, который роскошно был накрыт в маленькой, уютной столовой домика Жилинских. Когда Христина Казимировна вошла туда вместе с Светловым, старики жарко спорили о чем-то, сидя в двух противоположных углах — один на кресле, другой на диване.

Жилинская взяла было Александра Васильича за руку, сделала с ним два шага вперед, но потом, заметив, что он не понимает ее движения, быстро отдернула назад свою руку.

— Мы не обвенчаны, папка, да и никогда не будем обвенчаны,— с лихорадочной твердостью сказала она, одна подходя к отцу,— но мы теперь...

Христина Казимировна не договорила, и крупные слезы закапали у нее из глаз.

Светлов так и замер на месте, как ошеломленный.

Варгунин многозначительно посмотрел на всех, и начал медленно запускать правую руку в свои длинные, вьющиеся по плечам, волосы. На одну минуту в комнате стало так тихо, как будто бы в ней никого не было.

Старик Жилинский молча и величаво поднялся с кресел; ни один мускул не дрогнул у него на лице. Так же молча и величаво, твердым, неспешным шагом подошел он сперва к дочери, а потом к Светлову, обнял их и поцеловал каждого трижды в лоб.

— Уж это ваше дело...— сказал он им, наконец, с гордым спокойствием в голосе и во всей фигуре,— а мое — приказать подать шампанского, чтобы мы с старым коллегой могли от души выпить за ваше здоровье.

И старик, заложив руки в карманы, медленно-важно вышел из комнаты.

Подали шампанское; все чокнулись, обняли друг дру-

га и сели за ужин. Если б не слишком резка была бледность Христины Казимировны, если б Светлов не так сильно краснел от времени до времени, то можно было бы подумать, что ровно ничего особенного не случилось с ними в этот роковой для них вечер. Казимир Антоныч и Варгунин, с своей стороны, употребляли все усилия, чтоб сделать непринужденной общую дружескую беседу. Особенно удалось это Матвею Николаичу, после того, как, обратившись к Светлову и чокнувшись с ним не в зачет, он сказал ему задушевно-весело:

— Эх, батенька! у меня опять начинают «чернеть кудри»...

Как только кончился ужин, старик Жилинский первый встал из-за стола и тотчас же подошел к дочери.

— Поди, поди скорее спать, моя милая девочка: тебе покой нужен,— как-то грустно, но нежно сказал он ей, напутствуя ее, по обыкновению, горячим поцелуем на сон грядущий.

Когда она ушла, Казимир Антоныч пригласил Александра Васильича в свой кабинет — «дымить», как он выразился.

— Да и ты не помешаешь нам нисколько, старый коллега,— обратился старик к Варгунину, заметив, что тот собирается уйти в отведенную ему вместе с дорожным товарищем комнату, дверь в которую вела из столовой.

Долго длилась беседа в кабинете Жилинского; много говорилось, много спорилось. Споры были горячи, шумны и искренни. Голос Варгунина раздавался чаще и слышнее всех остальных.

— Э, ба-тень-ка-а! Что тут долго думать да гадать!.. Тут действовать надо!..— гремел он еще часу в четвертом утра.

Когда, уже на рассвете, Светлов вышел оттуда, на его спокойном лице не было ни малейшей тени...

III

ВЕЧОРКА У СТАРОСТЫ СЕМЕНА

На другой день, часов в десять утра, когда Жилинские с приезжими гостями сидели еще за чаем, в столовую их вошел видный мужик среднего роста, в черном вервере-

товом кафтане и в черных же плисовых штанах, которые щегольски были заткнуты за высокие голенища новеньких кунгурских сапогов, тщательно смазанных свечным салом. Вошедшему можно было дать, с виду, лет тридцать пять — не больше; в осанке и манерах его заметно обнаруживалась привычка распоряжаться, повелевать. Он был очень недурен собой: умные карие глаза бойко и прямо смотрели из-под несколько нависших, густых русых бровей, придавая всему лицу открытое и молодцеватое выражение, с оттенком того добродушного, затаенного лукавства, что так метко выражается у нас словами «себе на уме»; длинная, чуть-чуть рыжеватая, с редкой проседью борода почти совсем закрывала собой клинообразную полосу красной кумачной рубахи, открытую спереди воротом кафтана. Вошедший отвесил присутствующим общий, степенный поклон, с очевидным сознанием собственного достоинства.

— А! Здорово, Семен Ларионыч! Садись-ка да выпей с нами чайку. Что новенького скажешь? — весело проговорил старик Жилинский, вставая и здороваясь с ним, как с равным.

Казимир Антоныч подвинул к столу стоявшее поодаль кресло и несколько раз потрепал его рукой по подушке, любезно приглашая таким образом, нового гостя занять это место. Семен Ларионыч, прежде чем сесть, приятельски поздоровался с Варгуниным, деликантно прикоснулся концами толстых пальцев к руке Христины Казимировны и отдал особый, вежливый поклон Светлову, внимательно посмотрев на него сперва.

— Что же ты новенького-то нам, Семен Ларионыч, скажешь, а? — повторил Жилинский.

— Да каки у нас новости, Каземир Антоныч? Все, батюшка, по-старому. А я вот к тебе... и пуще, значит, к твоей барошне... хошь и не за большим делом, а все же усердная просьбица будет...— сказал Семен Ларионыч, осторожно садясь на указанное ему место и отдавая низкий поклон Христине Казимировне.

— Верно, заболел у тебя кто-нибудь? — спросила она, подавая ему стакан чаю.

— Заболеть-то, слава богу, никто не заболел, а я больше насчет баловства пришел: дедки наши сказывали вчерась, что Матвей Миколаич, мол, пожаловали сюды с гостем,— так вот вечорку хочем устроить у меня в избе;

оно, может, хошь и тесновато маленько будет, а все же другой экой избы не найдешь здеся супротив моей. Вот и просим вас покорно пожаловать к нам ужо вечерком,— скромно пояснил Семен Ларионыч.

Он привстал на минуту и опять раскланялся.

— Ну что ж? Хорошее, хорошее дело. Спасибо! Придем,— сказал Жилинский за всех.

— А гостей у тебя много будет на вечорке? — осведомился Варгунин.

— Да как не быть! Уж постараемся для вас, Матвей Миколаич: девок да баб, что покрасивее — всех в избу сгоним, и молодцов тепериче, которые позабористее; а остальные наши робяты и на дворе попляшут,— не поскучают. Вестимо, всех в избу где загнать! — ответил, улыбаясь, Семен Ларионыч и одним богатырским глотком сразу отпил полстакана чаю.

— А дельцо-то вы свое, батенька... не отдумали? — снова спросил у него Варгунин.

— Где отдумать! Спасибо, еще дедки уговорили наших-то повременить: только твоей милости ведь и ждали. Завтре, об эту пору, во — какой, гляди, переполох тут пойдет!..

Семен Ларионыч выразительно мотнул головой.

— Да вот, молчи, вечерком ужо потолкуем,— прибавил он и новым богатырским глотком допил свой стакан.

— Какая же у тебя ко мне-то просьба? — полюбопытствовала Христина Казимировна.

— А к тебе особенная: чтоб ты, значит, не токмо что пожаловала, а и поплясала бы на вечорке,— добродушно рассмеялся Семен Ларионыч.

Он торопливо встал, поблагодарил за чай, сказал: — До повидания ужо! — и ушел.

Семен Ларионыч, или староста Семен, как называла его обыкновенно вся фабрика от мала до велика, был личность далеко не дюжинная. Выбранный в старосты «дедами», он едва ли не больше их самих пользовался значением в глазах фабричных, верно угадывая характер и потребности этой неугомонной вольницы. Про старосту Семена даже «деды» говаривали, когда бывали навеселе: «У эвтого мужика четыре глаза да по крайности шесть рук». Действительно, Семен Ларионыч представлял собою чистокровный тип сибирской сметливости и находчивости: во всякое дело, бывало, вступится и из вся-

кого дела выйдет чист; впрочем, худых дел за ним и не водилось,— это также знала вся фабрика. Сойтись с Семеном Ларионычем было легко, стоило только заговорить с ним толково; он ладил даже с теми, кто, чувствуя за собой какой-нибудь грешок, имел повод бояться зоркого глаза старосты. В Ельцинской фабрике много жило постороннего народа, и иногда случались небольшие кражи, между тем как за своими ребятами даже фабричные старожилы не помнили этого порока. Староста Семен в подобных случаях живо разыскивал вора и прямо шел к нему с такой внушительной речью: «Ты, мол, это украл такую-то вещь: я ведаю, где она и лежит-то у тебя,— так уходи от нас поскорее, вот тебе три дня строку, а не то — шибко худо будет!» И вор исчезал обыкновенно из фабрики на вторые же сутки, зная, что шутить с старостой Семеном не приходится. Но никто не помнил там, чтоб Семен Ларионыч выдал когда-нибудь вора местной расправе. «От веселья не воруют» — оправдывался он на этот счет перед «миром» и «дедами». Трудом и сметливостью староста Семен скопил себе порядочное состояние: фабричные поговаривали, что тысяч десять серебром лежит у него в мошне; но скуп он не был, не отказывался помочь в беде другу и недругу, хотя и не бросал денег на ветер, только любил кутнуть иногда, раз в два месяца и тогда уж, что называется, распоясывался. У Семена Ларионыча была лучшая во всей фабрике изба, да такая, что и избой-то ее называть не приходилось: чуть не целый двухэтажный дом; вверху жил он сам, а внизу оставались незанятыми две чистые, просторные и хорошо убранные, по-деревенски, комнаты — «про всякий случай», как говаривал хозяин. Женат он был на первой фабричной красавице, но детей от нее не имел, и именно этим последним обстоятельством многие фабричные старики оправдывали одну непобедимую слабость своего лихого старосты: «до баб-то уж он был больно охоч». И «мир» стыдил его несколько раз за подобную слабость, и «деды» ему выговаривали, и сам, наконец, староста очень хорошо понимал, что «дело это пустое, неладное», да ничего не мог поделать с собой. «Такие уж у этих проклятых баб глаза окаянные — масляные»,— пояснит, бывало, Семен Ларионыч «дедам» в свое оправдание — и, глядишь, опять примостится к какой-нибудь «мужней жене»: девушек он не трогал. «Девка — что травка: подкосил — завянет; а баба —

что твой ивовый прут: срежь его да воткни в землю — все почку даст»,— говаривал староста не то шутя, не то серьезно. За «мир» свой он стоял горой; никакая сила не могла заставить его идти против «мира», разве уж сам увидит, что тот «больно брешет»...

Сегодня, как только смерклось, у просторных хором старосты Семена, стоявших в самом центре фабрики, толпился народ, поджидая начала вечорки и шумно переговариваясь. И вверху и внизу изба была освещена на славу: фабричный люд никогда еще не видывал у старосты столько зажженных свеч за один раз; и вверху и внизу то и дело поглядывали через окна на народ кучки стройных, красивых женщин: ни в одном салоне не встретил бы столичный фат столько красавиц сразу.

Действительно, внутри хором Семена Ларионыча был собран в этот вечер целый женский цветник, и цветы его были не искусственные — выведенные в теплице, а природные — выросшие на открытом деревенском воздухе; здоровье ярко пылало здесь на каждом лице, и только слишком уж испорченный городской жизнью человек мог бы пожелать, глядя на эти румяные лица, чтоб они, ради большей красоты, хоть немного прихватили «интересной бледности». Красивая кума Маня тоже присутствовала с мужем на сегодняшней вечорке: староста Семен хорошо знал, чем угодить Христине Казимировне. Изба была прибрана с некоторым щегольством: вымытый щелоком с дресвой пол, не успевший еще загрязниться от ног, невольно бросался в глаза безукоризненной чистотой; сундуки и скамейки у стен были прикрыты новенькими тюменскими коврами. Во второй комнате нижнего этажа, в углу под образами, стоял покрытый белою скатертью стол, обильно уставленный закусками и питиями, в числе которых две банки сардинок, паюсная икра в пузыре и три бутылки мадеры играли самую видную роль, а все остальное носило на себе более или менее туземный характер. За этим столом, на самых почетных местах, были усажены пока «деды» — до прибытия более дорогих гостей. Приготовляясь к их встрече, два местных скрипача, оба самоучки, настраивали уже свои визгливые, сильно потертые, инструменты. Молодежь продолжала нетерпеливо поглядывать в окна, шушукалась между собой и любезничала.

Жилинский с дочерью, Варгунин и Светлов (они и

оказались самыми дорогими гостями старосты) прибыли, по деревенскому времени, довольно поздно — в начале девятого. Стоявшая на улице толпа фабричных шумно приветствовала их и, отворив настежь ворота, проводила гостей через весь обширный двор до крыльца. Семен Ларионыч и его красавица жена, с низкими поклонами, встретили их на крыльце, а «деды» — у порога первой комнаты,— так требовал, должно быть, местный этикет. Срипки заиграли при этом какой-то доморощенный марш — нечто весьма забавное и в высшей степени своеобразное. Христина Казимировна первая вошла в хоромы и, как только разделась, сейчас же была обступлена красными девушками и молодицами, бесцеременно здоровавшимися с ней поцелуями. Она была одета щеголевато, но совершенно по-русски: пунцовый шелковый сарафан, голубая фанзовая рубашка и алая лента в волосах превосходно шли к ее, на этот раз несколько томному лицу. Сам Жилинский, Светлов и Варгунин, когда сняли шубы, тоже оказались, к общему удовольствию публики, одетыми в русское платье; на них были красные шелковые рубашки, опоясанные красными же шелковыми кушаками, и черные полубархатные шаровары, заткнутые за сапоги: у Казимира Антоныча, на случай приезда летних гостей, водился порядочный запас таких костюмов. Эта деликатная внимательность к народному вкусу сильно польстила самолюбию хозяев и остальных гостей.

— Гляди-ко, матка, какой молодец! — сказала потихоньку одна молодица другой, указывая на Светлова,— хошь сейчас к нам, в фабришные, поступай.

— И лихой же, надо быть — одно слово! — весело подхватил сзади какой-то парень.

Вечорка была открыта Христиной Казимировной и самим старостой, который пригласил ее сплясать вдвоем русскую. Семен Ларионыч оказался, в своем роде, танцором первой руки, и его одушевленная, отчаянная присядка вызвала общий, неподдельный восторг. За первой парой пустилась в пляс и остальная молодежь. Варгунин смотрел, смотрел и тоже не утерпел: он подошел к куме Мане.

— Ну-ка, кумушка, тряхнем-ка вместе старину,— любезно пригласил он ее.

— И вы?! — спросил у него Светлов, подходя к ним.

— А как же, батенька: я вам еще вчера за ужином докладывал, что у меня опять начинают «чернеть куд-

ри»...— добродушно засмеялся Матвей Николаич и пустился плясать с легкостью молодого человека.

Увлекшись общим, непринужденным весельем, Александр Васильич не выдержал и сам, молодцевато подлетел к первой попавшейся на глаза красавице.

— Попляшем вместе,— сказал он ей попросту.

— Давай спляшем,— ответила она ему тем же тоном.

Они скромно протанцевали русскую и уселись рядом.

— А тебя как зовут? — спросил Светлов у своей дамы.

— Парасковьей.

— Ну а по батюшке-то как?

— Петробной. А тебя?

— Александром Васильичем. Ты молодица или девушка?

— Вишь, косы нет — баба,— рассмеялась она.

— Веселый у вас народ,— сказал Светлов.

— Ничего, народ хороший; одначе ты на нашу сестру шибко-то не заглядывайся: как раз стягом попотчуют...

По лукавому выражению лица своей дамы Александр Васильич догадался, что ему была сказана любезность, только немного в грубоватой форме.

— Я и сам умею расправиться стягом-то,— рассмеялся он.

— Нешто я не вижу! у Казимира Антоныча худых гостей не бывает. А надолго ли сюды пожаловал?

— Как погостится.

— Ненадолго, так ничего, а то еще, пожалуй, сглазишь меня...

Молодица лукаво засмеялась.

— А если бы и так? — спросил Светлов.

— Что сглазишь-то? — переспросила она.— Больно скоро захотел! Поглянулась я тебе, скажешь?

— Разумеется, приглянулась.

— Ври больше!

Она, смеючись, ударила его по руке.

Светлов только что собрался отвечать, как к нему подошел староста.

— Пожалуй-ка, Лександр Васильич,— винца выкушать да закусить маленечко,— сказал он с учтивым поклоном.

— Да рано еще, кажется? — заметил Светлов.

— Ничего, опосля повторить можно. Иди-ка ужо!

Семен Ларионыч дружески взял молодого человека за

руку и увел его во вторую комнату, к столу. Варгунин и Жилинский с дочерью оказались тут же: они толковали о чем-то с «дедами», тоже сидевшими за столом, но теперь уже на втором плане. Староста стал наливать Светлову мадеры.

— Нет, я лучше водки выпью прежде,— остановил его Александр Васильич.

— Вот это так! Вот это по-нашему, по-русскому! Любое дело! Ай да молодец! — в один голос заговорили «деды».

— Облобызай-кось его за эвто, Семен! — с восторгом обратился кто-то из них к старосте.

— Как деды сказали, так уж и надо исполнять,— заметил Семен Ларионыч, подходя к Светлому, и трижды поцеловал его, утерев предварительно ладонью губы и бороду.

— Что, Саша? весело тебе у старосты? — спросила Жилинская, когда Александр Васильич выпил и закусил.

— Еще бы! — ответил он, улыбаясь,— уж, разумеется, здесь в сотню раз веселее, чем на каком-нибудь городском бале с большими претензиями и еще с большей скукой. Хочешь вместе русскую, Кристи? Пойдем!

Светлов обнял Христину Казимировну за талию, и они шаловливо убежали.

— Да, деды, уж если вы решились постоять за это дело, так надо постоять за него покрепче, да и поосторожнее,— говорил Жилинский, продолжая с стариками прежний разговор, прерванный на минуту приходом Светлова.

— Как, батюшка, не постоять! Коли пытать удачу, так уж, вестимо, не сдуру,— согласился с ним один.

— Наши робяты ни почему не попятятся,— заметил другой.

— Чего им пятиться! не таковский народец. Уж это... как мы сказали, так и будет; не докуда ему, слышь, кровь нашу пить...— подтвердил третий.

— А все бы пообождать не мешало...— сказал, будто нехотя, Варгунин.

— Уйдет, собака! не семи пяден во лбу,— лихо перебил его староста и стал угощать «дедов» вином.

Вечорка между тем шла в полном разгаре. То и дело прибывала молодежь, почему-либо замешкавшаяся дома; цветник пополнился новыми красавицами. Скрипки вы-

казывали теперь беспримерное усердие, заливаясь на всевозможные тоны: для избалованного городского слуха они показались бы едва выносимыми, но деревенскому уху эти звуки были любезны: в них слышалась по временам та бесшабашная, полная глубокого отчаяния, русская удаль, которая, быть может, одна только и отводит душу всякими неправдами измученному народу. Светлов, несмотря на неизмеримое расстояние, отделявшее его, как образованного человека, от «темного» общества старосты Семена, чувствовал себя здесь будто в родном кружке. В самое короткое время Александр Васильич успел со всеми перезнакомиться, напропалую балагурил с прекрасным полом, толковал и перебрасывался шутками с парнями. В свою очередь, и это общество, как ни темно оно было, сумело, однако ж, сквозь изящную оболочку нового гостя, разглядеть в нем «не барина»: парни бесцеремонно приставали к нему, молодицы и девушки то и дело тащили его плясать. Христина Казимировна, как видно, тоже умела водиться с народом: она без разбора танцевала со всеми.

— Золотая это у нас барошня! — заметила про нее Светлову Парасковья Петровна, когда он остановился возле последней, любуясь танцующей Жилинской.

— Да, славная девушка,— сказал Александр Васильич и стал искать глазами, куда бы сесть.

— Да вот садись тут, ко мне на колени — сдержу небось,— с наивной простотой пригласила его молодица.— Я ведь нарочно стягом-то давече постращала: тебя не тронут,— прибавила она, смеясь.

Светлов бесцеремонно уселся к ней на колени: ему не хотелось портить деревенской вечорки пустым жеманством.

— А что же ты на войну-то завтра пойдешь? — спросил он, улыбаясь.

— Пойдет муж, так и я пойду: с мужем-то ведь все ешь пополам — с ним, значит, и кашу хлебать доводится; у нас уж такое заведенье,— весело ответила молодица.

— Ты лихая, видно?

— Есть тот грех маленечко...

Парасковья Петровна засмеялась здоровым, грудным смехом.

— У нас в фабрике ничего без баб не делается,— пояснила она.

— Хороший обычай,— похвалил Светлов,— не мешало бы и городам поучиться у вас, как жить.

— Ну их! города — городами, а деревня — деревней, я так смекаю; спасибо, Хрестина Каземировна научила.

— А ты часто с ней видишься?

— Часто; она ведь не городская барошня — не гордая: пойдет гулять, так хошь на минуточку, да забежит ко всем. Как живешь? да как детки? да не надо ли чего? — про все спросит. Золотая, золотая она у нас! — с чувством повторила молодица.

— У тебя где же муж-то, Парасковья Петровна? — спросил Александр Васильич, объясняя его отсутствием развязность своей собеседницы.

— Как «де»? Да ты уж с ним сколько раз калякал севодни. Вон он стоит, в синем-то кушаке,— указала молодица.— Подь-ко сюды, Петрован! — громко позвала она мужа.

Петрован — красивый, плотный фабричный, с открытым лицом — неторопливо пробрался к ним, осторожно обходя пляшущие пары.

— Небось мягко те тут сидеть? — шутливо обратился он к Светлову.

— Мягко,— улыбнулся Александр Васильич.

— Зубами-то вот она у меня только костиста горазно, а так из себя — ничего баба, в мясу...— сострил Петрован.

— Пошли кругом шутки да прибаутки.

Между тем толпа на улице и во дворе незаметно росла и становилась все шумнее; несмотря на легкий морозец, она изловчилась устроить там свой пляс под чью-то разудалую гармонику. Дело в том, что Семен Ларионыч на этот раз, по обыкновению, распоясался и угостил народ вином, целковых на шесть по крайней мере, да Варгунин своих шесть приложил на тот же предмет. Этим угощением распоряжалась наверху и отчасти с крыльца красавица хозяйка. Собственно, доступ в хоромы никому не возбранялся, каждый мог войти туда свободно, но фабричный люд сам очень хорошо понимал, что «всем затесаться в избу нельзя — места не хватит», и потому обиженных в уличной толпе не было. Многие из любопытства заглядывали на минуту в избу и сейчас же выходили обратно, говоря:

— Тесно, робяты, и без нас.

— Тамочка девки — первый сорт, а здеся — второй; да нам и тут важно... весело! — заметил кто-то, и этой остротой вопрос был окончательно и любовно порешен.

Почетные гости старосты, в том числе и Светлов, частенько показывались на дворе и серьезно толковали о чем-то то с тем, то с другим; каждый раз при этом около них сгруппировывались отдельные кучки народа, внимательно слушавшие, о чем говорят.

Около второго часу ночи у ворот произошло какое-то необычайное движение, и раздался буйный шум толпы; слышны были крики:

— Здеся ведь не на заводе!.. Вороти назад оглобли!

— Что-то это недаром шумят...— сказал староста, посмотрев в окно, и хотел выйти.

В эту минуту в избу важно вошел фабричный смотритель в сопровождении двух рослых казаков. Фабрика звала его «жилой» и терпеть не могла, но до времени придерживала с ним свой крутой нрав. Смотритель, действительно, походил, по крайней мере с виду, на «жилу», благодаря необыкновенной эластичности и худобе своего изношенного тела. Это был чиновник старого закала, превосходно усвоивший привычку — в одну сторону раболепно гнуться, а перед другой выпрямляться и надуто важничать; песцовая шуба у него и теперь нарочно была распахнута спереди так, чтоб сразу обратить внимание чужих глаз на форменный потертый вицмундир и не менее потертую пряжку.

При появлении смотрителя скрипки умолкли, танцы приостановились.

— Что у тебя тут за гам такой? — начальническим тоном обратился он к хозяину.

— Ты прежде шапку-то скинь...— с степенным достоинством остановил его староста,— не нехристь, чай! Тут почище тебя люди есть...

Семен Ларионыч мотнул головой на дверь, где стояли кучкой Жилинский, Варгунин и Светлов, только что вышедшие из другой комнаты.

— Я спрашиваю: что у тебя за гам тут? Меня директор послал узнать...— значительно мягче уже повторил смотритель, нехотя снимая фуражку с кокардой и делая вид, что никого не замечает.

По небывалому тону приема он сразу догадался, что дело что-то не совсем ладно.

— Так ты и поди, скажи дилехтору, что никакого, мол, у старосты Семена гаму нету, окромя того, который я сам же, мол, у его ворот и настроил,— без улыбки сострил Семен Ларионыч.

Из уважения к редким гостям он был сегодня только чуть-чуть навеселе.

— Да ты мне отвечай, как следует, когда я тебя спрашиваю! — опять возвысил голос уязвленный смотритель.— Вечорка у тебя, что ли?

— Покойников со скрипками не хоронят,— невозмутимо пояснил староста.

— А! Ну, коли не хочешь добром *мне* отвечать, так иди же сейчас за мной к директору *сам!* — еще сильнее расходился смотритель.— Как вы... смеете... без спросу начальства вечорки устраивать?!. а? — резко прикрикнул он на Семена Ларионыча.

— Некогда мне тепериче: вишь? — гости; дилехтор может и завтре узнать, сколько ты с меня оброку в год получаешь...— еще невозмутимее ответил староста, лукаво почесав у себя за ухом.

Эта выходка окончательно взбесила непрошеного гостя.

— Взять его! — крикнул он казакам, забавно-грозно указав пальцем на хозяина, а сам быстро повернулся к выходной двери.

Казаки двинулись было с места.

— Не трожь! — закричало им несколько голосов, и вся молодежь, сколько ее было в избе, не различая полов, разом поднялась на ноги как один человек.

Казаки нерешительно переглянулись и отступили.

— Что ж вы опешали? — крикнул смотритель уже на них, выходя из себя.— А еще казаки! вой-ско!!. Взять его, говорят вам!

Казаки опять было выступили вперед, но в эту самую минуту из соседней комнаты спокойно вышел один из «дедов».

— Ты шибко-то не пори горячку, ваше благородие,— холодно и важно обратился он к смотрителю,— не испужаемся. Выборного своего мы тебе в обиду не дадим, а ты лучше уходи подобру-поздорову: неравно греха бы не случилось....

И «дед» опять удалился так же спокойно, как и вышел.

— Ладно же!.. Будете вы меня помнить!!.— весь побагровел смотритель и кинулся вон из избы, махнув рукой казакам.

Толпа во дворе мрачно и молчаливо пропустила их мимо себя, только у самых ворот кто-то громко крикнул им вслед:

— Мотри! не ходи по ночам — голову сломишь!

А вечорка между тем пошла опять своим порядком; еще усерднее заиграли скрипки, еще удалее заплясала молодежь. Неожиданно происшедший перед тем неприятной сцены как будто и не существовало; про нее даже и разговаривать не стали; только староста Семен, разрешив себе выпить еще одну рюмку водки, с сердцем сказал: «Ну их всех к дьяволу!» — и больше об этой сцене не было помину. Толпа на дворе тоже не отставала от избы: там хоровод затеяли парни, песни развели, благо старостиха мастерица была угощать и подпоила маленько даже баб, а русское винцо перебороло сибирский морозец.

Так сказать, парадная часть вечорки продолжалась до двух с половиною часов, т. е. до тех пор, пока на ней оставались почетные гости. Толпа проводила их теперь так же шумно и радушно, как и встретила. Семен Ларионыч запряг большие парные пошевни и самолично подвез дорогих гостей к домику Жилинского, лихо прокатив их перед тем по всей фабрике и мимо директорского дома, где в двух окнах виднелся еще огонь, несмотря на позднее время. Вернувшись домой, староста Семен разрешил себе кутнуть несколько пошире и пустился в самый отчаянный пляс, то и дело подзадоривая гостей и музыкантов каким-нибудь острым, залихватским словцом.

— Жги! не сумлевайся...— молодцевато приговаривал он, выделывая ногами невообразимые штуки.

В избе пошел, как говорится, дым коромыслом. Народ с улицы кучками валил теперь в хоромы погреться и посмотреть, «как дядя Семен трепака откалывает». Поощряемый шумными одобрениями, Семен Ларионыч крутился по избе, как вихорь, едва успевая менять своих дам. Около четырех часов он, однако ж, вдруг остановился, даже не докончив какого-то мастерского коленца, медленно отер бумажным клетчатым платком весь мокрый от поту лоб и громко объявил на всю избу:

— Девушка, гуляй, да дельце свое знай. Шабаш!

Это был у старосты обычный сигнал, означавший, что

вечорка кончилась. Все стали расходиться по домам. Но не скоро еще опустели фабричные улицы; подпивший народ бродил по ним небольшими толпами, припоминая любимые мотивы. Часу в пятом утра начинавший уже засыпать Светлов слышал еще, как мимо окон их комнаты, не запертых ставнями, прошла кучка фабричных, с шиком напевая самую лихую фабричную песню — надо полагать, произведение самородного туземного поэта:

Уж как в фабричке у нас
Есть про всякого запас:

Ай ди-ди, перепелка,
Ай ди-ди, молода!

От фабричных кулаков
Возлетишь до облаков...

Ай ди-ди, перепелка,
Ай ди-ди, молода! —

свободно и размашисто неслась по улице эта песня, и под ее разудалые звуки Александру Васильичу стал сниться какой-то волшебный сон...

IV

ВСЯ ФАБРИКА НА НОГАХ

Прежде нежели мы приступим к описанию происшествий настоящей главы, нам, для лучшего их уразумения, необходимо сказать несколько объяснительных слов. Ельцинская фабрика состояла, собственно, из двух казенных заводов — стеклянного, выделывавшего посуду низшего разбора, и суконного, производившего одно только грубое, так называемое солдатское, сукно. Заводы эти управлялись от казны директором, которому уже непосредственно подчинены были смотритель и конторщик, тоже числившиеся в коронной службе. Теперешний директор всего только год тому назад поступил на место прежнего, но и в это короткое время он успел уже возбудить к себе единодушную ненависть фабричного люда. Прежний директор был, так или иначе, человек справедливый и притом довольно мягкого, уживчивого нрава. Управляя фабрикой более девяти лет,

этот чиновник применился понемногу к обычаям тамошних рабочих и потому мог, в отношении их, позволять себе иногда даже и крутые выходки; если он и рисковал поплатиться за подобную смелость, то разве только непродолжительным созерцанием нахмуренных, недружелюбных лиц да косых взглядов. Тем более резким должен был показаться для фабрики переход под управление теперешнего директора. Теперешний директор,— переведенный в гражданскую службу полковник, бывший перед тем ушаковским полицеймейстером,— представлял собою личность, далеко не похожую на своего предместника. Это был вспыльчивый и вместе с тем бессердечный, грубый человек — смесь военного задора с гражданским взяточничеством. Во время своего полицеймейстерства он буквально нагонял ужас на более простодушных жителей города; даже уличные ребятишки, завидев пролетку и белую пару этого господина, с двумя верховыми казаками позади, рассыпались, как горох, во все стороны. Впрочем, для полной характеристики теперешнего директора Ельцинской фабрики достаточно было бы рассказать, что во время производства какого-то следствия о подделке кредитных билетов он, чтоб добиться сознания от одного татарина, приказывал производить над ним в своем присутствии операцию примерного повешения и продолжал ее до тех пор, пока у несчастного не начинало багроветь лицо. Таков был полковник Оржеховский. В фабрике сей почтенный муж начал свою деятельность с того, что прибавил лишний час работы на заводах, само собой разумеется, в пользу собственного кармана, а отнюдь не в интересах казны, и до крови избил какого-то молодого фабричного, осмелившегося протестовать против такого незаконного распоряжения. Затем, несмотря на данный ему при этом урок тем, что многие фабричные не пошли на другой день на работу, теперешний директор стал от времени до времени наказывать рабочих розгами — сперва за одни крупные вины, а потом и за мелочи иногда. Подобная мера исстари считалась здесь верхом позора для всей фабрики, не говоря уже о том, к кому она применялась: за высеченного обыкновенно даже не шла замуж ни одна порядочная фабричная девушка. К этой мере могли безнаказанно прибегать только «деды», не иначе, как с общего согласия и при-

том в весьма редких случаях: за последние пять лет перед управлением Оржеховского так наказаны были всего только трое. Уже к концу первого полугодия его директорства вся фабрика стояла к нему в открытой оппозиции; ни одного приветливого лица не встречал он на заводах. Но когда новый директор позволил себе дать десять розог за грубость одному из «дедов», оппозиция эта стала до такой степени очевидна, что Оржеховский поздно вечером не решался даже и с казаками показываться на улицах деревни. На него пожаловались в город, однако, безуспешно; мало того, двое мирских ходоков по этому делу за свою смелость были внезапно переведены на другой завод.

«Деды», в числе пяти человек, выбирались пожизненно всеми без исключения фабричными из самых умных, честных и стойких стариков деревни помимо всякого вмешательства местного начальства — и, в свою очередь, точно таким же образом избирали, уже сами себе, старосту. Согласно укоренившемуся обычаю, кандидатами на эту последнюю, хлопотливую должность могли быть только молодые или не очень пожилые еще, самые ловкие и сметливые фабричные. Староста тоже избирался пожизненно. Местное начальство, впрочем, и не признавало de jure[1] этих общественных властей, но de facto[2] пользовалось ими на каждом шагу, ясно видя, каким почетным значением пользуются они в глазах своих выборных и какое огромное влияние имеют на них.

Фабрика не могла, разумеется, стерпеть кровного оскорбления, нанесенного ей в лице одного из этих выборных, и решилась сама наказать директора, чтоб худо ли, хорошо ли отделаться от него раз навсегда. Варгунин, приезжавший сюда довольно часто, пользовавшийся здесь неограниченным доверием и общей привязанностью, знал очень хорошо об этом решении; но, любя вообще народ и предвидя дурные последствия, он советовал фабричным не пускаться на такое рискованное дело, а лучше обождать, пока сменят директора, и даже обещал похлопотать об этом частным образом у кого следует. Добрый совет Матвея Николаича на этот

---

[1] Юридически *(лат.)*.
[2] Фактически *(лат)*.

раз, однако ж, не был принят; фабричные решительно объявили ему, что сами проучат директора. Тогда Варгунин ухватился за последнее средство: он уговорил «дедов» и взял с них слово, что они ничего не предпримут до следующего его приезда в фабрику, думая этим выиграть время, пока поулягутся страсти. Действительно, раза два ему удалось таким образом отсрочить катастрофу, но в предпоследний его приезд «деды» внушительно и напрямик объявили старику:

— Тоже и нам теперича нельзя супротив мира идти... Уж ты там как хошь, Матвей Миколаич, еще раз мы тебя обождем, сделаем тебе уважение, только чур — на другой же день быть переполоху, как ты опеть пожалуешь; да больно-то не мешкай в городе: пожалуй, не утерпят наши робяты, тогда уж не прогневайся...

Варгунин принужден был дать слово приехать как можно скорее. У Матвея Николаича была одна из тех любящих и стойких натур, которые мало думают о себе, когда дело идет о судьбе их любимцев. Он знал, что «деды» ни в каком случае уже не изменят своего последнего слова, и решился лично участвовать в фабричном движении, надеясь своей опытностью и влиянием на народ отклонить от него какое-нибудь непредвиденное несчастье, а может быть, и преступление. Такова была роль, которую Варгунин добровольно назначил себе в этом деле. Матвей Николаич, сам всю жизнь протестовавший в пустыне, был настолько опытен, что мало мог предвидеть хорошего впереди от подобной попытки, но опять и не в его характере было сомневаться в возможности достигнуть чего-нибудь этим путем. Перед отъездом из города он сообщил обо всем Светлову, прося его совета и, если можно, помощи, т. е. личного присутствия в фабрике. В чем другом, а в этом Александр Васильич не мог отказать никому, тем более Варгунину.

— Да что же они думают сделать-то? — спросил он у него только, сейчас же согласившись ехать.

— Хотят, батенька, потребовать всей фабрикой от директора, чтоб он немедленно ее оставил, или, в противном случае, все прекратят работы. Пускай, говорят, приезжает городское начальство, так мы уж с ним потолкуем. Вот все, что по крайней мере *я* знаю, батенька.

Варгунин не притворялся: он действительно только это и знал.

Во многих фабричных головах бродила еще вчерашняя вечорка, как уже с раннего утра стало обнаруживаться особенное движение на улицах фабрики: то и дело встречались группы рабочих в пять-шесть человек, хотя день был и не праздничный. Одни из них, постарше, остановясь где-нибудь у забора, серьезно и с жаром разговаривали между собою вполголоса; другие, помоложе, взявшись дружно за руки, с вызывающим видом расхаживали взад и вперед, заломив набекрень шапки и напевая, тоже вполголоса, любимые фабричные песни. «Уж как в фабричке у нас» слышалось часто и в разных концах деревни. Ближайшие соседки беспрестанно обменивались между собой торопливыми визитами, спеша поделиться их результатом с другими. В так называемой «сборной избе» степенно и угрюмо совещались «деды», рассылая с разными поручениями во все концы фабрики любопытных ребятишек, одаренных непобедимым свойством — всегда торчать там, где соберутся взрослые.

Одного из таких гонцов перехватил на улице смотритель. Он шел сегодня ранее обыкновенного на заводы по распоряжению директора, которому еще вчера ночью успели доложить о необыкновенно дерзком поведении старосты: приказано было тщательно переписать на другой день всех, кто не явится на работу в срок, минута в минуту.

— Ты куда бежишь, чертенок? — строго остановил смотритель востроглазого гонца «дедов».

— Тятька послал за рукавицами к Софронихе,— ответил тот смело, не шевельнув ни одной ресницей.

— Своих-то мало ему, что ли? Да ты мне, чертенок, говори правду, а то ведь я тебя и за вихри возьму! — пригрозил смотритель.

— Да я не знаю. Мне тятька сказал: проси у Софронихи рукавицы, которые она мне новые сошила,— я и бегу.

— Пропил, видно, старые-то...— едко заметил убежденный смотритель и пошел дальше.

Он завернул сперва на суконный завод: хоть бы один человек явился! — пустехонько; зашел на стеклянный — та же история; а между тем обычный час работ уже наступил, и даже прошло минут двадцать лишних. Обстоятельство это было особенно поразительно в отношении

стеклянного завода: там всегда оставалось на ночь несколько человек дежурных рабочих, поддерживавших огонь плавильной печи, которая на одни сутки гасилась только раза два или три в месяц, перед начатием новой серии работ. Смотритель обыкновенно заглядывал сюда не каждую ночь, а изредка, больше для виду, во всем полагаясь на старосту; вчера он тоже не был здесь и теперь, к величайшему своему изумлению, нашел плавильную печь совершенно остывшей, даже без малейшего намека на ночную работу. Необходимо заметить, что директор держал этого господина в черном теле и на тугих вожжах; за право поживляться иногда малою толикой на счет заводов он подчинил его себе беспрекословно. Как и всегда бывает в подобных случаях, смотритель, разыгрывая, с одной стороны, роль верного директорского пса, с другой — являлся весьма убыточным паразитом в отношении рабочих; поэтому он не на шутку струсил теперь за свою оплошность и со всех ног кинулся к старосте.

Семен Ларионыч преспокойно сидел у себя на завалинке, беззаботно поколачивая в нее сучковатой палкой, всегда так магически созывавшей, бывало, фабричных на обычное заводское дело.

— Что ж ты не гонишь людей на работу? Али одурел со вчерашней-то вечорки? — крикнул на него впопыхах смотритель, почти прибежавший бегом.

— И сам не пойду и людей гнать не стану,— ответил староста убийственно холодным тоном, не допускавшим возражения.

Смотритель растерялся.

— Ведь они, мошенники этакие, плавильную погасили! Ты чего смотришь? — спросил он снова, не дав еще себе отчета в значении ответа старосты.

— Погашена,— знаю.

Семен Ларионыч был невозмутим, как и вчера.

— Так ты что же?..— как-то глухо уже и будто машинально проговорил смотритель.

— Видишь — сижу, палкой балую...

«Жила» растерялся еще больше и, по-видимому, не знал, что сказать.

— П-шол за мной к директору! — крикнул он через минуту на всю улицу, выведенный из себя равнодушием старосты.

— Несопутно; мне и тут ладно.

У смотрителя потемнело в глазах от досады и сознания своего начальнического бессилия.

— Ах вы... сволочь этакая! — проговорил он сквозь зубы.

Староста неторопливо поднялся с завалинки.

— Погляди-ко сюда, ваше благородие,— сказал он бесстрастно,— вишь ты эту палку, сколько на ней зубцов? Ежели я теперича этой самой палкой рожу тебе смажу... что будет? — знаешь?

И Семен Ларионыч, пристально посмотрев на собеседника, опять так же неторопливо присел на завалинку.

Смотритель как угорелый кинулся со всех ног к директору.

Оржеховский еще спал; ему, может быть, снились теперь те новые тысячи, которые отложит он в свой карман на будущий год, в ущерб казне и благосостоянию рабочих. По запертым ставням и наружной тишине в доме смотритель догадался, что начальство почивает и, не осмеливаясь тревожить его покоя, уселся в ожидании на одной из ступенек высокого крыльца; «жена... семеро детей...» — так и сквозило у него на лице. Этот человек вел жестокую борьбу за свое и их существование; на скольких заводах ни приходилось ему служить, везде он был только верной собакой и везде на его долю перепадали одни только крохи. В Ельцинской фабрике дела смотрителя пошли как будто лучше; правда, что он и здесь играл ту же самую жалкую роль, но зато на этом новом месте его беззастенчивая рука стала ощупывать иногда между крохами и целый лакомый кусок.

«А вот теперь и сменят, пожалуй, директора: опять кусай пальцы...» — безотрадно думалось ему.

Какой-то глухой, все более и более усиливающийся шум вывел смотрителя из глубокого, продолжительного забытья; он испуганно мотнул головой, вскочил на ноги и быстро поднялся до самой верхней ступеньки крыльца. Крыльцо вело со двора прямо во второй этаж и оканчивалось широкой площадкой перед входной дверью; оттуда, сверху, открывался просторный вид на улицу. Теперь, стоя на этой самой площадке и держась дрожащими руками за ее перила, смотритель был поражен необыкновенной, невиданной картиной: огромная толпа фабричных медленно подвигалась вдоль улицы по на-

правлению к директорскому дому; разноцветные головные платки женщин оживляли до некоторой степени однообразный и сплошной серый тон дубленых полушубков; фабричные мальчишки густыми кучками юркали сзади. Всмотревшись в эту исполинскую волну голов, смотритель, хорошо знавший численность местного населения, не мог не прийти к тому ужасному выводу, что тут была поставлена на ноги буквально вся фабрика. Растерянный до отупения, он вдруг ни с того ни с сего опрометью кинулся вниз и со всего размаха запер отворенную им при входе калитку, как будто эта убогая дверца могла разыграть роль неприступной скалы в борьбе с надвигавшейся все более народной волной. Едва захлопнулась калитка, как из углового окна верхнего этажа высунулась в форточку черноволосая, курчавая голова директора в вышитой бисером ермолке, и его бледное, с неподвижно-холодными глазами лицо прямо уставилось на смотрителя, оторопело державшегося обеими руками за железный засов.

— Что у вас там опять?.. Что вы тут делаете? — недовольным тоном крикнул ему Оржеховский.

Из чуткого утреннего сна его именно и вывел отчаянный стук, наделанный смотрителем.

— Беда, Григорий Николаич: вся фабрика взбунтовалась! — доложил тот, выбежав на середину двора и подобострастно снимая фуражку.

Присутствие высшего начальства несколько ободрило его.

— Как «взбунтовалась»? Это еще что такое?.. это еще что за новости?!. — вспылил директор, хотя и слышавший шум, но не разобравший сначала, откуда он происходит,— и вдруг глаза его упали на громадную толпу, которая величаво подвигалась вперед, теперь в каких-нибудь саженях двадцати от него.

Несмотря на обычную бледность, лицо Оржеховского заметно побелело еще сильнее.

— Разбудить казаков!.. Всех разбудить! Чтоб лошади были мигом оседланы!.. и мне! Слышите? — скомандовал он смотрителю, и голова его в ту же минуту исчезла из форточки.

Конвой директора состоял из двенадцати конных казаков, живших на том же дворе в так называемой «конвойной», налево от крыльца; один из них — дежур-

ный — спал постоянно в директорской кухне, в нижнем этаже дома. Смотритель разбудил сперва его и остальную прислугу, немилосердно постучав к ним в дверь, и потом уже кинулся в «конвойную». Минут через пять весь дом был поднят на ноги; прислуга обоего пола, как водится при всякой подобной внезапной суматохе, бесцельно шныряла теперь взад и вперед по двору, воображая, что уж и этим она кое-что делает; казаки торопливо седлали лошадей, отрывочно перебраниваясь между собою. Испуганный, должно быть, всей этой кутерьмой, какой-то гусь с криком выбежал, махая крыльями, на середину двора и с недоумением поводил во все стороны вытянутой, как палка, шеей. Неимоверно суетившийся смотритель нечаянно набежал на него, запнулся, сказал: — Тьфу ты, пропастина! — и кинулся наверх к директору.

Директорский дом выходил своим фасадом на небольшую площадь, примыкавшую справа к той самой улице, по которой двигался народ. Теперь это толпа занимала уже всю площадь, обратясь лицом к фасаду, «деды» и рядом с ними староста стояли впереди, отдельно, недалеко от окон нижнего этажа. Несмотря, однако ж, на близкое присутствие такой огромной толпы, шуму на этот раз не было слышно: она точно застыла в молчаливом упорном ожидании.

Оржеховский, в полковничьем мундире с густыми серебряными эполетами (которых — скажем в скобках — он не имел уже больше права носить, но которые берег, вероятно, для непредвиденных оказий, вроде сегодняшней), показался на минуту казакам с площадки крыльца.

— Совсем? — спросил он у них, очевидно, только для шику.

— Точно так, васкородие! — ответил ему за всех урядник.

— Сейчас же сесть на коней и... ждать моих приказаний! — распорядился директор и уж переступил было порог двери, как вдруг снова показался на площадке.— Пики, винтовки — все взять!.. зарядить!.. И лошадь мне! Жива! — громко скомандовал он.

Минуты через три казаки сидели уже на конях, вооруженные согласно приказанию; урядник держал за поводья оседланную директорскую лошадь. Еще через

минуту Оржеховский, стоя перед дверью балкона, выходившего прямо на площадь, самоуверенно говорил смотрителю, рисуясь перед ним густыми эполетами:

— Я им покажу... бунтовать! Вот посмотрите, как они у меня осядут...

Он принял надменную позу и вышел на балкон.

При его появлении толпа на минуту заволновалась и вдруг снова утихла; густые эполеты только в эту первую минуту произвели на нее некоторое впечатление. Директору не привыкать было бросать смелый и нахальный взгляд в лицо подчиненному люду, но теперь, подавленный его количеством, он чувствовал, что может смотреть свободно только в пространство. Тем не менее, скользнув смущенно глазами по многочисленным головам толпы, Оржеховский заметил между ними Жилинского и Варгунина, одетых в фабричные полушубки. Он распознал бы, вероятно, между женщинами и Христину Казимировну, если б она не нарядилась так искусно в старенький деревенский костюм и не закрыла так сильно платком лица; только стоявшего с ней рядом и тоже одетого в полушубок Светлова не мог ни в каком случае узнать директор, ни разу не видев его до того времени.

Как бы то ни было, глава Ельцинской фабрики чувствовал себя в сильном смущении, когда «деды» и староста, выступив немного вперед, отвесили ему степенный поклон, слегка дотронувшись до шапок, между тем как остальная часть толпы недвижно стояла с покрытыми головами.

— Вы-ы... что?.. бунтовать вздумали! а? Шапки долой! — крикнул на нее грозно директор.

Толпа хоть бы шевельнулась.

— А-а! вы... пьянствовать! вы... начальству не повиноваться! Да я вас запорю... мерзавцев!! — опять закричал Оржеховский уже изо всей мочи.

— Ты, господин дилехтор, не лайся без пути,— холодно сказал ему, наконец, старейший из «дедов», выступив вперед еще на один шаг,— а изволь нас выслушать, как подобает. Мы к тебе пришли, слышь, вот зачем...

— Да вы-то сами что за люди? что за птицы? Подстрекатели? коноводы?!. Первые у меня в острог пойдете! — не дал ему договорить директор и злобно ткнул пальцем в ту сторону, где стояла кучка «дедов».

Они о чем-то перешепнулись между собой и обратились к старосте.

— А мы — выборные...— сказал Семен Ларионыч, многозначительно выступая вперед.

— Я знать ничего не хочу! Кто вас выбрал? с чьего разрешения? по какому праву? — перебил его директор.

— Уж это ты у «мира» спроси: «мир» выбирал — «миру» про то и знать,— ответил невозмутимо Семен Ларионыч.— А ежели ты테периче не хочешь по добру нас выслушать, так опосля, значит, не пеняй: оглобли-то мы, пожалуй, и поворотим, да как бы твою милость не ушибить,— велики больно.

— Ты... каторгу знаешь? бывал? — бесстрастным, металлическим голосом обратился Оржеховский к старосте, неподвижно уставив на него свои холодные глаза.

— Нет, не ведаю, не бывал; а любопытен знать: расскажи...— будто льдом обдал его, в свою очередь, Семен Ларионыч.

— Ну так вот узнаешь ее скоро!—только и нашелся сказать озадаченный директор.— Что вам от меня надо? — крикнул он, помолчав, толпе.

Староста неторопливо кашлянул в руку.

— А нам вот чего нужно,— заговорил Семен Ларионыч, отчеканивая каждое слово,— чтоб ты, значит, айда отсюда, чтоб севодне же, значит, духу твоего у нас в фабрике не было... потому — уж оченно ты «мир» изобидел: выборного посек; телериче тоже обобрал кругом фабришных — обсчитываешь их... Мы тебе, значит, честью сказываем: не хочем мы тебя; и честью же просим: уезжай от нас как можно поскорее,— вишь, народ остервенился...

Директор стоял, как пораженный громом, слушая эту краткую, выразительную речь; такой отчаянно-смелой дерзости он не ожидал и чувствовал, как у него от злости задрожали губы и колени.

— Так, хорошо... поборемся!..— тихо, но злобно сказал Оржеховский, оглянув сверкающим взглядом толпу.— Господин смотритель! — позвал он громко.

Смотритель робко высунулся в дверь.

— Готовы у вас казаки? Прикажите им отворить ворота и выстроиться... Я сейчас буду,— распорядился директор.— Теперь вы у меня держитесь!.. уносите шкуры! Я знаю, кто вас подучил,— не уйдут и они... Марш на

работу! все!! — попытался он еще раз употребить начальническое влияние.

Но народ по-прежнему не двигался с места.

— Береги лучше свою-то шкуру: она у тя севодне незаконная...— крикнул кто-то в толпе, намекая, очевидно, на густые эполеты.

Оржеховский весь позеленел, но промолчал и быстро удалился в комнаты. Он машинально обошел их кругом, зарядил в кабинете шестиствольный револьвер, задумчиво повертел его в руках и вышел с ним на площадку крыльца. Внизу, у последней его ступеньки, поджидал теперь директора один урядник, держа за поводья двух лошадей — свою и директорскую; остальные казаки верхами, выстроившись в шеренгу, стояли уже за открытыми настежь воротами, а смотритель, тоже верхом, боязливо держался позади их.

Оржеховский торопливо сел на лошадь и, в сопровождении урядника, выехал за ворота, держа перед собой в правой руке револьвер.

— Видите вы эту штучку? — показал он его толпе, круто остановив перед ней лошадь.— Вот она как действует...

Директор обернулся, прицелился в ставень и выстрелил.

— Видели? — насмешливо спросил он, подъехав к окну и указывая пальцем народу круглое отверстие, насквозь пробитое пулей в ставне.— Вот то же самое будет и с теми лбами, кто осмелится меня ослушаться... Марш все на работу!

Но толпа и теперь была неподвижна.

— Казаки! — скомандовал директор, желая окончательно постращать ее,— прицелься в передних.

Казаки, не торопясь, достали из-за плеч винтовки, медленно взвели курки и, без малейшего смущения, стали целиться в «дедов»: винтовки были заряжены одними холостыми зарядами; по расстоянию между командой и народом они никому опасностью не угрожали.

Толпа, однако ж, не знала этого; тем не менее в ней только на один миг пробежало сильное движение, послышался глухой ропот,— и она снова окаменела.

— А когды так,— вскричал староста Семен, быстро обернувшись и подмигнув ближайшим фабричным,— так айда же за мной, робяты!

И он кинулся на казаков, как разъяренный зверь, которого оцарапала шальная пуля.

Растерявшись от внезапности его движения, казаки успели только дать бесполезный залп по воздуху. Толпа загудела и застонала. Передние ряды ее с криком налетели на казаков, окружили их, стащили с седел, некоторым связали кушаками руки на спине, отвели всех в «конвойную» и заперли там. Все это было сделано в какие-нибудь три минуты. Впрочем, сказать по правде, если казаки сперва немного и сопротивлялись, то, разумеется, больше для виду, чтоб оградить себя на всякий случай в глазах начальства: они с фабричными постоянно жили в ладу, водили хлеб-соль, даже имели между ними своих зазнобушек,— ссориться им, стало быть, не приходилось — невыгодно было.

Между тем как одна часть толпы распоряжалась таким бесцеремонным образом с казаками, другая окружила самого Оржеховского, сильным натиском приперев его к стене дома, меж ставнями. Директор был безоружен: какой-то здоровенный фабричный, в первую же минуту свалки, вышиб у него из руки револьвер; другой — тотчас же отыскал этот револьвер в снегу, осторожно поднял его и, подавая старосте, сказал:

— Накось, Семен Ларионыч, припрячь хорошенько эвту штуку: пускай на́большие в городе поглядят, какими он гостинцами нам сулился...

Бледный как полотно, с бессильно стиснутыми зубами, Оржеховский испуганно ждал неизвестной развязки этих бурных сцен.

— Худо вам... очень вам худо будет! — говорил он, тяжело дыша.

— Ничего; сами в деле — сами, значит, и в ответе,— успокоил его высеченный им «дед».

— Чего коня-то мучишь напрасно? Слезай! — заметил кто-то директору.

— Да что нам, робяты, долго-то толковать с ним? Давай, стащим его, коли добром не слезает! — обратился к толпе муж Парасковьи Петровны.

Директор инстинктивно ухватился руками за ставень.

— Что вы хотите делать со мной?!.— в ужасе закричал он, теряя последнее мужество, когда кучка рабочих протянула к нему свои здоровенные руки.— Дайте мне

только подводу, и я сейчас же уеду... вот вам бог свидетель! — указал Оржеховский рукой на небо.

Но он несколько поздно предложил эту полюбовную сделку: в толпе послышался сдержанный смех.

— Знамо, что уедешь, коли сами хочем тебя отправить; да только ты маленько рано каяться-то вздумал: надоть бы еще пострелять в нас,— сострил кто-то.

— Мы те давече добром сказывали: уходи; не послушался,— тепериче пеняй на себя, коли поучим тебя маленечко. Слезавай, слышь! — лукаво прищурившись, объявил директору один из «дедов».

— Слушайте, братцы! — ухватился Оржеховский за последнее средство,— никого я из вас не выдам... все забуду; скажу в городе просто, что сам не хочу здесь служить — надоело... что хотите, то и скажу, только пустите меня...

— Ишь! теперь так и «братцы» стали,— саркастически заметил один кудреватый парень, раза два высеченный директором,— теперь так он на нас, собака, словно как на образа молится...

— А ты чего лаешься? — важно и строго остановил его староста.— Ты говори дело, а не ругайся!

Парень сконфузился и стушевался.

— Слезай-ай, господин дилехтор! супротив «мира» все едино ничего не поделаешь,— увещательно обратился Семен Ларионыч к Оржеховскому.

Но тот не трогался с места и еще крепче ухватился за ставень. Он, однако ж, недолго удержался в этом положении: небольшая кучка фабричных снова протянула к нему руки и, без особенного труда, стащила его с лошади.

— Веди его теперича, робяты, в сборную; мы сейчас туды прибудем,— распорядился один из «дедов».

Директора взяли под руки и повели, несмотря на все его просьбы, и сопротивления. Народ с оглушительным шумом хлынул за ним, как одна бурная волна; бросившиеся вслед за ней ребятишки выказывали почему-то непомерную радость, толкая друг друга в снег и заливаясь звонким, беззаботным смехом.

— Ну вас! чего разбесились, черти? Ужо вам староста-то даст знать! — унимали их, оборачиваясь, пожилые бабы.

Смотритель, верхом ускользнувший в суматохе об-

щей свалки за «конвойную» и притаившийся там возле забора, теперь кубарем скатился с лошади, привязал ее за скобку калитки и — ни жив ни мертв — пустился улепетывать домой по задворкам.

— Ишь ка-ак!.. Ишь ка-ак жа-арит чиновник-от наш! — добродушно смеялись между собой заметившие его побег фабричные, и не помышляя, разумеется, пускаться в погоню за этим зайцем, особливо теперь, когда настоящий зверь был пойман.

Пока толпа шумно подвигалась вперед, Варгунин и Жилинский, поравнявшись с «дедами», стали уговаривать их — отпустить директора поскорее в город, «без всякой расплаты»,— как выразился Матвей Николаич. Немного погодя к ним присоединились Светлов и Христина Казимировна; узнав, в чем дело, они тоже в один голос советовали «дедам» принять этот добрый совет. Но «деды» твердо стояли на своем.

— Поучим маленечко, тогды и отправим,— говорили они.

— Ну-с, хорошо-с. Да как вы его поучите? — нетерпеливо приставал к ним Варгунин.

— А так и поучим: постегаем маленько,— сказал староста.

— Смотрите, батенька! это ведь острогом пахнет...— предупредил его Матвей Николаич.

— Сам знаю, Матвей Миколаич, что не пряниками пахнет, да как же быть-то? «Мир», значит, так решил, а нам супротив «мира» идти не почему нельзя...

Семен Ларионыч погладил бороду, заложил за спину руки и задумчиво уставился в землю.

— В острог так в острог! — с отчаянной решимостью махнул он вдруг рукой и опять задумался.

— Как «мир» хочет, так тому и быть! — единодушно поддержали его «деды».

Варгунин не счел деликатным настаивать долее на своем совете; однако Матвею Николаичу удалось как-то склонить выборных — дать ему честное слово, что они накажут директора только слегка, для одного виду,— это была с их стороны хоть и небольшая, но все-таки уступка. Тем не менее расходившаяся не на шутку толпа думала совсем иначе; оказалось, что ее не так легко уговорить, как «дедов». Жилинский и его гости, даже Христина Казимировна, истощили все свое красноречие,

чтоб подействовать на благоразумие фабричных, но те и слышать не хотели о каких бы то ни было уступках; напротив, эти жаркие увещания, по-видимому, еще больше подстрекнули мстительный инстинкт некоторых горячих голов.

— Чего с ним попусту-то валандаться! — кричали в толпе, окружавшей директора,— вали его, робяты, прямо в пролубь! Это дело вернее будет.

— Туда собаке и дорога! — резко подхватил кто-то.

И толпа, увлекаемая передней кучкой рабочих, сопровождавшей Оржеховского, ринулась было в сторону фабричной плотины, где действительно находилась узкая прорубь, откуда обыкновенно брали воду.

При этом неожиданном движении народа в Светлове внезапно проснулась вся его энергия. Александр Васильич быстро отыскал глазами Варгунина, выразительно махнул ему белым платком и в один миг забежал вперед толпы.

— Стой на минуту, братцы! — с необычайной силой крикнул он разъяренной кучке рабочих, тащившей Оржеховского, и остановил ее движением широко распростертых рук.— Если вы только без согласия выборных тронете директора хоть пальцем,— мы с Матвеем Николаичем первые бросимся в прорубь. Так и знайте!

— Да! уж тогда не поминайте лихом...— решительно поддержал Светлова догнавший его Варгунин.

Толпа на минуту как будто опешила; она, очевидно, была поражена таким неожиданным оборотом дела. Оржеховский изумленно смотрел во все глаза на своего нечаянного защитника в полушубке. Наступило угрюмое молчание.

— Как же тут тепериче быть, робяты? Сказывайте...— надумался проговорить, наконец, один из главных зачинщиков буйства, нерешительно обернувшись назад.

Но Варгунин не дал ему дождаться ответа.

— Как знаете, так и делайте, а мы от своего слова не отступим,— еще решительнее сказал Матвей Николаич.— Пойдемте, батенька! — торжественно обратился он к Светлову, подавая ему руку.

Они быстро отделились от толпы и твердо зашагали рука об руку по направлению к плотине.

— Эй!.. Матвей Миколаич!.. По-олно... Вороти-

теся!..— торопливо закричало им вслед несколько взволнованных голосов.

Варгунин остановился, слегка обернувшись.

— В сборную? — спросил он строго и холодно.

— В сборную, в сборную! — загудела разом толпа и в одну минуту изменила направление, хлынув по первоначальному пути.

— Молодец вы, батенька! Как это вам пришло в голову? — шепотом говорил Матвей Николаич Светлову, горячо пожимая ему руку и медленно поворачивая за толпой.— Без вас — прощай директор!

— Вряд ли бы деды допустили до этого? — как бы вопросительно заметил Александр Васильич.

— Да уж там они хоть допускай, хоть нет — все равно. Э, батенька! ведь и деды не застрахованы, коли народ захочет...— пояснил Варгунин и вдруг задумался.

Толпа между тем все быстрее и быстрее подвигалась вперед, и, наконец, передние ряды ее остановились против крыльца «сборной избы». Туда немедленно вошли сперва «деды», а за ними — староста и некоторые другие, более влиятельные, фабричные личности. Они совещались там не больше десяти минут, но Оржеховскому эти десять минут показались длиннее целых суток. К концу ожидания развязки ему даже сделалось дурно, и он только тогда очнулся, когда его, по распоряжению вернувшегося из «сборной» старосты, раздели и положили на скамью у ворот. Толпа на миг заволновалась — и вдруг замерла, притаила дыхание...

На глазах всей этой многолюдной толпы, нарушая только своими отчаянными криками ее угрюмое молчание, директор был наказан двадцатью ударами розог...

На Оржеховском, как говорится, лица не было, когда он встал с роковой скамейки; густая краска стыда покрывала его вспотевшие щеки, зубы были лихорадочно стиснуты, а руки в бессильной злобе сжимались в кулаки. Ни за что в мире не поднял бы он теперь глаз на эту, обсчитанную им и так позорно наказавшую его, толпу! Она, действительно, и теперь стояла выше директора: ни во время наказания, ни после Оржеховский не услыхал от нее ни одной шутки, ни одной неприличной выходки, между тем как сам он постоянно острил, наказывая других. Толпа ограничилась тем, что молча проводила его обратно до дому.

Здесь, в какие-нибудь два часа времени, все имущество директора, за исключением казенной мебели да известного револьвера, было под личным надзором старосты осторожно запаковано фабричными в тюки и сложено на три парные подводы, заранее приготовленные; впереди их стоял во дворе собственный возок Оржеховского, запряженный тройкой. Пока шли в доме все эти приготовления к отъезду директора, «деды» потребовали от него, чтоб он на каждую дверь, за которой хранилось какое-либо имущество казны, наложил воском казенную и именную печати. Оржеховский на этот раз повиновался, как ребенок; безучастно понурив свою совсем сбитую с толку голову, он шел везде, куда ему указывали выборные. Таким образом сперва были опечатаны директорский дом и оба завода, а потом — все остальное. Когда и эти формальности кончились, староста распорядился, чтоб на каждую из трех подвод уселось по казаку, и послал сказать директору, что «задержки больше нету».

— Лошади, смотри, даны вам казенные,— громко обратился в заключение Семен Ларионыч к уряднику, сидевшему уже на облучке возка,— чтоб в целости, значит, были доставлены обратно, а не то — сами за них и ответите...

Староста вдруг остановился и, понизив до шепота свой голос, стал торопливо говорить что-то уряднику, который в ответ только кивал ему согласливо головой.

Наконец показался директор. Непримиримая злоба сверкала в его опущенных глазах, когда он, не проронив ни слова, садился в свой экипаж. Толпа так же молча, но как-то внушительно смотрела на него несколькими сотнями зорких глаз. Семен Ларионыч, степенно перекрестясь, взял под уздцы тройку, осторожно вывел ее за ворота и пробежал с ней рядом несколько шагов по улице.

— Вали тепериче с богом! — крикнул он уряднику, пуская лошадей и отскочив в сторону.

Тройка быстро помчалась.

— Счастливо оставаться! — не оборачиваясь, успел закричать Оржеховский толпе своим резким, металлическим голосом.

Глубокий сарказм, злоба и ненависть явственно дрожали в этом последнем приветствии директора.

Когда отъехала последняя подвода, народ несколько минут оставался еще на месте, молчаливо следя за удалявшимися экипажами и, только потеряв их из виду, стал медленно, будто нехотя, расходиться. Опять образовались отдельные группы; слышался спор, шли толки. Какой-то фабричный парень отыскал во дворе директорского дома метлу и торопливо, с самым серьезным видом, замел на снегу свежие следы начальнического отступления.

Несмотря, однако ж, на отсутствие директора, фабрика всю остальную часть дня вела себя самым приличным образом, хотя и не принималась за работу. Вечер прошел так же тихо: нигде не затевалось вечорки, даже не видно было, против обыкновения, ни одного пьяного на улицах; напротив, все это время на лицах рабочих лежала какая-то сосредоточенная озабоченность, крепкая сдержанная дума. «Деды» почти не выходили из «сборной»; староста Семен, вооружась своей сучковатой палкой, поминутно заглядывал то туда, то сюда, горячо толковал с молодыми парнями и, видимо, предупреждал их о чем-то. Самый ловкий из этих парней был командирован, на собственной «сорви-голова лошадке» Семена Ларионыча, верст за пять от деревни — стеречь дорогу в город; тройка таких же лихих лошадей стояла во дворе старосты, готовая пуститься в путь по первому его приказу. Словом — по всему заметно было, что в фабрике ждали чего-то необыкновенного.

Почти в самую полночь, или много что несколькими минутами позднее, когда Жилинские с гостями только что встали из-за ужина, все еще толкуя о происшествиях сегодняшнего утра,— в столовую к ним торопливо вошел староста Семен, весь красный и, очевидно, сильно встревоженный.

— Рота идет!.. версты за три отседа... с жандарским...— объявил он, едва переводя дух.

Присутствующие многозначительно переглянулись, но в первую минуту никто не проронил ни слова.

— Так и есть! Так я и думал! — отозвался, наконец, Казимир Антоныч, досадливо потерев рукой лоб.

— Скорехонько собрались! — заметил саркастически Варгунин и улыбнулся, но как-то тревожно.

— Тепериче вот какое дело,— сказал Семен Ларионыч, обращаясь к Жилинскому и отирая с лица пот,—

тут, у самого твоего крылечка, троечка стоит... лихая,— так надо вам всем айда отсюда поскорее... Время тепериче нельзя проволочить ни минуты... Собирайтесь!

— Я никогда ни от кого не бегал! — величаво проговорил Жилинский,— и моя дочь тоже.

— Да и мы останемся,— твердо сказал Светлов, посмотрев на Варгунина.

— Разумеется, батенька, останемся,— подтвердил Матвей Николаич.

Староста нетерпеливо и как-то досадливо махнул левой рукой.

— Да ты не артачься, Каземир Антоныч,— опять обратился он к Жилинскому,— я не о тебе хлопочу, а о своих... о своей шкуре... Ежели вас тепериче здесь накроют — нам же хуже будет; скажут: не своим, значит, умом орудовали дело... Одни-то мы еще так и сяк разделаемся, а уж как с вами-то застанут — пропадай голова! Ты тепериче рассуди: у нас уж это все уговорено между своими, как быть надо. Коли что пронюхают,— скажем, что, мол, к тебе точно приезжали гости и, значит, из любопытства вы все ходили смотреть, как наши у дилехторского дома выстаивали, а опосля, мол, надо быть, испужались, что и их робяты наши изобидеть могут, да и дали лыжи в город... Понимаешь? Уж эту мы механику начисто подведем... А коли вы тепериче останетесь тут — значит, мол, не боялись, снюхались с фабришными... Я тебе, ей-богу, дело говорю!

Жилинский стоял в нерешительности.

— Да так ли это, полно, Семен Ларионыч? — спросил он несколько подозрительно.

— Да уж так... Я тебе говорю: уезжайте! — убедительно продолжал упрашивать староста.— Тепериче... и нам нельзя тоже остаться без руки в городе: ваши-то золотые головы нам еще там не раз пригодятся... А насчет имущества — ты не хлопочи: все будет цело, как есть... за все буду сам в ответе. Ты ведь меня знаешь не первый год: у меня тоже в мошне-то, поди, лежит чего-нибудь...

— Если ты, Семен Ларионыч, действительно говоришь правду, если точно ваша польза требует, чтоб мы все уехали отсюда,— тогда, разумеется, нечего и толковать: я готов! — согласился Жилинский.

Он высказал это согласие так же величаво, как и свой отказ перед тем.

— Да уж верно слово я тебе говорю, что так! — еще раз подтвердил староста самым убедительным тоном,— только, Христа ради, не мешкай ты... А уж мы там дадим вам весточку в город через своего кульера... хорошо знаем эти порядки...

После минутного совещания решено было ехать всем вместе. В доме, впрочем, не поднялось после этого никакой особенной суматохи. Жилинский торопливо обошел все комнаты, везде заглянул зорким хозяйским взглядом, запер комоды, конторку и шкаф с серебром, захватил из кабинета шкатулку с деньгами, какие-то бумаги, отдал несколько распоряжений старому слуге, безгранично к нему привязанному и даже добровольно уехавшему за ним в ссылку,— и совсем был готов в путь. Христина Казимировна не уступила в этом отношении отцу: она собралась еще скорее. Что же касается Светлова и Варгунина, то им и сбираться было нечего — стоило только накинуть шубы. Семен Ларионыч потому именно и торопил Казимира Антоныча, что уж никак не ожидал таких коротких сборов. Словом сказать — не прошло и полчаса, как все были уже на крыльце. Там их дожидала действительно лихая тройка, заложенная в те самые широкие пошевни, на которых староста отвез с вечорки дорогих гостей; на козлах молодцевато сидел знакомый уже нам муж Парасковьи Петровны.

— Ну, Лександр Васильич, благодарим тебя покорно: ведь *ты* наших-то выручил; а то во какой бы мы беды нажили — смертоубивство ведь! — говорил староста, усаживая Светлова последним.

— Не за что, Семен Ларионыч...— взволнованно отозвался Александр Васильич, горячо пожав его мозолистую руку.

— Ну да ладно, свидимся еще, бог даст... Всех вас благодарим покорно! Христина Каземировна, потепле, матушка, закутайтесь... вишь, ведь — стужа ноне. Ты, Петроваша, мотри! леском ужо объезжай, да ухо-то востре держи... Ну... до приятного повидания! Вали, парень, с богом! — напутствовал староста отъезжавших друзей.

Тройка быстро помчалась. Объехав по задам фабрику, она круто повернула в лес и стала искусно нырять

между кочек и сугробов. Среди этих снежных волн Петрован оказался настоящим опытным и закаленным моряком. Перед тем как надо было своротить на торную дорогу, он вдруг нырнул с тройки в какой-то глубокий ухаб, задержал лошадей и притаился. Варгунин осторожно выглянул на дорогу.

— Видите, батенька? — сказал он шепотом Светлову, указав на темную продолговатую массу, которая медленно подвигалась в полуверсте от них, по направлению к фабрике.

— Да, вижу,— так же тихо ответил Александр Васильич, разглядев впереди этой темной массы слегка отделившегося от нее всадника.

Через минуту они явственно услышали сперва глухой топот конских копыт, а потом — мерные и тяжелые человеческие шаги. Это рота переходила мостик на Ельце.

Переждав еще минут десять, Петрован осторожно выехал на большую дорогу, молодцевато прибрал вожжи,— и тройка полетела во весь дух, обдавая всех снежной пылью. Жилинский и Варгунин молча завернулись от нее в шубы. Светлову было жутко, но хорошо: быстрая езда и теперь соответствовала вихрю мыслей, проносившихся у него в голове; даже эта снежная пыль, точно кончиками булавок коловшая ему лицо, подходила под возбужденное состояние молодого человека: его, внутри, тоже будто покалывало что-то. Христина Казимировна зябла, куталась в шубу и нежно жалась к нему. Вышедшая из-за облаков бледная луна и теперь так же томно светила им опять, как и в ночь их роковой прогулки вдвоем за четыре версты от фабрики...

V

ОБЕД В БЛАГОРОДНОМ СОБРАНИИ

Бури очень редко застигают людей не врасплох. Все равно, физические или нравственные — они налетают обыкновенно либо внезапно, либо совсем не с той стороны, откуда их ждут. Оно и понятно: человеку почти нет никакой возможности подметить все те мельчайшие условия, совокупность которых способна в одну минуту покрыть все небо грозовыми тучами и заставить их либо

пронестись дальше, либо разразиться на месте. Знай человек эти условия — и тучи, быть может, мирно прошли бы мимо, над самой его головой...

На горизонте деятельности Светлова тоже поднимались и росли недружелюбные облака, грозившие, при известных обстоятельствах, совокупиться в настоящую бурную тучу и обдать нежданным холодом его молодую, восприимчивую натуру. И в настоящем случае опасность шла не оттуда, откуда прежде всего мог ожидать ее Александр Васильич, хотя он однажды и предсказал себе эту опасность: «ржавый гвоздь», действительно, «вошел туда, где ему вовсе не следовало быть». Автор с глубокой скорбью останавливается на этом роковом обстоятельстве. Он рад бы обойти его, всеми силами души желал бы, чтоб ничего подобного не существовало; но... разве вправе автор рисовать читателю одни только смутные либо яркие образы своей расходившейся фантазии, а не то, что происходит вокруг него, в ежедневной действительности? Разве подобная фальшь не выдаст себя каждым словом в каждой строке? А действительность на всяком шагу подсовывает нам «ржавые гвозди». Да! пусть многие говорят, что у нас на Руси всякое серьезное дело носит как будто в самом себе зародыш фатальной невозможности своего осуществления; пусть уверяют они, что единственно от недостатка деятелей и энергии зависит неуспех его,— мы, однако ж, не можем согласиться вполне с такими взглядами. Мы знаем, что в действительности подобное дело чаще всего парализуется в самом начале какой-нибудь жалкой случайностью либо невежественной личностью,— этими, в сущности ничтожными, кирпичами, которые тем не менее, упав внезапно с карниза, могут убить сосредоточенно идущего мимо, к своей цели, работника. Иногда одно неосторожно затронутое, мелочное самолюбие способно проявить себя у нас такими вещами, что от них не покраснели бы разве только стены...

На дороге Александра Васильича полковница Рябкова и явилась именно одним из подобных «ржавых гвоздей» или кирпичей: со дня известного разговора ее с молодым человеком она просто возненавидела его. Впрочем, в этом разговоре ее обидело, собственно, не то, чем могла бы, по праву, оскорбиться всякая порядочная женщина; напротив, полковницу больше всего задело за

живое холодное пренебрежение, с каким отделался Светлов от ее весьма недвусмысленных намеков. Такого пренебрежения она не могла простить никому. Рябкова по природе была далеко не глупая и не злая женщина; но, как и большинство наших праздных и обеспеченных барынь, она представляла собой некоторый букет испорченности: институт выработал из нее умственного и нравственного урода, светские гостиные — опасную интриганку, а видное положение в провинциальном обществе давало ей полную возможность скрывать от него и то и другое. Убеждений полковница не имела никаких, или, лучше сказать, у ней было одно преобладающее убеждение: «Я, madame Рябкова — первая дама в губернии, и потому... все остальное должно мне покоряться». В отношении Светлова, не соприкасавшегося непосредственно с ее кругом, она задумала повести интригу весьма тонко, и мы из этой же главы увидим, какие первоначальные результаты вытекли отсюда.

Как раз в тот самый день, когда Ельцинская фабрика так настойчиво выпроваживала в город своего директора,— в Ушаковске, в так называемом благородном собрании, назначен был по подписке обед в честь представителя местной власти: он только за двое суток перед тем вернулся из своей продолжительной поездки по краю. С того времени Рябкова не виделась еще с генералом, порядочно уставшим с дороги, и потому с нетерпением ждала обеда. Представитель местной власти хотя и явился в благородное собрание ровно в пять часов, но все сразу заметили, что он был сильно не в духе: петербургская почта привезла ему в тот день раздражающие новости. С принужденной улыбкой раскланявшись в зале с присутствующими и зорко оглянув их, генерал прямо прошел в гостиную. Рябкова первая встала ему навстречу. Он особенно приветливо поздоровался с ней, но, против обыкновения, не рассыпался в любезностях перед остальными дамами, а только сказал каждой из них по нескольку вежливых слов и снова обратился к полковнице.

— Пройдемтесь...— предложил генерал, подавая ей руку.

Они отделились от группы дам и пошли вдвоем вдоль гостиной.

— Ах, генерал, как я рада, что вижу вас опять!.. Но

это, право, жестоко с вашей стороны — покидать нас на такое долгое время всегда...— говорила, кокетничая, Рябкова.

— Уж будто бы вы соскучились? — прищурился генерал.

— Вот милый вопрос! — рассмеялась она.

— Надеюсь, Marie, вы пьете со мной чай сегодня после обеда? — ласкательно спросил старик, понизив голос.

— Oui, je serai bien charmée, mon général... si vous voulez me faire l'honneur de me conduire à votre maison...[1] — проговорила Рябкова нарочно так громко, что слова ее долетели до слуха остальных дам.

В порыве тщеславной мысли она забыла, что ее спутник не жаловал иностранных диалектов.

— Непременно-с. Но оставим французский язык: вы и по-русски такая опасная собеседница...— сказал генерал, любезно позолотив пилюлю.

— Ah, pardon!.. я все забываю...— поправилась полковница, как говорится, из кулька в рогожку.

Представитель местной власти слегка нахмурился.

— Впрочем,— заметил он с тонкой иронией в голосе,— не забудьте, что в вашем присутствии я всегда подчиненное лицо. Расскажите же мне, что нового в городе? Вы знаете, что хотя я официально и сдаю свою должность всякий раз, как уезжаю, но... мысленно... я считаю, что без меня управляете *вы*...

— В таком случае, я весьма плохая правительница, генерал,— вкрадчиво сказала Рябкова,— в ваших владениях появилось нечто зловредное...

— Например? — улыбнулся старик.

— Вы знаете Светловых, где я квартировала? Ах, я и забыла вас предупредить, что мы теперь уже на другой квартире...

— Там всегда было очень сыро, но это еще не так зловредно, Marie,— нетерпеливо пошутил генерал.

— Я, может быть, задерживаю ваше превосходительство? — громко спросила полковница, несколько обиженная его шуткой, и сделала движение, как будто желая освободить свою руку.

---

[1] Да, я буду в восторге, генерал... если вы окажете мне честь принять меня в вашем доме... *(франц.)*.

В эту минуту они вступили в залу, где им попался навстречу один из распорядителей обеда.

— Полагаю, что мы сядем за стол не раньше, как через четверть часа? — вежливо обратился к нему генерал.

Старшина собрания молча поклонился.

— В таком случае, напротив, напротив: я весь внимание,— громко и с улыбкой поспешил сказать Рябковой представитель местной власти.— Повернемте...— прибавил он тише.

Они вернулись в гостиную.

— Да, генерал, могу уверить вас, что в городе есть кое-что похуже сырых квартир,— продолжала полковница прерванный разговор.— У этих Светловых приехал сын... молодой человек, университетский...

— Я уж что-то слышал об этом,— опять нетерпеливо перебил ее старик,— школу, кажется, он открыл здесь?

— О конечно! надо же им где-нибудь проповедывать свои мальчишеские учения...— ядовито заметила Рябкова.— Впрочем, тут очень много теперь подобных проповедников: появились, например, бесплатные доктора... для мужиков. Я не знаю, как они там лечат, но говорят очень красноречиво,— я сама вчера слышала, вот именно в той школе. Этот Светлов, между прочим, очень дружен с Варгуниным... знаете? Еще не дальше, как третьего дня, они уехали вместе в Ельцинскую фабрику... к Жилинскому: mademoiselle Христина, кажется, невеста Светлова. Вообще, генерал, мне удалось нечаянно напасть на премилые вещи...— с некоторым торжеством заключила полковница и стала что-то шептать на ухо своему кавалеру так тихо, что только он один мог все расслышать.

— А! это другое дело...— как-то сурово сказал генерал, терпеливо выслушав ее до конца и сильно нахмурившись.— В следующий отъезд я непременно сдам мою должность вам: вы — настоящая правая рука у меня,— прибавил он значительно мягче.— Но откуда же вы, наконец, все это узнали, Marie?

Рябкова с таким напряженным тактом вела до сих пор свою речь, что на дальнейшую — у нее не хватило его.

— Я случайно узнала все эти подробности от докто-

ра Любимова, который очень хорошо знает Светлова,— наивно ответила она.

— Люби-мо-ва? — медленно, слог за слогом, повторил генерал, как будто заучивая наизусть эту фамилию.— Однако нас, кажется, ждут...— прибавил он, помолчав, и повернул в залу.

Обед начался, как водится, с довольно громкого говора во главе стола и почтительного полушепота на последних местах. Дамы, в небольшом числе, сидели между самыми почетными гостями; Рябкова — рядом с генералом. За третьим блюдом начались обычные тосты и речи, содержание которых главным образом заключалось в том, что, дескать, «такого начальника и благодетеля, как ваше превосходительство, поискать стать». После второго бокала представитель местной власти несколько развеселился, и обед обещал пройти недурно, как вдруг полицеймейстер был вызван зачем-то из-за стола одним из распорядителей, хлопотавшим до того времени у буфета. Гости недоумчиво переглянулись.

— Вероятно, пожар где-нибудь,— громко, на весь стол, сказал генерал.

В эту минуту вернулся полицеймейстер. Весь красный и, очевидно, чем-то смущенный, он торопливо подошел к главному начальнику, наклонился к самому его уху и шепотом доложил о чем-то.

— Что же? что же именно? — вполголоса доспрашивался генерал.— Извините меня, господа, я на минуту должен вас оставить...— обратился он вдруг к присутствующим и, сильно нахмуренный, озабоченно вышел из-за стола.

Полицеймейстер почтительно проводил его в бильярдную, где их ожидал, ни больше ни меньше, как... Оржеховский. Директор был до такой степени смущен в первую минуту встречи с генералом, что даже забыл поклониться: до приезда в город, не зная о возвращении главного начальника, он никак не ожидал, что дело придется иметь с ним, а последний шутить не любил и считался грозой края, несмотря на свою любезность и обходительность.

— Что вам угодно? — холодно и нахмурившись, как туча, спросил генерал у директора.

Оржеховский растерянно оправил гражданский мундир на себе и довольно бессвязно, то и дело запинаясь,

но торопливо передал начальнику фабричное происшествие. Директор, впрочем, ни слова не сказал прямо о постигшем его позорном наказании, а обошел этот факт словами: «Мне, ваше превосходительство, угрожали... и... было даже покушение... на мою жизнь...»

— Но как же вы осмелились... оставить в таком положении фабрику... без моего разрешения? — строго перебил его генерал, значительно возвысив голос.

— В противном случае, ваше превосходительство, я был бы убит, а казенное имущество... разграблено...— слабым голосом пояснил директор.

— Это не оправдание! — резко обрезал его начальник,— оно еще больше может быть разграблено теперь, в ваше самовольное отсутствие. Вы могли немедленно послать сюда курьера.

— Ваше превосходительство... я уже вам докладывал, что казаки... все... были захвачены...— попытался еще раз оправдаться Оржеховский.

Но генерал не хотел уже и слушать его больше.

— Хорошо-с. Я и без вас доберусь до истины... Потрудитесь теперь отправиться ко мне: через четверть часа я к вашим услугам,— сказал он только с убийственно холодной вежливостью и вернулся в залу.

Войдя туда, старик прежде всего обратился к жандармскому полковнику, вызвал его в сторону и долго говорил с ним о чем-то, делая по временам нетерпеливые жесты рукою. Минут через десять генерал потребовал себе бокал шампанского и, обратясь к присутствующим, сказал с принужденной улыбкой:

— Позвольте еще раз благодарить вас, господа, за честь, которую вы оказали мне настоящим обедом. К сожалению, я не могу присутствовать на нем до конца: одно очень *важное* обстоятельство требует моего немедленного присутствия дома. Надеюсь, однако, это не помешает вам допировать и без меня,— по крайней мере я желал бы этого. Ваше здоровье, господа!

Генерал залпом выпил бокал. Гости шумно и единодушно поддержали этот неожиданный тост. Кто-то из почетных купцов, в излишнем заявлении своих чувств, даже крикнул бестактно «ура», не разобрав хорошенько, что ведь пьют-то теперь за его же собственное здоровье, а не за генеральское; но это нисколько не повредило делу, заставив только улыбнуться многих, в том

числе и самого начальника. Он, впрочем, сейчас же после тоста прямо подошел к Рябковой.

— Извините!.. Но я все-таки не могу отказать себе, Марья Николаевна, в удовольствии видеть вас сегодня у себя за чаем...— громко сказал генерал, желая, вероятно, смягчить в глазах прочих дам впечатление ее давешней французской выходки, и потом, прощаясь, он уже тихо прибавил: — Попозже...

Любезно раскланявшись с остальными гостями, представитель местной власти немедленно оставил залу, сопровождаемый до подъезда распорядителями обеда, полицеймейстером, своим адъютантом и жандармским полковником. Здесь он предложил к услугам последнего свой собственный экипаж, а полицеймейстеру и адъютанту отдал распоряжение ехать следом за ними. Дорогой, между оживленным разговором о происшествии в фабрике, в голове генерала как-то вдруг сопоставился рассказ Оржеховского с повествованием Рябковой об отъезде туда Варгунина и Светлова. Это внезапное сопоставление неотвязно торчало в уме его превосходительства вплоть до самого дому, и наконец, почти уже подъезжая к нему, генерал быстро остановил своего кучера и поманил к себе рукой ни на шаг не отстававшего от них полицеймейстера.

— Распорядитесь, пожалуйста, пригласить ко мне сейчас же доктора Любимова... где бы его ни нашли: формы не требуется,— отдал ему приказание начальник, когда тот подскочил к его экипажу.— И в Петербурге и здесь... знаменательные признаки, не правда ли? — обратился старик к жандармскому полковнику, выходя из коляски у своего подъезда.

— Н-да...— процедил сквозь густые усы полковник.

Представитель местной власти прошел с ним прямо в кабинет, куда через несколько минут приглашен был и Оржеховский, трусливо ожидавший в приемном покое дальнейших распоряжений. Директору пришлось снова повторить теперь, уже подробно и обстоятельно, фабричную историю. Он, однако ж, и на этот раз ни слова не сказал о розгах: ему легче было провалиться сквозь землю, быть сто раз под судом — словом, встать в какое угодно положение, лишь бы не признаваться самому самолично в подобном позоре. Тем не менее, Оржеховский не устыдился и тут сподличать: сообщив о виден-

ных им в фабричной толпе Жилинском и Варгунине, он указал еще и на третье, неизвестное ему лицо, хотя и сознавал очень хорошо, что, может быть, именно этому третьему лицу был обязан жизнью; мало того, директор прибавил даже, что оно действовало особенно энергично, но в каком смысле — не разъяснил ни полсловом.

— Я назначу самое строгое следствие по этому делу,— сказал генерал, выслушав его терпеливо до конца,— но прошу не прогневаться, если оно раскроет нечто такое, о чем вы не находите нужным сообщать нам... Я не понимаю, не могу представить себе,— продолжал он с жаром и отделяя каждое слово,— чтоб целое село ни с того, ни с сего заварило подобную катавасию... Воровали вы там, что ли? Говорите! — вышел из себя старик.

— Но... ваше превосходительство... позвольте вам доложить, что я... что я... сам ношу... чин... полк...— вспыхнул Оржеховский.

— Пожалуйста, не будем считаться чинами,— резко остановил его генерал.— А! вы не хотите быть откровенным со мною... Хорошо-с. Я мог бы замять это дело, я мог бы дать вам возможность выпутаться из него сколько-нибудь прилично, без скандала для моего управления; но теперь...— Он развел руки и пожал плечами,— извините!

Директор в эту минуту был бледен не меньше, чем тогда, когда его тащили к проруби. Он знал, в какой сильной степени преследует глава Ушаковска всякое казнокрадство, и все-таки раздумывал, кажется: уж не ляпнуть ли ему лучше всю правду?

— Вы поедете сейчас с господином полковником в фабрику, чтоб сдать ее, кому я назначу, и потом немедленно вернетесь сюда,— холодно обратился к нему генерал.— Приготовьтесь. Я не имею больше надобности в вас.

— Но... ваше пре...— начал было нерешительно директор, делая шаг вперед.

— Мы уже сказали друг другу все, что было нужно,— еще холоднее прервал его старик.— Я вас не удерживаю.

Оржеховский поклонился и вышел, заметно ошеломленный последним тоном начальника.

— Позвольте мне надеяться, полковник, что вы не придаете особенного значения россказням этого, очевидно, растерявшегося господина? — почти дружески обратился генерал к жандармскому офицеру.— Вы знаете, как я смотрю на подобные столкновения: ведь здесь, очевидно, главную роль играет невежество, непонимание... наконец, что хотите, но отнюдь же не... не упорная злонамеренность. Да! я надеюсь, что мы не разойдемся в этом случае...

Полковник поклонился.

— Ваше превосходительство, можете быть уверены, что я не допущу дела ни до каких крутых мер,— сказал он, вставая.

— Ну да, ну да...— подтвердил старик,— я в этом уверен!

Генерал сделал несколько распоряжений, торопливо подписал какие-то бумаги, вручил одну из них полковнику и, дружелюбно прощаясь с ним, раза два еще повторил:

— Я вполне уверен!

Затем, оставшись один, он молча встал от письменного стола и с полчаса по крайней мере ходил вдоль кабинета широкими шагами, причесывая, от времени до времени, правой рукой свои сильно поседевшие волосы.

— Господин доктор Любимов и господин полицеймейстер!— доложил ему вошедший адъютант.

— Просите сюда доктора,— встрепенувшись, распорядился генерал.— *Только* доктора! — повторил он вразумительно.

Через минуту Евгений Петрович стоял уже перед ним в обыкновенном военно-докторском вицмундире. Любимов был чуть-чуть навеселе: полицеймейстер нашел доктора за бильярдом и шампанским в какой-то гостинице.

— Господин Любимов? — встретил его старик довольно приветливо.

— Точно так.

— Не угодно ли вам? — сказал генерал, рукой указав доктору кресло и сам садясь на другое.

Евгений Петрович поклонился и сел очень развязно.

— Я должен предупредить вас, молодой человек, что я, прежде всего, люблю откровенность... полную откровенность,— заметил его превосходительство, неторопливо скрестив на груди руки и вытянув немного вперед ноги.

— Я тоже, изволите видеть,— снова поклонился доктор.

— Ну вот и прекрасно! — ласково сказал генерал, которому заметно понравился непринужденный вид Евгения Петровича.— Мы поговорим дружески. Не стесняйтесь, пожалуйста, что я в полной парадной форме, а вы в вицмундире,— бойко прибавил он, заметив, что Любимов пристально смотрит на его звезду,— я сейчас только с обеда и не успел еще переодеться. Вы знаете... Светлова?

— Ваше превосходительство, старика или молодого?

— Молодого... который здесь школу открыл.

— Знаю, ваше превосходительство; это, изволите видеть, мой бывший товарищ по гимназии,— отозвался доктор.

— Вы... хорошо его знаете? — спросил генерал и стал чистить ноготь об ноготь.— Что это за господин, скажите?

— Светлов совершенно порядочный человек, ваше превос...

— Нет-с, не то,— быстро перебил генерал Любимова, сделав нетерпеливое движение,— мне не это нужно. Я бы желал, чтоб вы на этот счет были так же откровенны со мной, как были откровенны с madame Рябковой...— прибавил он, пытливо и зорко прищурившись на доктора.

Евгений Петрович вспыхнул, как порох; по негодующему выражению его лица не трудно было догадаться, что он глубоко возмущен чем-то без особенной видимой причины. Любимов не вдруг ответил на слова старика.

— Я не способен быть настолько откровенным с вашим превосходительством... потому что уже по одной одинаковости нашего пола не могу стоять в таких близких отношениях к вашему превосходительству, как стою к madame Рябковой...— сказал он, наконец, очевидно, хорошо обдумав предварительно свою фразу.

Теперь, при этом неожиданном ответе, лицо начальника, в свою очередь, запылало краской негодования. Он быстро поднялся с места.

— Ка-ак! — вскричал генерал, очевидно, не помня себя от волнения и вперив в Любимова уничтожающий взгляд,— вы-ы... в ваши годы... осмеливаетесь говорить мне в глаза подобные вещи?! Во-первых, это клевета!

Во-вторых, если б это даже была и правда, то как же у вас достает стыда в лице выдавать таким образом близкую вам женщину?... Я краснею за вас, молодой человек... Стыдитесь!!

— На этот раз, ваше превосходительство, дело идет уже не о женщине, а просто о доносчике, изволите видеть..— смело заметил Евгений Петрович, угадав порядочность генерала.

— Может быть-с, может быть-с...— несколько растерянно повторил генерал и опять заходил большими шагами по кабинету.— Счастье ваше, что мы — одни!..— сказал он, наконец, близко подходя к доктору и грозя ему пальцем.— Подите вон! — крикнул старик.

Любимов не заставил его повторить этого приказания. За дверями кабинета Евгений Петрович встретился с адъютантом и слышал, как последний, войдя туда, доложил:

— Марья Николаевна...

— Не принимать!.. ни сегодня, ни впредь! — звонко донесся оттуда резкий и грозный голос генерала.

— Марья Николаевна! — повторил адъютант громче, думая, вероятно, что генерал ослышался.

— Я не намерен повторять дважды одного и того же! — еще резче и грознее раздался голос старика.

Адъютант быстро вышел из кабинета. Проходя по зале, Любимов видел, как он чрезвычайно сконфуженный подошел к разодетой Рябковой, с улыбкой ожидавшей самого радушного приема. Евгений Петрович насмешливо поклонился ей издали и молча прошел мимо.

«Вот где настоящая потеха-то!» — думалось ему.

Минуты три спустя полковница возвращалась домой, пристыженная и взбешенная до последней степени. Она в клочки истеребила дорогой свои яркие палевые перчатки...

VI

СВЕТЛОВ ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЛАСТИ

Около трех с половиною часов утра лихая тройка старосты Семена, мчавшая наших друзей по-курьерски, была остановлена сильной рукой Петрована перед опущенным шлагбаумом городской заставы.

Почти в ту же самую минуту из сторожевой будки быстро вышел полицейский офицер в сопровождении караульного.

Офицер прямо подошел к проезжающим.

— Позвольте узнать, господа, откуда вы едете? — спросил он официальным тоном.

— Из Ельцинской фабрики,— спокойно ответил за всех Варгунин.

— Ваши фамилии? — опять спросил офицер.

Матвей Николаич не без умысла начал перечет имен с Светлова, полагая выгородить его таким образом из какой-нибудь непредвиденной задержки, как лицо, еще мало знакомое городской полиции. Но Варгунин ошибся: едва только он назвал фамилию своего молодого друга, как был остановлен.

— Не трудитесь перечислять остальных,— вежливо заметил ему полицейский чиновник,— мне именно господина Светлова и нужно. Я вас должен просить сию же минуту пожаловать к генералу,— обратился он к Александру Васильичу.

— Теперь?.. ночью?! — удивился Светлов, многозначительно переглянувшись с Жилинским.

— Их превосходительству угодно было распорядиться, чтобы вы явились к нему немедленно, когда бы ни приехали,— объяснил офицер.

— Но...— возразил Александр Васильич,— я не состою на службе и не имею никакого расположения видеться в настоящую минуту с кем бы то ни было. Если вы имеете приказание арестовать меня, то прежде потрудитесь предъявить мне его формально. Наконец, я даже не имею чести знать, с кем говорю...

— Частный пристав первой части,— отрекомендовался офицер, несколько смущенный солидным замечанием Светлова и холодным спокойствием его тона.

— Во всяком случае, я желаю прежде видеть ваше полномочие,— сказал Александр Васильич.

— Мне не дано никакого предписания, а сказано словесно. И вы напрасно говорите, что я вас хочу арестовать: «*Просить* ко мне, как только приедет»,— вот собственные слова их превосходительства.

— А если мне не угодно будет исполнить этой просьбы? — иронически осведомился Светлов.

Пристав пожал плечами.

— Я все-таки должен буду представить вас к генералу,— ответил он с едва заметной улыбкой.

— Насильно? — пожелал узнать Александр Васильич.

— То есть как вам сказать? Мне тогда придется задержать вас здесь, а самому поехать доложить их превосходительству, что вы не желаете их видеть...— объяснил полицейский чиновник.

— Не упрямьтесь...— шепнул Светлову Варгунин.

— Другими словами — это арест, но без соблюдения законной формы? — обратился Александр Васильич к приставу.— Извольте, я к вашим услугам.

Светлов перебросился двумя-тремя фразами с друзьями и, крепко пожав им руки, спокойно вышел из пошевней. Шлагбаум, по распоряжению офицера, был тотчас же поднят, и лихая тройка покатила дальше уже по городской улице, сопровождаемая лаем какой-то гулящей собаки...

Представитель местной власти, несмотря на поздний час ночи, работал в своем кабинете над огромной кипой бумаг, когда ему доложили о Светлове.

— Просите,— сказал старик, неохотно вставая.

Александр Васильич вошел неторопливо, как входил везде.

— Позвольте мне прежде всего протестовать, генерал,— обратился он прямо к его превосходительству, вежливо поклонившись ему и не дожидаясь вопроса,— я арестован без соблюдения надлежащей формальности...

Изящная свобода манер и всей фигуры Светлова заметно произвела сильное впечатление на старика.

— Не горячитесь, не горячитесь, молодой человек,— остановил он его с снисходительной улыбкой,— я сам умел протестовать в ваши годы. Во-первых, вы не арестованы; во-вторых, вы здесь, может быть, к вашей же пользе... Присядьте и успокойтесь, пожалуйста.

Старик учтиво придвинул к Светлову кресло и сел напротив его на другое.

— Вы теперь прямо из Ельцинской фабрики? — осведомился генерал.

— Да, я оттуда.

— Скажите... войско уже там?

— Я встретил его, когда выезжал.

— Не знаете... что там вышла за история? — спросил

его превосходительство таким естественным тоном, как будто беседовал запросто с знакомым.

— Рабочие заявили директору, что не желают больше иметь его у себя, а когда он не согласился оставить фабрику добровольно...

— Да, это-то я слышал,— перебил генерал.— А подробностей... не знаете?

— Знаю очень хорошо все; мне, хотя и против воли, пришлось даже участвовать в этой истории,— сказал Светлов, нисколько не уступая собеседнику в естественности тона.

— А! Это интересно. Сделайте одолжение, расскажите мне обо всем поподробнее: я не могу до сих пор добиться тут никакого толку,— попросил генерал, стараясь как можно удобнее приютиться в кресле.

Александр Васильич совершенно правдиво и, вместе с тем, даже художественно обрисовал его превосходительству фабричные сцены; но при этом Светлов как-то так ловко ухитрился вести свой рассказ, что деятелем в них везде являлась только толпа и — ни одной личности, исключая его собственной. Генерал с нескрываемым удовольствием выслушал это мастерское повествование.

— Вы так живо изобразили мне ельцинское движение, что оно как будто стоит теперь у меня перед глазами, и я не могу не заподозрить в вас... художника,— сказал он, медленно потерев ладонью об ладонь.— Очень вам благодарен!

— Литературная привычка, генерал,— скромно заметил Александр Васильич.

— Да, это видно, это видно...— подтвердил его превосходительство.— Но... надеюсь, молодой человек, в вашем настоящем рассказе не дано столько же места фантазии, сколько ей отводится обыкновенно в литературных произведениях? — прибавил он с тонкой дипломатичностью.

— Напротив, даю вам слово, что я скорее убавил что-нибудь, нежели прибавил,— с такой же точно дипломатичностью ответил Светлов, не уступая генералу и в этом.

— Значит, ваше личное участие во всей этой кутерьме только тем и ограничилось, что вы сейчас передали мне? — спросил последний, несколько помолчав.

— Только этим.

— А! так вот что значит на языке директора — «действовал энергичнее остальных»...— как бы про себя проговорил старик.— Так его так-таки и наказали? — снова обратился он к Александру Васильичу.— Ведь это... позор! Я бы застрелился...— заходил генерал большими шагами по кабинету.

Светлов тоже встал и молча ожидал, что он скажет дальше.

— Вы в каком университете воспитывались? — обратился к нему вдруг его превосходительство, круто обернувшись.

— В петербургском-с.

— По какому факультету?

— По математическому.

— Как! — удивился генерал,— математик и... литератор?

— В здешней гимназии я особенно плохо шел по математике, так мне хотелось пополнить этот образовательный пробел в Петербурге,— пояснил Александр Васильич,— тем более,— прибавил он,— что у нас, по крайнему моему разумению, без знания точных наук литератору остается незавидное поприще почетного переливания из пустого в порожнее.

— Да, это так,— согласился генерал.— Это почти и везде так,— заключил он, подумав.

Светлов предполагал, что теперь с ним немедленно раскланяются, и вынул из-под мышки меховую шапку. Но его превосходительство не думал, по-видимому, расстаться так скоро с своим интересным собеседником.

— Я, признаться сказать, люблю молодежь,— заговорил он снова,— ее дурные стороны всегда с избытком выкупаются хорошими. Мой сын тоже недавно кончил курс в петербургском университете... Не слыхали?

Представитель местной власти был вдовец.

— Знаю, генерал, это мой хороший товарищ, даже приятель: мы и до сих пор в переписке с ним,— с живостью пояснил Светлов.

— Вот как! — весело удивился старик.— Приятель моего сына — всегда мой гость,— любезно сказал он, подходя к Александру Васильичу и с обязательной улыбкой протягивая ему руку.— Прошу быть знакомым.

Светлов раскланялся не менее обязательно.

— Сядемте, поболтаем немножко, если вас не очень

клонит еще ко сну с дороги,— предложил генерал, занимая прежнее место на кресле,— я имею привычку спать не более четырех часов в сутки. Скажите... почему вы не привезли рекомендательного письма ко мне от сына? Я мог быть полезен вам здесь. Николай забыл, вероятно,— он ведь рассеянный такой,— а вы... поцеремонились?

— Ох, нет! — поспешил сказать Александр Васильич, садясь напротив его превосходительства,— это не зависело ни от того, ни от другого: я просто отказался от письма.

— Почему же? — удивился старик.— Разве вы предполагали встретить во мне... чванную недоступность? Уж будто мой сын не познакомил вас со мной настолько, чтоб вы не думали обо мне так дурно?

Его превосходительство заметно расшевелился.

— Н-ну, не скажите этого, генерал,— успокоил его Светлов,— я еще в Петербурге успел составить о вас понятие, которое, впрочем, отнюдь не противоречит моему сегодняшнему личному опыту; если я и отказался от письма вашего сына, то совершенно по другой причине.

— По какой же именно? — живо спросил старик.

— Дело в том, генерал, что я нахожу возможной только одну рекомендацию — личную. Никто не может представить меня кому бы то ни было лучше, чем я сделал бы это сам. Рекомендация — ведь это, в некотором роде, порука за другого, обязательство; а так как ручаться безошибочно нельзя ни за кого, то, по-моему, и всякое подобное обязательство, как вещь рискованная, по меньшей мере... стеснительно. Лично я еще и не прочь принять ответственность за небольшой кружок людей, но ставить из-за себя в невыгодное положение другого — это не в моих убеждениях.

— Но...— с живостью возразил генерал,— вы преувеличиваете значение такого обязательства: это вексель, которому никто никогда и не доверяет на всю сумму сполна.

— Очень может быть, что мой настоящий взгляд ошибочен,— заметил Александр Васильич,— но я все-таки предпочитаю держаться его, пока не выработаю себе другого, лучшего.

— Ай, какая непростительная гордость, молодой человек! — улыбнулся и шутливо покачал головой его превосходительство.— Скажите мне откровенно... могут быть

у вас... враги здесь? как вы думаете? — круто переменил он вдруг тему разговора.

— Не думаю, чтоб были, генерал,— ответил Светлов, несколько удивленный его неожиданным вопросом.

— И однако, мне уже сделан на вас косвенный донос...

Старик, прищурясь, внимательно посмотрел на своего собеседника.

— Очень может быть; но ведь для доноса вражды и не нужно: он чаще всего делается по обязанности...— как нельзя спокойнее молвил Александр Васильич.

— Во имя чего бы он ни делался, быть осторожным все-таки не мешает...

— Если есть чего бояться, генерал.

Наступило неловкое молчание.

— Вы... хороши с доктором Любимовым? — спросил, наконец, старик, очевидно, выйдя из затруднения.

— Да; мы тоже с ним товарищи.

— Он, кажется, добродушный человек в сущности, но очень болтлив; по крайней мере я имею некоторые причины так думать... Вы хорошо сделаете, если будете осторожны с ним...— внушительно предупредил его превосходительство.

Светлов вспыхнул и выпрямился.

— Вы хотите сказать, генерал, что донос...— начал было он энергично.

— Успокойтесь, успокойтесь, молодой человек,— не дал ему договорить старик,— донос не имеет ничего общего с вашим товарищем. Все-таки,— прибавил он, опять помолчав,— вы будьте осторожнее с доктором.

— Но я не понимаю, генерал, о какой осторожности вы изволите говорить? — с изумительной невозмутимостью осведомился Александр Васильич.

Генерал заметно смешался.

— Мало ли есть случаев, где осторожность бывает даже обязательна...— ответил он уклончиво.

— Ах, да! — сказал Светлов, как будто только теперь догадавшись, в чем дело,— но я относительно всех этих случаев могу быть совершенно спокоен: злословить и сплетничать — вообще не в моем характере.

Представитель местной власти зорко окинул его испытующим взглядом.

— Так или иначе,— заметил он,— но вы можете быть

уверены, что всегда встретите во мне, как в отце вашего приятеля, как в *частном человеке*, полную готовность помочь вам, чем могу... Но... как на лице, занимающем известный пост, на мне прежде всего лежит долг — свято исполнять свои обязанности: если я и сообщил вам о доносе, то единственно потому, что он дошел до меня неофициальным путем; кроме того, многое зависит здесь и не от меня одного: тут есть другие самостоятельные ведомства, есть и за мной наблюдающие глаза...

Говоря это, старик продолжал зорко посматривать на своего собеседника.

— Очень вам благодарен, генерал, за такое незаслуженное внимание; но могу вас успокоить вперед, что не злоупотреблю и не воспользуюсь им: я ни от кого никогда не принимаю помощи,— с гордым достоинством поклонился Светлов.

— Может быть-с, может быть-с... Но позвольте! — нетерпеливо остановил его старик,— дайте мне договорить до конца. Все, что я вам сказал перед этим, я сказал потому, что фабричная история может кончиться очень дурно... Я обязан назначить самое строгое следствие по этому делу — и назначу... завтра же. По всей вероятности, сюда замешают и вас с вашими знакомыми. Мне особенно жаль этих двух стариков, и без того достаточно пострадавших на своем веку... Вы, разумеется, будете оправданы; но... одно уже участие таких лиц, как они, в подобной истории может отозваться весьма для них невыгодно, и тут уж... я совершенно бессилен. Впрочем, что можно — все будет сделано, и я, повторяю, всегда к вашим услугам.

Генерал поднялся с места: аудиенция, очевидно, кончилась. Александр Васильич стал раскланиваться. Старику в эту минуту опять бросилась в глаза изящная свобода манер и всей фигуры Светлова.

— Очень рад, что познакомился с вами,— сказал ему генерал на прощанье, дружески протянув руку,— жаль только, что мы встретились при таких... неблагоприятных обстоятельствах. Во всяком случае, в доказательство того, что мною не считается за арест ваш сегодняшний... не совсем добровольный визит ко мне, я заплачу вам его на днях же,— заключил он с обязательной улыбкой.

Светлов только с достоинством поклонился, но не сказал ни слова и вышел.

Он и его беседа произвели громадное впечатление на представителя местной власти. Старик долго еще расхаживал большими шагами по кабинету, преследуемый одной неотвязной мыслью.

«Что это за странная личность такая? — думалось его превосходительству,— совершенно ли это невинный человек, или упорный, закаленный преследователь своих, ему одному известных, целей? — и генерал снова, еще шире, шагал вдоль кабинета.— Таких людей, во всяком случае, надо постоянно иметь в виду...» — решил он, наконец, отходя ко сну.

Александра Васильича тревожили дорогой совсем иные размышления.

«Пальца в рот я тебе не положу,— не беспокойся!» — прежде всего думалось ему о генерале.

На своем, хотя и молодом еще, веку Светлов уже много видал хороших людей, много уже слыхивал прекрасных, симпатичных разговоров, но надеялся он только на самого себя, верил только в прочность своих убеждений...

Представитель местной власти твердо сдержал свое слово: не дальше, как через день после этой ночной беседы, его изящная зимняя коляска остановилась у светловских ворот, произведя необычайную, но совершенно напрасную суматоху во всем доме. Генерал только скромно осведомился у вышедшей к нему навстречу горничной Маши, где живет «приехавший из Петербурга молодой человек, Светлов» — и, по ее указанию, прямо прошел во флигель. Ирина Васильевна, однако ж, не утерпела: она быстро накинула на себя что было у нее понаряднее и торопливо отправилась туда же.

— Позвольте мне представить вас, генерал, моей матери,— с неподражаемой простотой обратился Светлов к своему сановному гостю, когда старушка вошла в кабинет сына, чрезвычайно смущенная близостью присутствия такой, по ее мнению, «всемогущей власти», хотя в остальное время она и верила глубоко, что всемогущ только один бог.

Генерал вежливо встал и рассыпался перед ней в любезностях.

— У меня тоже есть сын, сударыня, но я все-таки завидую вам,— сказал он ей между прочим.

Старушка была очарована.

«Вот все говорят, что он на чиновников ногами топает да вон их выгоняет, что как к нему представляться идти, так дрожат,— а поди-ка ты какой, батюшка, ласковый!» — в наивном восхищении думала она, сидя на диване возле генерала.

Его превосходительство просидел у Светлова с четверть часа, зашел на минуту в школу, где остался очень доволен преподаванием Лизаветы Михайловны, и уехал, оставив в памяти Ирины Васильевны неизгладимое воспоминание о своем визите.

Но, с другой стороны, несмотря на весь свой восторг, старушка в тот же день за обедом не преминула напуститься сперва на мужа, а потом на старшего сына.

— Уж и ты хорош, отец! — обратилась она к Василью Андреичу,— чем бы, батюшка, во флигель к Саньке пойти да представиться генералу, а он сидит себе дома да только трубочку свою покуривает! Уж такой ты, отец, и есть Запечин Иваныч... Шути-ка ты! — может, и тебе бы опять место вышло. Я бы на твоем месте, батюшка, пришла да и сказала...

— «Я бы», «я бы»! — с сердцем передразнил старик жену, прервав таким образом обильный поток ее упреков,— много ты взяла с твоим «я бы»! Уж я говорю, что... Х-хе! — махнул он только рукой; не докончив начатой фразы.

— Да уж и ты, Санька... отличился, батюшка, нечего сказать! — круто перешла Ирина Васильевна к сыну,— чем бы меня подвести к генералу, а ты его представлять выдумал... Уж чему вас, право, там учили, так я и не знаю!

Тем не менее день генеральского посещения получил значение эпохи в глазах стариков Светловых: отныне их домашнее днеисчисление вертелось обыкновенно на до и после того, «как был генерал». Полнейший триумф Ирины Васильевны продолжался по крайней мере дня три, пока она не успела обстоятельно сообщить всем своим родственникам, до единого, о таком «чуде да и только». Но главное значение этого события заключалось в том, что Александр Васильич чуть не на целую голову вырос теперь в ее и отцовском мнении.

— Поди-ка ты, Санька-то наш как отличается!..— восторженно и в сотый раз твердила на другой день ста-

рушка всякому, кто желал ее слушать,— с генералами знакомство водит! Я это сижу вчера утром под окном, смотрю... да еще, грешная, и говорю папе: «Что бы Санькe к генералу сходить? Сейчас бы ему важную должность дал...» И в помышлении-то у меня этого не было, чтоб сам генерал к нам прикатил... Только вдруг слышу, будто к нашим воротам кто подъехал... Заглянула в другое окно,— а он, батюшка мой, и идет по двору-то... Так у меня, мои матушки, ноги так и подкосились!..

Даже и Оленька не чужда была этому восторженному впечатлению. Только Владимирко, порядочно уже навострившийся от брата, относился несколько скептически к ослеплению домашних «неслыханной честью».

— Саша-то, Чичка, книги сочиняет, ученый...— заметил мальчуган сестре по поводу какого-то лестного замечания ее о посещении генерала,— а он, брат, что? Просто... фитюлька с епалетами!

И Владимирко бесцеремонно расхохотался собственной импровизированной остроте.

— Ну, ты!... ври больше! — строго остановила его из другой комнаты подслушавшая этот вольнодумный отзыв старушка.— Ужо вот услышит папа-то, так даст он тебе «фитюльку»!

Но это замечание матери нисколько не разубедило смешливого «химика».

— Знаешь, Ваня, как генерала зовут? — через минуту же обратился он на кухне к своему «наилюбезному камердинеру» — «Фитюлька с епалетами»! — и опять расхохотался чуть не до слез.

Что же касается Александра Васильича, то он и теперь, после этого визита, надеялся только на самого себя, верил только в прочность своих убеждений...

VII

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ ЛИЗАВЕТЫ МИХАЙЛОВНЫ

Было около девяти часов вечера. У Прозоровой только что подали самовар,— сегодня немного раньше обыкновенного, так как сидевшие у нее гости, Варгунин и Ельников, оба были большие охотники до чаю. Дети отсутствовали: Анюта Орлова, праздновавшая в этот день свое

рожденье, отпросила незадолго перед тем девочек к себе ночевать, а Гриша вызвался проводить их. Лизавета Михайловна, вероятно, поехала бы туда и сама, если б накануне, не зная еще о семейном празднике молодой девушки, не выразила Светлову сильного желания познакомиться с Жилинскими, которых тот и обещал привезти к ней сегодня.

По правде сказать, Александру Васильичу не особенно понравилась эта мысль. Он сперва даже и попытался было отклонить ее — разумеется, самым деликатным образом; но после настойчивой просьбы со стороны Прозоровой отказать ей было неловко, да к тому же и причины серьезной не представлялось. Всегда свободный во всех своих чувствах и действиях, не лгавший ни перед кем, Светлов, и в этом случае не нашел возможным действовать иначе. «Что бы из того ни последовало, пускай они встретятся лицом к лицу»,— думалось ему. Лизавета Михайловна, с своей стороны, ждала этой встречи с нетерпением. Молодая женщина много слышала о Христине Казимировне и прежде, до знакомства с Александром Васильичем, знала, как смотрит на Жилинскую город, и давно уже интересовалась ею; но личность знаменитой «Христинки» получила в глазах Прозоровой совершенно новый интерес с тех пор, когда об этой эксцентричной девушке заговорили Светлов и, в особенности, Варгунин. Нельзя сказать, чтоб к простому порыву любопытства у Лизаветы Михайловны не примешивалось, в данном случае, и другое, более глубокое чувство. Юношеская любовь Светлова была не тайна для Прозоровой,— и ей неодолимо захотелось видеть и узнать женщину, вызвавшую этот первый трепет страсти в человеке, к которому сама она, Лизавета Михайловна, тянулась всеми силами ума и души.

Немудрено, что теперь, в ожидании Жилинских, настроение хозяйки дома показалось Анемподисту Михайлычу немного странным.

— А вы сегодня, барыня, совсем какая-то рассеянная,— шутливо заметил ей доктор после одного из ее неудачных ответов.— Дайте-ка, я вам пульс пощупаю заблаговременно...

Прозорова улыбнулась несколько принужденно.

— Нет, доктор, не пророчьте,— сказала она, заваривая чай,— я уж и так нахворалась довольно. Где это у

нас Александр Васильич замешкался с своими друзьями? — прибавила Лизавета Михайловна, помолчав.

— Да ведь рано еще,— заметил Варгунин, посмотрев на часы.

Разговор все время держался на таких отрывочных фразах, пока, наконец, не пошли толки о последней фабричной истории да о вчерашнем посещении представителем местной власти Светлова и его школы.

— Одного только я не понимаю,— заговорила, между прочим, хозяйка,— какая надобность генералу оказывать такую любезность Александру Васильичу, если он видит в нем лицо подозрительное? Ведь так и себя скомпрометировать недолго.

— А какая надобность кошке, прежде чем съесть мышку, заигрывать с ней? — саркастически возразил Ельников.— Вы говорите: себя скомпрометировать можно. Да чем же? и перед кем? Думаете, перед подчиненными-то, которые и слова пикнуть не смеют? Эге!..— заключил ядовито доктор и закашлялся.

— Да, батенька, я совершенно с вами согласен,— обратился к нему Варгунин,— ничего нет опаснее власти заигрывающей...

— Его многие хвалят, впрочем,— как-то безучастно выразила свое мнение хозяйка.

— Да, хвалят: рыцарь, говорят,— с жаром подхватил Матвей Николаич.— Но я, Лизавета Михайловна, изучал на практике своего века... одного... тоже рыцаря,— так тот, знаете, когда дело касалось нашего брата, бывало, зарычит только, да и вышвырнет тебя без церемонии из ряда присносущих в приснопамятные... но уж любезничать перед тем не станет. А этот, наш-то, пожалуй, и копье с вами переломит сегодня, для пущего рыцарства,— ничего, что видит в вас лицо неподходящее,— а завтра вы, сидя в казенной квартире, и узнаете, каково простому смертному иметь дело с рыцарями...

— По крайней мере я слышал, что он очень многим помогает здесь,— по-прежнему безучастно настаивала Прозорова.

— Ну-с, хорошо-с, помогает; согласен. Да ведь и все такие рыцари помогают... разным казанским сиротам. Ведь и тот помогал; зато уж, если, бывало, захочет разорить кого дочиста — не прогневайтесь!

— Матвей Николаич решительно в ударе сегодня.—

заметил одобрительно Ельников, любивший вообще оттенок желчи в словах, по какому бы поводу он ни проявлялся.

— Должно быть, перед ударом, батенька...— как-то вскользь ответил ему Варгунин и задумчиво откинул назад движением головы длинные пряди своих косматых волос.

— «О чем шумите вы, народные витии?»[1]— послышался внезапно из передней громкий и веселый голос Светлова, появления которого никто до сих пор не заметил, так как входная дверь на этот раз была почему-то не заперта на крючок изнутри.

Лизавета Михайловна встрепенулась и торопливо пошла встречать гостя.

— А... остальные? — спросила она несколько тревожно, здороваясь с Светловым и видя, что он явился один.

— Едут за мной следом: мы не поместились в одних санях,— успокоил ее Александр Васильич, проходя за ней в столовую.

Он только что успел переброситься двумя-тремя словами с приятелями, как раздался звонок.

— Вот и они! — сказал Светлов.

— Я сама отворю...— нетерпеливо предупредила Лизавета Михайловна горничную, явившуюся на звонок, и быстро прошла в слабо освещенную переднюю.

— Не могу не узнать в вашем лице, сударыня, самой прекрасной хозяйки,— с старосветской, истинно польской любезностью обратился к ней Казимир Антоныч, как только она отворила дверь и дала время гостям войти.

Жилинский проговорил это, даже не успев еще раздеться.

— Мне тоже не нужно спрашивать, кому я протягиваю руку в настоящую минуту,— с обольстительной улыбкой поспешила сказать, в свою очередь, Христина Казимировна, быстро скинув с себя шубку и здороваясь с Прозоровой.

Забросанная, даже несколько сбитая с толку всеми этими любезностями, не светская и, вдобавок еще, сильно взволнованная интересной встречей, Лизавета Михайловна, видимо, растерялась. Сперва она только крепко по-

---

[1] Начальная строка из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).

жала руку гостям и, когда немного оправилась, проговорила с самой радушной улыбкой, обращаясь к Жилинскому:

— На вас и на вашу дочь я, право, уже и теперь не могу смотреть иначе, как... на друзей... Милости просим!

Прозорова любезно пропустила гостей вперед и молча пошла за ними поодаль в столовую. Когда Христина Казимировна вступила на порог этой ярко освещенной комнаты из полутемного коридора, глубокие карие глаза хозяйки на одно мгновение как будто впились в стройную фигуру красавицы гостьи. Тем не менее Лизавета Михайловна не забыла представить Ельникова своим новым знакомым.

— Я знаю, что мы с вами конкуренты по профессии,— с обычной грубоватостью сказал Анемподист Михайлыч Жилинской, студенчески пожимая ей руку,— так чтобы нам не ссориться из-за практики, уговоримтесь теперь же: кого вы не вылечите — присылайте ко мне, я же буду отсылать на ваше попечение выздоравливающих, а гонорарий пополам. Согласны?

— Нет, доктор,— улыбнулась Христина Казимировна,— эти условия слишком выгодны для меня.

— Напротив,— невыгодны, скажите: ухаживать за выздоравливающим гораздо труднее, чем лечить больного.

— Ну, так вы, значит, обсчитать меня хотите?

— А уж это как водится. Надо всегда рекомендоваться с самой худшей стороны, чтобы не вызвать потом разочарования,— рассмеялся Ельников, шутливо кланяясь.

— Ты, Кристи, редко увидишь Анемподиста Михайлыча в таком хорошем настроении духа,— вмешался Светлов.

— А вот скоро и ни в каком не увидите: умирать собираюсь...— с бесстрастной, чуть заметной улыбкой пояснил доктор.

Смотря на его исхудалое, прозрачно-зеленоватого цвета лицо, Христина Казимировна была поражена спокойствием этой улыбки и не нашлась, что сказать.

— Э, батенька-а! еще всех нас переживете,— выручил ее Матвей Николаич.

Ельников промолчал, но всем стало как-то неловко, будто и в самом деле между ними находился умирающий. Жилинская, видимо задумавшись, не трогалась с места.

— Христина Казимировна! — пригласила ее хозяйка, садясь разливать чай,— пожалуйста... будьте как дома, присоединяйтесь к нам... где вам удобнее.

— Самое удобное место за столом, разумеется, возле хозяйки, в соседстве домашнего человека,— я между вами и приючусь...— весело сказала гостья, усаживаясь около Прозоровой, рядом с Светловым.— Подвинься немного, Саша! — обратилась она к последнему.

На лицо Лизаветы Михайловны словно набежало темное облачко. «Саша»,— невольно повторилось у нее в голове, и как бы в ответ на это припомнилось ей и другое, слышанное перед тем, слово «Кристи». «Ничего нет странного в том, что старые друзья обращаются между собой по-приятельски»,— пыталась было думать встревоженная Прозорова. И однако, как ни старалась она уверить себя в этом, в глубине ее души что-то сильно и горячо протестовало против таких ласковых имен. Лизавета Михайловна даже немного рассердилась, мысленно доказывая себе, что подобное чувство слишком мелочно и недостойно хорошей, развитой женщины, что в нем сказывается только жалкое бесправное самолюбьице; а между тем, на самом деле, чем чаще раздавались в ее ушах эти ласковые имена, тем энергичнее заговаривал в ней внутренний протест, не поддаваясь никаким логическим доводам. Молодая женщина не могла выдержать, наконец, безмолвно подобной пытки, и когда Светлов обратился к ней с вопросом: о чем она так задумалась? — Прозорова прямо ответила ему:

— Мне пришло в голову, отчего у нас так редко можно встретить между мужчиной и женщиной такую открытую, прелестную дружбу, какую, например, я вижу между вами и Христиной Казимировной?

Александр Васильич зорко посмотрел на хозяйку.

— Мне кажется, потому,— сказал он просто,— что у нас больше дорожат мнением общества, чем друзей.

— И еще потому, я думаю,— прибавила от себя Жилинская,— что открытая дружба слишком стеснительна: от нее не так легко отказаться.

— Проще сказать, выходит вот что,— подхватил вслушавшийся в их спор Варгунин,— что и самая дружба-то у нас — редкость.

— Пожалуй, я бы еще и дальше вашего, Матвей Николаич, пошел,— заметил ему Ельников, отрываясь от

разговора с Жилинским,— я бы сказал, что дружба — видоизмененное предательство...

— Эк, батенька, куда уж вы хватили! Это еще доказать нужно,— разгорячился Варгунин.

— Можно и доказать,— вызвался Анемподист Михайлыч.

— Нет уж, доктор, не разочаровывайте нас, по крайней мере на сегодняшний вечер,— обратилась к нему Лизавета Михайловна не то грустно, не то шутливо,— сегодня мы все хотим быть друзьями, а не предателями... Не так ли, господа?

— Ты, значит, Анемподист Михайлыч, такого же нелестного мнения и о нашей дружбе с тобой? — спросил Светлов.

— А то как же? Ведь мы двое, батюшка, не составляем исключений в природе, стало быть, не можем считаться исключениями и в данном случае.

Приятели горячо заспорили между собой.

Спор этот если и не совсем отвлек Лизавету Михайловну от занимавших ее перед тем мыслей, то по крайней мере отнял у них первоначальную раздражительность и дал молодой женщине возможность спокойно поддерживать разговор. Теперь она, в свою очередь, заговорила с гостьей мило, просто, искренно; рассказала ей многое о себе и многое узнала о самой Христине Казимировне из ее увлекательного, безыскусственного рассказа. Обеих женщин заметно потянуло друг к другу, хотя разница их характеров и резко обозначилась при этом.

Светлов, пересевший незадолго до того в угол, задумчиво прислушивался оттуда к оживленной беседе дам; им овладело почему-то в эти минуты то же самое неопределенно-пленительное чувство, какое испытывал он, полулежа на диване, после обморока, в столовой Жилинских. Александр Васильич наглядно сравнивал теперь этих двух женщин, анализировал каждую особенность в них, каждый оттенок в движениях, в речи,— и чем дольше он всматривался, вслушивался, тем больше находил между ними и сходства, и разницы. Обе они, в своем роде, были одинаково прекрасны, одинаково умны; обе обнаруживали глубину и пылкость. Но у Христины Казимировны красивая внешность ярко бросалась в глаза, ум ее рассыпался какими-то блестящими искрами, в ее глубине не виделось дна, в пылу — границы; а между тем из-за всего

этого неявственно проглядывала то как будто усталость, то как будто надломленность. У Лизаветы Михайловны, напротив, внешность не поражала с первого взгляда; но зато малейшая черта ее дышала той неуловимой прелестью, от которой нельзя сойти с ума, но и нельзя отказаться, не почувствовав на всю жизнь какого-то странного, томящего пробела в ней. Ум Лизаветы Михайловны светился ровно в каждом ее слове, лишь изредка вспыхивая ярким пламенем; глубина ее была прозрачна, пыл имел пределы, однако ж только там, где дело шло о самой Прозоровой, а не там, где оно коснулось бы высших человеческих интересов,— и за всем этим явственно виделась свежесть и бодрость глубоколюбящей, глубоковерующей души, способной на многое.

«Во всяком случае, обе они стоят одна другой»,— подумалось Светлову, когда его мысли невольно и незаметно, стали все больше и больше клониться на сторону хозяйки. Трудно сказать, как долго пробыл бы он в таком созерцательном настроении, если б слово «прокурор», громко упомянутое в разговоре Варгуниным, не обратило на себя внимания Александра Васильича.

— Разве уж назначено следствие по фабричному делу? — быстро спросил он, как будто очнувшись.

— Вчера еще, говорит Матвей Николаич,— ответил ему Жилинский.

— Руководить следствием будет сам прокурор; это уж наверно известно,— сказал Варгунин.

— Ну, как вы думаете? легко мы отделаемся? — полюбопытствовал Светлов.

— У нас, батенька, легко отделываются только от кредиторов,— иронически заметил Матвей Николаич.

— Да еще от насморка,— желчно прибавил Ельников.

— А что за человек этот прокурор? — продолжал выпытывать Александр Васильич.

— Он добрый парень... за зеленым столом, когда с ним в карты играешь; впрочем, и тут обремизить любит,— пояснил, улыбаясь, Казимир Антоныч.

Светлов рассмеялся.

— Значит, человек, доступный страстям...— весело заключил он, зажигая папироску.— Дело! По крайней мере...

Отрывистый несколько раз повторенный звон наружного колокольчика у кухни помешал дальнейшему изложению мысли Александра Васильича.

— Кто бы это мог быть? — сказала хозяйка, посмотрев на часы.— Уж не Любимов ли... в розовом настроении?

А колокольчик все не унимался.

— Нет,— заметил Светлов,— вряд ли Любимов покажется к вам в скором времени: я заходил к нему сегодня после обеда за объяснением по поводу известной истории с Рябковой, и он мне во всем чистосердечно покаялся; а я знаю, что в дни покаяния Евгений Петрович не любит показываться на глаза своим знакомым...

— Любопытно, как же он объяснил вам эту историю? — спросила хозяйка, с некоторой тревогой прислушиваясь к неумолкавшему звону.

— Да очень просто: завел амуры с барыней, болтал с ней, что придет в голову,— взболтнул, разумеется, и про нас. Нет! он тут совсем ни при чем, а если виноват, то, во всяком случае, неумышленно, просто... ветреность.

— Извинялся, батенька? — осведомился Варгунин.

— Как же! само собой разумеется; говоря между нами, прослезился даже. Я, говорит, готов...

Но Светлову помешала докончить начатую фразу суетливо прибежавшая по задним дверям горничная.

— Барыня!.. барин приехал! — доложила она впопыхах хозяйке.

Лизавета Михайловна, очевидно, не поняла ее сразу.

— Какой барин? — спросила она довольно спокойно, хотя сердце у нее и забилось почему-то.

— Да ваш барин... супруг ваш,— пояснила горничная.

В эту самую минуту по-прежнему отрывистый звонок раздался уже в передней. Лизавета Михайловна побледнела вдруг как полотно, и с ней едва не сделался обморок; серебряная ложечка, которою она мешала чай, так и забила мелкую дробь по краю стакана. Горничная со всех ног кинулась отворять дверь. Гости переглянулись между собой торопливым, недоумчивым взглядом, ясно выражавшим, впрочем, щекотливый вопрос: не следует ли им уходить тотчас же? — и кто-то из них даже приподнялся было с места. Хозяйка тотчас же заметила это движение.

— Нет, пожалуйста... оставайтесь, господа... хоть на четверть часа,— тоном искренней просьбы обратилась она к гостям и медленно встала, опираясь рукой о спинку стула.— Вы нисколько не помешаете нашей встрече... даже

облегчите ее мне: у меня очень мало общего с моим мужем...

Пока Лизавета Михайловна говорила это, в переднюю вошел мужчина немного больше чем среднего роста, лет сорока пяти, с ног до головы закутанный в дорожный мех. Быстро развязав красный шерстяной шарф, в несколько рядов обмотанный вокруг шеи под воротником шубы, и так же быстро сбросив последнюю на руки горничной, приезжий очутился в кургузой, темно-горохового цвета, визитке, забавно сидевшей на нем сзади, и в меховой шапке, как-то смешно надвинутой больше на затылок и, таким образом, покрывавшей голову вместе с ушами, на манер старушечьего чепца. Это был, действительно, не кто иной, как сам Дементий Алексеич Прозоров, сильно смахивавший в таком костюме на обезьяну. В ином, не дорожном наряде подобное сходство обнаруживалось у Прозорова не сразу: издали он мог показаться даже красивым мужчиной; но, при более внимательном обзоре его фигуры, ее быстрые переходы от одного движения к другому, забавная подвижность лица и от того постоянные смешные гримасы вполне восстановляли это сходство. Как бы то ни было, но и теперь, смотря на приезжего, горничная не могла удержаться от невольной улыбки.

— Что... что улыбаешься, красавица? — обратился он к ней заигрывающим полушепотом.— Гости у вас, а?

— Да-с, гости.

Дементий Алексеич, все еще не снимая шапки, мелкими торопливыми шажками прошел в залу, куда уже вносили, тем временем, его дорожные пожитки.

— Поди-ка, поди-ка сюда...— поманил он оттуда двумя пальцами горничную, убиравшую на вешалку шубу.

Девушка поспешила в залу

— У вас тут не дует... не дует от окошек, а? — доспрашивался у нее Прозоров, бегая все теми же торопливыми шажками от окна к окну и прикладывая к ним попеременно, внизу двойных рам, то ту, то другую ладонь.

— Нет-с, не дует,— сказала горничная, опять невольно улыбнувшись.

— А тебя как, моя веселая красавица, зовут, а? — полюбопытствовал приезжий, любезно осклабляясь.

— Дарьей-с.

— Так вот бы ты, Дашенька, умница, чайку бы мне, а?.. самоварчик бы приготовила? — вкрадчиво попросил

Дементий Алексеич, имевший обыкновение на первых порах приголубливать всех.

— Самовар у нас на столе-с: барыня чай кушают,— ответила горничная, торопливо уходя из залы.

— Да барыню-то... барыню-то скорее посылай сюда! — крикнул ей вдогонку приезжий, обнаружив на этот раз довольно густой и даже приятный баритон.

Только теперь убедившись, что от окошек не дует, Дементий Алексеич снял с себя меховую шапку, торопливо вынул из ушей по порядочному клочку ваты и, вложив в каждое ухо по мизинцу, как-то забавно-энергически потряс обеими руками. Проделав эту операцию сперва, так сказать, оптом, он неоднократно повторял ее потом над каждым ухом в розницу, всякий раз что-то доставая оттуда и внимательно рассматривая на кончике пальца, что совершенно походило на то, как будто бы Прозоров то и дело показывал самому себе фигу.

Именно за этим последним занятием и застала его жена.

Лизавета Михайловна вошла в залу незаметно, без шума. «Больше трех лет не виделась я с ним... с злейшим врагом моей жизни... Шутка ли! — больше трех лет...» — Так думалось ей, когда она, направляясь сюда из столовой, проходила полутемным коридором. Теперь, стоя уже на пороге зальной двери и всматриваясь в обращенную к ней спиной фигуру мужа, Прозорова не могла удержаться от внутреннего трепета, от какой-то жгучей боли во всем своем существе. Это продолжалось, однако, не более нескольких секунд. «Остаться... жить с этим нравственным уродом?.. Нет!.. ни за что в свете!!» — мелькнуло в голове молодой женщины, и она, вся вспыхнув и выпрямившись, гордо пошла по зале к мужу. Услышав шорох ее платья, Дементий Алексеич быстро обернулся и кинулся было к жене с распростертыми объятиями, чтоб, по обычаю, расцеловаться. Но Лизавета Михайловна спокойно отстранила его от себя левой рукой и протянула ему правую.

— Здравствуйте! — холодно сказала она только.

— Что это... что это значит-то?! — с тревожным изумлением спросил Прозоров, видимо, опешив.

Он во все глаза смотрел на жену и как будто не узнавал ее после трехлетнего одиночества,— до того чем-то новым, чем-то совершенно незнакомым ему веяло от всей

ее фигуры, как бы выросшей, как бы получившей неведомую силу.

— Что... что... что за встреча такая? — повторил Дементий Алексеич и широко развел руками.

— После всех ваших писем, после тех бесчисленных оскорблений, которые вы не скупились рассыпать в них под видом собственного раскаяния, я думаю, вы не могли и рассчитывать на иную...— резко сказала Лизавета Михайловна, прямо смотря в глаза мужу.— Между нами,— прибавила она,— ничего не может быть общего теперь... кроме детей; я даже руку протянула вам только по необходимости.

— Да... да... да... да что же такое письма? Что ты..? что ты это, матушка!.. Опомнись! — растерялся пуще прежнего окончательно сконфуженный супруг.

— Я уже опомнилась, Дементий Алексеич,— у меня на это было три года с лишком...— заметила ему еще холоднее жена.— Пожалуйста... оставьте ваше «ты» для кого-нибудь другого...

— Прекрасно! прекрасно!.. нечего сказать, очень хорошо! Ну и расстанемся, матушка... не беспокойся! — теперь уже ехидно-насмешливо говорил Прозоров, лихорадочно потирая себе руки.

Он значительно возвысил при этом голос и быстро заходил вдоль залы своими обычными мелкими шажками.

— Пожалуйста, говорите потише, а то я немедленно уйду: у меня гости,— твердо остановила его Лизавета Михайловна.

— Не намерен... не намерен-с мешать вашим гостям...— иронически раскланялся с ней Дементий Алексеич,— а вы вот лучше детей... детей мне покажите.

— Детей нет дома,— ответила она просто.

— Нету-с? Так, так, так!.. так и следовало ожидать от такой прекрасной матери...— с прежним ехидством продолжал Прозоров, узнавший еще раньше от горничной, что дети уехали в гости.— Ну, конечно, где же... где же вам сидеть с детьми! — мешают...

Молодая женщина вся вспыхнула.

— Дементий Алексеич! — сказала она тихо, но гордо и решительно,— предупреждаю вас, что я отвыкла от подобного обращения; предупреждаю вас также, что у меня найдется спасительное средство — извините меня —

и от вашей глупости и от вашей пошлости. Если вы этого не понимаете...

— Прекрасно, прекрасно... все понимаю-с! — быстро перебил ее муж, сконфуженно отводя в сторону глаза.— Вы вот лучше чаю... чаю мне дайте да за детьми... за детьми пошлите,— прибавил он, как говорится, поджавши хвост.

Прозорова вышла, не сказав ни слова.

— Сию минуту...— обратилась она с принужденной улыбкой к гостям, проходя через столовую в свою спальню.

Здесь Лизавета Михайловна подошла к кровати, припала горячим лицом к подушкам и с минуту оставалась в таком положении; потом, несколько успокоившись, она осторожно заперла на ключ дверь, которая вела из спальни в залу, положила ключ себе в карман, постояла еще немного на месте совершенно неподвижно, с тупым испугом уставив глаза на эту запертую дверь, и медленной, неслышной походкой вернулась к гостям.

— Какое у вас расстроенное лицо! — с участием обратилась к ней Христина Казимировна.

У Прозоровой при этом замечании так и покатились слезы градом.

— Я ужасно нервная...— сказала она, вся покраснев и торопливо поднося платок к заплаканным глазам.

У Светлова чуть-чуть шевельнулись брови.

— Вот потому-то и должны вы беречь себя, наша милая хозяйка...— заметил он ей тем ласковым ободряющим голосом, от которого она всегда как будто оживала.

Вслед за Александром Васильичем и остальные гости также выразили Прозоровой свое внимание и участие, кто как мог, но с такой деликатностью, что ни один не позволил себе даже и намеком коснуться действительной причины внезапного расстройства хозяйки. Она, в свою очередь, сумела оценить эту деликатность и не стала удерживать дольше гостей, когда через несколько минут они начали прощаться. Светлов подошел к Лизавете Михайловне последним.

— Только побольше твердости да самообладания...— успел он шепнуть ей, когда пожимал ее руку.

Александр Васильич предполагал, что из передней он, хотя и мельком, а все-таки увидит приезжего, на которого ему очень любопытно было взглянуть, и нарочно оде-

вался дольше обыкновенного; но зала оказалась пустой, и Светлов заметил только меховую шапку на столе да два огромных чемодана у печки. Дело в том, что когда гости Лизаветы Михайловны стали прощаться с ней, Дементий Алексеич, услыхав это, забыл свои обычные предосторожности против простуды и торопливо, неслышными шагами проскользнул, в чем сидел, на крыльцо, а оттуда пробежал на кухню, где и отдал приказание кучеру съездить немедленно за детьми.

— Да ты, смотри... смотри, не вывали... не вывали барышень-то у меня!.. На поворотах... на поворотах-то поглядывай хорошенько!..— строго-настрого наказывал ему огорченный супруг, пока гости его жены пробирались за ворота.

Вернувшись в комнаты, Прозоров уселся в столовой пить чай, предварительно позвав туда из спальни жену.

— Так как же?.. Так уж мы и не будем... и не будем, значит, жить вместе? — кивая головой, доспрашивался он с цинично-лукавой усмешкой.— А... а дети? их-то... их-то как же? Ведь не бросить... не бросить же их, матушка, как щенят, на улицу,— вы об этом-то подумали?

— Вы очень хорошо знаете, Дементий Алексеич, что я всю жизнь мою о них продумала,— спокойно ответила Лизавета Михайловна.

— Да ведь надо же... надо же их будет куда-нибудь деть?

— Дети останутся при мне,— заметила она еще спокойнее.

— Вот как! при ва-ас?.. Да вы без меня капиталы... капиталы, что ли, тут нажили? — едко возразил Прозоров.— Вы и о сю пору на мой счет живете.

— Жила, Дементий Алексеич, это правда, но жила по неразумию, по неведению...

— Просветились теперь?..— с обидной колкостью осведомился Дементий Алексеич, ехидно улыбаясь и перебивая жену.

— Да, просветилась,— по-прежнему спокойно ответила она.

— Кто же это... кто же это, позвольте узнать, так просветил вас? — с той же улыбкой и колкостью спросил Прозоров.

— Жизнь просветила и люди... непохожие на вас,— пояснила Лизавета Михайловна с глубоким вздохом.—

Но ведь мы не об этом начали разговор теперь. Вы упрекнули меня сейчас, что я жила на ваш счет,— что же, я не спорю, хотя, право, собственно на себя я издерживала до сих пор не больше того, что пришлось бы вам платить любой гувернантке, которая уж ни в каком случае не заменила бы детям меня. Но в том-то и дело, Дементий Алексеич, что продолжать подобную жизнь, выносить эти постоянные упреки... я не хочу и не в силах. Капиталов мне неоткуда было нажить здесь, вы это знаете, так зачем же спрашиваете? Однако ж, у вас, я думаю, осталось в памяти, что пять лет тому назад, в мои именины, вы подарили мне пакет с надписью: «Тебе и детям, на случай моей смерти»...

— Как же... как же, матушка, не помнить такой капитальной глупости! — быстро перебил Прозоров жену, саркастически засмеявшись.

— Эти семнадцать тысяч лежат у меня нетронутыми,— продолжала Лизавета Михайловна, прямо и с достоинством посмотрев на мужа,— и, по праву подарка, принадлежат мне и моим детям. Но мне их не надо: бог весть еще, какими путями вы нажили их так скоро, хотя я несколько раз и слышала от вас прежде, что деньги эти сбережены только благодаря моей аккуратности в расходах. Другое дело — дети: их я не в праве лишить того, что дано им; впрочем, очень может быть, что, с летами, и они будут краснеть за эти деньги... Теперь вы меня выслушайте хорошенько, Дементий Алексеич...

Прозорова остановилась, как бы собираясь с силами.

— Глупости, глупости, глупости... и слушать, матушка, не хочу! — скороговоркой перебил ее муж, быстро соскочив с места, и опять забегал мелкими шажками по столовой.

— Нет, вы должны меня выслушать! — настойчиво и твердо сказала она, наливая ему новый стакан чаю.— Детские деньги я отошлю в государственный банк, а свою половину... сполна возвращу *вам*, если... если только вы дадите мне с детьми отдельный вид на жительство и... отпустите нас... в Петербург.

Хотя наружно Лизавета Михайловна и высказала свою мысль спокойно, но внутренно она трепетала вся, давая такой роковой оборот этому разговору.

Дементий Алексеич неистово замахал обеими руками.

— Это чего... чего же... чего же такое?.. Час... час от

часу не легче!.. Да ты... да ты... да ты совсем, матушка, с ума спятила, что ли, а?!.— несвязно и скороговоркой бормотал он, бегая по комнате, как раненый зверь.— Ты тут интрижку... интрижку, верно, какую-нибудь без меня завела, да теперь и задираешь... и задираешь нос кверху?.. Нет, погоди... погоди, матушка!.. Ты вот лучше прежде с мужем-то... с мужем-то как следует полюбезничай с дороги...

И, говоря это, Прозоров нахально полез было к жене, но звон колокольчика в передней остановил его.

— Негодяй!!.— глухо простонала Лизавета Михайловна, засверкав глазами, и с невыразимым презрением оттолкнула от себя изо всей силы мужа.

Молодая женщина едва помнила себя в эту минуту; вся негодующая, потрясенная до глубины души, она молча прошла к себе в спальню, заперлась там и, бросившись на кровать, истерически зарыдала.

Тем временем, совсем обескураженный таким достойным ответом на свою нахальную любезность и потому опять поджавший на время хвост, Дементий Алексеич хлопотливо встречал в передней вернувшихся детей. Они поздоровались с ним ласково, но без особенной нежности, без признака того порывистого волнения, двигателем которого всегда является взаимная сознательная симпатия. Гриша, например, косился по обыкновению, как и при виде всякого малознакомого ему лица; Сашенька посматривала на приезжего больше с любопытством и удивлением, чем с радостью; только одна Калерия обнаружила как будто некоторую долю более серьезного чувства; она прослезилась, обнимая отца. Что же касается самого Прозорова, то уж тут, разумеется, всевозможным ласкам и уверениям не было конца, хотя все эти нежности и носили на себе тот же приторный характер, каким отличались письма Дементия Алексеича. В самом разгаре отцовских излияний Сашеньке бросилось вдруг в глаза отсутствие матери.

— А мамочка, папа, где? — спросила она быстро.

И, прежде чем Прозоров успел ей ответить, девочка стучалась уже в дверь материной спальни, не жалея своего крошечного кулачка.

— Я, мама... Отвори! — с испуганным личиком говорила она, сгорая нетерпением.

Отворяя ей дверь, как ни старалась успокоиться Ли-

завета Михайловна, она все-таки не могла скрыть от дочери ни своего волнения, ни своих заплаканных глаз.

— Ты опять, мамочка, плакала... а? Папа тебя чем-нибудь обидел?.. да? А, мамочка?.. Да говори же, мамочка! — тормошила Сашенька мать, повиснув у нее на шее.

— Полно, Шура... полно, моя золотая девочка!.. мало ли о чем я плачу,— успокоительно говорила дочери Прозорова сама едва сдерживая душившие ее и теперь слезы

Они обе забились в уголок на кровати и несколько минут сидели молча, обнявшись, будто хотели защитить от кого-то одна другую. Вскоре пришли сюда и Гриша с Калерией, задержанные до того времени в зале отцом. Они также заметили расстройство матери и тоже закидали ее вопросами.

— Так... взгрустнулось...— коротко пояснила она, сколько к ней ни приставали.

Между тем Дементий Алексеич, как ни в чем не бывало, возился в зале около своих чемоданов, в сообществе горничной, мимоходом позванной им на помощь.

— У вас кто же... кто же, Дашенька, гости-то сегодня были? — расспрашивал он ее, между прочим, таинственным полушепотом.

— Доктор был, который барыню лечил, Матвей Николаич были да еще наш барин, а других-то я не знаю — те в первый раз у нас.

— Это какой же... какой же такой «ваш барин»? — насторожил уши Прозоров.

— Да господин Светлов — учитель; они всякий день у нас бывают — барышень и барича учат.

— Так, так... Ты поди, заглядываешься на него, а?

— Ну, барин, развязывайте скорее: мне еще надо посуду убирать,— с неудовольствием сказала горничная, видимо тяготясь этим интимным разговором.

— А любовник у тебя есть, а? — допытывался Дементий Алексеич, приходя, очевидно, в игривое настроение и все больше понижая голос.— Да уж нечего... нечего, Дашенька... есть... по глазам вижу... Ведь есть, а? Признайся-ка, а? есть?

— Что это вы, барин, глупости какие говорите! — покраснела и обиделась горничная, привыкшая в доме Лизаветы Михайловны к порядочности.— Теперь и одни, без меня, справитесь,— прибавила она насмешливо и ушла.

Прозоров конфузливо съежился.

— Калерочка!.. Дети! — позвал он громко, отходя от чемоданов.

Калерия не замедлила явиться; спустя минуту пришел и Гриша, объявив отцу, что Сашенька «не отходит от муськи».

— Ну... бог с ней, бог с ней...— как-то брюзгливо процедил сквозь зубы Дементий Алексеич.

Он усадил детей на диван, поместился рядом с ними и стал их обо всем подробно расспрашивать: как они жили без него, как учились, что делали, молятся ли каждый день богу, часто ли ходят в церковь? Предлагая им свои многочисленные вопросы, Прозоров как-то беспорядочно перескакивал от одного предмета к другому, не имевшему, по-видимому, никакой логической связи с первым: ему, главное, хотелось выведать этим путем что-нибудь обличительное в отношении жены. Но Калерия болтала больше о пустяках,— например, о своем новом розовом платье, совершенно неумышленно обходя прямые ответы, а Гриша чаще всего отмалчивался. Наконец, желая во что бы то ни стало развязать язык у детей, Дементий Алексеич круто переменил тактику: он начал уверять Калерию, что накупит ей завтра же множество нарядов и разных туалетных безделушек.

— А тебе часы подарю,— обратился отец к мальчику.

— Ты, пожалуй, опять такие же купишь, как мне на именины послал — пустые, с прилепленными стрелками,— равнодушно заметил Гриша.

— Нет, Гришечка, теперь настоящие... настоящие подарю, ходить будут... Ей-богу! — уверял Дементий Алексеич и перекрестился.

Как бы то ни было, но и эта система задабривания не привела его ни к одному из тех желаемых результатов, каких он добивался. Тогда Прозоров решился действовать прямее.

— Учитель-то, поди... поди, внушает вам, что на отца... плевать? — спросил он вдруг ни с того ни с сего у детей.

Калерия не поняла; Гриша с удивлением смотрел на отца в упор.

— Чего ж ты... чего ж ты глаза-то на меня вытаращил? — раздраженно осведомился Дементий Алексеич у сына.— Вот у меня Калерочка, так та — умница; она не

по-твоему — все мне расскажет,— обратился он к дочери заискивающим тоном.

— Да что же я тебе, папочка, скажу? Я не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь,— сказала девочка совершенно чистосердечно.

Прозоров рассердился.

— Ну... и... и не надо! и не сказывайте! и... и не куплю... не куплю я вам ничего, когда вы с отцом секретничаете! Матери... матери так небось все говорите? Мать, что ли, вас содержит-то? Все... все на мои деньги...— забегал Дементий Алексеич по зале, широко разводя руками.

— Я, папа, очень тебя люблю...— заметила Калерия, не зная, что сказать.

— Да что... да что... да что мне, матушка, из твоей любви-то? — шубу, что ли, шить? Я... я для вас, как вол... как вол, работаю, ночи не сплю,— вон... вон какая у меня тут штука... сидит; а вы что? Вот тебе и благода-а-рность! Уте-е-шили, деточки... уте-е-шили!..— порывисто говорил Прозоров, ударив себя несколько раз пальцем по лысине и крутясь, как вихорь, на одном месте.

Калерия мигала-мигала, смотря на отца, и вдруг истерически зарыдала. В дверях залы показалась Лизавета Михайловна с робко выглядывавшей у нее из-за платья Сашенькой.

— Как вам не стыдно, Дементий Алексеич, тревожить по пустякам детей! — сказала она мужу, с легким дрожанием в голосе.— Полно тебе, Калерия, плакать! мало ли ты еще чего наслушаешься...— прибавила раздражительно Прозорова, обратясь к старшей дочери, и опять ушла в спальню.

Дементий Алексеич, в свою очередь, принялся всячески утешать Калерию, ласкал ее, даже дул ей зачем-то в глаза, говорил, что он пошутил, что больше не будет, опять уверял, что накупит ей завтра кучу разных разностей, и вдруг спохватился носового платка.

— Куда же... куда же это он делся? Ведь недавно... недавно куда-то его сам бросил, а теперь вот и не найду... хоть ты что хочешь! Пропал... пропал платок да и шабаш! — как угорелый совался Прозоров из угла в угол.

Калерия соскочила с места и, сквозь слезы, принялась помогать отцу, заглядывая то под диван, то под кресла.

— Да он у тебя не в кармане ли, папа? — спросила она, когда ее поиски остались безуспешны.

— Нет... тут нет... нету! — сказал Дементий Алексеич, остановясь посреди комнаты и ощупывая карманы.— А это отчего? Оттого... оттого все, Калерочка, что помолиться... помолиться я забыл сегодня утром...

Теперь, в свою очередь, и Калерия, как давеча Гриша, во все глаза смотрела на отца, решительно недоумевая, какое отношение может иметь утренняя молитва к затерявшемуся вечером платку.

— Что... глазенки таращишь? Это бывает... бывает...— подтвердил самоуверенно Прозоров, никого, впрочем, не убедив таким чересчур уж первобытным приемом доказательства.

Так и не отыскал платка в этот вечер Дементий Алексеич. Прислушиваясь из спальни к его забавной возне, Сашенька от времени до времени прятала свое личико на груди матери, чтоб не слышно было в зале ее детски искреннего, неудержимого смеха. У самой Лизаветы Михайловны, напротив, с каждой новой выходкой мужа все сильнее и болезненнее сжималось сердце. Молодая женщина думала и передумывала. Ведь вот... сколько еще нравственной отравы внесет этот развращенный ханжа в так бережно охраняемый ею детский мир? Достаточно, быть может, нескольких подобных вечеров, чтоб исковеркать, перевернуть вверх дном все то, чему она, Прозорова, посвятила уже половину своей жизни, да, конечно, посвятит и остальную? Потом... с чего это он так вдруг, ни слова не написав, приехал?.. И все жгуче и жгуче вставали в голове Лизаветы Михайловны эти неотвязчивые вопросы, все настоятельнее просили у ней ответа. Наконец, Прозорова не выдержала и подошла к запертой двери в залу.

— Дети! пора спать...— постучалась она.

Благодаря энергии и двукратному повторению этого призыва минут через десять зала опустела. Приезжий расположился ночевать в комнате Гриши, Калерия — у себя в детской, а Сашенька осталась при матери, сколько та ни отсылала ее к сестре. Тем не менее, ложась спать, Лизавета Михайловна тщательно осмотрела обе двери: она хорошо знала своего мужа и могла ожидать от него если не всего, то по крайней мере непрошеных, насильственных ласк...

На другой день, в обычный час утра, Светлов явился к Прозоровым на урок. Дети встретили учителя с нескрываемой радостью: по правде сказать, им уже и сегодня порядочно успел надоесть отец своими глуповатыми расспросами. Лизавета Михайловна тотчас же вышла поздороваться с Александром Васильичем, который заметил по ее все еще красным глазам, что она дурно провела ночь.

— Здоровы ли вы? — спросил он, крепко пожимая ей руку.

Она только что собралась отвечать ему, как в дверях залы показался сам Прозоров, расфранченный и сильно напомаженный.

— Мой муж... Александр Васильич Светлов, учитель наших детей,— торопливо отрекомендовала их друг другу хозяйка и сейчас же ушла.

— Очень рад-с... Прошу... прошу покорно садиться!— сказал Дементий Алексеич довольно учтиво, но, очевидно, желая придать себе как можно более внушительный вид.— Вы по какой... по какой системе, молодой человек, преподаете? — обратился он к учителю тоном знатока и, вместе с тем, как бы начальника.

— По своей собственной, выработанной практикой,— холодно и вскользь ответил ему Светлов, занимая свое обычное место во время урока.— Ну-с, дети... начнемте,— спокойно, как всегда, пригласил он учеников.

— Позвольте...— с некоторой важностью перебил его Прозоров,— вы, значит, не признаете... не признаете мнений людей авторитета в науке?

— Если вам будет угодно, мы поговорим об этом в другой раз; а теперь — извините — нам надо заниматься: время очень дорого для меня,— по-прежнему холодно и вскользь пояснил Александр Васильич, приступая к уроку.

Дементий Алексеич заметно сконфузился.

— Не мешаю, не мешаю-с...— поспешил он сказать скороговоркой.

Прозоров на цыпочках отошел в сторону, сел и стал внимательно слушать, как-то забавно вытянув при этом голову вперед и насторожив, с помощью ладони, правое ухо, которое и без того стояло у него торчком.

Урок начался с истории. На разнообразные вопросы учителя дети отвечали толково и не спеша, без малейшего признака так называемой долбежки; в особенности

отличался Гриша: он выказал очень обширные для его возраста сведения, нимало не обнаружив в то же время желания щегольнуть ими перед отцом. Что касается самого Александра Васильича, то он и на этот раз не изменил ни на йоту своих обычных приемов преподавания: увлекательно и просто рассказывал, иногда шутил, смеялся. Последнее крайне не понравилось Дементию Алексеичу.

— Что... что за смешки такие? — обратился он строго к Калерии, когда та, не будучи в состоянии удерживать долее подступившего и к ней смеха, закрылась передником от пристального взгляда отца.— Сиди смирно... как следует.

Светлов в ту же минуту обернулся к Прозорову.

— Я попросил бы вас не мешать нам...— сказал он ему с вежливой улыбкой.

— Виноват, виноват...— уже с некоторым ехидством извинился Дементий Алексеич.

Но минут через пять он опять-таки не утерпел и по поводу какого-то сложного совершенно не понятого им ответа Гриши заметил мальчику свысока:

— Экую, брат, какую ты чушь... чушь несешь!

Александр Васильич, в свою очередь, снова обернулся к Прозорову.

— Во-первых, вы не правы,— сказал он ему, слегка покраснев,— Григорий Дементьич отвечает совершенно верно, во-вторых... я не могу допустить, чтобы постороннее лицо вмешивалось в урок, и потому еще раз попрошу вас... не мешать нам.

— Отец-то... отец-то постороннее лицо?! Вот тебе раз! — как-то смешно поклонился и развел руками Дементий Алексеич.— От первого человека, батюшка, слышу.

— Во время урока, кроме учителя и учеников, каждый считается посторонним; если бы вы потрудились зайти когда-нибудь в один из классов гимназии, в часы занятий, и стали бы вмешиваться в урок,— вам сказали бы то же самое,— вразумительно пояснил Светлов.

— Да... ну... ну, там гимназия — то совсем другое дело; там, батюшка, правительство, а... а... а здесь я плачу деньги! Вот... вот какое мое мнение! — с азартом возразил Прозоров, ткнув себя пальцем в грудь и стремительно соскочив со стула.

Светлов, в свою очередь, спокойно поднялся с места.

— Извините,— сказал он холодно и резко,— я не заключал с вами никаких условий, и мне нет ни малейшего дела до ваших мнений.

Прозорова, следившая, по обыкновению, за уроком из соседней комнаты, вошла в это время в залу.

— Вы сами видите, Лизавета Михайловна,— с достоинством обратился к ней Александр Васильич,— что при настоящих условиях я не могу добросовестно исполнять *у вас* своей обязанности, и так как мне кажется, что эти условия не изменятся и вперед, то не найдете ли вы более удобным — присылать детей ко мне на дом?..

— Уж это-то... уж это-то... сделайте одолжение... не от нее будет зависеть... Да-с, не от нее-с! — раздражительно вмешался Дементий Алексеич.

— Так вы подумайте и известите меня,— невозмутимо-спокойно докончил Светлов, относясь по-прежнему к одной хозяйке.

Александр Васильич дружелюбно протянул ей руку, ласково простился с детьми и, уже издали, отвесил вежливый поклон хозяину дома.

— Будьте здоровы! — пожелал он ему своим ровным, металлически-чистым голосом и прошел, не торопясь, в переднюю.

Прозоров стоял на месте как вкопанный и тревожно следил за уходившим учителем, с неподвижно разинутым ртом, с вытаращенными глазами, до тех пор, пока фигура Светлова не исчезла за уличной дверью.

— Ну, ну... ну, скажите на милость... ну... ну... ну, на что это похоже? — заговорил тогда Дементий Алексеич, как-то забавно вытянув вперед руки, так что ладони их почти сходились.— Да это... да это... да это просто... разбойник, разбойник какой-то... с большой дороги! — а? Ей-богу!! — заключил он скороговоркой и, наклонив набок голову, опять растопырил руки.

— Полно вам, Дементий Алексеич!.. Что вы издеваетесь-то?.. над кем?.. Вы хоть бы детей-то постыдились! — заметила ему Лизавета Михайловна голосом, полным внутренних слез, и поспешно ушла к себе в спальню.

Тяжелые дни наступили для нее...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

ЧУЕТСЯ ЧТО-ТО НЕДОБРОЕ

С тех пор прошла неделя. Слух о фабричной истории, облетев, с неизбежными преувеличениями, весь Ушаковск, дошел, наконец, и до стариков Светловых. Сначала они было не на шутку встревожились: молва приписывала их сыну самую опасную роль в этом, для многих очень таинственном, деле; иные словоохотливые языки смело и беззастенчиво утверждали даже, будто молодой человек подстрекал фабричную толпу к убийству директора. Само собой разумеется, что последнему никто не верил, тем более Ирина Васильевна. Она сперва с негодованием отвергала такое гнусное и неправдоподобное обвинение, падавшее, по мнению старушки, позором на всю семью, а потом только улыбалась, выслушивая досужие сплетни от своих многочисленных родственников и знакомых.

— Чего уж здесь народ не выдумает, право! — убедительно говорила она им,— слушать-то так даже тошно... Неужели генерал-то приехал бы к Саньке, кабы было что-нибудь и вправду? Чешут языки, поди, из зависти — вот и все!

Действительно, старушка не дерзала и думать иначе: визит представителя местной власти к Александру Васильичу на третий день фабричного происшествия, когда ге-

нералу оно было уже известно, легко мог сбить с толку и не такую простоту, как Ирина Васильевна. Однако ж, несмотря на это, она по нескольку раз в день принималась допрашивать сына обо всех подробностях темной для нее истории,— и каждый раз Александр Васильич успокаивал мать безыскусственной искренностью своего рассказа, своим прямым, ни от каких вопросов не смущавшимся, взглядом. Тем не менее, не удовлетворяясь вполне даже и этими расспросами, старушка, втихомолку и незаметно, следила дома за каждым движением молодого человека, не упуская из виду ни малейшей перемены в его лице, ни одной особенности в тоне его обращения с домашними; но и при самом тщательном наблюдении зоркий глаз матери не подмечал ничего подозрительного: молодой Светлов оставался спокойным и ровным, как всегда. Получив надлежащие сведения от жены, Василий Андреич сам не расспрашивал сына ни о чем, был всю последнюю неделю как-то необыкновенно молчалив и только все чаще и чаще покуривал из своей любимой коротенькой трубочки.

— А уж попадешься же ты когда-нибудь здорово, парень, со своими затеями! — вот все, что он сказал сыну по поводу последних толков о нем в городе.

Говоря вообще, с некоторого времени и в особенности с тех пор, как школа Александра Васильича поставила себя в общественном мнении довольно прочно, поведение стариков Светловых в отношении сына значительно изменилось. Ирина Васильевна уж не давала больше советов мужу — «постращать Саньку», а Василий Андреич, в редких разговорах с ним, очень заметно избегал своего обычного, несколько повелительного тона. Старики, очевидно, начинали все сильнее и сильнее проникаться уважением к деятельности молодого человека, как говорится, заваленного теперь работой.

Александр Васильич, знавший, что следственная комиссия, назначенная по фабричному делу, уже с неделю тому назад выехала на место происшествия, стал было и сам успокаиваться понемногу, видя, что его не тревожат. Так как уроки с детьми Прозоровых пока еще не возобновлялись, а Лизавета Михайловна и Ельников были не совсем здоровы, то Светлов в последние дни занимался один в своей школе. Сегодня, в субботу, он только что распустил учеников, как ему принесли записку от Хрис-

тины Казимировны, наскоро написанную карандашом на лоскутке бумаги. «Папка сию минуту арестован; был обыск. От Варгунина только что приезжал нарочный сказать, что Матвей Николаич тоже взят»,— коротко извещала Жилинская.

«Вот они когда начинаются, настоящие-то визиты!» — едко подумал Александр Васильич, разрывая в мелкие клочки лаконическое послание.

Светлов, впрочем, принял это известие довольно холодно, даже не изменясь нисколько в лице, как будто с минуты на минуту ожидал чего-нибудь подобного. Он спокойно присел к письменному столу, написал два письма, запечатал их, не торопясь, вынул из кармана памятную книжку, порылся в ней и, закурив сигару, позвал сторожа школы — седого, коренастого старика из отставных унтер-офицеров.

— Вот эти письма вы отнесите сейчас же, одно на почту, а другое к доктору Ельникову,— обратился к нему Александр Васильич.— Не забыли еще, где он живет?

— Знаю, знаю, сударь,— торопливо проговорил сторож, принимая из рук Светлова конверты, и хотел выйти.

— Постойте, Бубнов...— остановил его Александр Васильич,— сколько я вам должен?

— Два рубля с чем-то, а впрочем, не упомню-с.

— На всякий случай, нам надо рассчитаться,— сказал Светлов, вынимая из бокового ящика деньги.— По моему счету, вам следует по сегодняшний день два с полтиной,— вот вы и получите их; да уж кстати возьмите и за остальное время до конца месяца. Таким образом, я буду считать, что до первого числа вы служите мне, а потом... Я не могу еще сказать вам теперь, как я устроюсь потом.

Бубнов, несмотря на короткое время своей службы у Александра Васильича, успел уже настолько привязаться к молодому человеку, что теперь ни за что бы, кажется, не отошел от него добровольно.

— Чем же вы, сударь, изволите быть мной недовольны? — спросил он у Светлова, заметно обиженный.

— Напротив, я совершенно доволен вами, Бубнов,— поспешил сказать Александр Васильич,— но... по некоторым обстоятельствам мне не приходится располагать собой вперед.

— Коли вы, сударь, это насчет жалованья... так я при

вашей милости и так бы, из-за однех хлебов, послужить мог как следует,— чистосердечно заметил старик.

Светлов был тронут.

— Спасибо вам, мой хороший Бубнов, за доброе слово! — с чувством сказал он, протягивая руку старому солдату.— Мне, признаться, и самому не хотелось бы разойтись с вами так скоро, и если б тут дело шло только о деньгах, нечего бы тогда и толковать много; но — повторяю вам — я и сам еще не знаю пока, что и как будет дальше... Впрочем, авось мы еще столкуемся.

Бубнов тревожно переминался на месте, очевидно не решаясь высказать какую-то, сильно занимавшую его мысль.

— Это, сударь... не насчет ли... того, что в городе говорят? — молвил он, наконец, предварительно высморкавшись.

— Да разные разности...— как-то вскользь пояснил Александр Васильич, притягивая к себе со стола деньги и вручая их с улыбкою старику.

— Эх! уж и брать-то его не хочется, жалованье-то...— с тяжелым вздохом выговорил Бубнов, нехотя принимая деньги.

Он нерешительно постоял еще несколько времени на месте и, снова тяжело вздохнув, вышел.

Светлов облокотился на письменный стол и задумался. Минут через пять, как бы очнувшись, Александр Васильич быстро поднял голову, встал, прошел в классную комнату, уселся угрюмо на одной из ее скамеек и опять погрузился надолго в какое-то сосредоточенное забытье.

— Так они думают, что развитый, весь преданный своему делу человек не стоит любой, уставленной пушками, крепости?.. Дети же они после этого! — громко и выразительно сказал он, наконец, неведомо к кому обращаясь, и его сильный металлически-чистый голос как-то странно и резко нарушил мертвую тишину пустой школы.

Светлов порывисто встал и, очевидно, сильно взволнованный, быстро зашагал между скамеек. Спустя четверть часа он, уже с спокойным лицом, неторопливо входил по заднему крыльцу в просторные покои большого дома. Всю остальную часть дня Александр Васильич провел семейно, со стариками; обедал с ними, острил и школьничал, вообще был необыкновенно весел,— и никакая самая зоркая материнская любовь не подметила бы

в нем в эти минуты того неуловимо-тонкого оттенка грусти, который изредка то мелькал в его беззаботной улыбке, то скользил по его смеющимся глазам, то выделялся едва ощущаемой ноткой из резвого тона его громкой, шутливой речи. Веселость молодого человека была так заразительна, что сообщилась понемногу даже Василью Андреичу.

— Наш рябчик свистит да скачет, а Рябчиха сидит да плачет...— сострил он, между прочим, и сам, чего уж давно не бывало.

Около семи часов вечера старики Светловы собрались всей семьей на именины к Анюте Орловой; звали и Александра Васильича, но он, несмотря на дипломатическое замечание матери, что там, верно, будет сегодня и Прозорова, остался дома, отговорившись какой-то спешной работой. Однако ж делом Светлов, против обыкновения, не занялся, а просто сидел у себя в кабинете часов до восьми, все усиленно размышляя о чем-то. Бубнов вошел было туда, чтоб сообщить барину, что письма отнесены по принадлежности, но не решился нарушить его глубокой задумчивости. Из нее вывел Александра Васильича говор нескольких голосов у переднего крыльца флигеля.

— Посмотрите, Бубнов, что там? — распорядился молодой человек, внимательно прислушиваясь к этому неопределенному говору.

— Какой-то военный, сударь, вас спрашивает зачем-то...— озабоченно доложил старик, выйдя и тотчас же вернувшись.

Светлов быстро встал; но он не успел сделать и двух шагов по комнате, как с ним официально раскланялась немного уже знакомая ему, издали, высокая фигура, в густых серебряных эполетах.

— Здешний полицеймейстер,— вежливо отрекомендовался посетитель, дав время Бубнову выйти из кабинета.— Я имею честь видеть господина Светлова?

— К вашим услугам,— холодно поклонился Александр Васильич.

— Мне очень совестно, что я беспокою вас в такое время... но... извините — обязанность,— сказал начальник ушаковской полиции, выразительно пожав плечами, и торопливо вынул из-за борта сюртука какой-то лист бумаги, сложенный вчетверо,— Потрудитесь вот это прочесть.

— Пожалуйста!..— рукой пригласил его Светлов сесть и, не торопясь, развернул бумагу.

Она оказалась форменным предписанием губернского прокурора, адресованным на имя посетителя и заключавшим в себе следующее:

«По производящемуся под личным моим руководством следствию о возмущении рабочих Ельцинской фабрики против ее бывшего директора, отставного полковника Оржеховского, имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие немедленно отобрать от кандидата С.-Петербургского университета, Александра Светлова, все принадлежащие ему бумаги и вместе с ними представить его ко мне *лично* для надлежащих по сему делу объяснений.»

— Я бы хотел знать, следует ли разуметь под этим... арест? — спросил Александр Васильич, внимательно пробежав глазами прокурорское распоряжение и возвращая его обратно полицеймейстеру.

— К сожалению, не могу вам сказать ничего,— пояснил начальник полиции, снова пожав плечами,— это будет зависеть от усмотрения прокурора; я обязан только буквально исполнить его предписание.

Светлов развязно запустил руку в правый карман брюк, вынул оттуда небольшую связку ключей и положил ее на письменный стол.Тонкая, почти незаметная улыбка скользила при этом по губам молодого человека.

— В таком случае, не угодно ли вам прямо приступить к исполнению вашей обязанности,— холодно поторопил он незваного посетителя.

Полицеймейстер еще раз извинился, что беспокоит его, попросил позволения позвать в кабинет, через Бубнова, двух остальных членов полиции, дожидавшихся у крыльца, и, уже в присутствии последних, пригласил хозяина представить все, что у него имеется по письменной части.

— Ключи на столе: не стесняйтесь, пожалуйста,— сказал Светлов, отходя немного в сторону и садясь.

Но полицеймейстер, очевидно, стеснялся.

— Вам самим будет удобнее...— проговорил он, замявшись.

— Что? — отрывисто спросил Александр Васильич, поднимая голову.

— Предъявить нам ваши бумаги,— пояснил градоначальник, стараясь не смотреть на хозяина.

— Извините: у меня не в привычке показывать свои бумаги... кому бы то ни было,— с достоинством заметил ему Светлов.

Полицеймейстер, по-видимому, не знал что делать: сперва он только как-то странно посмотрел на всех, потом осторожно взял ключи со стола, приложил один из них наудачу к замку верхнего ящика — и вдруг покраснел. Александр Васильич пристально следил за этим; прежняя тонкая улыбка шевельнулась у него на губах.

— Тут нужен узорчатый ключ,— обязательно сообщил он.

Благодаря этой обязательности начальник полиции понемногу оправился, живее приступил к делу,— и не дальше, как через полчаса большая часть бумаг Светлова была выбрана из ящиков и сложена в одну кучку на письменном столе; оставалось пока нетронутым одно помещение — с письмами.

— Вы мне позволите выкурить папироску? — любезно обратился полицеймейстер к хозяину, вынув портсигар и как бы собираясь отдохнуть немного.

— До сих пор в этой комнате курили только мои знакомые,— заметил Светлов,— но после того, как я уже не один в ней хозяин, здесь может курить... каждый.

Полицеймейстер сконфузился, торопливо всунул обратно в портсигар вынутую было оттуда папироску и в пять минут окончил переборку бумаг. Их завернули в большой газетный лист и скрепили двойными печатями — хозяина и полиции.

Градоначальник пощупал сверток рукой, как бы желая удостовериться в его прочности.

— Теперь... мне придется попросить вас с собой,— уже несколько высокомерно отнесся он к Светлову.— Есть ли у вас на кого оставить квартиру?

Александр Васильич ответил утвердительно, запер письменный стол, попросил позволения написать матери записку, запечатал ее вместе с ключами и вручил пакет Бубнову — для надлежащей передачи.

— Тут и о вас написано,— коротко сообщил ему Светлов.— Завтра утром отнесите.

Сердце отставного солдата чуяло что-то недоброе, когда тот, со свечой в руке, провожал до крыльца своего барина, уходившего вместе с полицией, и если б в эту

минуту молодой человек был менее занят собственными мыслями, он наверно заметил бы, как старик раза два утер себе кулаком правый глаз...

Семья Светловых вернулась с именин довольно поздно, и потому Ирина Васильевна, против обыкновения, проспала на другой день раннюю воскресную обедню. Это случалось с старушкой чрезвычайно редко и очень огорчило ее.

— Вот помяни ты мое слово, отец, что у нас чего-нибудь да случится,— сообщила она за утренним чаем мужу,— еще и звон ведь слышала спросонок-то, а не встала, грешная!

Записка Александра Васильича, принесенная через несколько минут Бубновым, явилась как бы нарочно для того, чтобы подтвердить и укоренить еще больше в старушке одну из ее обычных примет.

«Меня, кажется, арестуют, мама,— писал Светлов,— но, ради бога, не тревожься: я совершенно прав и докажу это во что бы то ни стало. Бубнов останется во флигеле до первого числа,— я ему сказал и заплатил деньги вперед. Не тревожься. Крепко целую тебя и папу».

Приложенные к записке ключи с резким звуком выпали из задрожавших рук Ирины Васильевны, когда она нетерпеливо пробежала глазами неожиданное извещение сына. Старушка не могла сперва произнести ни слова, точно ей сдавили горло; крупные слезы текли у нее по щекам.

— На-ко, отец... прочитай-ка... что Санька-то...— сказала она, наконец, но не договорила и громко зарыдала.

Василий Андреич растерялся немного и сам, прочитав записку; он, впрочем, должен был сделать порядочное усилие над собой, чтоб не подать повода жене думать, что и его также поразило коротенькое сообщение Александра Васильича.

— Чего тут плакать-то?..— заметил ей старик, угрюмо смотря в сторону.— По-о-делом вору мука! — махнул он рукой немного погодя и ушел просить совета у своей любимой трубочки.

Но Василью Андреичу на этот раз не так-то легко было отделаться от слез Ирины Васильевны; ему пришлось даже, скрепя сердце, отправиться к полицеймейстеру,

чтоб навести справки о сыне, когда последний не вернулся домой и после обеда. Самого полицеймейстера старик не застал, а письмоводитель канцелярии мог сообщить ему только, что «полковник вернутся не скоро, разве поздно вечером», и прибавил, что «к завтрешнему утру, пожалуй, можно будет справиться об этом». Таким образом Василью Андреичу пришлось вернуться ни с чем и ждать, что скажет томительное «завтра». К немалому утешению Светловых, к ним, вскорости после возвращения старика, зашел Ельников. Доктор, как говорится, едва приплелся, был весь закутан, кашлял больше обыкновенного и вообще казался больным не на шутку: он, действительно, уже три дня не выходил из своей квартиры и теперь явился только потому, что еще накануне получил доставленное ему Бубновым письмо Александра Васильича. В этом письме Светлов, извещая Ельникова об аресте друзей, сообщал ему между прочим, что, может быть, сегодня же будет взят и сам, и просил доктора, если можно, навестить в воскресенье стариков да присмотреть за вечерним уроком. Анемподист Михайлыч просидел у Светловых недолго — несколько минут, не больше; сегодня особенно раздражительная, но трезвая и отчасти насмешливая речь его значительно успокоила хозяев большого дома. Простившись с ними, Ельников завернул оттуда во флигель, с намерением остаться там прямо на урок и, в ожидании его, полежать у Александра Васильича на диване; хотя до начала занятий оставалось еще часа два с лишком, но доктору не захотелось идти домой — студиться лишний раз.

В кабинете Светлова, на его письменном столе, Анемподист Михайлыч нашел и распечатал какую-то форменную бумагу с печатным бланком директора училищ Ушаковской губернии. Бегло прочитав ее, Ельников многозначительно покачал головой.

— Подарок этот недавно принесли? — необыкновенно желчно спросил он у сторожа, закусив нижнюю губу.

— Вчерась еще, сударь,— как только что барин уехали,— пояснил Бубнов.

Доктор опять покачал головой, присел к столу, написал что-то крупными, как говорится, евангельскими буквами на целом листе бумаги, вручил его с каким-то глухим, отрывистым распоряжением сторожу и ушел, желчно сказав:

— Да хорошенько, батюшка, приляпайте!

В тот же день вечером, незадолго до обычного часа воскресного урока, кучка рабочих, человек в пять, стояла перед наглухо затворенной, против обыкновенния, дверью флигеля и с удивлением рассматривала прилепленное на ней объявление, набросанное нетвердой рукой Ельникова и гласившее, что *школа закрыта по распоряжению начальства*. Рабочие настолько уже выучились грамоте в светловской школе, что могли сами и без труда прочесть теперь эту краткую, выразительную надпись.

— Ишь ты... закры-ы-ли! — сказал один из них, както печально-оторопело посмотрев на остальных.

— Что-о за оказия, братцы! — заметил другой, почесав ладонью у себя за ухом.

— Постучать, слышь, надоть,— предложил кто-то.

Постучались,— сперва тихо, но дверь не отворялась; постучались еще раз, громче,— вышел Бубнов.

— Что, господа честные? — сказал он, очевидно, в дурном расположении духа.— Домой надо уходить...

Рабочие молчали, тревожно переминаясь на месте.

— Хозяина-то бы вот самого повидать нам хотелось,— заметил подошедший тем временем Савельич, узнав от других, в чем дело.

— Хозяина-то?..— смущенно переспросил сторож.— Да где его взять? Барин-то мой, может, теперь уж в остроге сидит... .

— Эвона! Статочное ли это дело? Да за что ж так? — заговорили в один голос рабочие, сильно пораженные неожиданным заключением Бубнова.

— А уж про то начальство ведает,— пояснил он сурово.

— Хороший, слышь... душа-человек был! — грустно помянул кто-то добрым словом Светлова.

— Известно, как есть человек был! — с чувством отозвался другой.

— Эко ты горе какое! — пособолезновал третий, отходя немного в сторону и сморкаясь в полу своего дубленого полушубка.

Наступило общее затруднительное молчание.

Между тем к прежней кучке народа прибавилась понемногу новая; иные только что пришли. Праздничный, несколько щеголеватый наряд рабочих, резко противоречивший их печальным лицам, придавал этим последним

какую-то особенную трогательную выразительность. Кто-то из новоприбывших — должно быть, совсем недавно поступивший в школу — подошел близехонько к двери флигеля и стал по складам разбирать негостеприимную надпись.

— Да уж тепериче, брат, хоть читай — не читай, а все не обучишься как следует,— несколько шутливо заметил плохому чтецу разговорчивый плотник.

В другое время эта шутка, может быть, вызвала бы общий смех; но в настоящую минуту она раздалась как-то заупокойно среди безмолвствовавшей толпы.

— Что ни толкуйте, господа честные, а уходить надо,— заключительно обратился к рабочим Бубнов и сурово захлопнул за собой дверь.

— И взаболь, что ж мы тут станем стоять без пути-то, братцы? Вали по домам! — пригласил Савельич остальных.

Знакомый уже нам, широкий в кости кузнец неожиданно выступил на сцену.

— А что, робята, ежели тепериче в острог к учителю сходить? — спокойно предложил он, очевидно, готовый на эту смелую попытку.

— Сичас видать, что кузнец: закалена, видно, шуба-то. Поди-ка ты какой бойкий! — трусливо отозвался в толпе один тщедушный мастеровой, по-видимому из портных.

— Учительская-то, чай, стоит твоих пятерых,— возразил ему с сердцем кузнец.— Туда же суется, мокрохвост поганый! — прибавил он, добродушно захохотав, и плюнул в сторону.

Но народ по-прежнему не намерен был ни шутить, ни ссориться, безучастно выслушивая эти единичные выходки. Седая голова сторожа опять высунулась в дверь.

— Уходите, уходите, господа честные! — проговорил он внушительно.— Ужо лучше завтре ввечеру понаведайся кто-нибудь сюда: может, вести какие придут от барина,— окончательно заключил старик и снова захлопнул дверь.

Постояли, постояли рабочие, посмотрели как-то нерешительно — сперва на темные окна флигеля, а потом друг на друга, и молча стали расходиться, уныло понурив свои недоучившиеся головы.

И им тоже, должно быть, как вчера Бубнову, чуялось что-то недоброе...

II

СВЕТЛОВ В ОСТРОГЕ

Бубнов был, как говорится, не пророк, а угадчик: барин его действительно сидел в остроге. Эту тяжелую весть принес домой, на другой день утром, Василий Андреич, вернувшись от полицеймейстера. Но старик не вдруг сообщил ее жене; он прежде всего прошел молчаливо в свой кабинет, выкурил там трубки четыре залпом, все отговариваясь сильной усталостью, и потом уже, когда старушка неотступно пристала к нему с расспросами, объявил ей каким-то глухим, подавленным шепотом:

— Александр-то ведь у нас... в остроге!

Ирина Васильевна так и грохнулась об пол.

— Вот оно каково... матери-то!!.— раздирающим душу голосом молвил Василий Андреич Оленьке, как-то растерянно-безнадежно стоя над распростершейся женою.

Девушка с криком кинулась в кухню за холодной водой.

Многих стоило усилий, чтоб привести в чувство несчастную, подавленную горем старушку; наконец, она слабо очнулась и мутными глазами обвела комнату. Может быть, никакие медицинские средства не подняли бы с полу в эту минуту Ирины Васильевны; но жгучее сознание, что ее сын — ее дорогой Санька — сидит в остроге, придало ей мгновенно, так сказать, сверхъестественные силы: старушка быстро вскочила на ноги.

— Я сейчас... я сама к нему поеду!.. Бедный Санька!.. Отец!.. Оля!.. вели лошадь... поскорее!.. Ох, боже мой, боже мой!..— твердила она, рыдая и порывисто переходя то от мужа к дочери, то наоборот.

Насилу, насилу удалось Василью Андреичу успокоить ее.

— Ты прежде отдохни маленько, мать, а потом и поедешь... Да лучше бы тебе, однако, не ездить сегодня?.. а? Завтра бы лучше поехала?..— мягко уговаривал он уложенную им в постель жену, натирая ей спиртом виски.

Ирина Васильевна только махнула нетерпеливо рукой.

— Ну, ну... ладно, ладно!.. поезжай! только успокойся ты теперь-то, Христа ради, хошь на полчаса...— поспешил согласиться старик.

Он, в эти полчаса, ухаживал за ней, как нянька.

Василий Андреич, изучивший до мельчайших подробностей характер и привычки своей жены, решительно не мог припомнить, чтоб она когда-нибудь так растерялась сразу — до обморока; никогда еще не встречал в ней старик той покорной уступчивости, с какой Ирина Васильевна позволила ему перед тем уложить себя в постель,— и он вдвойне глубоко почувствовал теперь, что настоящее испытание превышает все, что было безотрадного в их долгой кропотливо-трудовой жизни! Но ведь они уж доживают свой век; а что же будет с ним, с сыном? Что будет с этим человеком, который уже и теперь, в самом начале своего молодого, самостоятельного поприща является, так или иначе, арестантом острога?! Учиться столько лет... и для чего же? Чтоб смирнее сидеть потом за железной решеткой — для того, что ли?! И откуда, зачем эта прыть, этот неугомонный риск, когда без них можно жить покойно и весело? Весело!.. Да весело ли, полно?

А те-то, давно позабытые им, Васильем Андреичем, люди... разве они не были так же покойны и веселы в далеком безлюдном захолустье?..

Приблизительно в таком именно роде, хотя в другой форме и большем объеме, проходили мысли в голове старика Светлова, пока отдыхала в постели его жена.

«Э-эх! не хватает у меня маленько чего-то...» — тяжело и безнадежно подумал он, наконец, и заскреб у себя в голове.

Действительно, чтоб привести в порядок и уяснить себе эти мысли, чтоб разрешить победоносно все эти сомнения, Василью Андреичу не хватало немногого: ему недоставало одной, но зато громадной, всесокрушающей мировой силы — знания!

Ирина Васильевна лежала недолго,— по крайней мере не больше того времени, какое назначил ей наудачу сам муж: стремление к немедленной деятельности в пользу сына, мысль, что ее милый Санька, может быть, болен и сам от испуга, опять подняли на ноги старушку; она тотчас же собралась ехать к нему.

— А... ты, отец?..— нерешительно обратилась Ирина Васильевна к мужу, уже надевая в передней салоп.

Василий Андреич, до сих пор так нежно ухаживавший за ней, нахмурился вдруг, как туча.

— Я ничего не забыл в остроге,— сказал он отрывисто и сурово,— да и нашего роду там не было.

— Ну, отец, бог с тобой! только на том уж свете ты, батюшка, за эти слова разделаешься...— вся в слезах заметила ему старушка.

Василий Андреич молча стоял перед женой, не поднимая на нее глаз.

— И не жалко тебе Саньку-то?..— продолжала она все так же нерешительно.— Тебе-то он чего сделал? Нука бы тебя самого посадили безвинно?.. Побойся ты хоть бога-то, отец!..

Старика подергивало как на горячих угольях.

— Сказал, что не поеду — и не поеду! — наотрез объявил он, наконец, сильно дрожавшим от волнения, но решительным голосом и тотчас же ушел к себе в кабинет.

Ирина Васильевна, скрепя сердце, съездила одна, но неудачно: ее не допустили до сына без письменного разрешения прокурора,— в сумятице горя Василий Андреич совсем позабыл об этой неизбежной формальности. Уже подъезжая к самому дому, сани старушки неожиданно встретились с санями Прозоровой; кучер последней прямехонько правил в светловские ворота, так что нетерпеливой хозяйке пришлось обождать, пока ее гостья въедет во двор. У крыльца обе дамы сошлись. Бледное, встревоженное лицо Светловой, ее заплаканные глаза — разом подтвердили Лизавете Михайловне горькую истину, которую за час перед тем пришлось ей узнать от мужа.

— Правда ли... что я слышала?..— тревожно спросила она, протягивая руку старушке.

Ирина Васильевна, до сих пор довольно холодно относившаяся к Прозоровой, теперь, в каком-то особенном непонятном самой ей порыве, бросилась со слезами на шею гостье: в несчастии, говорят, люди становятся симпатичнее друг к другу. Они обнялись и поцеловались. Старушка тут же, на крыльце, в немногих, хватающих за сердце словах передала Лизавете Михайловне и свое горе и свою горькую неудачу.

— Идите, отдохните пока, успокойтесь, Ирина Васильевна,— мягко, но решительно сказала ей Прозорова,— я сейчас сама съезжу к прокурору.

Светлова даже не успела еще и опомниться хорошенько от этих ласковых слов, как уже сани Лизаветы Михайловны бойко выезжали за ворота.

«Право, какая славная, добрая дама!» — могла только подумать ей вслед растроганная старушка, с заметной слабостью взбираясь по высоким ступенькам крыльца.

Прозорова всю дорогу торопила кучера: она не столько боялась за Александра Васильича, сколько ей жаль было его бедную мать. Тем не менее сегодняшняя недавняя сцена с мужем то и дело шла на память Лизавете Михайловне.

Дементий Алексеич куда-то ездил утром и, вернувшись домой, злорадно объявил ей:

— Хорошего... хорошего нашли учителя детям: в острог заперли!

Она промолчала, но чувствовала, что побледнела как полотно в эту минуту.

Да уж вы, чего доброго, не любите... не любите ли этого разбойника?!.— спросил он с движением еще незнакомой ей страсти и ревности.

— Может быть, и люблю,— вам-то какое дело? — холодно и резко сорвалось у нее с языка.

Дементий Алексеич, кажется, ударил бы ее, если б между ними не встал Гриша; по крайней мере она никогда не видала мужа таким страшным и вместе с тем отвратительным.

Да! эта сцена не выходила сегодня из головы Лизаветы Михайловны. Прозорова не могла отделаться от нее даже и тогда, когда говорила уже с прокурором. Блюститель губернского правосудия оказался человеком весьма несговорчивым или, по меньшей мере, мнительным; он прежде всего обстоятельно выведал у просительницы, почему не приехала сама госпожа Светлова, отчего не взял на себя ее поручения муж, и обо многом другом в том же роде. Не зная, что сказать, молодая женщина лгала, не краснея. Тем не менее и после того прокурор все еще затруднялся выдать ей пропуск.

— Ведь вы сами посудите: я ведь должен буду ответить перед высшим начальством за это...— говорил он, быстро расхаживая по своей невзрачной камере.— Если бы еще не такое щекотливое дело, тогда... тогда, конечно...

— Но вы несравненно больше должны будете ответить перед вашей совестью, если старушка умрет, не повидавшись с сыном! — вдохновенно прервала его Лизавета Михайловна.

— Да!.. для нее-то... я, пожалуй, дам,— заметил про-

курор, очевидно, пораженный этим доводом,— она мать... А вы? — спросил он подозрительно у Прозоровой.

— Я его родственница,— еще раз беззастенчиво солгала она.

Именной пропуск для двух лиц был выдан наконец. Через полчаса после этого Лизавета Михайловна сидела уже в одних санях с старушкой Светловой, быстро несшихся по направлению к тюремному замку.

Мрачно, недружелюбно смотрели желтые стены старого ушаковского острога, когда подъехали к ним эти две нечаянные подруги, обе взволнованные одинаковой мыслью: что-то они там увидят? У ворот с удивлением встретил дам караульный офицер; мельком взглянув на пропуск, он тотчас же распорядился, чтоб их провели в так называемое «благородное отделение». Они прошли длинным грязным и темным коридором в сопровождении какого-то тощего, вооруженного связкой ключей, солдатика — должно быть, тюремного сторожа, немилосердно звякавшего ими. Этот резкий звук, в связи с каким-то особенным, затхлым и одуряющим воздухом коридора, производил невыносимо тяжелое впечатление на свежего человека. Лизавете Михайловне едва не сделалось дурно, у старушки Светловой кружилась голова. Наконец, солдатик остановился перед одной дверью с маленьким квадратным окошечком, раза два повернул в замке ключ и, с неприятным скрипом толкнув коленом в дверь, беззубо сказал дамам:

— Сюды-с, пожалуйте.

Они вошли как-то робко, почти испуганно.

— Какие дорогие гости!..— вскричал Светлов, порывисто бросаясь к ним навстречу.

Ирина Васильевна задрожала вся и так и повисла на шее сына.

— Батюшка ты мой!..— могла она выговорить только, заливаясь слезами.

Высвободившись с трудом из ее многократных объятий, Александр Васильич подошел к Прозоровой.

— И *вы* не задумались навестить меня здесь!..— проговорил он с горячим чувством, взяв ее за обе руки.

Светлова стояла теперь несколько поодаль и жадными глазами всматривалась в дорогие черты своего милого первенца. Но, к величайшему удивлению старушки, она не нашла в нем решительно никакой перемены: все так

же спокойно было его лицо, как и всегда, так же смело и прямо смотрели эти большие темно-голубые глаза, тот же веселый, приветливый тон обращения, та же развязность и простота в манерах; только между бровей у него как будто появилась небывалая прежде, чуть заметная складочка. От сына Ирина Васильевна невольно перевела глаза на его обстановку. Комната, которую занимал Александр Васильич, была невелика, сыра и грязна; вместо обычной мебели обращала на себя внимание одна только кровать, с грязным волосяным тюфяком и такой же подушкой, но без белья, прикрытая собственной шубой арестанта: стоявший тут же, перед этой кроватью, деревянный некрашеный стол, немытый по крайней мере лет пять, являлся здесь уже, так сказать, роскошью.

— Что, мама? не красна моя теперешняя хата углами? — смеясь, обратился Светлов к матери, заметив, с каким вниманием она рассматривает его убогое помещение.— По правде сказать, и пирогами-то она тоже не больно красна.

Ирина Васильевна только теперь спохватилась, что в ее карманах был целый арсенал разных съестных припасов; она торопливо стала выгружать их на стол, подозрительно рассматривая его.

— Уж извини, батюшка, на первый раз: что ближе под руку попалось, то и захватила,— сказала старушка, как будто конфузясь.

— Смотри, мама, не попадись,— шутливо заметил ей сын,— это ведь некоторым образом — контрабанда. Во всяком случае, нельзя не отдать немедленно же чести сему мясному пирожку...— прибавил он еще шутливее, комично подбираясь к разложенным на столе домашним пожиткам.— Я вижу, Лизавета Михайловна, что вы ни за что не можете догадаться, как здесь сидят? — с веселой улыбкой обратился Светлов к Прозоровой, которая, действительно напрасно искала глазами стула.— Это надобно вам прежде показать обстоятельно...

Александр Васильич с забавной важностью уселся сам посредине кровати, а дам пригласил сесть по бокам.

— Вот видите, как ларчик просто открывался, и не жестко и уютно, не правда ли? — спросил он.

— Ну, уж ты — прокурат[1] Санька! — заметила ему

[1] Прокурат — шутник, плут.

мать, не будучи в состоянии и сама удержаться от невольной улыбки.— Как это ты еще, батюшка, можешь смеяться тут?

— Э, мама! к счастию нашему с тобой, смеяться нигде не запрещается, да и запретить нельзя... В этом-то условии главным образом, может быть, и лежит все спасение человеческой натуры среди всевозможных ее мытарств,— сказал очень серьезно Светлов.

На минуту и хозяин и гостьи как-то грустно умолкли, и разговор круто перешел к домашним делам. Весть о закрытии школы, сообщенная Ириной Васильевной, вызвала у Светлова только заметную досаду, но нисколько, повидимому, не поразила и даже не удивила его.

— Этого можно было ожидать со дня на день: мы нуждаемся пока в одних кабаках...— едко заметил он между прочим.

Гораздо больше встревожило Светлова известие о серьезной болезни Ельникова.

— Да! — сказал Александр Васильич как-то угрюмо,— это меня очень беспокоит: таких энергических людей, как Анемподист Михайлыч, немного. Не бережется ведь он, главное; за ним надо присматривать иногда, в этом отношении, как за маленьким ребенком. Вы бы сильно обязали меня, Лизавета Михайловна, если б съездили к нему и попросили его, от моего имени, посидеть несколько дней дома; а то ведь он, пожалуй, и сюда еще вздумает заглянуть — в эту сырость, где и здоровому-то человеку не трудно за...

Светлов спохватился вдруг и искоса посмотрел на мать.

— У меня так вот крепкая натура,— осторожно поправился он,— я почти не боюсь ни простуды, ни сырости; никогда не хвораю.

— Я непременно съезжу к доктору завтра же,— торопливо помогла ему выпутаться из обмолвки Лизавета Михайловна.

— А что же ты, мама, ничего не расскажешь мне об отце? Он как поживает? — помолчав, спросил Александр Васильич у матери.

Ирина Васильевна принуждена была отвернуться, чтоб незаметно проглотить свои слезы.

— Да ничего, батюшка,— ответила она тихо,— трубочку все свою покуривает...

— Папа не верит, должно быть, что я прав,— спокойно заметил Светлов,— в таком случае он, конечно, считает позором навестить сына в остроге... А ты мама? как же ты-то решилась позорить себя?

— Уж видно нет, Санька, на свете такого дружка, как родимая матушка...— заплакала старушка, думая сперва отделаться одной только пословицей.

— Вот и Лизавета Михайловна здесь...— не то возразил, не то подумал вслух Александр Васильич.

Тяжелое молчание охватило на минуту каземат.

— Нет! — сказал вдруг Светлов, вставая и резко нарушив общее безмолвие,— эти грязные стены, мама, никого не могут позорить... Позорит сам себя человек, переставая быть им! Но я всегда останусь человеком: где бы я ни был — за мной всюду пойдут мое сердце, мои убеждения, мои привязанности; за мной же пойдет всюду и мое человеческое достоинство... Неужели ты думаешь, мама, что мне не жаль твоей седой головы, что я не вижу, как она мучится за меня и днем и ночью? Неужели я не хотел бы видеть вас всех довольными, счастливыми?.. Но если не в моих силах сделать вас такими, то неужели, наконец, мне самому, мне лично, не позволено — или ты желала бы запретить мне — стремиться к *тому* счастью, какого *я* хочу, теми путями, какие мне указывает моя совесть? Я не могу винить отца: я никогда никого не виню; но мне действительно невыразимо больно, что я так дурно им понят! Это не упрек... в особенности не упрек тебе; но на душе иногда накипает так много горечи, так много затаенных слов просится наружу, что, право, в такие минуты перестаешь щадить другого... Полно! не плачь; прости мне... Ты... ты славная, славная у меня!..

Александр Васильич тихо наклонился к матери, обнял ее и долго-долго целовал ей голову. Ирина Васильевна неслышно плакала под обаянием какого-то невыразимого, более светлого, чем тяжелого чувства: старушке казалось, что сын ее воочию стоял теперь перед ней на той недосягаемой высоте нравственной чистоты, на какой она видела его изредка только в своих задушевных мечтах. Лизавета Михайловна, совершенно притаившись на своем месте, так что о ней можно было забыть, с напряженным вниманием и интересом следила за этой неожиданной сценой; у нее у самой дрожали на ресницах слезы.

— Простите меня, дорогая Лизавета Михайловна,

если мы невольно позволили себе нарушить покой и вашего душевного мира,— обратился к ней Светлов, когда утих порыв его ласк,— я считаю вас, во многом, родной мне...

— Вы только еще больше сблизили сегодня это родство...— тихо ответила она, потупляя глаза.

— И вправду! — подхватила старушка,— Лизавета Михайловна теперь совсем как будто родственница стала. Вот кабы вы замужем не были,— ласково обратилась она к Прозоровой,— и пара была бы моему Саньке.

Лизавета Михайловна вся горела: самая сокровенная мысль ее была обнаружена.

— Заметьте при этом, что мама — не особенная охотница до свадеб,— весело молвил ей Светлов, любуясь смущением молодой женщины и, так сказать, подливая на огонь масло.

Прозорова чувствовала, как сильно забились у нее виски и сердце, как на минуту потемнело у ней в глазах, и вдруг, не помня себя от волнения, она сказала, ни к кому, впрочем, не обращаясь:

— Да! я умела бы любить его и беречь...

— Так станемте же любить и беречь друг друга! — серьезно, с глубоким чувством проговорил Александр Васильич, опять взяв ее за обе руки.— Вот, мама, видишь: в этих грязных стенах люди переживают иногда дорогие, лучшие минуты своей жизни!..

При других, менее исключительных обстоятельствах тонко-разборчивое ухо Ирины Васильевны, вероятно, не совсем благосклонно выслушало бы эти, так нечаянно высказанные, полные затаенного смысла, признания; но теперь, под обаятельным влиянием теплых речей и ласк горячо любимого сына, старушке было не до того. Она заметила только:

— Уж чего бы это, батюшка, и на свете такое было, прости господи, кабы люди не берегли да не любили друг друга!

— Аминь! — как-то радостно заключил Светлов и еще раз, еще крепче обнял добродушно улыбнувшуюся ему мать.

Понемногу тон их разговора переменился. Александру Васильичу пришлось подробно рассказать своим гостям, что он делал у прокурора и как его принял тот. Но-

вого, впрочем, оказалось немного в рассказе Светлова; все дело сводилось к тому, что один горячился и беспрестанно повторял: «Против вас имеются очень сильные улики в подстрекательстве»,— а другой спокойно возражал ему: «Представьте мне прежде эти улики».

— Из всего допроса я вывел одно — что ко мне хотят привязаться и сделать меня во что бы то ни стало виноватым,— заключил Александр Васильич.— Вообще,— прибавил он,— фабричная история, кажется, тут только предлог: им, по-видимому, что-то другое хотелось выведать от меня...

— Молчи, Саня! — заметила ему мать,— ужо вот я сама поеду, попрошу генерала, так тогда...

— Ну, нет, мама, ты этого не делай, если не хочешь поставить меня в положение еще более тяжелое,— с живостью перебил ее Светлов,— я даже не в состоянии буду уснуть сегодня ночью, если ты не дашь мне теперь же слова... ни во что не вмешиваться.

Ирина Васильевна стала было доказывать сыну всю пригодность и необходимость подобного обращения к защите его превосходительства, но в конце концов старушке все-таки пришлось отказаться от своей мысли и дать слово Александру Васильичу — оставить в покое представителя местной власти.

— Вот когда мы с тобой сами сделаемся генералами, тогда и будем водить с ними знакомство,— шуткой отделался Светлов от дальнейших настояний матери.

Эта маленькая размолвка не помешала, однако ж, дамам просидеть у Александра Васильича довольно долго; они только тогда уже начали собираться домой, когда проводивший их к арестанту солдатик, слегка приотворив дверь каземата, стал то и дело просовывать в нее из коридора свое тупое лицо, ясно теперь выражавшее, впрочем, окончательную потерю терпения.

Прощаясь с сыном, Ирина Васильевна опять не могла удержаться от слез.

— Знаешь что, мама? — сказал ей Светлов,— у меня к тебе просьба есть, и очень серьезная просьба...

Старушка посмотрела на него с удивлением; но, очевидно, она готова была исполнить все, о чем бы он ни попросил ее.

— Не езди ты, милая, сюда в другой раз...— продолжал Александр Васильич, стараясь придать как можно

больше правдивости и искренности своим словам.— И знаешь почему, мама? Ты ведь не в силах относиться спокойно к моему настоящему положению,— иначе и быть не может; а между тем уже один твой страдальческий вид способен каждый раз расстроить меня, отнять необходимую ясность и силу у моего ума, тогда как они-то именно и нужны мне теперь всего более, чтоб оправдаться...

Говоря это, Светлов заботился, разумеется, не о себе; но для Ирины Васильевны было совершенно достаточно подобного основания, чтоб не противоречить своему любимцу.

— Только бы поскорее выпустили-то тебя, Санька, а уж я, нечего делать, посижу, грешная, дома...— с величайшей покорностью согласилась старушка и снова принялась плакать.— Что понадобится — пиши с Лизаветой Михайловной,— с ней и пошлем тебе; а то и отец приедет: может, уломаю я его как-нибудь...— говорила она сквозь слезы, уже уходя и поминутно оборачиваясь, чтобы еще раз обнять сына.

Но Василья Андреича трудно и почти невозможно было «уломать», когда какая-нибудь упрямая мысль гвоздем сидела у него в голове. Тем не менее этот блистательный подвиг был совершен, и совершил его не кто иной, как Владимирко. «Поедем» да «поедем к Саше» — дней пять сряду приставал он неотступно к отцу. Дело в том, что с той самой минуты, как в стенах большого светловского дома, с некоторой таинственностью и даже ужасом, произнесено было впервые слово «острог», последний получил в глазах мальчугана интерес и значение как бы какого-то громадного небывалого и никогда еще не виданного им фейерверка, который, во что бы то ни стало, надо было увидеть,— по крайней мере в такой именно силе чувствовалось это желание самому Владимирке. На его ежеминутные приставанья старик отвечал сперва только одним угрюмым «отвяжись» да усиленным сопеньем своей трубочки; потом, как бы не выдержав натиска дальнейших приставаний, Василий Андреич стал отговариваться уже мягче — и, наконец, на шестой день утром внезапно объявил:

— Не ходи ужо либо сегодня, Вольдюшка, в гимназию-то: к брату поедем.

Это утро было настоящим праздником для Ирины

Васильевны; она даже свечу затеплила перед образом в своей спальне.

— Слава тебе, господи! едет...— сдержанным шепотом говорила старушка дочери, усиленно придумывая, «что бы такое послать еще Саньке».— Да как же, Оля! — твердила она,— ведь какой грех-то был бы потом отцу на том свете... ты подумай-ка, матушка! Право, все сердце у меня изболело эти дни...

Свидание старика Светлова с арестантом-сыном произошло довольно холодно. Василий Андреич, особенно вначале, видимо дичился его или, вернее сказать, конфузился: родительская совесть заговорила понемногу в старом упрямце и теперь громко начинала протестовать против его предыдущего упорного отчуждения от родного детища. Видя это, Александр Васильич чувствовал, с своей стороны, что не может быть искренним, как бы хотел, и потому тяготился отчасти и сам неожиданным приездом отца. Когда после первых, заметно натянутых приветствий и расспросов речь зашла каким-то образом об Ирине Васильевне, молодой Светлов заметил:

— Маме, право, стоит позавидовать: у нее — геройское сердце.

Василий Андреич тотчас же обиделся: ему послышался в этом замечании косвенный намек на отсутствие героизма в собственной особе.

— То-то ты, видно, и стараешься мать-то в постель уложить! — проговорил он с горечью.

Александр Васильич, в свою очередь, вспыхнул; он посмотрел на отца в упор.

— Если ты, папа, приехал сюда только затем, чтоб оскорблять меня в этом подневольном углу,— холодно и гордо сказал Светлов,— то, право, судя по недавнему опыту, ты мог бы сделать то же самое и не выходя из дому.

— Ну, ну... уж, разумеется, я один кругом виноват! — с прежней горечью отозвался Василий Андреич, очевидно, еще больше задетый теперь за живое.

Александр Васильич промолчал; он переносил в эту минуту своего рода пытку: ему и жаль было старика, и сознавалась им в то же время роковая невозможность вести себя иначе, чем до сих пор.

— Мне, парень, что! — продолжал Василий Андреич, не дождавшись возражения от сына, и голос его зазвучал

уже как-то мягче.— Делай, как хочешь,— по мне все равно; я уж рукой махнул на все... А ты вот о себе-то подумай: ведь пропадешь ты эдак ни за копейку... бесшабашная голова!..

— Так научи же меня, папа, чтобы я мог дороже продать свою жизнь,— с глубоко затаенной скорбью молвил Светлов,— кругом, у всех,— везде, куда ни оглянешься, она пропадает даром; а я бы не хотел этого...

— На службу ты не поступа-аешь...— уклончиво заметил старик,— кто тебя знает, что у тебя в голове!

— Эх, папа! многое шевелится в ней, да беседовать-то об этом она привыкла только с подушкой...— как-то задумчиво сказал ему сын и тихо забарабанил пальцами по столу.

В таком роде длилась с полчаса их несговорчивая беседа. Василий Андреич прежде всего вынес из нее какое-то смутное предчувствие будущих бед, на каждом шагу грозивших впереди его сыну; но, кроме того, было в ней и что-то отрадное для старика,— что именно такое — он не мог бы сказать и сам, а было что-то... Во все время этой беседы, или, вернее сказать, в продолжение целого визита, Владимирко, усевшись на постель и тесно прижавшись к брату, упорно молчал, зорко поглядывая оттуда вокруг, точно мышка из своей норки. Александр Васильич, сильно ему обрадовавшийся, несколько раз пробовал заговаривать с ним, даже принимался было тормошить его, но мальчуган только уклончиво жался в угол кровати да отделывался двумя-тремя односложными словами; а между тем, судя по глазам, «химика» сильно тянуло на разговор. Впрочем, секрет такого молчаливого поведения Владимирки объяснялся весьма просто: его стесняло присутствие отца, с старшим братом мальчик привык беседовать нараспашку только с глазу на глаз, а так, для одного виду, говорить, по его ребяческому соображению, не стоило.

Но зато в душе Владимирко торжествовал: ему удалось побывать в остроге.

— Не страшный совсем острог-то этот! — пренебрежительно сообщил он в тот же вечер на кухне своему «наилюбезному камердинеру».— только погребом пахнет. И солдат там ключами побрякивает... как наша Акулина, когда сливки из погреба достает; мама еще все говорит ей: «Сильно-то не закрывай — прокиснут». А че-

ловек, Ваня, может прокиснуть, а? — смешливо заключил «химик».

Предлагая такой, по-видимому, наивный вопрос, Владимирко был совершенно прав: разве люди — не те же «сливки» жизни?..

III

«ЧТО БЫ ТАМ НИ ДУМАЛИ ЛЮДИ!..»

Вот уже пятая неделя подходила к концу с того времени, как началось следствие по фабричному делу, а Светлова все еще не выпускали на волю. Однажды утром, получив дозволение погулять на острожном дворе, молодой человек нечаянно наткнулся там на Семена Ларионыча, разгребавшего в числе других арестантов выпавший накануне глубокий снег.

— Лсксандру Васильичу наше глубочайшее! — дружески поздоровался с ним издали староста.— Вот где бог привел встретиться!..

К высокому частоколу, ограждавшему двор острога, прислонена была чья-то незанятая лопата.

— Давай-ка я помогу вам, братцы,— сказал Светлов арестантам, бойко принимаясь действовать этой лопатой.

— Ку-у-ды тебе, барин! — иронически заметил ему один из них — востроглазый, насмешливого вида парень,— не по твоим ручкам такая работа... Уж больно горячо принялся: эдак и десяти лопат не снесешь.

Александр Васильич был в обыкновенном дубленом полушубке, купленном и присланном ему незадолго перед тем, по собственному его желанию, Ириной Васильевной; но арестанты, знавшие своих наперечет, сразу догадались, что новый их товарищ явился сюда из «благородного отделения».

— Почем знать вперед,— весело ответил молодой человек на замечание востроглазого парня,— может быть, ты еще скорее меня устанешь.

И он неутомимо продолжал работать, стараясь в то же время, как можно ближе встать к старосте.

— Ну, что? как наши дела с тобой? — вполголоса спросил у него Семен Ларионыч, подвигаясь, в свою очередь, к Светлову.

— Да все по-старому плохи дела, разумеется,— отозвался тот.— Ты что новенького не скажешь ли?

Оказалось, что вопрос этот был предложен небесполезно: у старосты Семена новости посыпались, как горох из мешка. Он, во-первых, сообщил Александру Васильичу, что дня три тому назад Жилинского вместе с дочерью внезапно отправили на жительство в другой, более отдаленный уезд, даже не дав им ни с кем проститься; что дом их в фабрике — запечатан, а все находившееся там имущество, за исключением мебели, отправлено вслед за ними на особой подводе, с старым слугой Казимира Антоныча. Во-вторых, Семен Ларионыч рассказал молодому человеку, что Воргунин содержится на гауптвахте, причем пожаловался еще, что мол, «Матвей Миколаич ведет дело неладно — горячится уж шибко». В заключение же всего, порывшись в карманах своих широких верверетовых шаровар, староста тихонько передал Светлову страшно измятое и засаленное письмо Христины Казимировны, запечатанное серебряным гривенником, следы которого, впрочем, едва только можно было разобрать на обломанном сургуче.

— Да откуда же ты знаешь все эти новости, Семен Ларионыч, и как попало к тебе письмо? — с удивлением осведомился Александр Васильич у своего обстоятельного собеседника.

— У нас свои кульеры на то! — смеясь, отозвался староста,— как почнешь сызмалетства оберегать свою покрышку, так, небось, всему научишься... Давай-ка, сгребем поскорее эту кучку-то!

И Семен Ларионыч, как ни в чем не бывало, усердно принялся подбрасывать снег; Светлов молча последовал его примеру. Они дружно проработали так по крайней мере с час времени.

— Не скучай, робяты-ы! — приговаривал иногда староста, обращаясь к другим арестантам и лихо откидывая назад свою и без того набекрень надетую шапку,— работа дело хорошее, от нее блох не заводится...

Семен Ларионыч, как видно, уже и здесь начинал понемногу распоряжаться: на трудящихся отлично действовал его возбуждающий, несколько повелительный голос.

— А что, братцы? — сказал один из них, заметив, что востроглазый парень, сделавший давеча насмешливое замечание Светлову относительно его «ручек», прежде дру-

гих поставил в сторону свою лопату и стал отирать рукавом градом катившийся с лица пот,— ведь напрасно Демка-то об заклад с барином не бился: проиграл бы теперь косушку-то, а мы бы выпили за их здравие!

— Эх, ты, Демка, сельдевая твоя хвастня! — подхватил другой.

Остальные арестанты поддержали его и общим хором подняли на смех заносчивого товарища, уставшего прежде «барина».

Но самому Светлову было не до шуток: его крепко занимало только что полученное письмо. Тем не менее оно пролежало в кармане Александра Васильича нераспечатанным до самых поздних сумерек, он сделал это с сознательным расчетом: в тоске однообразной острожной жизни молодому человеку хотелось по крайней мере подольше насладиться томительным ожиданием, отрадной мыслью, что впереди у него — заочная беседа с другом, в искренности которого нельзя было сомневаться. Вечером, когда уже совершенно стемнело и говор в соседних арестантских камерах понемногу затих, Александр Васильич выпросил у сторожа — за тройную, разумеется, цену — какую-то тоненькую грязную и вонючую сальную свечку и при ее тусклом мерцании весь погрузился в чтение письма Жилинской, медленно переходя от строки к строке и останавливаясь почти на каждой. Вот что писала Светлову Христина Казимировна:

«Может быть, не позже, как через час, мы с папкой уезжаем, но куда — не знаем пока еще и сами; вероятно, далеко куда-нибудь... Но это, впрочем, не важно; гораздо важнее то, что я хочу сказать тебе теперь... на прощанье. Да, на прощанье, Саша! Не верится как-то моему сердцу, чтобы мы с тобой увиделись вновь... тем более при лучших для меня обстоятельствах, чем нынешние. Не подумай, ради бога, что я хочу упрекнуть тебя этим в чем-нибудь; упреки не в моей натуре, да ты их и не заслуживаешь. Мне просто хочется, чтоб ты, прочтя эти строки, знал все, что лежит у меня в настоящую минуту на душе, чтоб ты был в ней, как дома. Я лучше желала бы лично увидеться с тобой и ездила сегодня утром к генералу с просьбой — допустить меня в острог; но старик меня не принял, хотя обо мне ему докладывали дважды. Тогда я кинулась к прокурору,— того я, разумеется, видела, но получила опять-таки отказ, точно они и в самом деле счи-

тают тебя преступником. Прокурор мне сказал, между прочим: «Mademoiselle Жилинская! вы должны быть очень благодарны его превосходительству, что вас и вашего отца переселяют на время в другое место,— это милость, судя по ходу следствия».— «Жаль только, господин прокурор,— ответила я ему с досадой,— что прежде, чем оказывать нам эту милость, его превосходительство не справился: нуждаемся ли мы еще в ней? Пожалуйста, передайте ему это от нас обоих, когда увидетесь».

Итак, мой милый, дорогой преступник, проститься лично нам было не суждено... Если допустить, что на свете действительно водится так называемая «судьба», то, право, я нахожу, что это, должно быть, какая-нибудь старая дева или совсем выжившая из ума, или никогда не имевшая логики. Посуди сам: едва только мы с тобой полюбили друг друга, как пришлось уехать *тебе* от меня чуть ли не за тридевять земель; теперь, когда ты вернулся, принуждена опять ехать *я*, да так далеко, что и сама не знаю куда. Но все равно, где бы я ни была и что бы ни случилось с тобой — *для твоего дела я навсегда твоя*. Вот что прежде всего хотелось мне сказать тебе, Саша. Я нарочно подчеркнула эти слова, чтоб ты глубже вник в их совершенно ясный смысл. Чем больше думала в последнее время моя голова о наших личных отношениях, тем неотразимее убеждалась я (только с какой болью, если б ты знал, Саша!), что мне следует отойти в сторону и дать свободную дорогу твоему возмужалому чувству... Предполагая, что я лично знакома с той, к кому более клонится оно теперь, мне бы хотелось сказать ей только, что научила любить тебя *я* (может быть, ценой всей моей жизни) и что за мной же остается право потребовать у нее, у этой особы, отчета в том случае, если любовь иссякнет в тебе, не поддержанная в той силе, какой требует твоя превосходная глубокая натура. И здесь, помни, дело идет о любви в самом широком смысле, в самом лучшем ее проявлении... Да! я сумею тогда отомстить за тебя, как отомстил бы гениальный автор за искажение своего лучшего труда... А ты знаешь, Саша, что фраза не свойственна мне; слово у меня — дело. Если я выразилась слишком резко для тебя, если ты найдешь, что мысль моя самолюбива до глупости,— прости мне эту самолюбивую мысль: ведь только она одна, может быть, и остается мне в подкрепление на долгие, долгие годы... Я говорю: мо-

жет быть — потому, что взамен тебя, кажется, со мной останется нечто более дорогое — наше будущее дитя. Поверь, что я не отрекусь никогда ни от одной минуты, проведенной с тобою, и ни в одной не раскаюсь. Если бывают «грешницы», то те из них, которые дорожат собой и уважают себя, должны быть, по-моему, нераскаянными. Пусть же и я буду такою. За одно хотелось бы мне поручиться: если у тебя родится сын — он будет стоить отца; если же дочь — она ни в чем не уступит матери. Только теперь, когда через какой-нибудь час времени «старой деве» угодно будет кинуть нас опять в разные стороны, я могу позволить себе чистосердечно признаться перед тобой, Саша, в этой сладкой надежде: связанные руки, время и расстояние помешают тебе сделать, в пылу увлечения твоей честной и гордой натуры, хотя, быть может, и благородный, но ложный и опрометчивый шаг... Даже в эту самую минуту еще, как я пишу тебе, я, может быть, поддалась бы невольно и сама этому увлечению, разделила бы этот неверный шаг... Но даю тебе слово, что с той минуты, как ты прочтешь это письмо, уже никакие силы — ни земные, ни небесные — не вернут меня к подобному шагу! Ты слишком хорошо знаешь мой характер, чтоб не понять сразу, что я хочу этим сказать, и надеюсь, уважение твое ко мне настолько сильно, что ты не сделаешь ни одной бесполезной попытки переменить мои мысли: теперь уже это поздно... Прощай, мой дорогой, мой милый Саша! Не забывай меня, а главное — помни, что свободный человек всегда должен быть свободен, не завися в своем внутреннем мире ни от людей, ни от обстоятельств. Теперь еще раз повторяю тебе: пока я жива, наше дитя (если мне суждено его увидеть) останется со мной; все силы мои будут отданы на то, чтобы они шли ему во благо,— и пока эта забота будет лежать на мне, я не примусь ни за что другое. Прощай еще раз! Я совершенно довольна тобой: с тобой я отпраздновала светлый праздник жизненной весны и тебе же, а не кому другому, буду я признательна и за знакомство с великими обязанностями матери — что бы там ни думали люди!..

Любящая и уважающая тебя

Кристи».

По мере того как душа Светлова все глубже и глубже проникалась этими грустными, но чарующими строками;

по мере того как все явственнее и явственнее становился для Александра Васильича несомненный, решительный смысл их,—губы чтеца дрожали все больше и больше, и, наконец, не выдержав пытки потрясающего впечатления, он выронил из рук письмо и зарыдал, как ребенок...

Прошло по крайней мере с полчаса, пока утихли эти хватающие за сердце рыдания. Тогда молодой человек вспомнил вдруг, что он не вполне еще кончил чтение письма, что там была еще какая-то приписка; Светлов нагнулся и поднял его с полу. Действительно, следом за мелкими, хотя немного неровными и как будто дрожащей рукой набросанными, но разборчивыми строчками Христины Казимировны шел крупный и твердый характерный почерк самого Жилинского.

«Девочка моя написала все, что следовало ей сказать тебе,— значилось по-польски в этой приписке,— я могу только прибавить, что не расхожусь с ее взглядом: она настоящая дочь своего отца. Думаю, что и ты, мальчик,— достойный ученик тех достойных людей, из которых половину я смело и с гордостью могу назвать своими друзьями, а другую, так же смело — товарищами; по крайней мере надеюсь, что дальнейший образ твоих действий не отнимет у тебя моего уважения и приязни. Вообще желаю тебе того же, что пожелал бы сыну. Перед тобой лежит впереди чудесная даль: широкое, но мало возделанное поле родины ждет твоей деятельности... Помни, что каждый час, каждая минута должна быть дорога тому, кто не шутя хочет обрабатывать это поле, вырывать с корнем его густо заросшие плевелы. Знаешь ли что? если я жалею иногда о чем-нибудь, то больше всего о потерянном времени. Не забудь же это, мальчик! Теперь прими мой горячий поцелуй и верь, что всегда тебе доброжелательствует

Казимир Жилинский».

То ли неожиданно-долгое заключение в остроге расстроило Александра Васильича, или только сегодня так сильно ослабли у него нервы, но, как бы то ни было, прочтя эти строки, он зарыдал вновь...

«Точно я стою на краю чьей-то свежей, дорогой могилы! — думалось ему немного погодя,— так же пусто, холодно и бесприютно у меня на душе, как бывает в той комнате, откуда только что вынесли покойника... Да чем

же, собственно, и лучше-то настоящая минута? Разве мы встретимся когда-нибудь опять? разве не все кончено?.. Но ведь под твоим золотым сердцем, Кристи, и в самом деле, быть может, бьется уже новая жизнь, возникает новый, пока еще неслышный, горячий протест против людской неправды!.. не обратится ли он со временем и против меня?.. А между тем ты права... милая, благородная девушка! Да! ты права: теперь уже поздно...»

И опять — может быть, в последний раз — так явственно, так осязательно нарисовалась в воображении Светлова стройная фигура красавицы Христины Казимировны, снова, как воочию, возник перед ним ее гордый, обольстительный образ; но теперь этот образ носился в какой-то недосягаемой дали от него... Да! — повторим и мы с Александром Васильичем: теперь уже было поздно.

Он до утра не мог сомкнуть глаз. В эту долгую бессонную ночь небывалая прежде у Светлова, по замечанию Ирины Васильевны, чуть заметная складочка между бровей — резко обозначилась там и осталась у него на всю жизнь...

IV

«ГЕНИАЛЬНЫЙ ПЛАН» ДЕМЕНТИЯ АЛЕКСЕИЧА

Приезд мужа поставил Лизавету Михайловну в самое тяжелое положение. Все время их пятилетней разлуки молодая женщина жила совершенно самостоятельно, не отдавая никому отчета в своих поступках; лишь изредка, и то не больше чем раз в два месяца, ей приходилось коротко уведомлять Дементия Алексеича о здоровье и успехах детей — и только. Никакой другой переписки между супругами не существовало; по крайней мере сама Прозорова, в необходимых ответах мужу, ограничивалась лишь этими насущными предметами. И вдруг теперь, через столько лет, в силу какого-то призрачного права, она опять принуждена взять на себя роль малого ребенка, которого, во что бы то ни стало, желают водить на помочах, должна выслушивать упреки и наставления от непрошеного опекуна, неспособного встать даже на одной высоте с опекаемой! Но и это бы все еще ничего, а

главное — стоило ли, при таких условиях, посвящать лучшие годы своей жизни на воспитание детей? Разве не могут завтра же отнять их у матери, чтоб перевернуть вверх дном все то, что далось ей с болью и кровью?

К счастью Лизаветы Михайловны, она не принадлежала к числу праздных мечтательниц, способных приняться за излюбленное дело только после того уже, как его благополучно осуществит кто-нибудь другой; Прозорова, напротив, решилась самолично завоевать себе свободу, решилась бороться за нее, как говорится, на жизнь и на смерть. Однако ж, хотя и скрепя сердце, молодая женщина сделала сперва несколько попыток к мирному соглашению, но это ни к чему не привело. Каждый раз, как начинался подобный разговор, Дементий Алексеич показывал вид, что слушает жену внимательно и даже будто не прочь уступить ей; потом понемногу Прозоров впадал в свой обычный раздражительный тон, говорил колкости и в конце концов, неистово замахав руками, заключал обыкновенно скороговоркой: «Глупости, глупости, глупости, матушка, выдумала... и слушать не хочу!» Словом, каждый раз повторялось то же самое, что было и вначале. Видя полнейшую безуспешность мирных попыток, Лизавета Михайловна уже не колебалась долее и открыто бросила мужу вызов: она категорически объявила ему, что не выйдет до тех пор из своей комнаты, пока не получит паспорта. Это случилось в тот же день вечером, как между ними произошла известная бурная сцена, едва не кончившаяся для Прозоровой весьма печально. Напрасно Дементий Алексеич, через замкнутую дверь спальни, доказывал до глубокой ночи жене, что может заставить ее поступать, как ему заблагорассудится, что на его стороне и общественное мнение и всякая всячина; напрасно рассыпался он в уверениях, что им уже приглашены к себе многие знакомые семейства, даже с назначением дня, что ведь таким образом может выйти неслыханный скандал,— молодая женщина твердо стояла на своем.

— Я никого сама не приглашала, а за чужие распоряжения не отвечаю,— холодно и решительно сказала она.— Повторяю вам: я не выйду из своей комнаты, хотя бы вы послали за полицией!

— Да стыд-то... стыд-то у вас где же, наконец? Ведь это совсем... совсем бесстыдство... ну скажите на ми-

лость! — говорил Прозоров, метаясь взад и вперед около запертой двери.

— Как хотите, так и думайте,— послышался ему из спальни невозмутимый ответ.

«Шалишь, матушка! — ехидно подумал Дементий Алексеич,— выйдешь... выйдешь небось, как соберутся гости...»

Он, однако ж, совершенно ошибся. Лизавета Михайловна не спасовала даже и в виду скандала. Когда, дня через два после этого разговора, зала Прозоровых наполнилась вечером гостями, хозяйка не вышла к ним.

— Мамочка извиняется,— объявила за нее Сашенька,— она больна и не выходит из своей комнаты.

Дамы, впрочем, не удовлетворились такой отговоркой; они нашли, что могут, как женщины, повидаться с больной и запросто в ее спальне.

— Она... она, верно, стесняется...— заметил сконфуженный Прозоров.— Не одета... не одета, видно, матушка? — обратился он к дочери.

— Нет, мамочка одета,— несколько лукаво ответила та.

Огорченный супруг принужден был после этого по крайней мере раза три самолично слазить, через столовую, к злополучной двери жениной спальни,— да, именно слазить: другим выражением трудно было бы обозначить те воровские ухватки, с какими совершал Дементий Алексеич свои смешные подходы к жене, каждый раз уверяя гостей, что «она еще выйдет». И все-таки Лизавета Михайловна не показывалась.

— Да нет, к чему же ее беспокоить напрасно, когда мы можем сходить к ней и сами,— в один голос объявили, наконец, дамы и, действительно, отправились было разыскивать хозяйку.

Но едва они дошли до столовой, как здесь, в самых дверях, их опять-таки встретила Сашенька.

— Мамочка очень, очень извиняется,— серьезно повторила девочка гостям,— она так больна, что никого не может принять даже у себя в комнате.

После такого категорического заявления оставалось только пожать плечами да удалиться вспять. Дамы так именно и поступили; они вернулись в залу ни с чем, смущенные и несколько озадаченные. Прозоров, разумеется, был взбешен до последней степени, но всеми силами ста-

рался показать, что верит и сам в серьезность болезни жены.

— Не понимаю... решительно не понимаю, что с ней вдруг сделалось такое!.. Ведь вот она еще недавно... недавно, перед вами только, довольно сносно себя чувствовала... Да! надо, видно, за доктором... за доктором послать?..— говорил Дементий Алексеич, как бы обращаясь за советом к присутствующим.

Он, впрочем, довольно неискусно разыгрывал свою мнимую озабоченность.

— Разумеется, пошлите скорее за доктором,— обязательно согласились гости, подсмеиваясь исподтишка над злополучным супругом, и тотчас же стали расходиться, не просидев у него и часу: они, кажется, догадались, в чем дело.

На бесчисленные упреки и оскорбления, градом посыпавшиеся на Лизавету Михайловну по уходе гостей, она с бесстрастной иронией ответила только:

— Ведь эти гости не бывают у меня без вас, да и я к ним давно перестала ездить; они больше ваши, чем мои, знакомые, так что мне неловко было бы рассказывать им о всех мерзостях, какие вы творите...

Как ни внушительно было столь очевидное доказательство твердой решимости молодой женщины — стоять на своем, Дементий Алексеич, однако ж, не соблаговолил почему-то удовольствоваться им и решился еще раз попытать счастья. С этой целью, дня через три, Прозоров завернул утром к председателю губернского правления — своему близкому другу, недавно переведенному в Ушаковск из соседней губернии, где они до того времени подвизались вместе на службе. Сообщив приятелю о капризах жены, недовольный супруг выразил ему скороговоркой следующую оригинальную мысль:

— Сделай ты милость, заезжай ты ко мне сегодня через полчаса, будто нарочно... нарочно, знаешь, с визитом к ней; а если она и тебя... и тебя не примет, не захочет видеть, так ты ведь, я знаю, мастер... мастер пристыдить хоть кого...

Председатель действительно считал себя «мастером пристыдить», если и не «хоть кого», то по крайней мере большую часть губернских барышень и дам средней руки. К ним же, вероятно, причислил он и жену приятеля, судя о ней по супругу, потому что немедленно изъявил

согласие на его просьбу. Как они уговорились, так и сделали. Минут через десять Дементий Алексеич был уже дома, а спустя полчаса явился туда и его друг, громко объявив на всю залу:

— Я, собственно, к твоей жене, брат... с визитом; познакомь нас, пожалуйста.

— Лиза! — самым невинным образом крикнул Прозоров жене через зальную дверь,— с тобой желает... желает познакомиться Николай Карлыч Фогель — председатель... председатель здешнего губернского правления, мой хороший приятель...

Дементий Алексеич сделал при этом значительное ударение как на официальном звании гостя, так и на слове «приятель». Ни то, ни другое, однако ж, не подействовало, по-видимому, на хозяйку: она не отозвалась сама, а выслала в залу горничную.

— Барыня просила извинить их: они никого не принимают,— объявила та гостю.

— Ааа!.. Да! ну так уж извини... извини, Николай Карлыч: в другой раз как-нибудь,— громко заметил ему Прозоров и ехидно подмигнул.

Он приказал горничной отправиться немедленно на кухню, чтоб распорядиться завтраком, сам же между тем под видом осмотра комнаты Гриши, которого, как и Калерии, не было дома, тихохонько провел гостя в столовую, а оттуда прямо влетел с ним в спальню к жене, сильно толкнув рукой в плотно притворенную дверь этой комнаты. Лизавета Михайловна, не предвидевшая ничего подобного, была до такой степени озадачена новой дерзостью мужа, что в первую минуту решительно не нашлась, что сказать, и только инстинктивно попятилась от них в угол. В свою очередь, и ее непрошеный гость казался несколько озадаченным, встретив, по-видимому, совсем не то, к чему приготовился.

— Извините, сударыня,— поспешил объяснить он хозяйке, довольно развязно, впрочем, раскланиваясь с ней,— я никак не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с супругой моего приятеля и, с его позволения, решился проникнуть к вам... несколько изменнически...

Николай Карлыч хотел было приятно улыбнуться, но молодая женщина обдала председателя губернского правления таким величаво-презрительным взглядом с ног

до головы, что тот на минуту почувствовал себя совершенным мальчишкой перед ней.

— Извините и меня также,— гордо и с уничтожающей иронией в голосе обратилась она к нахальному гостю,— я не имею ничего общего с друзьями моего мужа; это, по большей части, люди, не понимающие ни приличия, ни уважения к женщине. Вы сделаете мне большое одолжение, если сию же минуту выйдете отсюда...

Таков был конечный результат самоуверенных опытов Дементия Алексеича. В другое время Прозорова, по всей вероятности, поступила бы в подобном случае гораздо мягче, но теперь она решилась наглядно показать мужу, до какой степени может сделаться несносной для него со временем жизнь под одной кровлей с ней. Урок этот не прошел даром; он действительно раскрыл глаза ослепленному супругу, выяснив ему всю бесполезность и даже невозможность поворота на прежнюю, семейную дорогу. Дементий Алексеич как-то притих после того, съежился и только все чаще и чаще мерил залу своими торопливыми, кошачьими шажками; но сдержанная, ехидная улыбка, постоянно мелькавшая у него при этом на губах, ясно выражала, что в голове Прозорова возникает новый способ действия. Были, впрочем, и другие приметы для подобного же заключения: в последнее время Дементий Алексеич, прежде сидевший постоянно дома, стал часто уходить куда-то с утра, а возвращался назад только поздно вечером, мало говорил с детьми, иногда писал что-то и вообще казался человеком, круто переменившим свой образ жизни. Лизавета Михайловна хотя и продолжала затворничать у себя в комнате, однако ж, и она не могла не заметить такой очевидной перемены в муже и терялась в догадках. Правда, однажды, в его отсутствие, выйдя в залу, Прозорова нашла там на столе какой-то, очевидно, испорченный лист бумаги с зачеркнутым на нем словом «Вид», но молодая женщина была так углублена в свои мысли, что не обратила на это никакого внимания; она даже, кажется, не поняла хорошенько и самого смысла-то зачеркнутого слова. Другое дело было бы, если б Лизавета Михайловна могла предвидеть тогда, какой знаменательный разговор ждет ее на следующий день вечером — то есть как раз в то самое время, когда Светлова хватали за душу чарующие строки письма Жилинской.

В этот день, с самого утра, улыбка Дементия Алек-

сеича была как-то особенно ехидна и даже, можно сказать, таинственна. Он безвыходно просидел дома до позднего вечера, а когда дети легли спать, объявил жене, что имеет сказать ей нечто весьма важное и просил ее выйти к нему в залу.

— Говорите: я слышу и так,— равнодушно ответила она.

— Господи ты боже мой! да что я вас съем... съем, что ли? — раздражительно воскликнул Прозоров.— Говорю вам толком, что мне... что мне надо окончательно переговорить с вами...

— Полноте, Дементий Алексеич! — недоверчиво возразила ему жена.— Уж не один раз начинались между нами и не приводили ни к чему эти «окончательные переговоры».

— Так что же?.. побожиться... побожиться, что ли, я должен, чтоб вы мне поверили? — желчно осведомился супруг.

— Нет, зачем же: и божились вы напрасно также не раз...— спокойно заметила молодая женщина.

— Ну, так уж на себя... на себя пеняйте после этого! — разгорячился Дементий Алексеич,— не могу же... не могу же я вам в щелку просунуть паспорта!

Лизавета Михайловна только улыбнулась и недоверчиво покачала головой.

— Послушайте, Дементий Алексеич! — сказала она, однако ж, немного подумав,— я к вам выйду; но если это опять будет ложь — уверяю вас, вы не увидите меня больше в своей квартире!

И Прозорова в самом деле вышла к нему, не ожидая, впрочем, ничего доброго. Дементий Алексеич встретил жену на пороге залы.

— На-те! читайте! ра-а-дуйтесь!!.— язвительно проговорил он и с сердцем бросил ей чуть не в лицо какую-то бумагу.

Хотя его «радуйтесь» и близко подходило по своему тону к «радуйся, царю иудейский», но тем не менее, когда Лизавета Михайловна нагнулась, чтоб поднять с полу брошенную бумагу, и тут же на полу, даже не разгибаясь впилась в нее жадным взглядом, из глаз молодой женщины так и покатились градом крупные слезы, тихо стуча по гербовому листу, который она держала в руках. Этот, по-видимому, ничтожный гербовый лист был дейст-

вительно ее давно желанный паспорт, выданный также и на имя детей, да еще, вдобавок, и без означения срока.

— Благодарю вас!..— могла только слабо выговорить Прозорова и едва-едва поднялась с полу.

— Не за что-с, не за что-с,— насмешливо заметил ей супруг,— очень рад, что бог избавит!..

Лизавета Михайловна хотела выйти.

— Позвольте, позвольте!.. куда же... куда же вы?.. Паспорт в карманчик, да... да и тягу?! — остановил ее муж.

— Я только выпью воды,— тихо ответила она и вышла.

Дементий Алексеич принялся бегать из угла в угол по зале, самодовольно потирая руки. Почтенный супруг полагал, конечно, что имеет весьма основательные причины для ощущения подобного самодовольствия; но, в таком случае, в чем же заключались эти причины? Что значил, наконец, такой крутой поворот в политике этого ехидного мужа?

Прозоров, по своему личному характеру, принадлежал к числу тех мелких, так сказать, домашних деспотов, которые, чем больше им уступают, тем способнее становятся сесть на шею ближнего и гнуть ее елико возможно, а при надлежащем отпоре — летят кувырком сами. Встретив подобный же отпор в жене, Дементий Алексеич, разумеется, не придавал ему сначала большой важности; однако ж последующие опыты заставили отвергнутого супруга ясно уразуметь, что к Лизавете Михайловне они, во-первых, неприменимы; кроме того, эти же самые опыты показали ему, на что способна отважиться в будущем молодая женщина в погоне за своим освобождением. Прозоров не питал и прежде особенной нежности к жене; если на нее пал раньше его выбор, то уж конечно не за нравственные качества Лизаветы Михайловны — тогда почти еще ребенка. Теперь же, при явном разладе между супругами, чувство любви и подавно не могло иметь места в соображениях Дементия Алексеича или быть причиной его непонятного упорства; даже обыкновенная привычка сожительства, заменяющая иногда это чувство,— и та была тут ни при чем: супруги уж давно жили врозь. Совсем иные побуждения руководили упрямой мыслью Прозорова — не отпускать от себя жену: для него, просто, вопрос шел здесь о собственности, или, лучше ска-

зать о вечном и нераздельном праве на эту собственность; другого, более нравственного взгляда на подругу жизни не существовало в умственном запасе Дементия Алексеича. Но когда он увидел Светлова — темное подозрение, что уж не этот ли самый человек посягает на его рабовладельческие права, заставило Прозорова спросить себя, наконец: да не лучше ли будет спрятать подальше свое сокровище от глаз подобного хищника? В данном случае Дементий Алексеич соображал точно так же, как соображает иной скряга, предполагая зарыть где-нибудь в лесу клад: там, дескать, воры не заберутся; и точно так же, как бывает со скрягой, Прозоров упускал при этом из виду только одно: что в лесу-то и воровать клада не нужно, а просто — приди да и возьми, кто хочет. Внезапное заключение Светлова в острог и городские толки, что «вряд ли молодой человек выберется сухим оттуда», выработали в несообразительной голове почтенного супруга весьма оригинальный план — немедленно же спровадить жену в Петербург, чтоб отнять у нее этим способом хотя близкую-то возможность нарушения супружеской верности.

«Пусть, пусть съездит!.. пусть проветрится; а там я и сам... и сам махну в Питер!» — злорадно думалось Прозорову, пока он рыскал по зале в ожидании жены. Оттого-то так самодовольно и потирал себе руки Дементий Алексеич.

— Вам теперь не мешает... не мешает привыкать к водичке-то,— насмешливо обратился он к Лизавете Михайловне, когда та вернулась,— придется, пожалуй, и без хлеба иногда посидеть... Ну да, ведь, впрочем, в столице можно быть сытой и одними образованными людьми?..

— Что бы ни ожидало меня впереди, я, будьте спокойны, не обращусь к вам за помощью,— тихо, но с достоинством заметила ему молодая женщина.— Кстати: детскую часть из тех денег, о которых у нас шел разговор в день вашего приезда, я завтра же утром отошлю в банк, представив вам квитанцию на них почтовой конторы, а остальную половину, мою — вот возьмите; она вся тут до единого рубля...

Говоря это, Прозорова действительно вынула из кармана толстую пачку денег и протянула ее мужу.

— Поспеется, поспеется еще...— торопливо проговорил Дементий Алексеич, весь покраснев и сконфуженно отстраняясь от жены.

— Я не могу оставить у себя этих денег,— возразила она строго.

— Ну так положите... положите их хоть на стол, вон... Так вот непременно в руки... в руки и надо взять!..— вспылил почему-то почтенный супруг.

Дементию Алексеичу, по всей вероятности, стыдно стало брать назад свой подарок, или, быть может, Прозоров думал, что ему гораздо менее совестно будет взять потом эти деньги со стола, чем прямо принять их теперь из рук жены; во всяком случае, он испытывал в эту минуту нечто подобное тому, что чувствовал и прежде, когда, бывало, не будучи еще мировым посредником, а состоя в другой, менее чуждой соблазнов, должности, принимал темные лепты за темные дела.

— Прекрасно... все прекрасно! но... но на что же... на что же вы поедете-то? на какие капиталы? — помолчав, осведомился Прозоров у жены.— Ведь не на себе же... не на себе же вы возок повезете?!.

— Дети мне дают взаймы, из своих денег, тысячу рублей на дорогу и первое обзаведение в Петербурге,— спокойно ответила молодая женщина.

— Скажите, скажите на милость, какая огромная сумма!!.— саркастически расхохотался Дементий Алексеич.— Не призанять ли вам еще у нашего кучера рублей десять? Пригодятся... ей-богу!

Но Лизавета Михайловна, по-видимому, уже не оскорблялась теперь его циничными выходками или по крайней мере как будто не замечала их.

— Возьмите уж, кстати, и это вот... — скромно сказала она только, порывшись у себя в кармане, и подала мужу еще какой-то, на этот раз крошечный, сверток.— Я вам не брошу им в лицо, как вы давеча выбросили мне мой паспорт, хотя у меня и нашлось бы гораздо больше права на такой поступок...— дрожащим голосом прибавила молодая женщина и тихо заплакала.

— Что... что еще такое? — тревожно спросил Прозоров, раскрывая таинственный сверток, в котором оказалось его обручальное кольцо.— Ну его к черту!!.

Дементий Алексеич с такой силой швырнул от себя это несчастное кольцо, что оно, зазвенев, подпрыгнуло несколько раз на полу и укатилось в самый дальний угол комнаты.

— Вот и прекрасно... и прекрасно! туда... туда ему и

дорога! — говорил он, тяжело переводя дух.— Вы меня опозорили... да! опозорили... перед всем городом!.. Вы... как девка... как девка какая-нибудь обошлись с моим приятелем!..

— Дементий Алексеевич! — с сверкающими глазами остановила его жена, у которой выступило вдруг по багровому пятну на обеих щеках,— вы, конечно, уж не можете пасть в моем мнении ниже того, как я смотрю на вас теперь; но... мне бы хотелось знать, чувствуете ли вы достаточно силы в себе, чтоб перенести со временем презрение... не мое, разумеется, до которого вам нет дела, а... ваших детей?

Прозоров молчал: этот простой вопрос поразил его на минуту.

— Мне крайне больно было бы дожить до той, *действительно позорной,* минуты, когда я узнала бы, что мои дети презирают отца! — с жаром продолжала Лизавета Михайловна, и при этих словах она так сильно выпрямилась, как будто целой головой переросла мужа,— но я боюсь, что подобная минута наступит... Вы думаете, дети спят теперь? А я уверена, что кто-нибудь из них бодрствует и, быть может, уже краснеет за вас... за отца!

— Ну... да, да... да! Я знаю... знаю, что вы нарочно подцепили им такого учителя, чтоб вам самим... самим выучиться красно говорить... Поздравляю, поздравляю: большие успехи оказали!.. Какую же кафедру изволите занять в санкт-петербургском университете? — как-то насильственно сострил Дементий Алексеич.

По крайней мере его глаза и вся фигура ясно выражали, что он находится в положении человека, который, разбив нечто чужое и драгоценное, сам же безжалостно и крошит на мелкие куски испорченную вещь, в бессильном отчаянии сознания, что дело уже непоправимо.

— Неужели, Дементий Алексеич, вы в самом деле не можете понять до сих пор, что подобные выходки никого, кроме вас, не унижают? Если так, то позвольте мне пожелать вам только — прийти поскорее в себя, обдумать хорошенько, что вы говорите и делаете...

Лизавета Михайловна окинула мужа каким-то странным, почти жалостливым взглядом и тихо пошла из залы.

— Постойте, постойте! — догнал Прозоров жену уже в коридоре,— вы не горячитесь... не горячитесь шибко-то: нечего... нечего горячку-то пороть... Вот что я вам скажу:

ехать, так ехать,— что тут долго-то... долго-то миндальничать! Я уж вам и возок... и возок купил; завтра привезут. Сделайте милость, избавьте... избавьте меня поскорее от вас! Тут что же уж... уж что тут мешкать? Ведь уж ясно... ясно, кажется, что нам невозможно жить вместе?!

— Да, невозможно,— спокойно подтвердила она, идя дальше.

— Ну... и конец... и слава богу! и очень рад! Бал... бал, матушка, задам, как уедешь!.. Скажите на милость, какое... какое сокровище!.. Ах вы-ы!!.

У Дементия Алексеича не хватило почему-то духу выпустить вон крепкое бранное слово, которое вертелось у него в эту минуту на языке. В свою очередь, Лизавета Михайловна, как бы предчувствуя новое оскорбление, молча поспешила укрыться от него в свою спальню, под защиту спящей Сашеньки.

— Дней... дней через пять... да! не позже — извольте выехать! — крикнул Прозоров жене через дверь и волчком вылетел из столовой в залу.

Долго еще после того крутился здесь Дементий Алексеич, пока не уходилась достаточно его дрянная узкоэгоистичная натуришка; а когда он лег, наконец, и завернулся с головой в байковое одеяло, почтенному супругу чуть не до утра самолюбиво думалось все:

«Гениальный... гениальный план!.. Ей-богу!!»

Лизавета Михайловна тоже уснула довольно поздно, но совершенно другие, более скромные и серьезные мысли волновали молодую женщину. Она то и дело принималась перечитывать свой паспорт — и каждый раз на него падали опять ее крупные, горячие слезы. Чего-чего бы только не вытерпела она за них, за эти радостные слезы! Тем не менее сквозь их радужную призму невольно рисовался Прозоровой спокойный, как бы благословляющий ее в путь, образ Светлова, рисовалась ей близкая разлука с ним,— и сердце ее ныло, ныло так больно, что и выразить невозможно... Горячая слеза матери упала на щеку спящей Сашеньки и разбудила ее.

— Мама!.. А, мамочка! что ты, мама?..— тревожно спрашивала спросонок девочка.

Лизавета Михайловна так и прильнула к ней.

— На волю, Шура, откупилась!..— и плакала она и целовала дочь.

На другой день, часов около десяти утра, Александр Васильич был очень удивлен ранним визитом к нему какой-то гостьи, заставшей молодого человека почти еще спящим.

Он принужден был, через сторожа, который в темноте острожного коридора не узнал посетительницы, просить ее — обождать там минут пять, пока оденется.

— Лизавета Михайловна!.. Какими судьбами так рано? — удивился Светлов, горячо приветствуя вошедшую к нему неожиданно Прозорову.

Молодая женщина сразу заметила, что он как будто не то похудел, не то бледен больше обыкновенного, но вообще — сильно расстроен чем-то.

— Поздравьте меня, Александр Васильич,— с глубокой серьезностью сказала она, торопливо подходя к нему, и голос у нее дрогнул,— я... свободна!

Светлов встрепенулся весь и одну минуту как бы оставался в недоумении.

— С такой вестью... я могу вас только вот так... поздравить — по-братски! — молвил он, наконец, и, пока говорил это, обнял ее и поцеловал.— Садитесь, рассказывайте... Будемте пировать; но прежде отдохните немного: вы едва переводите дух.

Александр Васильич засуетился, кликнул сторожа, сходил вместе с ним к смотрителю острога и каким-то чудом выпросил у него совсем готовый уже самовар, предназначавшийся, вероятно, для смотрительской семьи. Лизавета Михайловна была очень благодарна Светлову за его непродолжительное отсутствие: оно дало ей возможность хотя немного оправиться от того необычайного волнения, какое вызвал в ней неожиданный, хотя и братский поцелуй молодого человека. Когда, через несколько минут, они оба поместились рядом на кровати и Александр Васильич принялся хозяйничать за чаем, Прозорова в немногих словах передала Светлову сущность своего вчерашнего разговора с мужем.

— Как вы мне посоветуете: ехать ли мне? — окончив рассказ, спросила она у Александра Васильича и посмотрела на него с каким-то тревожным ожиданием.

— Да, непременно ехать, и как можно скорее, Лизавета Михайловна; тут не должно быть ни малейшего колебания с вашей стороны,— без запинки отозвался Светлов,— свобода увертлива.

Молодая женщина опять взглянула на него — не то недоверчиво, не то боязливо.

— А как же... вы? — тихо спросила она, сама не понимая хорошенько, какой смысл придает этому вопросу.

— Обо мне-то уж вы не беспокойтесь: отгрызусь как-нибудь,— с полуулыбкой заметил ей Александр Васильич.

Лизавета Михайловна не нашлась, что сказать больше, и робко прихлебнула из чашки чай; только в глазах у Прозоровой как будто затуманилось.

— Не знаю, достаточно ли вы поняли мое выражение: «свобода увертлива»? — продолжал Александр Васильич, видя, что его собеседница как бы затрудняется чем-то.— Дело в том, что у людей закала вашего мужа,— насколько я могу судить о нем, разумеется,— и хорошие, и дурные мысли являются всегда почти внезапно, так что поручиться за их прочность нельзя. Смотрите! он может передумать: куйте железо, пока оно горячо.

— Да, я потороплюсь; я именно так и поняла вас,— еще тише ответила она и некоторое время молча смотрела в сторону.— Мне очень тяжело, однако ж, будет уехать, зная, что вы остаетесь в таком положении...

Светлов пристально и пытливо посмотрел на нее.

— Из расположения ко мне, вы немного преувеличенно смотрите, конечно, на неприятность моего настоящего положения,— возразил он спокойно,— но, поверьте, оно сделается гораздо сноснее для меня при мысли, что по крайней мере вам дышится свободно.

— А вы... останетесь в Сибири? — как-то застенчиво спросила она и притаила дыхание, ожидая, что скажет Светлов.

— Не думаю, Лизавета Михайловна; если и останусь, то, по всей вероятности, не надолго: мне начинает нездоровиться здесь... А что? — по-прежнему спокойно осведомился Александр Васильич.

— Когда-то мы опять увидимся с вами?!.— задумчиво, с подавленной тоской прошептала Прозорова.

У Светлова чуть-чуть шевельнулись брови.

— Э, Лизавета Михайловна! — отозвался он с едва приметным раздражением в голосе,— неужели вы думаете, что люди, которыми движут одни порывы, руководит одна цель, не сойдутся рано или поздно? По-моему, для таких людей — расстояний не существует...

— Да, я это понимаю,— коротко согласилась она.

Однако ж по лицу молодой женщины ясно было заметно, что она желала, чтоб он и еще что-то сказал ей. Но Светлов упорно молчал, медленно поглаживая рукой свою русую бороду.

— Как хорошо было бы, если б вас освободили к тому времени, как я соберусь в дорогу,— сказала вдруг Лизавета Михайловна, вставая,— мы могли бы ехать тогда вместе...

— Я бы желал этого не меньше вас, Лизавета Михайловна, но... ваша свобода прежде всего,— проговорил Александр Васильич, тоже вставая.— Мы ведь, разумеется, увидимся еще и даже, думаю, не один раз? — спросил он, все так же пытливо смотря ей в глаза.— Я всеми силами постараюсь облегчить ваши первые самостоятельные шаги в Петербурге: у меня там много надежных знакомых, и я вам надаю целую кучу рекомендательных писем; завтра же примусь за это. А чтоб вы были совершенно покойны и тверды, скажу вам теперь же: ручаюсь, что дети ваши будут воспитаны и развиты... хотя бы то на мой счет,— извините за эту чистосердечную вольность; друга и помощника вы тоже найдете во мне всегда... Больше этого — ничего не могу обещать вам, так как я прежде всего принадлежу обществу, а не себе...

Лизавета Михайловна стояла перед Светловым, опустя голову, не смея встретиться своими робкими глазами с его глубоким, как бы испытующим взглядом.

— Без слов поблагодарю я вас за все... за все, милый Александр Васильич!..— обратилась к нему молодая женщина; слезы навернулись у нее на ресницах, и она крепко сжала его руки в своих.— Вы были совершенно правы в прошедший раз: да! в этих стенах я действительно пережила лучшие минуты моей жизни...

— Нет, я был не совсем прав тогда: надо всегда думать, что лучшее ждет нас впереди,— говорил он, провожая ее до двери.

Лизавета Михайловна шла по коридору почти машинально, не различая предметов, не слыша окружающего: в ушах у нее звенело, глаза застилал ей какой-то непроницаемый туман; а сердце молодой женщины томительно билось и все просило еще чего-то — просило неотступно, жгуче до боли...

V

«НЕГЛУПАЯ ШТУКА» СОСНИНА

Морозное утро, градусов в тридцать семь, только что начинало заглядывать в маленькие окна квартиры Алексея Петровича Соснина, разрисовывая их всевозможными, самыми прихотливыми узорами; но оно уже не застало его в постели.

Старик поднялся сегодня чуть свет и, должно быть, встал, как говорится, с левой ноги.

— Вот не было печали, да черти накачали! — сердито ворчал он, еще одеваясь.— Ну как я к нему пойду? — бес его знает!..

Умывшись, Алексей Петрович принялся было за скрипку, раза два или три сыграл полонез Огинского, но потом вдруг, как бы рассердясь на инструмент, нетерпеливо бросил его на кровать и стал чистить мелом свою золотую медаль. Подававшая Соснину самовар и другие принадлежности к чаю та самая женщина, о которой Светлов, в первый свой визит к дяде, никак не мог составить понятия, барыня ли она, или кухарка, обратилась к Алексею Петровичу с вопросом:

— Чего сегодня к обеду-то варить станем?

— Да вари ты что хочешь! Чего пристала? Ах вы бабы, бабы... чтоб вас кошки лягали! — круто обрезал ее старик, едва только она разинула рот.

— Голодом, что ли, станете сидеть? — попыталась было возразить таинственная особа.

— Не приставай! а то ничего не откажу после смерти,— у меня ведь по-военному! — решительно пригрозил ей Соснин.

Накануне, незадолго до своего раннего обеда, он завернул к Светловым и встретил у них Прозорову, заехавшую сюда прямо из острога. Лично Алексей Петрович видел ее теперь только еще в первый раз, но уже давно слышал о ней здесь же много интересного. Лизавета Михайловна казалась встревоженной, глаза у нее были заплаканы. В присутствии Соснина, наблюдавшего за ней с большим любопытством, она передала старушке Светловой какое-то незначительное поручение Александра Васильича и рассказала потом о своем предстоящем близком отъезде в Петербург. Молодая женщина обста-

вила этот рассказ хотя и немногими, но такими трогательными подробностями, так тепло отозвалась о любимце Ирины Васильевны, что Алексей Петрович не мог не вывести отсюда, что «вот оно когда забродило, настоящее толокно-то на розовой воде». С другой стороны, оригинал-старик принужден был также отдать полную справедливость и тому неотразимому впечатлению, какое произвел на него глубоко симпатичный вид Прозоровой, простота и задушевность ее речи, не говоря уже о многих чисто внешних чертах Лизаветы Михайловны, исполненных самого тонкого женственного изящества.

«Экая бабенка-то знатная! — ну вот точь-в-точь моя бывшая градоначальница...— мысленно похвалил ее Соснин, все с большим и большим интересом следя за рассказом гостьи.— Нечего делать — надо, видно, племяшу выручить!» — решил Алексей Петрович, когда она перестала говорить и застенчиво смигнула с ресниц навернувшиеся слезы.

Это-то именно решение и испортило сегодня утро Соснину, подняв его чем свет. Чтоб «выручить племяшу», старику неизбежно приходилось поклониться представителю местной власти, которого он во время своих странствий знал еще в чине полковника, но недолюбливал, считая себя обойденным им. По крайней мере Алексей Петрович ни разу не обращался к генералу ни с одной просьбой с той самой поры, как начал вести оседлую жизнь; иначе — его «племяша», быть может, давно был бы уже на свободе. Соснин чувствовал большое расположение к молодому Светлову, следовало бы сказать даже — любовь, если б угрюмый старик сознавался когда-нибудь в подобных нежностях. До острога дядя с племянником виделись довольно часто, но туда Алексей Петрович не заглянул ни разу.

— Что попусту смотреть на птицу, коли ее нельзя из клетки выпустить! — заметил он однажды Ирине Васильевне, упрекнувшей его по этому поводу.

Сегодня старик стал еще больше ворчать и хмуриться, когда ему пришло время облечься в свой долгополый мещанский сюртук, с неизбежной медалью на шее. Находясь уже в полном облачении, Алексей Петрович снова взялся за скрипку и еще раз сыграл свой любимый полонез.

— Тьфу ты, это бабьё проклятое! — напутственно

выругался он, запнувшись в сенях за какую-то кадку,— вечно на дороге свою артиллерию наставят...

В приемной зале представителя местной власти было совершенно пусто, когда вошел туда Соснин, морщась и как-то неприязненно откашливаясь. Его превосходительство, впрочем, не заставил ждать себя долго.

— А! Соснин! Здравствуй! Давно мы с тобой не видались... Как поживаешь? — фамильярно обратился он к старику, выбежав к нему из кабинета почти тотчас же после доклада.

— Жую еще хлеб, ваше превосходительство,— сдержанно раскланялся с ним Алексей Петрович.

— Что хорошенького ты скажешь? — осведомился генерал.

— Хорошенькое-то, ваше превосходительство, уж от вас будет зависеть, а мне позвольте начать с худенького...— сказал Соснин, поправляя медаль,— иначе бы я и не осмелился беспокоить.

Представитель местной власти рассмеялся.

— Все такой же остряк, как и был,— проговорил он еще фамильярнее.— В чем же дело? Очень рад, что имею случай хоть немного поквитаться с тобой: я ведь у тебя кругом еще в долгу по нашим старым счетам.

— Я пришел просить ваше превосходительство... избавить меня от племянника...

— Как «избавить»? от какого племянника? — удивился генерал, бойко перебив старика.— Я в первый раз слышу, что у тебя есть племянник.

— Есть, ваше превосходительство; только похвастать-то нечем было... перед вами.

— Кто же это такой? Одной с тобой фамилии?

— Никак нет, ваше превосходительство; мы с ним разношерстные.

— Кто же такой? — нетерпеливо повторил генерал.

— Светлов ему фамилия,— пояснил Соснин.

Крайнее изумление выразилось на лице представителя месгной власти.

— Как! так это тот самый молодой человек, который сидит теперь в остроге по фабричному делу? — быстро спросил он, нахмурясь.

— Точно так, ваше превосходительство.

— Признаюсь, любезный Соснин, ты застаешь своего должника врасплох: я никак не ожидал от тебя ус-

лышать об этом господине и не знаю, буду ли в состоянии удовлетворить твою просьбу. Но в каком же смысле ты просишь, чтоб я избавил тебя от него? Мне кажется, это теперь уж и без меня сделано.

— Прикажите ему, ваше превосходительство, немедленно выехать отсюда; прикажите обязать его к тому хоть подпиской...— начал было Алексей Петрович.

— Но это невозможно, любезный Соснин! — нетерпеливо перебил его генерал,— человек находится под следствием, замешан в таком... неприятном деле,— я не могу ничего тут сделать... не имею права; уверен, наконец, что ты и сам согласишься с этим и не будешь больше просить меня о невозможном.

— Нет, стану просить: для вашего превосходительства все возможно,— смело возразил Алексей Петрович.

Представитель местной власти и нахмурился и улыбнулся в одно время.

— Ты ошибаешься, любезный Соснин: ведь я же не бог, помилуй! — заметил он старику, сделав мимо него три-четыре шага по зале.

— Да и я прошу ваше превосходительство не об небесных планетах,— все так же смело отозвался Алексей Петрович.

— Да, но теперь уже оказывается, что ты просишь не о том, чтобы *тебя* избавить от племянника, а напротив, чтоб *его* избавить от острога. Не спорю, очень может быть, что он и... прекрасный молодой человек; может быть-с, может быть-с...

Лукавое выражение пробежало по лицу Соснина.

— Ка-а-кой, ваше превосходительство, прекрасный! Просто — юбочный ветрогон,— отрекомендовал он племянника,— и в фабрику-то за юбкой же погнался... Вот и пускай узнает теперь, сколько полотнищ смотрительше острога на платье идет!.. Кабы точно прекрасным-то был, ваше превосходительство и без меня бы знали: орлиному глазу воронья слепота не указ...

Генерал самодовольно улыбнулся.

— Что же, в таком случае, побуждает тебя так настойчиво просить за него? — спросил он, как бы отступая немного от своего первоначального, решительного отказа.

— Мать и отец, ваше превосходительство: совсем изведись старики; да и мне не легче: куда в городе ни су-

нешься — все тебе вот в эти заслонки смотрят,— пальцем указал Соснин попеременно на оба глаза,— точно как манчжуры на Сунгари, когда бывало, фазана у них на обед вашему превосходительству сфуражишь...

Представитель местной власти опять улыбнулся, очень снисходительно на этот раз.

— Лакомое блюдо, не правда ли? — сказал он, расстегивая нижнюю пуговицу у сюртука,— особенно после того, как верст сорок в день сделаешь верхом; я уж давно не едал ничего с таким аппетитом. А ведь порядочно, Соснин, перепало их на нашу долю с тобой?

— Фазанов-то, ваше превосходительство? Было-таки этого добра.

Генерал, очевидно, хотел снова улыбнуться, но вдруг, вместо улыбки, лицо его приняло строгое, официальное выражение.

— Очень жаль, что ничего не могу сделать для тебя в настоящую минуту,— проговорил он тем безразличным тоном, каким обыкновенно начальственные лица кончают аудиенцию.— Разумеется, я сделаю все, чтоб облегчить дальнейшую участь твоего племянника, если он окажется виноватым. Рад все-таки, что мы повидались...

И его превосходительство, дружелюбно раскланявшись со стариком, хотел было удалиться.

— Ваше превосходительство! — порывисто остановил его Соснин,— первая и последняя моя просьба!..

В голосе Алексея Петровича послышалась не то усиленная мольба, не то злая ирония.

— Не могу, право, не могу, любезный Соснин! — повторил генерал, на минуту обернувшись к нему, и поспешно проскользнул к себе в кабинет.

После такого категорического ответа Алексею Петровичу, казалось бы, оставалось только уйти. Но Соснин спокойно остался на месте, пристально наблюдая за кабинетной дверью: в своих долгих странствиях он не раз имел случай изучать его превосходительство в обыденной более чем домашней обстановке и хорошо знал его характер и привычки. Действительно, минут через десять генерал опять показался в зале, как бы переходя через эту комнату в другую.

— А! ты еще здесь? — несколько притворно удивился он, направляясь мимо старика.

— Ваше превосходительство! — сказал Соснин, сле-

дуя за ним по пятам,— в походах я неоднократно наблюдал, что когда солнышко выйдет как будто хмурое, а потом прояснит вдруг — после того долго хорошая погода стоит. Вот и я жду, не пошлет ли мне, старику, ведра *наше* красное солнышко...

— Не могу... ничего не могу сделать, любезный Соснин! — остановясь среди залы, еще раз повторил генерал, но уже гораздо мягче прежнего, и улыбнулся, приятно польщенный тонким сравнением Алексея Петровича.

Соснин между тем степенно приосанился и вдруг ни с того ни с сего снял у себя с шеи медаль.

— Ваше превосходительство! — как-то торжественно сказал он, поднося ее на ладони генералу, прежде чем тот мог опомниться от удивления при виде такого неожиданного поступка,— вы знаете, сколько моей крови ухлопано на эту золотую штуку... Поменяемтесь, ваше превосходительство... на племянника!

Генерал весь покраснел от удивления и гнева.

— Это... непростительная дерзость, Соснин! — жестоко вспылил он.— Как ты смеешь обращаться ко мне с подобной выходкой?!. Другому, а не тебе... я ничего подобного не простил бы! — слышь? Стыдись, братец!!.

И его превосходительство тотчас же исчез из залы опять в свой кабинет.

Прошло по крайней мере еще минут десять после того, как удалился генерал, а Соснин все оставался спокойно на прежнем месте, все держал на ладони снятую медаль. Какой-то молоденький адъютант раза два прошел мимо старика в кабинет и обратно, каждый раз с большим любопытством поглядывая на такого небывало терпеливого или, лучше сказать, смело-неотвязчивого просителя.

— Генерал просит вас к себе в кабинет,— сказал ему, наконец, адъютант, выходя оттуда уже в третий раз.

Представитель местной власти нетерпеливо расхаживал большими шагами взад и вперед, когда Алексей Петрович снова предстал перед ним.

— Чего же ты ждешь еще, Соснин? — несколько раздражительно обратился он к старику.— Ведь ты требуешь от меня невозможного!

— Прощения прошу у вашего превосходительства, что докучаю,— извинился Алексей Петрович и открыто положил на письменный стол генерала свою медаль.—

Из ваших собственных рук я ее получил,— в те же руки и сдать должен; за этим только и дожидался. Счастливо оставаться, ваше превосходительство!

— Постой! — быстро остановил его генерал, зашагав еще сильнее.— Полно тебе дурачиться, старик!..— взволнованно проговорил он через минуту, подходя к столу, и, взяв оттуда медаль, собственноручно надел ее на Алексея Петровича.— Н-ну!.. я не злопамятен; хоть ты меня и оскорбил сегодня, но... так и быть, ради наших прежних счетов, погрешу против себя: племянник твой... завтра же будет дома. Доволен ты теперь мной? Помирились?

Соснин чуть не до земли отвесил ему поклон.

— Ваше превосходительство отпустили мне крупы на кашу,— сказал он с чисто сибирской находчивостью,— так уж, верно, не постоите за маслицем...

— Что еще такое? — быстро и недовольно осведомился генерал.— Ты сегодня невыносим, Соснин!

— Прикажите, ваше превосходительство, обязать племянника подпиской, чтоб он через неделю же выехал отсюда, а по сие время — никуда бы в городе носа не совал; да нельзя ли, ваше превосходительство, когда выпустят его, не разглашать о том до отъезда...

— Ты, я вижу, все прежний большой чудак, Соснин,— весело отозвался генерал, убедясь, что новая просьба Алексея Петровича не заслуживает названия даже и «маслица» в сравнении с «крупой».— Не знаю, для чего тебе все это нужно, но... и это будет исполнено. С богом, с богом, любезный Соснин! Рад, что угодил тебе... Прощай! — скороговоркой ответил он на еще более низкий поклон хитрого старика.

Выходя из генеральского кабинета, Соснин чувствовал себя вполне удовлетворенным за многие годы своего справедливого раздражения. У подъезда Алексей Петрович встретил каких-то двух извозчиков, вынул из кармана бумажный рубль и, подавая его одному из них, который был помоложе, разразился следующим, крепко озадачившим юного парня, воззванием:

— Хочешь ты, материн сын, этот целкач заработать? На! возьми его в зубы. Только смотри! вали же ты меня так, чтоб у черта, глядя на нас со стороны, бока затрещали!.. В острог пошел!

Но по мере того, как извозчик Соснина, желая оправ-

дать оказанное ему последним доверие, все сильнее погонял свою нескладную лошаденку, а лихой седок все ближе подвигался к цели поездки,— мысли Алексея Петровича постепенно остывали, утрачивая свою первоначальную энергию, и обычная суровость прокрадывалась понемногу на озабоченное лицо старика. К острогу он подъехал уже совершенно пасмурным и недовольным, то есть таким, каков был всегда.

«Пара малороссийских волов да нонешняя молодежь — все едино: как упрутся куда — в двадцать рук не оттащишь!» — всю дорогу думалось ему почему-то.

— Что, племяша? прочно небось казна даровые помещения строит? А еще все говорят, что в казну, как в дырявую мошну, что ни влетело, то и сгорело...

Таким оригинальным способом поздоровался Соснин с племянником.

— Надумались-таки, дядя, приехать? — сказал Александр Васильич, весело приветствуя гостя.

— Разумеется, сам надумался; не роденька же твоя меня подмыла,— отрывисто проговорил Алексей Петрович, садясь на кровать.

Светлов невольно рассмеялся.

— А я вас, дядя, как праздника ждал,— заметил он, помещаясь рядом с гостем.

— Гм! Так. Ну, что ж.. как ты тут? Чай, соскучился? — степенно осведомился старик.

— Ничего, дядя,— сносно. Как же не соскучиться!

— Кормят-то... хорошо?

— Н-не скажу этого.

— Что ж... щи дают?

— Обыкновенно — щи.

— Смотри, вон у тебя клоп ползет по подушке,— солидно предупредил Соснин.

Александр Васильич улыбнулся и сбросил клопа на пол.

— Так. Гм!..— протянул Алексей Петрович.— Барыня-то та... едет на днях,— слыхал? — осторожно спросил он.

— Какая барыня?

— Где ты арбузы-то все разводил.

— А! Да, едет, она мне говорила,— вчера была здесь.

— Видел я ее у наших: знатная баба! — похвалил Соснин.— А ты-то сам... как же? Не поедешь?

— Куда, дядя?

— Да вместе с ней...

Светлов зорко посмотрел на старика.

— И с острогом тоже? — спросил он с улыбкой.

«Укладистее ноне стал»,— подумал про него Алексей Петрович.

— Племяша! — громко сказал он вдруг, вставая и как-то неловко откашливаясь,— хоть ты меня ругай, хоть что хочешь, а я штуку удрал...

И Соснин, с свойственной ему оригинальностью, передал племяннику «свое последнее сочинение», как остроумно выразился старик.

— Ты пойми только, племяша, с каким носом благоверный-то вылезет! — заключил он с грубоватым смехом.— Вот так по-военному!

Александр Васильич был слишком сильно обрадован вестью о близкой свободе, чтоб входить теперь в размышление, худо или хорошо поступил Соснин; даже некоторые вольности, позволенные себе стариком насчет Лизаветы Михайловны и Светлова, последний безапелляционно пропустил мимо ушей, не находя никакой возможности сердиться в такую приятную минуту.

— Уж если так случилось, так вышло, то ведь не караул же кричать... Спасибо, дядя! — сказал он только, горячо обняв празднично сиявшего Алексея Петровича.

Через несколько минут оказалось, что Соснин и еще «штуку удрал»: в каземат вошел смотритель с двумя бутылками шампанского в руках, а вслед за ним сторож принес три стакана. Алексей Петрович потому только и мог проехать от генерала прямо в острог, что не нуждался в прокурорском разрешении: смотритель, к которому перед свиданием с племянником завернул Соснин, был его большой приятель. Светлову, само собой разумеется, пришлось уступить дяде и в этом случае, то есть — выпить втроем. Алексей Петрович подкутил больше всех и то и дело приставал под конец к смотрителю, усердно уверяя того:

— Нет, ты погляди: хоть он теперь и в остроге, а все же у него вот тут, под белой косточкой-то, разрыв-трава сидит... чтоб его кошки лягали!

И каждый раз, при таком отзыве, Соснин любовно постукивал по лбу племянника указательным пальцем.

Возвращаясь из острога домой на бойкой смотритель-

ской лошади, оригинал-старик, самодовольно поглядывал все на хмурое, сплошь покрытое тучами, небо.

«А ведь не глупую, кажись, штуку-то я удрал?» — мысленно вопрошал он это серое небо, с такой самоуверенностью, как будто вот сейчас же должно было выскочить оттуда солнышко и сказать, надрываясь от смеха: «Чудесную, чудесную, Алексей Петрович, изволили штуку удрать — первый сорт-с!».

VI

СОЗОНОВ ДЕЛАЕТ СВОЕ ДЕЛО

После известного вечера, когда Ельников в последний раз навестил светловскую школу, он, должно быть, простудился и захворал еще больше. Впрочем, простуда была тут, собственно, ни при чем; она только ускорила ход другой, главной и постоянной болезни доктора — чахотки, и без того развивавшейся у него необыкновенно быстро. С тех пор Анемподист Михайлыч хотя и не выезжал никуда, но дома все еще крепился и по утрам вел обычную консультацию с бедняками; только уже в последние два-три дня он принужден был отказаться от этого и окончательно слег в постель. Однако ж, и теперь, несмотря на советы навещавших его изредка знакомых, особенно Прозоровой и Любимова, безмолвно заключившего с доктором мир, Ельников упорно отказывался почему-то от всякой посторонней медицинской помощи; он только самолично прописывал себе успокоительные средства. Однажды вечером к нему завернул Созонов. Просидев с больным до поздней ночи, будущий сподвижник иноческой жизни вызвался ночевать у него, а на другой день опять предложил ему свои услуги, переночевал снова, да так уж и остался с тех пор на неопределенное время при бывшем товарище, заменив собой исправную сиделку. В своем невеселом одиночестве доктор, быть может, обрадовался даже и этой живой душе; по крайней мере он ничего не возразил против предложения Созонова «походить за ним» и так же безмолвно наблюдал всякий вечер, как тот располагался у него на полу спать, подостлав под себя верхнюю одежду, служившую в то же время и одеялом.

— Да вы что, Созонов, по-человечески-то не ляжете? — каждый раз спрашивал при этом Ельников,— ведь вон вам на диване постлано.

— Ничего, Анемподист Михайлыч, не беспокойтесь: тут, у печечки, славно-с...— застенчиво уверял будущий инок и упорно отрекался от мягкого спанья.

— Ну, мните бока, коли нравится,— угрюмо заключал доктор и, повернувшись лицом к стене, затягивал обыкновенно своим разбитым, дребезжащим голосом какую-нибудь заунывную русскую песню.

В последнее время болезни петь — обратилось у Ельникова в привычку, даже почти в страсть. Это было, впрочем, и не пение собственно, а скорее — какой-то вопль надорванной души.

— Вам бы духовное лучше спеть-с, Анемподист Михайлыч...— робко пригласил его однажды Созонов, тревожно ворочаясь на полу у своей «печечки».

— Вечную память, что ли? — спросил доктор.

И с той поры его импровизированный сожитель уже не заикался больше о духовном; он только вздыхал тихонько, слушая светские песни. Между этими двумя, совершенно разнородными, по-видимому, личностями было, однако ж, какое-то странное сходство: Ельников как будто представлял собой задачу, а Созонов — ее ложное, уродливое разрешение.

Лизавета Михайловна чаще всех навещала Анемподиста Михайлыча, так как она приняла на себя добровольную обязанность сообщать о ходе болезни Александру Васильичу. В последний раз Прозорова завернула к доктору на минутку из почтовой конторы, в тот самый день, как молодая женщина побывала перед тем — сперва в остроге, а потом у Светловых. Сама порядочно расстроенная, она в этот раз не заметила в больном ничего такого, что указывало бы на особенную опасность его положения: напротив, Лизавета Михайловна нашла даже, что он как будто свежее стал. И не мудрено: во время ее посещения к доктору внезапно прилила какая-то необъяснимая, небывалая в нем прежде веселость; он говорил очень оживленно, много смеялся, показал Прозоровой портрет своей невесты и, несмотря на то, что гостья сильно торопилась домой, успел даже пропеть ей одну из самых забавных студенческих песен.

— Что вы такой веселый сегодня, доктор? — спросила она, уже собираясь уходить.

— А как же: ваши узы разрешились,— значит, теперь моя очередь...— ответил Анемподист Михайлыч, но до того неопределенно, что Лизавета Михайловна приняла его слова за намек на скорое выздоровление.— Только... уж если даже я доволен, то вам-то, барыня, и подавно не следовало бы смотреть сегодня такой кислой, и посидеть у меня не хотите. Эх! Светловушка-то вот, жаль, спеленан, а то бы мы с ним поспорили сегодня вечерок! до смерти спорить хочется! — заключил он с каким-то особенным воодушевлением.

— Кстати,— нарочно солгала Прозорова,— Александр Васильич поручил мне передать вам, что если вы и теперь еще не посоветуетесь с каким-нибудь другим врачом, то он, Светлов, перестанет верить в искренность вашей дружбы к нему.

— Я посоветуюсь, посоветуюсь...— не то серьезно, не то саркастически проговорил Ельников.— Не знал, право, к кому обратиться: все много знают; а теперь выбрал,— этот-то уж наверно вылечит...

И Анемподист Михайлыч закашлялся минуты на две без перерыва.

— Ну вот и отлично! — сказала Прозорова,— видите, какой у вас сильный кашель. Поправляйтесь скорее. Завтра, вероятно, я к вам не заеду: некогда будет; а послезавтра — непременно увидимся,— ласково прибавила она, простилась и ушла.

Но им уже не суждено было видеться больше: это «послезавтра» не наступило для доктора. Проснувшись на другой день чрезвычайно рано, почти одновременно с Сосниным, сбиравшимся к генералу, Ельников почувствовал какую-то необыкновенную тоску, какой-то особенный прилив тяжести к голове и невыносимую боль в груди.

— Созонов-батюшка! — разбудил он товарища,— сходите уж вы еще раз в латинскую кухню: купим у немца, выражаясь языком Хаджи-Бабы, супу спокойствия на несколько копеек...

Доктор проговорил это с какой-то странной улыбкой, которая от падавшего на нее из окна чуть брезжущего света казалась улыбкой мраморного сфинкса.

— Вы ужо не вставайте,— остановил Анемподист Ми-

хайлыч Созонова, услыхав, как тот завозился на полу,— теперь ведь рано, надо и немчуре дать выспаться; да и мне пока терпится, сносно еще... А покуда я подорожную приготовлю...

Ельников с большим трудом отыскал коробок спичек на маленьком столике, стоявшем у изголовья его постели, и добыл огня на свечку: дневной свет был слишком слаб еще, чтоб писать при нем. Анемподисту Михайлычу пришлось отдохнуть немного после этого движения, но через минуту он все-таки, несмотря на душивший его убийственный кашель, опять приподнялся левым локтем на подушке, достал со стола, что было нужно, и собственноручно прописал себе смертельную дозу опия. В конце рецепта доктор прибавил и подчеркнул выведенные им довольно крупно слова: «Для личного моего употребления».

— Пожалуй, скоро и рука повиноваться перестанет...— заметил он как бы про себя.— Впрочем, иногда и с одним кусочком легкого можно протянуть до вечера...

И Ельников попробовал было запеть «Vita nostra brevis est»[1]; но у него ничего не вышло, а только болезненно зашуршало что-то в груди. Доктор безнадежно махнул рукой и в изнеможении откинул голову на подушку.

— Вы, Созонов, боитесь покойников? — спросил он немного погодя.

— Нет-с, не боюсь, Анемподист Михайлыч; мне часто доводится псалтырь читать-с, так привык... А что-с? — скромно отозвался с полу будущий инок.

— То-то; а я думал, что боитесь, так хотел предупредить вас...

— Насчет чего-с?

На минуту в комнате стало тихо-тихо.

— Да на всякий случай: я ведь уж сегодня... часом раньше, часом позже — покойник,— с спокойствием полнейшей безнадежности пояснил Ельников.

— Господь знает-с, Анемподист Михайлыч: он иногда чудесно исцеление свое посылает... Вам бы вот исповедаться-с да причаститься? — робко-вопросительно молвил Созонов.

---

[1] Слова из старинной студенческой песни: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни» *(лат.)*.

Доктор ничего не ответил ему, закашлялся только и повернулся на другой бок.

— Который теперь час? — спросил он, когда уже значительно рассвело.

Созонов торопливо накинул на себя свое убогое одеяние, конфузливо придержал руками его полы и в таком виде подошел к столику возле кровати.

— Де... десятый-с...— почему-то не вдруг выговорил он, взглянув на карманные часы Ельникова, и по-прежнему конфузливо отступил к «печечке».

— Пора и к немцу...— почти беззвучно заметил ему Анемподист Михайлыч.

Созонов как-то забавно обдергал на себе платье, взял рецепт и ушел.

Но будущий инок рассудил дорогой, что ему не мешает зайти прежде к отцу Иоанну, своему знакомому священнику, жившему почти напротив.

«Батюшка же теперь как раз от заутрени воротились... Вот как бы Анемподисту Михайлычу полегчало!» — думалось Созонову.

Отец Иоанн,— добродушный старик, недавно переведенный в городской приход из соседней деревни,— действительно оказался дома и охотно согласился пойти к больному.

— Только вот чашечку чайку дохлебаю,— объявил он любезно.

— А я покудова, батюшка, в аптеку сбегаю; вы меня подождите-с...— сказал Созонов и быстро удалился, опять стыдливо придерживая рукой полы своего не то сюртука, не то халата.

Спустя четверть часа, после непродолжительного шептанья отца Иоанна с Созоновым в передней Ельникова, причем со стороны батюшки слышалось: «Не любит, что ли?» — последний, во всем простодушии и наивности деревенского священника, тихонько вступил в комнату больного.

— Бог помочь! — осторожно сказал он, помолясь степенно в пустой передний угол.

— Кто это такой?..— как бы испуганно спросил Анемподист Михайлыч, быстро повернувшись лицом к вошедшему, и слабо застонал от резкой боли, вызванной этим усиленным движением.

При виде священника глаза Ельникова остановились

на нем как-то неподвижно, почти бессмысленно; только слабая улыбка искривила сухие губы доктора.

— Благослови вас бог! — перекрестил его отец Иоанн.

Батюшка неслышно подставил стул к самой кровати, сел на него и стал что-то тихо говорить больному.

— Крайняя односторонность! — громко молвил он, наконец, выслушав, в свою очередь, чуть слышный ответ Анемподиста Михайлыча, и широко развел рукавами рясы.

— Может быть, батюшка...— уже несколько слышнее отозвался Ельников.

— Ну... я и говорю: крайняя односторонность! — с прежним движением повторил отец Иоанн.

И, придвинувшись еще ближе к кровати, священник начал снова нашептывать что-то больному. Анемподист Михайлыч только нетерпеливо качал головой; все та же слабая улыбка чуть заметно змеилась у него на посиневших от волнения губах.

— Я ведь и не спорю, батюшка...— заметил он тихо.

— Опять это крайняя односторонность с вашей стороны...

— Не могу же я лгать в последние минуты, когда не лгал всю жизнь!..— раздражительно и с горечью на этот раз возразил доктор.

— Я и говорю: крайняя односторонность!

Отец Иоанн еще шире развел рукавами рясы, снова перекрестил больного, сказал ему на прощанье: «А впрочем, благослови вас бог!» — и неохотно вышел из комнаты, с грустным сожалением покачивая своей седою как лунь головой. Немного погодя туда вошел Созонов с аптечным пузырьком в руках.

— Не надо уж...— слабо махнул ему рукой Ельников и опять повернулся к стене,— притерпелся...

Странную фигуру представлял из себя в эту минуту будущий инок: смесь какого-то суеверного ужаса, уныния и малодушного страха за свое самовольство придала Созонову что-то неизобразимо жалкое. Он ждал от больного выговора и, кажется, был бы радехонек последнему; но Анемподист Михайлыч упорно молчал, тяжело дыша. Созонов постоял, постоял перед кроватью, раза два неловко сморкнулся, попятился в самый дальний угол комнаты и тихонько уселся там на стул, подперев обоими локтями голову и колени.

Так прошел час, другой...

В половине второго больной сделал движение, тревожно откинулся на подушке и едва слышно спросил:

— Темно или светло теперь?..

— Совсем день уже-с, Анемподист Михайлыч...— пояснил Созонов, робко кашлянув в руку.

— Ааа!..— протянул доктор,— понимаю!..

Он сделал усилие и провел рукой у себя по глазам, как бы желая удостовериться, на месте ли они у него.

— Окажи, брат, ты мне, Созонов... последнее одолжение,— несколько помолчав, попросил напряженно больной,— возьми вон там... на окне... старую книжку журнала... без переплета; растрепанная такая... Почитай ты мне оттуда... хоть позитивную философию... Огюста Конта[1], там... она должна быть... Мысли у меня мутятся...

Созонов как-то испуганно встрепенулся весь, точно внезапно разбуженная птица, быстро отыскал книгу, развернул ее и сел возле кровати.

— Я бы вам лучше-с...— заикнулся было он.

Но его удержал какой-то непонятный, энергический жест Ельникова, сделанный при самом начале этой фразы.

— Читайте же!.. Созонов! — раздражительно поторопил доктор.

Началось чтение — медленное, несвязное, неуклюжее. Странно как-то было видеть Созонова с книжкой «Современника»[2] в руках; еще страннее казалось выходившее из уст этого человека учение знаменитого мыслителя; оно как будто теряло свой смысл.

Так прошло еще с полчаса.

— Созонов-батюшка!..— прервал вдруг Анемподист Михайлыч чтеца, стараясь приподняться на локте.—

---

[1] Огюст Конт (1798—1857) — французский буржуазный философ и социолог, основатель позитивизма (от лат. positivus — положительный); сторонники позитивизма утверждали, что в своих теориях они опираются не на «абстрактные умозаключения», а на положительные факты. В конце 60-х, в 70-х годах произведения Огюста Конта пользовались популярностью в среде русской демократической интеллигенции.

[2] «Современник» (1836—1866) — общественно-политический журнал; в 60-х годах орган революционной демократии.

Скажи ты, брат, Созонов... большой поклон... от меня... Светловушке!.. Скажи... что... что...

Больной глубоко вздохнул, остановился на этом вздохе — и не договорил; только кровать как-то болезненно скрипнула за доктора,— и таинственная мертвая тишина воцарилась в комнате...

В тот же самый день, вечером, а не назавтра, как обещал представитель местной власти Соснину, в острог приехал полицеймейстер и прямо прошел к Светлову.

— Я к вам от его превосходительства,— необыкновенно вежливо объявил он молодому человеку.— Генерал поручил мне передать вам, что вы — свободны; только с тем условием, если вам угодно будет выехать отсюда через неделю, а до того времени — вы не можете ни у кого показываться здесь, за исключением, разумеется, ваших ближайших родственников. Предполагалось сначала обязать вас к тому подпиской, но его превосходительство находит, что вашего слова будет совершенно достаточно в этом случае. Могу ли я передать генералу, что вы согласны?

— Да, конечно,— сказал Александр Васильич,— в моем положении не упрямятся... Сделайте одолжение, поблагодарите генерала за его любезность.

Немного погодя Светлов уже испытывал необыкновенно приятное чувство, полной грудью вдыхая в себя свежий уличный воздух.

— Фу-у... какая чудесная вещь... свобода! — несколько раз громко повторял он, останавливаясь и оглядываясь посреди улицы.

Несмотря на то, что у него не было ни гроша в кармане, Александр Васильич взял извозчика и прежде всего отправился к Ельникову: молодому человеку ужасно хотелось повидаться с больным товарищем, чтоб хоть немного развлечь его да пособить ему, чем можно. Подъехав к воротам квартиры Анемподиста Михайлыча, Светлов не без удивления заметил, что два окна ее, выходившие на улицу и теперь непроницаемо забеленные узорами мороза, не были, против обыкновения, закрыты ставнями; впрочем, в окнах виднелся свет: значит доктор был дома. Идя уже по двору и потом поднимаясь на крыльцо, Александр Васильич обратил также внимание

на какой-то невнятный, монотонный звук, доносившийся сюда из комнаты.

«Кто же это у него сидит? уж не Лизавета ли Михайловна? Вот бы кстати было!» — подумал Светлов.

Ему, однако ж, стало как-то неловко, когда он невольно прислушался к странному звуку: в нем, в этом звуке, было слишком много однообразия для разговора. Александр Васильич входил в переднюю с стесненной грудью; но его так и пошатнуло, как только он вступил туда.

— Врази же... мои... живут... и укрепишася... паче... мене..— явственно уже слышался теперь из-за соседней притворенной двери робкий, дрожащий слезами, голос Созонова.

Холодная, насквозь пронизывающая, как трескучий мороз, действительность охватила Светлова. У него совершенно потемнело в глазах, когда через минуту он припал горячей головой к недвижным коленям доктора, мирно покоившегося теперь на каких-то причудливых подмостках, наскоро воздвигнутых руками его бывшего однокашника.

«И весны-то ты не дождался?!.— с необычайной горечью думалось Александру Васильичу.— Да и ни до чего хорошего не дожил ты, товарищ!.. Все впереди у нас... И я не дождусь здесь весны: поеду подышать за тебя более чистым воздухом, посмотреть на более светлые небеса... Но клянусь тебе, вот здесь, у твоего не совсем остывшего еще трупа, что никакая сила, кроме смерти, не остановит меня идти дальше по нашему пути, никакая воля не вырвет из моей груди того, что запечатлено в ней такими же благородными личностями, как твоя!!. Ты теперь еще свободнее, чем я, бедный Анемподист Михайлыч!..»

Светлов на минуту поднял голову, но сейчас же опять и опустил ее: она как будто свинцом была налита у него. А тем временем Созонов, заложив пальцем недочитанную страницу псалтыря, робко и тихо, как бы боясь разбудить могильный сон Ельникова, передавал Александру Васильичу:

— В третьем-с часу кончились... Худенькой такой стали-с, господин Светлов: я как их обмывал, так просто все косточки ощупать можно-с было...

Но Александр Васильич не мог слушать дальше.

— Потом... потом, это Созонов! — скорбно остановил он его.

Светлов снова поднял голову и неподвижно уставил глаза на низкое изголовье, покоившее выразительные черты доктора. Долго-долго еще всматривался после того Александр Васильич в лицо покойника: что-то сосредоточенно спокойное и вместе с тем глубоко саркастическое застыло на этом умном страдальческом лице...

VII

НА ПЕРВОЙ СТАНЦИИ ОТ УШАКОВСКА

Зимний вечер догорал какими-то причудливыми красными полосами в просветах горизонта, слабо озаряя покрытое серыми тучами небо, когда две лихие тройки, весело побрякивая колокольчиками, крупной рысью подъезжали по московскому тракту к почтовой станции — первой от города Ушаковска.

— Да, батенька! — говорил Варгунин сидевшему с ним рядом в передней повозке Светлову,— дядя ваш выручил нас всех...

— Я не понимаю, отчего они только сегодня выпустили вас, а не раньше? — перебил его Александр Васильич.

— Terra incognita![1] — пожал под шубой плечами Матвей Николаич.— Впрочем...

— А это верно вы знаете,— опять перебил его Светлов,— что отправлен нарочный воротить Жилинских?

— По крайней мере, так я слышал несколько часов тому назад из собственных уст его превосходительства. Он, видите ли, раскусил, должно быть, что его ввели в заблуждение относительно нашего участия во всей этой кутерьме: говорят, что в фабрике открыто множество самых вопиющих злоупотреблений Оржеховского. Немудрено, что бывший директор угодит на ваше недавнее место... Да! сейчас видно было по лицу генерала, что он жестоко конфузится за свой промах. Если б старика не запутали, стал ли бы он пороть такую горячку? Ведь это не шутка, батенька!

[1] Неведомая земля; здесь в смысле: неизвестно *(лат.)*.

— Очевидно,— заметил Александр Васильич.

Приятели помолчали.

— Ну, что, батенька? — спросил вдруг Варгунин, весело рассмеявшись,— небось теперь уж не скажете, как тогда — «шаг за шагом»?

— Это отчего, Матвей Николаич? — удивился Светлов.— Непременно скажу и теперь то же самое; да и всегда буду говорить. Последняя история с нами — тут ни при чем; она, напротив, еще подтвердила мой взгляд на это. Вы только посудите: ведь и локомотив идет сперва тихо, будто шаг за шагом, а как разойдется — тогда уж никакая сила его не удержит. Мы вот и не прыгали с вами, да чуть не провалились...

Повозка остановилась в эту минуту у крыльца станции, помешав Александру Васильичу выразить до конца свою мысль. Варгунин нахмурился и как-то неопределенно проговорил, вылезая:

— Смотрите, батенька! не попадите мимо...

Они обождали немного, пока подъехал задний экипаж. В нем оказалась вся остальная семья Светловых, провожавшая до этой станции, вместе с Матвеем Николаичем, двух самых любимых своих членов: Владимирко также ехал в Петербург, благодаря настояниям брата, кое-как урезонившего стариков отпустить с ним их дорогого «заскребыша».

— Мы, мама, здесь еще посидим, а? — как-то трогательно спросил мальчуган у Ирины Васильевны, вылезая из повозки.

— Как же, батюшка: чай будем пить. В последний уж раз, Вольдя, с матерью чайку попьешь...— проговорила старушка и заплакала.

— Что, Вольдюшка? замерз? А ведь далеко, брат, еще ехать-то...— заметил, в свою очередь, Василий Андреич.

Но он, очевидно, сказал это только для собственного ободрения: у него у самого искрились слезы на глазах.

— О-он молодец у меня, Владимирко! — весьма кстати поощрил Александр Васильич уже насупившегося было «химика», собиравшегося, кажется, тоже заплакать,— не скоро замерзнет,— настоящий сибиряк!

Несколько минут спустя маленькое общество приезжих мирно, хотя и не особенно весело, расположилось за чаем в просторной и чистенькой станционной комнате,

увешанной множеством картинок и почтовых правил, чуть не сплошь засиженных мухами. Молодой Светлов, в дорожной сумке через плечо, обходил со свечой в руке по порядку все стены и вслух прочитывал более курьезные надписи на лубочных изображениях, желая, очевидно, хоть этим немного рассеять печальное настроение своих домашних. Александр Васильич сильно похудел в последние дни; захватившая его так врасплох смерть Ельникова наложила на лицо молодого человека какую-то своеобразную печать грусти: оно стало еще серьезнее и привлекательнее.

— Чай тебе, Саша, налит,— оторвала Оленька брата от созерцания картинок.

Он, не говоря ни слова, присоединился к остальному обществу, на которое тоже нашел какой-то молчаливый стих. Варгунин и пытался было поддерживать разговор, но это выходило как-то уж очень натянуто. Теперь, перед близкой разлукой, каждый держал про себя свои невеселые думы.

— А ведь ты, Санька, право, хороший парень; только одно вот в тебе не ладно: служить не хочешь,— проговорил, наконец, среди общего молчания, Василий Андреич, как будто в настоящую минуту была какая-нибудь возможность исправить это дело.— Поступи-ка ты лучше, брат, на службу здесь — ей-богу, парень, хорошо будет!

— Да как же, батюшка! — прибавила от себя и Ирина Васильевна,— служил бы да служил теперь уж — шутка ли! — какой бы у тебя чин был...

— Право, служи-ка ты, братец! — убедительно поддержал ее старик.

Но Александр Васильич решительно не знал, что ему отвечать на подобные замечания, и предпочел обойти их молча.

— Однако, пора распорядиться, чтоб и лошадей запрягали...— сказал он только, вставая.

В эту самую минуту у подъезда к станции послышался и как-то резко оборвался вдруг густой перезвон колокольчиков. Судя по силе их звука, очевидно было, что кто-то подъехал на двух тройках. Молодой Светлов торопливо вышел на крыльцо. Мельком взглянув на целую семью новоприезжих, выходившую теперь, из большого крытого возка, Александр Васильич побледнел и невольно попятился: это были Прозоровы.

Дело в том, что молодой человек никак не ожидал такого неприятного сюрприза: последний мог разом разрушить весь остроумный план находчивого Соснина. Светлов еще накануне уговорился с Лизаветой Михайловной, что пустится в путь часами двумя прежде ее; он даже назначил ей время отъезда и с своей стороны выполнил это условие, как следует. Но дело вышло несколько иначе, хотя, собственно, сама молодая женщина и была тут ни при чем: на Дементия Алексеича нашел внезапно какой-то упрямый каприз, побудивший его послать за лошадьми гораздо раньше, чем предполагала Лизавета Михайловна. Она сперва все еще рассчитывала, что ей удастся как-нибудь оттянуть время, но, наконец, не видя никакой возможности обойти хитростью мужа, послала Гришу предупредить Светлова. Судьбе угодно было, однако ж, распорядиться по-своему: мальчик только пятью минутами не застал Александра Васильича в городе.

«Что, если муж вернет ее отсюда назад?» — невольно спросил себя теперь молодой человек, с необычайной тревогой возвращаясь в станционную комнату.

Но если даже Светлов был удивлен и озадачен, то не трудно представить себе положение Дементия Алексеича, когда, войдя туда же вслед за семьей, почтенный супруг сразу наткнулся глазами на ненавистного ему «разбойника». Мы не беремся, впрочем, описывать того, можно сказать, хаоса чувств и мыслей, какой завертелся у Прозорова в этот поистине критический момент. Будь бы только Александр Васильич один на станции,— Дементий Алексеич ни на минуту не задумался бы увезти жену обратно в город; но встреченное им здесь целое общество до такой степени сбило с толку Прозорова, что он сейчас же усиленно принялся требовать лошадей для возка.

Лизавета Михайловна, крайне встревоженная и бледная как полотно, более инстинктивно, чем с полным сознанием, чувствовала, что вся ее будущность висит в эту минуту на волоске. Какие-нибудь четверть часа, пока запрягали лошадей и прописывали подорожную, показались молодой женщине чуть не целым годом невыносимого ожидания и томления; она даже решилась пренебречь всякими приличиями: не подошла к Светловым и все время молча сидела, отвернувшись от них, в тем-

ном уголку. К счастью, и дети Прозоровой уразумели, должно быть, опасность настоящего положения матери: они как-то боязливо столпились около нее и старались даже не смотреть в ту сторону, где Ирина Васильевна со слезами на глазах хозяйничала за чаем. Старушка тоже не обращала, по-видимому, никакого внимания на новоприезжих: она еще раньше была предупреждена сыном. Зато как же свободно и вздохнула Лизавета Михайловна, когда очутилась в возке! Даже обращенные к ней в ту минуту кровно оскорбительные слова мужа показались молодой женщине чем-то вроде радостного приговора о помиловании.

— Не думайте... не думайте, пожалуйста, чтоб я... я... когда-нибудь опять... опять вас принял к себе!..— злобно напутствовал Дементий Алексеич жену,— мне... мне потаскушек не надо!.. П-шол! — сердито крикнул он ямщику и мелкими шажками взбежал на крыльцо.

В то же время выходил туда Светлов, чтобы распорядиться закладкой лошадей. В самых дверях эти господа встретились лицом к лицу.

— Очень... очень вам благодарен, молодой человек!..— с неописуемой ехидностью обратился Прозоров к Александру Васильичу.

— Не за что,— холодно ответил ему Светлов.

Они как-то странно поклонились друг другу и разошлись — быть может для того, чтоб никогда уже не встречаться больше.

. . . .

На следующей станции наши далекие путешественники опять съехались вместе. Обе тройки дружно помчались оттуда одна за другой, как будто выговаривая медными язычками своих звонких колокольчиков:

«Там-то, дальше, как-то лучше».

И под их веселый говор неудержимо неслась вперед молодая жизнь, пренебрегая угрозами старой...

VIII

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

В пять лет немного изменяется наружность губернского города. Так же мало изменилась в это время и фи-

зиономия Ушаковска: опять кое-где выросло питейное заведение, кое-где восстановлен давно уже падавший забор; в одном месте — невольно обратишь внимание на совершенно новенькую, даже не выкрашенную еще тумбочку на тротуаре, хотя последний и содержится попрежнему плохо; в другом — бросится тебе в глаза чей-то каменный, с неотделанными пока окнами, дом, резко выделяющийся из соседних деревянных строений. Но, в сущности, никакой особенной перемены не видно; не увеличилось, например, движение на улицах, и даже, всмотревшись пристальнее в прохожих, сразу узнаешь, что это почти все те же лица, что были и прежде.

Однако ж есть и новость в Ушаковске — правда, не слишком крупная, но зато способная порадовать каждого мыслящего человека. Новость эта — маленькая школа, открытая в одном из переулков города: ее незатейливая вывеска как бы застенчиво гласит: «Первоначальное обучение девочек письму и чтению». Тут всецело господствует Анюта Орлова. Перед отъездом Светлов вручил кузине небольшую сумму — остаток от того еще капитала, что внес на его собственную школу Варгунин,— и вот на эти-то немногие деньги да на свои скудные рабочие сбережения молодая девушка открыла дешевый дневной приют для неграмотных девочек. В школе, на почетном месте, висит фотографический портрет Александра Васильича. Довольно часто, по окончании занятий, Анна Николаевна указывает на него своим ученицам (все больше сироткам разных горемычных бедняков) и объясняет им, кому первоначально обязаны они грамотностью, и что за человек был Светлов. Иногда такие объяснения у милой девушки стоят любого урока...

Стариков Александра Васильича стало как-то совсем не видно в городе. Они опять переселились во флигель и почти безвыходно сидят в своих четырех стенах, лишь в двунадесятые праздники навещая кого-нибудь из самых близких родственников; даже на рынке не часто встретишь Светловых. Василий Андреич совсем поседел; он теперь очень редко выпускает изо рта свою любимую трубочку и все больше молчит, так что от него трудно подчас дождаться слова. В кабинете старика тоже висит фотография его первенца. Когда во флигель случайно забредет какое-нибудь новое, не бывавшее там

прежде, лицо и так же случайно смотрит на этот портрет, Василий Андреич непременно объяснит гостю:

— Старший сын. Бедовая голова! а хороший парень...

Ирина Васильевна стала еще набожнее и суевернее: как нарочно, все ее приметы сбываются. Аккуратно каждое воскресенье старушка ездит в пригородный монастырь к обедне и с чувством слушает, как постриженный в монахи Созонов читает там «апостол»; иногда бывший товарищ ее сына застенчиво подносит ей заздравную просвирку. В остальное время евангелие почти не выходит из рук Ирины Васильевны. Она весьма редко ныне заглядывает в кухню, ест больше, что приготовит кухарка, и вообще как-то опустила хозяйство. Да и для кого ей хлопотать теперь? Ведь и Оленька удалилась из родительского дома. Молодая девушка вышла замуж за какого-то видного офицера и очень довольна, что он, обирая солдат вверенного ему батальона, дарит ей множество нарядов; она будет еще довольнее, когда у нее пойдут дети и своим ранним уменьем болтать по-французски вызовут в папаше полнейшее усовершенствование его милых качеств. Замужество дочери не особенно порадовало Ирину Васильевну.

— Дылда какой-то, прости меня господи! — с сердцем замечает она подчас родственникам об Оленькином муже, обладающем, действительно, исполинским ростом,— я бы, на месте Ольки, ни за что не пошла за него, ребятки...

Но у старушки бывают и светлые дни. Когда московская почта привозит Ирине Васильевне письмо от которого-нибудь из сыновей, для нее на целую неделю наступает своего рода пасха. Впрочем, Александр Васильич довольно скуп на подобные сюрпризы и сообщает о себе всегда коротко, а Владимирко, по рассеянности, не пишет иногда месяца по два сряду,— зато как же и ждет этих дней, этих писем добродушная мать! Она обыкновенно до тех пор не отложит в сторону радостной весточки, пока не выучит наизусть каждую строчку в ней. На днях еще Владимирко писал, между прочим, старушке:

«...У нас в гимназии, мама, только что кончились экзамены, и я переведен в шестой класс. Трудненько приходилось, да ничего, справился. Я теперь живу у Гриши Прозорова. Он студент Технологического инсти-

тута, идет по химии, и мы часто делаем с ним интересные опыты. Я тоже непременно хочу быть химиком, да только трудно. Одних названий сколько надо будет выучить да еще формулы знать. Гриша, впрочем, говорит, что это только сначала так трудно, а после уж ничего, как привыкнешь. Ах, мама, если б ты знала, как красиво горит металл магний! Его теперь в виде серебряных проволочек приготовляют. Возьмешь, накалишь на свечке, он и горит, а потом одна магнезия останется.

— Это какая же, отец, магнезия-то? неужли, батюшка, та самая, которую ребятам дают? — полюбопытствовала Ирина Васильевна у мужа, прочтя приведенный отрывок из письма Владимирки.

— Кто-о их там знает, ученых! — будто раздражительно отозвался Василий Андреич, а сам между тем был очень доволен успехами сына...

Светловых изредка навещает Соснин. Он, по большей части, заходит к ним с намерением почитать столичные вести, и потому его посещения всегда совпадают с приходом московской почты.

— А что? ничего не навараксал ноне племяша? — бывает обыкновенно первый вопрос Алексея Петровича, едва он переступит порог флигеля.

Горячий характер Соснина несколько поугомонился в последнее время, хотя иногда и дает еще чувствовать себя «таинственной особе», но зато в любимый полонез старика, все чаще и чаще разыгрываемый им ныне, вкралась какая-то своеобразная, не то сердитая, не то отчаянная нотка собственной композиции Алексея Петровича...

Любимов живет по-прежнему, то есть волочится за первой встречной: урок, данный ему Рябковой, не подействовал на него нисколько. Сама же «полковница» все еще не может оправиться от того поражения, какое нанес ей Евгений Петрович. Она слывет теперь в большом свете Ушаковска под именем *светловощины.* Дело в том, что однажды, в разговоре с другой какой-то дамой, Рябкова выразилась об Александре Васильиче и его кружке:

— Mais c'est mauvais genre, ma chère[1] — эта светловощина!

---

[1] Но это же дурной тон, моя милая (*франц.*).

«Полковница», слыхавшая когда-то об «обломовщине» Гончарова, хотела, вероятно, в подражание ему, сказать: светловщина; но, как видно, обмолвилась. Молоденький адъютант представителя местной власти,— один из самых злых ушаковских зоилов,— подхватил на лету эту обмолвку и пустил ее гулять по всем бомондным весям града.

— Как все последовательно идет на свете,— острит он иногда в присутствии Рябковой, будто и не на ее счет,— сперва у нас провалился некий Светлов, а за ним *светловощина* пала...

«Полковница» обыкновенно недолго сидит в том обществе, где появляется насмешник-адъютант, и все время кусает себе губы, что, между прочим, очень идет к ее косому глазу...

Сохранилось в Ушаковске предание и об Ельникове, и у него осталось там свое прозвище, но только не в светских салонах. В темных закоулках города, где копошится и стонет, в поту и грязи, рабочий люд, часто вспоминают «бесплатного лекаря», во всякую пору дня и ночи спешившего сюда без отговорок.

— Дай бы бог еще такого! — с неподдельным чувством отзываются там о нем.

Будет ли только услышана захолустная мольба?..

Кстати уж мы заговорили о рабочем люде: Ельцинская фабрика сдана теперь в частные руки — в аренду. Нельзя не похвалить этого распоряжения: оно, во-первых, дало возможность «дедам» свободнее распоряжаться чисто домашними заводскими делами, а во-вторых, одни уже хозяйские интересы нового распорядителя фабрики заставляют его сберегать, по возможности, рабочие силы. Жаль только, что там не досчитываются двух-трех самых энергичных деятелей — в особенности, старосты Семена; быть может, впрочем, они вернутся со временем на родное пепелище, а теперь пока о них, как говорится, ни слуху ни духу... Все-таки это не помешало явиться в Ельцинской фабрике новому самородку-поэту и приделать еще один куплет к известной лихой песне. Теперь она заканчивается так:

Нам дилектор нипочем —
Согнем его калачом...
Ай ди-ди, перепелка,
Ай ди-ди, молода!

Жилинские опять живут в фабрике, в том же самом собственном домике, где жили и прежде. По нескольку раз в день, а иногда и по целым вечерам, на коленях Христины Казимировны играет прелестный четырехлетний мальчик, русые кудри которого сильно напоминают цвет волос Светлова, а черные бархатные глаза ребенка только с большим трудом можно отличить от глаз самой Жилинской. Ребенок этот — любимец Казимира Антоныча; старик не насмотрится на него...

Что же еще сказать? Ах, да... Варгунин получил недавно письмо от Лизаветы Михайловны, кругом облепленное заграничными марками и помеченное: «Цюрих». «Косматый» целых трое суток носился с ним по своим городским друзьям. Вот содержание этого письма от слова до слова:

«Милый, добрый Матвей Николаич.

Не буду оправдываться, почему я не писала вам до сих пор, иначе мне пришлось бы тот же самый вопрос предложить и вам; мы, стало быть, мало того, что квиты теперь, но вы еще у меня в долгу. Смотрите! я несносный кредитор. Впрочем, у вас, может быть, и нет желания поделиться со мной мыслями, а мне вот — подите! — пришла неодолимая охота рассказать вам коечто о своем житье-бытье. По одному разговору с Светловым, который только недавно передал мне, что надо мной существует опека (угадайте-ка, чья?), я нахожу даже, что должна это сделать. Впрочем, нет, не должна: этак, пожалуй, и мне захотелось бы потребовать кой у кого отчета за прошлое, как хотят следить за моим будущим... К счастию моему, мне не на что пожаловаться, да и на меня не пожалуются другие. Не ищите, пожалуйста, желчи между этими строками: ее нет там; а *мое уважение и любовь всегда с теми, кто доказал, что умеет стоять выше интересов собственной личности*. Подчеркнутые слова вы можете даже передать по адресу, если найдете его в вашем соображении: они служат как бы ответом на обращенное ко мне место в одном неизвестном вам письме. Но с вами я совсем не потому жажду говорить: просто хочется похвастаться *батеньке*. Да, милый Матвей Николаич! в своей новой жизни я нашла гораздо больше, чем ожидала, чем мечтала даже; я нашла в ней разрешение всех мучивших меня

сомнений, а это не мало. И если б мне теперь предложили на выбор: или умереть, или возвратиться к прежнему неведению вещей,— я, не задумавшись, выбрала бы первое. Это говорит во мне не самолюбие, а женщина, которой впервые показали широкий божий мир в той полноте, в какой уж давно созерцают его более нас счастливые мужчины. Работать над собой для других, работать неутомимо — вот мой теперешний девиз. Насколько я верна ему — судить не мне; по крайней мере я приехала в Цюрих затем, чтоб держать экзамен на доктора. Специальность моя в обширном смысле — грудные и нервные болезни, а в исключительном — женские. Мысль быть доктором пришла мне в первый раз в голову еще тогда, как я познакомилась с покойным Ельниковым, целые ночи проводившим, как нянька, у моей кровати. Вы не забыли, конечно, этого милого, чудесного человека? Как удалось мне сподобиться, грешной, дойти до настоящего предела моих знаний — я и сама сказать не сумею; знаю только, что я работала как угорелая,— именно в каком-то чаду работала, не замечая ни своих успехов, ни трудности дела. А трудно, даже очень трудно было, как я посмотрю теперь: поверите ли? мне приходилось начинать иногда чуть не с азбуки. Но я бы вам не все сказала, если б ограничилась этим. Хорошо понимая теперь, что все дороги ведут в Рим, я не считаю, однако ж, Римом мое близкое докторство; оно скорее — сила, которая будет и меня подвигать понемногу к вечному городу. Светлов раз приставал ко мне, в Ушаковске, с вопросом: а дальше? дальше-то что же? Я не могла ответить ему тогда, но вчера сказала, что только бы до Рима добраться, а там уж и отдохнуть не стыдно. Так-то, милый Матвей Николаич!»

— Вот она, батенька, силища-то где! — громко обратился к самому себе Варгунин, дойдя до этого места письма.— Будь-ка подле меня такая женщина, иди-ка она со мной рядом, так у меня, батенька, не только бы «кудри почернели», а, кажется, крылья бы выросли!..

И Матвей Николаич долго взъерошивал рукой свои, и без того косматые, волосы, прежде чем принялся вновь за чтение, которое дальше сообщало:

«Дети мои идут пока хорошо; не знаю, что будет вперед. Гриша,— его в Петербурге приняли, раньше, прямо

в четвертый класс гимназии,— теперь уже технолог. Он недавно насмешил меня в своем письме: «Муська! — пишет,— когда я буду магистром химии, я приготовлю тебе какое угодно сложное лекарство по твоему рецепту». Видите, как далеко мечтает! Калерии моей остался еще год до окончания курса в женской гимназии. Она живет теперь вместе с братом и, так сказать, хозяйничает. Я нарочно это так устроила — предоставила Калерию на время самой себе: она немножко больше, чем следует, любит наряды и совсем не понимает толку в деньгах,— поэт. А поживши год самостоятельно, без меня, ей поневоле придется усвоить кое-что по этой части и отказаться иной раз от лишнего платья. Впрочем, Калерия славная девушка. Само собой разумеется, что за ней и некоторый присмотр есть, только она не подозревает его: в Петербурге я знаю два превосходных семейства, и мне оттуда каждую неделю пишут, что и как с ней. Шура со мной, здесь; ее воспитанием занимается преимущественно Светлов,— это его любимица. Мне совестно признаться вам, Матвей Николаич, но, право, и я не встречала еще ни у одной девушки такой чудесной, даровитой натуры, как у моей Шурки. Отец пишет про меня детям ужасные вещи и все собирается приехать в Петербург; но мои ребятки знают меня лучше, чем свои пять пальцев, и общество г. Прозорова едва ли может теперь влиять на них иначе, как отрицательно, т. е. в их же пользу.

Вы, может быть, желали бы, милый Матвей Николаич, слышать от меня что-нибудь о Светлове? Он сам напишет вам о себе дня через два; ему же, кстати, надо что-то узнать от вас относительно Жилинской,— вы, конечно, догадаетесь сами, насчет чего... Мне же приходится сказать вам только, что чем больше узнаю я этого человека, чем ближе его рассматриваю среди всевозможных домашних мелочей, тем глубже становится моя симпатия к нему. В Цюрихе он по своим делам... Больше я ничего не могу сказать вам о нем в письме. Все, все было бы хорошо, Матвей Николаич, и я могла бы считать себя — как бы это сильнее выразить? — ну хоть дерзко-счастливой, что ли, если б не одно... Как будущий доктор и физиолог, я бы, пожалуй, и решилась сказать вам, чего это недостает мне; но... лучше подожду заграничного диплома и тогда покаюсь, если не исчезнет

к тому времени мое загадочное «если б». Сейчас подошел ко мне Светлов и, не подозревая, что я с вами секретничаю, прочел последние строки. Качает головой. Пусть качает! я все-таки прежде всего л... Посмотрите же, какое варварское насилие! — писать не дает. Крепко жму вам руку, милый Матвей Николаич.

Ваша преданная *Е. Сомова.*

P. S. Простите, если вас озадачит моя подпись: это фамилия, которую я носила до несчастного замужества. В Цюрихе меня знают только под этим именем: нельзя же быть за границей и не повольничать немного... хоть таким образом. Впрочем, говоря строго, тут, собственно, и вольности нет: ведь я теперь не Прозорова и ничья,— так пусть же буду пока отцовской...»

Варгунин глубоко задумался над письмом Лизаветы Михайловны.

IX

ПОДВОДИТСЯ ОБЩИЙ ИТОГ

И только? — спросит, пожалуй, неудовлетворенный, а может быть — и недоумевающий читатель. Автор предвидел этот щекотливый вопрос и готов отвечать на него, хотя и чувствует, что будет далек в своем ответе от полной искренности. Не от автора, впрочем, и зависит быть задушевно откровенным с тобой, друг мой, читатель. Если даже и с крошечной долей внимания следил ты за нитью нашей нехитрой истории, то, порывшись в своей долготерпеливой памяти, ты, быть может, найдешь там и оправдание автору, и разгадку его неловкой сдержанности.

Да, друг-читатель! здесь мы должны поневоле остановиться... Как неоттаявшая почва мешает зреть брошенным в нее семенам, как не могут отливать всеми красками солнца подснежные цветы,— так точно задерживаются рост и краски художественного произведения суровым дыханием нашей северной непогоды. Что было возможно, однако ж, то сделано нами, и да не поставится никому в укоризну посильный труд. Если в нашем первом опыте ты останешься недоволен бледностью интриги, чуждой той завлекательной формы, к какой при-

учили тебя более даровитые возделыватели отечественной мысли; если его завязка покажется тебе однообразной и скучной или несколько туманной, а развязка — совершенно ничтожной,— то и в этом не вполне виноват один автор. Не до блестящих интриг теперь нам с тобой, читатель, когда безвозвратно миновала золотая пора сказок, и жизнь предъявляет на каждом шагу свои настоятельные нужды. Наступает нечто лучшее,— лучшая и завязка требуется для романа; за развязку же никто не может поручиться тебе в наше переходное, обильное всякими недоразумениями, время. В одном только принимаем мы на себя полную ответственность: не Светлов будет виноват, если эта личность не заслуживает твоей серьезной симпатии; считай тогда просто, что у автора — не хватило пороху. Глубокое убеждение подсказывает пишущему эти строки, что во сто раз честнее ему самому провалиться перед публикой, нежели невежественно уронить в ее глазах ту, либо другую, восходящую на общественном горизонте, силу, когда эта сила, хотя бы даже и в своих заблуждениях, неизменно направлена к благу и преуспеянию родины.

Мы нарочно провели перед тобой, читатель, фигуру Светлова через всю его домашнюю обстановку, через все ее мелочи, и, рискуя утомить подробностями твое внимание, ставили нашего героя во множество незначительных положений: таким образом ты можешь гораздо вернее судить о нем. В торжественные минуты своей жизни, захваченные внезапно ее горячим притоком, иногда и самые посредственные люди приподнимаются, так сказать, до высоты событий; но автор имеет право указывать тебе только на те выдающиеся из среды личности, которые во всякую минуту твердо стоят на почве своих убеждений. Пределы, ограничивающие действие нашего рассказа, не составляют и года, если устранить оттуда вводную главу, посвященную исключительно детству и юности Александра Васильича. Ты согласишься, конечно, что в такой короткий промежуток времени, даже и при самых лучших силах, едва ли возможно сделать многое, едва ли успеют они развернуться настолько, чтоб захватывать дух у постороннего зрителя. Делая подобную оговорку, мы имели в виду твое неотъемлемое право спросить нас: а где же она, эта проповедуемая Светловым практическая деятельность?

Да, действительно, ее как будто не видно в романе, как будто даже и нет ее там совсем. Однако ж, когда ты соразмеришь, читатель, ничтожные средства отдельного честного человека с целым полчищем темных сил, на каждом шагу преграждающих ему мирное, цивилизующее шествие; когда ты убедишься, что и в названный нами короткий промежуток времени кое-что хорошее сделано нашим героем,— тогда твое уже дело вывести отсюда, какова будет или какова может быть его дальнейшая дорога. И мы не даем зарока, что ты опять когда-нибудь не встретишься с Светловым — на более широкой арене деятельности.

А теперь, при расставанье,— быть может, на долгое время, друг-читатель,— позволь, в свою очередь, и автору спросить у тебя: да пришло ли у нас еще, полно, то желанное время, когда деятельность личности, подобной Светлову, может быть всецело выведена перед твоими глазами? Возблагодарим небеса и за то, если перед тобой, как бы еще в утреннем тумане, уже скользит иногда ее далеко не окрепшее начало. Мы не скажем, что у нас невозможна подобная деятельность; но где — укажи нам — та широкая общественная арена, на которой она могла бы показать свои действительные силы, борясь открыто, лицом к лицу, с своими исконными врагами — тьмой и невежеством? Только еще в далекой радужной перспективе носится перед нами такая борьба... За неимением ее, Светлов ведет иную: это борьба пролетария в подземных каменноугольных копях,— борьба тяжелая и неблагодарная, иногда безнадежная, но чаще всего — опасная. Долго ли обрушиться сводам этих извилистых коридоров, прорытых в земляных глыбах? Долго ли раздавить им упорного труженика, с одной только киркой в руке неутомимо прокладывающего в этих грубых пластах дорогу будущему торжеству идеи, на благоденствие грядущих поколений?

Мы, однако ж, утешимся: если Светлов и падет в такой неравной борьбе, то на смену ему уже и теперь подрастает другой, быть может, столь же неутомимый работник в лице Владимирки, даже, наконец, в образе того русокудрого, прелестного мальчика с черными бархатными глазами, который играет пока беззаботно на коленях Христины Казимировны. Да, друг-читатель! замена найдется, борьба не иссякнет... И не нам, разу-

меется, приходится извиняться перед тобой, что мы не осмелились изобразить тебе того, что лежит еще в близком будущем и не существует пока в действительности. Поживем, увидим,— тогда и опишем. Светловых еще много будет впереди...

ОГЛАВЛЕНИЕ

БИБЛИОТЕКА СИБИРСКОГО РОМАНА
ТОМ VII

Омулевский Иннокентий Васильевич
ШАГ ЗА ШАГОМ

Редактор *Г. В. Петрова.*
Художник *В. И. Кондрашкин.*
Художественный редактор *В. П. Минко.*
Технический редактор *Н. В. Гаврилова.*
Корректоры *В. А. Просвирина, И. М. Савинская.*

Сдано в набор 3/I 1960 г. Подписано к печати 18/II 1960 г. Формат 84×108/32 — 6,94 бум. л. 21,75 печ. л. 22,4 изд. л. Тираж 75000. МН 02071.

Новосибирское книжное издательство, Красный проспект, 18. Заказ № 3.
Типография № 1 Полиграфиздата, Новосибирск, Красный проспект, 20.
Цена 12 руб.